

6

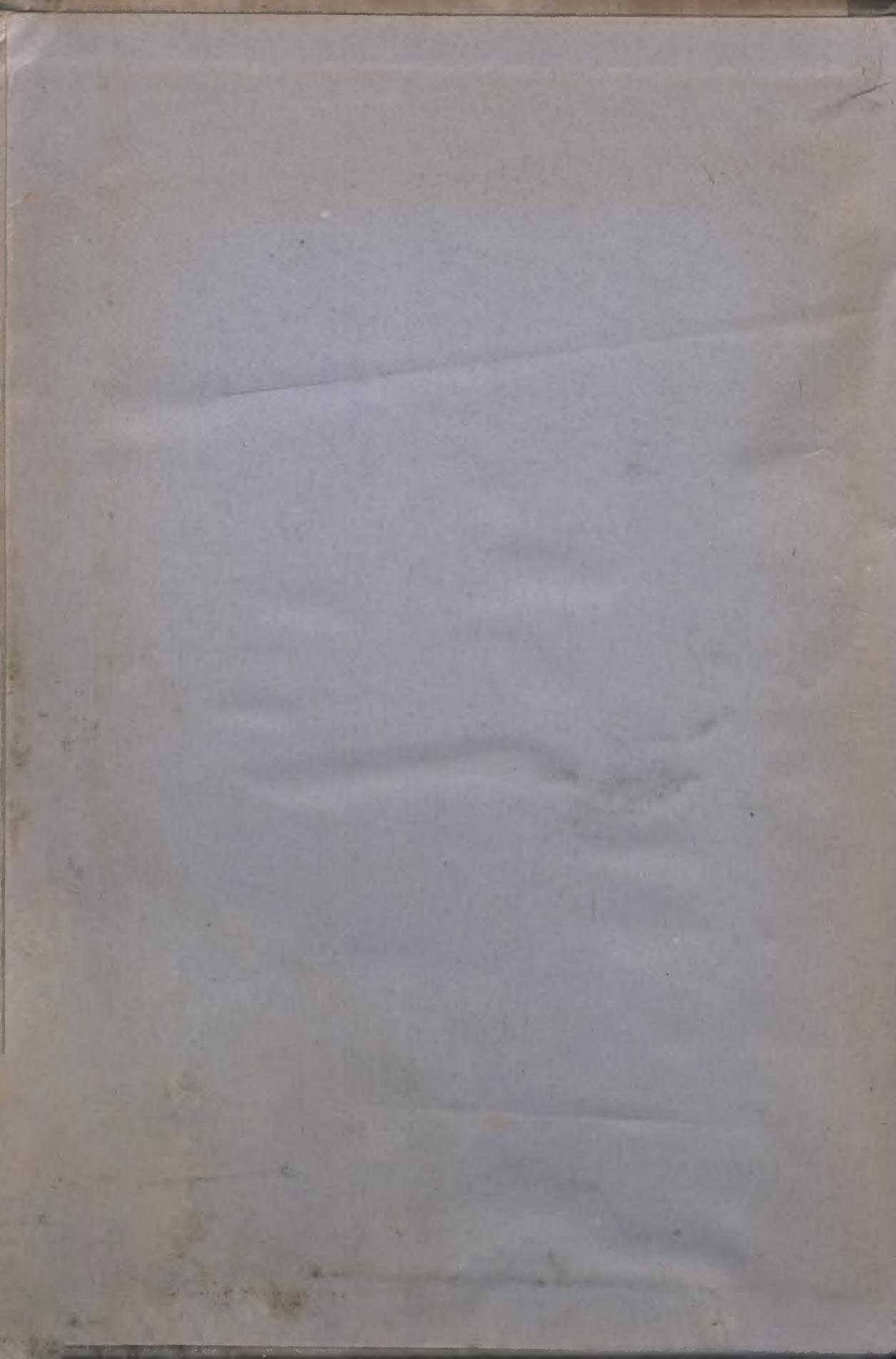
НОВОБЫИ МИР

1950

Н О В Ы И
М И Р

6

1950



НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 6

Июнь, 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — 22 июня 1941 года, стихи	3
ЛЮБОВЬ КАБО — За Днестром, роман. Окончание	5
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ — Белгород, цикл стихов	73
АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК — Калиновая Роща, пьеса. Перевод с украинского	82
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЮР. КОРОЛЬКОВ — В Западной Германии. (Записки корреспондента)	133
Б. БЫХОВСКИЙ — Современный фидеизм	185
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Г. ЛЕНОБЛЬ — Советский читатель и художественная литература	204
М. СОЛОВЬЁВ — Некоторые вопросы истории среднеазиатских литератур	228
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Н. Грибачёв. С высокой трибуны. — Е. Сурков. Образ Богдана Хмельницкого. — И. Афанасьев. Всепобеждающая новь. — Е. Книпович. Путь народного поэта. — Е. Усиевич. Книга об Исаковском. — Я. Фрид. Мишель Ронде и Этьен Лантье. — В. Панков. Без чувства нового. — С. Марголис. Две повести молодых писателей.	241
<i>История. Международные отношения</i>	
Академик Е. Тарле. Могучий голос борцов за мир. — В. Минаев. Америка без прикрас. — Н. Габинский. Факты из истории Мексики.	265
<i>Право</i>	
Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. Против поджигателей и преступников войны.	272
<i>Техника</i>	
А. Иглицкий. Сталь во имя мира. — А. Морозов. Голос моря.	274

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Сельское хозяйство</i>	279
И. и Л. Крупениковы. Труды виднейшего русского агронома	
<i>Химия</i>	281
А. Буянов. Крупное достижение советской химии.	
<i>Археология</i>	282
Кандидат исторических наук М. Левин. Открытие советских археологов и антропологов.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ. (Апрель—май 1950 года).	285

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Всё, всё у сердца на счету,
Всё стало памятною метой.
Стояло юное в цвету,
Едва с весной расставшись, лето.

Стояла утренняя тишь,
Был смешан с мёдом воздух сочный.
Стекала капельками с крыш
Роса по трубам водосточным.

И рог пастуший в этот час,
И первый ранний запах сена —
Всё, всё на памяти у нас,
Всё до подробностей бесценно.

Как долго непросохший сад
Держал прохладный сумрак тени.
Как затевался хор скворчат —
Весны вчерашней поколенья.

Как где-то радио в дому
В июньский этот день вступало
Ещё не с тем, о чём ему
Вещать России предстояло.

Как у столиц и деревень
Текло в труде начало суток.
Как мы теряли этот день
И мир — минуту за минутой.

Как мы вступали за черту,
Где труд иной нам был назначен.
Всё, всё у мира на счету —
И счёт доньне не оплачен.

Мы там простились с мирным днём,
И нам в огне страды убойной
От горькой памяти о нём
Четыре года было больно.

Нам так же больно и теперь,
Когда опять наш день в расцвете,

Всей болью горестных потерь,
Что не вернуть ничем на свете.

У нас в сердцах она жива,
И довоенной нашей были
Мы даже в пору торжества
Не разлюбили, не забыли...

Не отступили ни на пядь
От нашей заповеди мира:
Не даст солгать вдова иль мать,
Чьи души горе надломило.

Наш гордый подвиг в дни войны,
Живых и павших братьев слава,
И всё, в чём мы воплощены, —
На мир святое наше право.

Могучей сталинской семье,
Нам враг — кто б ни был он — не страшен.
Гвардейцы мира на земле,
У мира мы стоим на страже.

Во имя счастья всех людей
Полны мы воли непреклонной —
В годах, в веках сберечь наш день,
Наш мирный день, июнь зелёный.



ЛЮБОВЬ КАБО
★
ЗА ДНЕСТРОМ

Роман

Часть вторая*

1. Марица

Сашко жадно искал встречи с Марицей. Он был не из тех, кто молча подавляет оскорблённое чувство, кто отступает с достоинством, с гордо вскинутой головой — в нём никогда и ничто не пергорало внутри. Сейчас, с наслаждением отдаваясь недоброму мстительному чувству, он страстно шептал, больно стискивая пальцы Марицы: — На что польстилась, мэй? За сколько купили такую красивенькую?

Марица отворачивалась и молчала. В тонком луче света, пробивающемся на крыльцо из-под полуотворенной ставни, с трудом можно было разглядеть выражение её лица. Она плакала. Она плакала как-то странно, без слёз, глядя в темноту сухими, остановившимися глазами. У неё подгибались колени, она дрожала. Ей больше всего хотелось опуститься тут же у крыльца, на землю, прижаться лицом к его ногам, охватить их, заставить его замолчать, зарыдать так откровенно, так громко, словно на всём свете нет никого, кроме Сашко и Марицы.

Как нетерпелось Марице приехать сюда, в Левкауцы, ближе к Сашко! Она и не подозревала тогда, три недели назад, какие мучения принесёт ей эта близость. Каждый день видеть его — далёкого, увлечённого какими-то своими, неведомыми ей делами. Каждую минуту сознавать, что всё потеряно — и вновь на что-то надеяться; холодеть от внезапной обиды — и вновь терзаться раскаяньем. И ревностью. Ревностью, потому что Марица не забыла небрежную шутку Мунтяна: «В учительку советскую влюбился...» С ужасом, с отчаяньем прислушивалась сейчас Марица к голосу Сашко. Всё кончилось, всё! Что он там говорит об измене, о нарушенном слове! Женское сердце не обманешь... Он любит другую. Он даже выслушать ничего не хочет.

Марица вырвала из рук Сашко свои холодные пальцы и, закрывая лицо, со стоном припадая головой к перилам, бросилась вверх по мокрому, скользким ступенькам.

Оставшись одна, Марица дала волю своему горю. Рыдания с силой вырвались из её груди, потрясли её тело. Косы упали на колени, заплаканное лицо прижалось к жёсткому плюшу кушетки.

Заболотный до утра уехал в Липницу, впервые за столько дней Марица была предоставлена себе. Постепенно успокаиваясь, она уныло думала, что же ей делать дальше.

* Окончание. См. «Новый мир» № 5 с. г.

После разрыва с Сашко пребывание в Левкауцах теряло всякий смысл. Чем кончится, в конце концов, эта связь с Заболотным, против которой восставала вся врождённая порядочность Марицы? Замужеством? Но Заболотный, охотно и увлечённо рассказывавший Марице о своих встречах с женщинами, уделял жене, оставленной в Кагуле, совсем не последнее место в этих воспоминаниях, называл жену «Шуриком», говорил о ней, умилённо улыбаясь; он, видимо, и не собирался разводиться с женой. Гордость Марицы страдала, хотя ей было, в сущности, всё равно. Всё равно потому, что не эту голову хотела она прижимать к груди, не в эти глаза заглядывать, не это имя шептала она ночами...

Марица вздрогнула, удивлённо подняла голову. В дверь кто-то стучался, осторожно, неуверенно.

— Кто там?

Отозвался девичий голос. Марица растерялась, заметалась по комнате:

— Подождите минуточку...

Девушки, жившие за стеной, не заходили к ней, чуждались её — может быть, презирали? Или стеснялись Заболотного? Как давно уже хотелось Марице услышать этот тихий неуверенный стук в дверь. Одна и одна! Как ни странно это казалось самой Марице, но она завидовала сверстницам. Она завидовала их жизни с шумными спорами, с добросовестным, промким заучиванием уроков, завидовала тому откровенному веселью, которое поднималось за стеной, когда в гости к девочкам приходили мальчишки. Когда после учебного дня девичий дормитор наполнялся звонкими голосами, Марица затихала, прислушивалась; на лице её невольно застывала открытая, заинтересованная улыбка.

Девушки между тем и не думали осуждать Марицу. Очень красивая, она казалась им неприступной, гордой. О ней говорили с тем доброжелательным пристрастием, в котором было больше всего любопытства. Почти все сходились на том мнении, что каждый человек сам решает, как ему лучше.

— А что, вы не польстились бы? — говорила рассудительная, практичная Зина Мыца. — Отличка-то какая..

Когда в этот вечер из-за наглухо закрытой, задвинутой шкафом двери донеслись рыдания Марицы, девушки недоуменно переглянулись.

— Может, бьёт он её? — неуверенно предположила Пачика.

— Его дома нет, — возразила Аникуца и, помедлив, встала. — А что, пойду я до неё, девочки? Как же так, человек плачет...

Другие заспорили. Да разве можно, да где это видано — в чужую жизнь вмешиваться? Как-нибудь они и сами разберутся промеж себя...

Аня молчаливо собирала тетрадки.

— Ни во что я не буду мешаться, — упрямо сказала она. — Я к ней уроки учить попрошусь. А что? Я, может, глохну тут от вашего шума...

И вот Аня стоит на пороге перед растерянной, заплаканной Марицей и смущённо потирает лоб тыльной стороной ладони.

— Или нельзя у вас посидеть? — спрашивает она. — У нас девочки такие шумные.

Марица торопливо закивала головой. Очищая место за столом, сказала:

— Я всё одна, одна... Вам бы давно зайти.

Обе неловко замолчали. Аня раскрыла на пустынном письменном столе Заболотного конторскую книгу, в которой записывала лекции, и украдкой, с возрастающим чувством симпатии продолжала разглядывать милое, печальное лицо этой незнакомой девушки, склонившейся над

каким-то шитьём. Оф, какая красивенькая! Недаром мальчишки столько говорят о ней, и все, как будто бы невзначай, ходят мимо окон бывшего директорского дома. Что она тут делает, зачем живёт? Неужели любит Заболотного? Девочки говорят — что ж такого, он человек влиятельный. Аня всегда возмущалась — нельзя, нехорошо так говорить, нельзя жить вместе без любви.

Поймав участливый взгляд Аникуцы, Марица выжидательно опустила шитьё на колени.

— Вы плакали, да? — тихо спросила Аня.

Марица потупилась, покачала головой:

— Не надо...

Она терялась, она не знала, как говорить с этой безотчётно симпатичной ей девочкой. Вон она какая — серьёзная, бесхитростная, простая. Эту девочку, наверное, и поцеловать-то ещё никто не осмелился, а она, Марица... Зябко передёрнула плечами, с подавленным вздохом тронула лежащую на столе книжку:

— Про что у вас тут пишут, скажите...

Аня с готовностью отозвалась:

— Хотите вместе читать? Я вот, минуту подождите, сейчас эти упражнения окончу.

Книжку Аня попросила у советских учителей, чтоб практиковаться на свободе в русском языке. Книжка была тоненькая, печать крупная, на каждой странице — картинки, на обложке — профиль русского поэта. Аня одолевала её с трудом, подолгу останавливаясь на непонятных словах. Марица напряжённо вслушивалась — она по-русски понимала не всё. Девушки уже пересели на широкую кровать Заболотного, сбросив башмаки, поджав босые ноги, прижались друг к другу. А книжка будто за руку взяла, повела за собой. Забылось всё — распахнулись душистые украинские степи, заструились в лунном свете придорожные тополя, поплыли спящие, точно заколдованные сады.

...Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.

Марица вздохнула, подёрнула Аникуцу за рукав. Отвернув сердитос, несчастное лицо, умоляюще шепнула:

— Прочти здесь ещё раз, пожалуйста...

Аникуца читает. Удивлённо оглянувшись на отодвинувшуюся Марицу, ещё раз повторяет последние слова.

— Ну, дальше, дальше... — с непонятным раздражением торопит Марица, попрежнему отворачивая замкнувшееся лицо.

...Ты прелесть нежную стыда
В своём утратила паденье...

...Когда книжка была закрыта — обе долго молчали.

— Вот, — тихо вздохнула Марица и доверчиво потянулась к подружке. — Я думала — книжки так только, забава одна. Будем всегда читать, Аникуца, ладно?

— А Никита Фёдорович приедет? — усомнилась Аня. Марица потемнела, ничего не ответила.

Уже лёжа в постели, сухими глазами глядя в потолок, повторяла настойчиво, тоскливо:

...Мария, бедная Мария...

Заболотный приехал наутро возбуждённый, радостный. Проходя в ванную, грубовато и весело тронул прижавшуюся к стене Марицу. Марица отвела его руку. Она не спускала с него испуганного и решительного взгляда.

Заболотный не узнавал Марицу. Она, как в тот первый вечер, отстранялась от него медленно, но с непонятной настойчивостью. В этом была своеобразная прелесть. Но когда он с силою притянул её к себе на колени и Марица закричала и укусила его, Заболотный рассердился. А она опять, всё так же молча, прижавшись к стене, глядела на него настрожёнными, блестящими, как у загнанного зверька, глазами.

— Что случилось? — хрипло спросил Заболотный. — Ты что же, не любишь больше?

Он искренно недоумевал. Он был сейчас похож на ребёнка, у которого неожиданно отняли любимую игрушку. Марица осторожно вышла из угла, под села к нему. Сказала тихо, чуть дрогнувшим голосом:

— Пожалейте меня, дому...

— О, господи... — только вздохнул Заболотный и сбросил её руку со своего плеча.

2. На поле боя

Мне и Ване Ведешу поручена важная и сложная работа: мы отвечаем за выпуск нашей еженедельной стенной газеты «Новая жизнь». Когда члены редколлегии торжественно несут, держа за уголки, свежий номер «Вьяца нова» из главного корпуса в суфражерии, их уже во дворе окружает быстро растущая любопытная толпа.

— Дацэ друм! Дорогу! — не поворачивая головы, важно покрикивает Ведеш.

Члены редколлегии не торопятся уходить от вывешенной газеты: с притворным безразличием они вглядываются в выражение лиц и ревниво прислушиваются к разговорам. Если газету читают равнодушно, молча, если быстро отходят — мы разочарованно переглядываемся. Нам надо, чтобы около газеты звучал смех, злая шутка, кипели споры, нам надо, чтоб газета жила вместе с коллективом его напряжённой жизнью, чтобы шла с ним в ногу — и, пожалуй, немного впереди. А достичь этого очень трудно.

Здесь и прежде издавались рукописные журналы. В юношах развивали, как говорит Чеботарь, чувство собственного достоинства, умение логически выражать свои мысли. Статьи поручались лучшим ученикам, были они отменно длинные, нравоучительные, холодные — и, конечно, аполитичные.

Старые традиции изживаются с трудом. По вечерам мы засиживаемся в учительской над очередным номером стенгазеты, и Ваня Ведеш переводит мне поданные во «Вьяца нова» статьи. Голос его звучит монотонно, дремотно; он то и дело понимающе поглядывает на меня. Чего тут только нет! На целый столбец — о пользе ветеринарного дела, ещё на столбец — о сознательности, на полтора столбца — «Наука как таковая» за авторитетной подписью Скутаря...

— Что ж ты, Ваня, смотрел, — я откладываю статьи в сторону, одну за другой. — Зачем нам эти диссертации?

Скутарь находится тут же. Он постукивает по столу пальцами, на его лице выражение оскорблённого достоинства. Чуть поодаль, расстроенный, отвернулся к окну Илья Сашко. Его стихи тоже только что были возвращены, а Сашко не привык и не считает нужным подавлять и скрывать свои чувства.

Сделать газету боевой, целеустремленной — непростая задача для редактора, когда с одной стороны противостоит самолюбие молодых авторов, обидчиво отстаивающих каждое своё слово, не всегда умное и не всегда сказанное кстати, а с другой стороны — «нерушимые принципы» соредактора, учителя родного языка Авдия Георгиевича Чеботаря, те самые принципы, которые были взлелеяны в казённых школьных журналах, — он их отстаивает мелочно и обидчиво. Попробуйте возражать Чеботарю! Он пожимет плечами, раздражённо фыркнет: делайте, как хотите, конечно. Разве вы с нашим мнением будете считаться?

— Не буду я больше работать, — неожиданно говорит Сашко. — Гата, будет, ухажу из редколлегии!..

Ребята с интересом оглядываются на него. Сашко берётся за картуз, но вместо того, чтобы надеть на голову, бьёт им себя по колену.

— Не могу я так работать, — продолжает он, ни на кого не глядя. — Говорили вы, Вера Михайловна, о свободе критики? Ещё в самый первый раз говорили, помните? Где она, эта свобода критики? Только вы тут одна и распоряжаетесь — то переделать, то вычеркнуть, то не принимать! Вот Скутарю отказываете... Мои стихи про девчат не пропустили. Почему вы моих стихов не пропустили? Что, в самом деле! Или пусть каждый что хочет пишет, или мы все уйдём! Мэй, боець, к чертям такую работу!

— Илья, ты в уме? — осторожно спрашивает Ведеш.

Ребята исподтишка следят за мной насторожёнными глазами. Я молчу.

— Что мы — начальников над собой не видели? — Сашко совсем уже разошёлся. — Мы и раньше работали так же.

Ребята глядят на меня и ждут. Молчание, напряжённая тишина.

— Вы и раньше работали так же? Ты, Илья, думаешь, что говоришь? — медленно переспрашиваю я. — Вам и раньше когда-нибудь говорили: привыкайте, ребята, быть хозяевами в своей республике, учитесь относиться к каждому делу по-хозяйски? Так с вами разговаривали когда-нибудь раньше? — Я обращаюсь не к Сашко, я и не глядя на него чувствую, что он сейчас, не поднимая глаз, самолюбиво хмурится; я обращаюсь ко всем, смотрю в лицо встревоженному Мите Гуцуляку. — Самокритика! Вам говорили и говорят: входите, ребята, во все мелочи нашей школьной жизни, показывайте значение происходящих перемен, показывайте борьбу нового со старым, боритесь за это новое. Критика должна быть принципиальной. Наша газета должна коллектив воспитывать, а вы... Ты, Сашко, например, — оборачиваюсь я к Сашко, — ты, Сашко, пишешь грубые, оскорбительные стихи про девчат — ты бы лучше подумал, как их в общественную жизнь втянуть; они у нас всё ещё в стороне, а ты их хочешь вовсе от коллектива оттолкнуть? Ты меня, Илья, прости — мелко, неумно ты себя ведёшь сейчас. И вредно. Для общего нашего дела вредно...

Сашко исподлобья взглядывает на меня и молчит.

— Будем говорить прямо: какие вы помощники? Каждый из вас интересуется только собственной персоной, а до общей нашей работы никому дела нет. Вам такой важный участок доверили — школьную печать, а вы пустяками занимаетесь, личные счёты сводите, грошовую образованность показываете... Ведеш, ты переведи Скутарю...

— Я понимаю, — неохотно цедит сквозь зубы Скутарь.

В эту самую минуту в учительскую заглядывает Чеботарь. «Вы и раньше работали так же? — зло думаю я. — Вот я сейчас покажу вам, как вы работали раньше».

— Авдий Георгиевич! Зайдите, пожалуйста, очень вас просим... Тут такой разговор...

Чеботарь неохотно входит, тяжёлый и насупленный, не глядя на ребят:

— Слушаю.

— Видите ли, мы обсуждаем принципы нашей работы...

Я передаю Чеботарю жалобы ребят, осторожно припоминаю — «а помните, мы с вами говорили, Авдий Георгиевич»... добросовестно пересказываю все наши с ним разногласия, все споры. Ребята настораживаются — о многом они и не подозревали. Может, они впервые начинают понимать, какая острая, какая непримиримая борьба идёт этажом выше, среди педагогов.

— ...Я уже изложила ребятам свои соображения, может быть, Авдий Георгиевич, вы с ними поделитесь своими?

Чеботарь отвечает, как всегда — значительно, веско, безапелляционно. Он не будет скрывать — его шокирует самая постановка вопроса. Объясняться — с кем, с какой стати? Пусть мальчишки выбирают для своих статей какие-нибудь отвлечённые темы — приобретают вкус к публичным выступлениям, привыкают строить законченные логические конструкции. Что развивает в них эта погоня за событиями дня, которую от них теперь требуют, — нездоровый азарт, излишнюю самоуверенность, апломб? Это развращает мальчиков — от них слишком многого ждут, на них слишком много возлагают. Разве некому за них подумать?..

Ребята хмурятся — о, они уже глотнули другого воздуха! Они только что слышали гневную речь советского педагога. Так можно сердиться лишь на людей, в которых видишь равных себе, от которых ждёшь понимания и поддержки. Сколько уважения к их личности в каждом требовании советских педагогов и сколько пренебрежения к ним — не только в словах Чеботаря, в самом тоне его, в этом раздражённом, холодном взгляде!

— Они забывают своё место, разве вы не видите? — продолжает Чеботарь. — Они и вам ещё сядут на голову, Вера Михайловна, уверяю вас... Впрочем, вы все, кажется, только того и добиваетесь...

Чеботарь разводит руками.

— Может, вы боитесь за свой авторитет, домну? — тихо спрашивает Сашко и вдруг бледнеет.

— Я всегда был педагог достаточно авторитетный, — жёстко отвечает Чеботарь и косо поглядывает на ребят. Навстречу ему зывают расширенные, злые глаза Ведеша: «Мы уже не те люди, домну Чеботарь... С нами тоже надо считаться!»

Чеботарь, не дожидаясь возражений, покидает учительскую в напряжённой, недоброй тишине. Чувствует ли он, как сильно пошатнулся в глазах ребят его авторитет за последние пятнадцать минут. Пусть. Пусть Чеботарь сам бережёт свой авторитет, как умеет, а мы боремся за молодёжь Советской Молдавии. В сосредоточенных, задумавшихся лицах левкауцких хлопцев, в их затянувшемся молчании я чувствую: победа, победа!

Вечером на пороге нашей комнаты появляется Георгий Рошка и жизнерадостно сообщает:

— Я хóчу — учить — морфолёгия...

Ему гостеприимно предлагают табуретку, но он не садится. Живые глаза Рошки сверкают:

— Мы — все — хóчем — учить — русская — морфолёгия!

На дворе грязно, мокро. Около нашего крыльца по тонкому слою снега, как кляксы на чистой бумаге, чёрные разводы следов. Комната постепенно заполняется, ребята цветут улыбками.

— Буна сеаре, боець!¹ — отвечаем мы на приветствия.

— Вот,— говорит Ваня Ведеш и тянется с тетрадкой из-за стола,— очень трудные для нас эти безударные...

После того как сложные упражнения разъяснены, ребята застенчиво просят:

— И алжэбру...

Это значит, что надо помочь и по алгебре. Алгебру за недостатком кадров преподаёт сын Чеботаря Анатолий, девятнадцатилетний юнец с подвитыми кудрями и с мелочным, легко уязвимым самолюбием. Те, кому противно тешить это непомерно раздутое самолюбие, всегда рискуют получить неудовлетворительную оценку. А неудовлетворительная оценка — это не только моральный фактор; это, прежде всего, фактор материальный — стипендию у нас получают только успевающие ученики.

Изо дня в день Клава и я упорно штудируем Киселёва. Мы должны быть готовы прийти на помощь по любому предмету. Это тоже борьба за нашу советскую правду. Что будет, если лишатся стипендии Димитрий Гуцуляк, Васенька Макаровский, Иван Плечинта? Не поможем мы — и из техникума отсеются в первую очередь дети бедняков. Какой-нибудь глодянский или роменкауцкий папаша в ответ на сыновнюю просьбу выслать денег приедет, наконец, в школу сам, стегнёт вожжэй приунывшего сына, когда тот покорно полезет в каруцу, и хорошо ещё, если не рунёт всердцах советскую власть, выезжая из школьных ворот. Приходится бороться за каждого человека,— а как же иначе? На каждого из них уже столько сил положено, столько сердца! Вот за эту никогда не иссякаемую в сердце любовь, за вечное горение молодости, за стремительную, открытую дружбу, неизменно получаемую в ответ,— будь благословенно преподавательское дело, наше скромное и высокое ремесло!

Вечером ребята всей толпой повели меня к хмуро сидящему в стороне Котою:

— Вот, уходить собирается...

Котогой упрямо нагнул голову:

— Уйду, агрономом буду, деньги будут...

— Женится,— веселятся ребята.

Котогой молчит, глядя в сторону.

— Семён, неужели это правда? Хочешь недоучкой остаться? Трудностей испугался? Лёгкой жизни ищешь?

— О, Котогой богатый будет... — посмеиваются кругом. — У него невеста в Глодьянах...

Котогой неожиданно вскакивает, насмешников будто воздушной гол-ной отбрасывает в стороны. Георгий Рошка, тараша смеющиеся глаза, торопливо крестит себе живот.

— Будет вам,— сержусь я. — Семён, давай говорить серьёзно.

— Ничего я говорить не буду,— садясь на место, угрюмо предупреждает Котогой. — Есть у меня причина, я и ухожу, а какая — пусть я один знаю. И лёгкой жизни я не ищу, неправда...

Наконец он неохотно признаётся:

— Как я предметы запустил, пока болел, вы знаете? У меня ни физика, ни алгебра не идёт. Что я — им насмех буду сидеть?

¹ Добрый вечер, ребята.

Верно он назвал причину своего ухода или неверно — реакция может быть только одна: нужна помощь. Котогой смотрит недоверчиво, боясь обнаружить радость. Ко всеобщему шумному удовольствию мы пишем договор: «Я, Семён Котогой, обязуюсь иметь такие-то и такие-то от-метки; я, Вера Михайловна, обязуюсь помочь Котогою в том-то и том-то»... Письменного договора, может быть, и не надо было, но так интересней. Подобревший, польщённый Котогой, отчаянно крикнув, выводит под договором старательную корявую подпись. И мы, разойдясь, ещё долго радостно улыбаемся.

После длинного рабочего дня Клава терпеливо спрягает:

— Ной лукрем, вой лукрэць, ей лукрэм...¹

«Профессёр» Клавы по молдавскому языку Венямин Голя с улыбкой поправляет её:

— Ну ашá, ну ашá, Клавдия Алексеевна! Доамневоастре грешниц...²

— Ундей грешала, ундей?³ — горячо возражает Клава, пытаясь подсмотреть в тетрадку. — Ты сам вчера так говорил!..

— Нет, нет, не говорил, Клавдия Алексеевна, — с видимым удовольствием настаивает Голя. — Вы не имеете внимания... — Его ребячливая физиономия при этих строгих словах расплывается в улыбке, — не имете внимания, некрасиво так, некрасиво!..

В это же время я отвечаю в учительской урок своему «профессёру» Илье Сашко.

Сгрудившиеся вокруг ребята переглядываются между собой:

— О, Вера Михайловна сегодня получит «отлично»!

Сашко жаждет популярности, как воды в знойный полдень. Поэтому он важно постукивает карандашиком и говорит по-профессорски строго:

— Так, неплохо. Ну, а помнит ли доамневоастре старое, например: «У меня в кармане гвоздь»...

О, ещё бы! Это же наш коронный номер. Я усаживаюсь поудобнее:

— Треабе ера сеаре, дефакут ера нимик...⁴

Ребята изнемогают от удовольствия. Сашко оглядывает их торжествующе и лукаво, а когда я дохожу до слов «А у нас в квартире кошка родила вчера котят» — они раздражаются хохотом. И громче всех хочет сам Сашко, подбирая рукавом текущие по щекам слёзы.

— Вы имеете прекрасного преподавателя... — отдуваясь, солидно говорит Мунтян.

Они по-детски радуются, что мы уважаем и хотим знать их язык. Им очень лестно, что и они нас могут научить чему-нибудь, и делают они это тепло и ласково. Когда на уроках мы начинаем строить отчаянно длинные предложения на мало знакомом нам языке, они следят за этим процессом внимательно и озабоченно, и каждую минуту готовы прийти на помощь.

— Ну ашá, — мягко доносится иногда из рядов, — не фрумос — фрумоасе⁵.

Однажды в эту дружелюбную, жизнерадостную атмосферу взаимного обучения попадает Евгений Николаевич. Он сидит в углу класса, обхватив колено, с понимающим видом покачивая головой. Собственно, он ничего не понимает. Безукоризненно воспитанный человек, он тщательно

¹ Мы работаем, вы работаете, они работают...

² Не так, не так, Клавдия Алексеевна! Вы ошибаетесь...

³ Где ошибка, где?

⁴ «Дело было вечером, делать было нечего...» (Стихи С. Михалкова).

⁵ Ну, ашá — не так; фрумоасе — красиво.

пытается скрыть за любезной улыбкой своё недоумение. Прежде всего — он не может понять тему урока. Речь идёт о русском фольклоре, о сказках. При чём тут архитектурное оформление Москвы?

— ...или вот, например, избушка на курьих ножках, — говорю я, подходя к доске. — Ла тимпул ачеаста¹ этот сказочный образ получает новый смысл. Смотрите сюда, — я рисую на доске, — это улица Горького — очень большая, центральная улица. Посмотрите. Видите, как была раньше неудобна для проезда эта кривая улица. С помощью московских инженеров эти дома передвинулись будто на ножках — ин уна парте (на доске появляются стрелы), эти — ин альте парте².

Ведеш встаёт переводить, Плечинта нетерпеливо оглядывается на него:

— Не надо, понятно...

— Не надо? — не в силах сдержать я невольную, торжествующую улыбку. — Правда, не надо? Вот здорово!

После урока заведующий учебной частью Евгений Николаевич записывает в заведённую им специальную тетрадь: «Урок литературы. Учащиеся очень удовлетворены тем, что преподавательница пыталась изъясняться на их родном языке». Это всё, весь отзыв? Вот и у Клавы такой же... О других преподавателях — о Чеботаре, о Гроссу, о Марии Михайловне Стучевский пишет пространные панегирики. Толю Чеботаря он расхвалил за «чуткий подход к учащимся» и «изумительное, несмотря на молодость, педагогическое мастерство». С возрастающим недоумением перелистываем эту тетрадь...

3. Большая политика

Падает, падает снег, вот уже несколько дней сыплет без перерыва — по окнам засыпал наш левкауцкий техникум, завалил все пути и дороги, оборвал всякую связь с внешним миром. Тихо, глухо. Точно ватным одеялом накрыло с головой. В переполненной учительской среде бела дня темно.

— Никогда не было столько снега, — удивляется Мария Михайловна и обращается к Клаве: — Это вы, наверное, привезли из России такую снежную зиму?

Стучевский оживлённо добавляет:

— В Москве у вас сейчас хорошо, не правда ли? По улицам тройки ездят, с бубенцами...

К завхозу Ионеску приехала жена — густо накрашенная женщина с туго перетянутой талией, крупная, неудержимо стремительная. Зинаида Васильевна по национальности русская, и ей поручили вести русский язык на открывшихся при техникуме рыбоводческих курсах. В учительской она несокрушимо занимает центральные позиции и говорит авторитетно и безапелляционно.

— Смешно, говорят о культуре! Я не понимаю, о какой же культуре может быть речь? В кооперации нет ни иголок, ни ниток, подумать только!

Сейчас Зинаида Васильевна выступает в одной из своих разнообразных ролей. Она попеременно бывает то любящей, самоотверженной матерью, посвятившей всю жизнь своему единственному ребёнку, — и тогда Ионеску-младший, крикливый и безалаберный юнец, убегает в ученический dormитор от её шумной, бесцеремонной опеки; то энергичной, озабоченной хозяйкой — и квартира Ионеску в одно мгновение взды-

¹ В наше время.

² В одну сторону... в другую сторону...

мается дыбом к великому неудовольствию ленивого, тяжёлого на подъём завхоза; то выступает в роли наивной, послушной и кроткой девочки — и муж не в силах отвести от неё очарованного, влюблённого взора. Здесь, в учительской, она изображает женщину образованную и самостоятельную, привыкшую зарабатывать себе на хлеб ещё в годы своей суровой юности.

— Эти рыбоводы,— обращается Зинаида Васильевна к Стучевскому,— они очень старательны, очень прилежны, я этого не буду отрицать, но как они неразвиты! Боже мой, Евгений Николаевич, как они все неразвиты!

— И запущены, невероятно запущены. — Мария Михайловна зябко поёживается у голландской печки. — Вы знаете,— обращается она к Клаве,— у некоторых учеников такие панталоны, ужасно. Вашего Гуцуляка, Клавдия Алексеевна, я уже не вызываю к доске!..

Пётр Николаевич посмеивается. Мария Михайловна смотрит на него укоризненно:

— Да, да, не вызываю к доске. А что вы мне прикажете делать?

— И потом — у них ужасные манеры, вы не находите? — вторит Зинаида Васильевна, оправляя оборочку на низко открытой груди и с лёгким вздохом опуская на стол полные холёные руки,— я имею предложение, домнуле... Я предлагаю за каждый стол в столовой посадить одного преподавателя. Что ж такого, пусть преподаватели обедают вместе с мальчиками. Надо же дать им, наконец, понятие о хорошем тоне.

— А почему бы не посадить одного преподавателя посреди столовой, на возвышение? — деловито предлагаю я. Клава фыркает. Зинаида Васильевна вопросительно оборачивается:

— Пожалуйста?

— Может быть, сначала о посуде позаботимся? — резко говорит Клава. — Что ваш муж думает насчёт посуды? Ребята чай из суповых мисок пьют.

— Боже мой, но ведь нет же в продаже посуды. — Зинаида Васильевна в отчаянии заламывает руки.

— И почему никто из учителей не заходит к ученикам в часы самостоятельных занятий? Не занимается дополнительно, не консультирует, не организует кружков? — с горячностью продолжает Клава.

— Но мне ведь и так приходится работать по шесть часов в сутки, — Чеботарь утомлённо прикрывает глаза. — Я не знаю, чего ещё можно требовать от преподавателя.

Они тщательно оговаривают свои обязанности. Просто удивительно, как твёрдо убеждены эти люди в своём праве на полный покой, на отрешённость от всего, что выходит за пределы их предмета. Эта твёрдая убеждённость иногда гипнотизирует. Иногда Чеботарь кажется лишь усталым, раздражённым и, в сущности, совершенно безобидным скептиком. А Стучевские? На первый взгляд — это радушные, сочувственно приглядывающиеся ко всему новому люди, так старательно преодолевающие всё то, что им толковали о Советском Союзе иллюстрированные журналы королевской Румынии. Порой кажется, что достаточно наших личных усилий — и тёплая волна сочувствия и доброжелательства приближит к нам этих людей. И вдруг какое-нибудь незначительное замечание будто разверзает между нами и ими непреодолимую пропасть.

Все сидят в учительской и ждут Сергея Викторовича, вернувшегося из района. Собрал всех Пётр Николаевич Гроссу. Он бежал через двор, от одной преподавательской квартиры к другой, оживлённый, сияющий.

Подняв тяжёлую гардину в дверях столовой Чеботаря, торопливо раскланивался:

— Авдий Георгиевич, Анатолий Авдиевич, виноват, виноват! Пожалуйста на педсовет, Сергей Викторович просит. Полина Петровна, покорно благодарю, не тревожьтесь, пожалуйста. Понимаете, будем скоро выбирать советскую власть у себя, в Бессарабии...

Авдий Чеботарь хмуро глянул на его восторженно улыбающееся лицо.

— Вы-то чему радуетесь? Не понимаю...

Жена Чеботаря у самовара любезно улыбнулась:

— Вечный ребёнок! Одну чашечку, Пётр Николаевич. С вишнёвым вареньем.

Пётр Николаевич попятился, приложив руку к сердцу.

— Мне ещё к Евгению Николаевичу, к Клавдии Алексеевне... Покорный слуга!

Сергей Викторович входит с мороза, внося с собой в учительскую тонкий, винный запах снега. Глаза его победно сияют, и он больше чем когда-либо похож на мальчишку, который изо всех сил старается казаться взрослым.

— Девушки, не могу не поделиться! — говорит он тихо, опустившись на диван между Клавой и мною. — Моя Наташа диплом защитила, скоро приедет...

Мы радостно поздравляем Сергея Викторовича. В вежливом поклоне приподнимаются другие учителя.

Седов открывает заседание.

— Товарищи! Могу вас поздравить с большой радостью — скоро будем выбирать депутатов в правительство от нас, от Молдавии...

Седов подробно рассказывает о предстоящих выборах, называет фамилии кандидатов в Верховный Совет: Чебан, Владковская.

— Чебан? — Чеботарь с подчёркнутым удивлением поднимает брови. — У нас был эконо́м Чебан — очень тёмная личность... Впрочем, Чебанов в Молдавии много...

— Это замечательно, — говорит Мария Михайловна. — Правда, домнуле? Такое доверие... — Она восторженно оглядывает всех, и Чеботарь хмуро кивает ей головой.

Чеботарь сидит несколько поодаль, отчуждённо и в то же время внимательно прислушиваясь к разговору.

— Говорят, вы большого единодушия добиваетесь на выборах? — осторожно спрашивает он. — Знаете, для буржуазной системы это небывалый, исключительный результат, чтоб депутат проходил голосами восьмидесяти процентов избирателей... Как вы достигаете этого?

— Восьмидесяти? — отвечает Седов. — Нет, Авдий Георгиевич, у нас обычно бывает процент значительно больший. У нас партия выступает в блоке с народом, это много значит.

— И вы думаете, — начинает раздражаться Чеботарь, — что, блокируясь с молдавским народом, тоже соберёте, как минимум, восемьдесят процентов?

— Я в этом убеждён.

— И без всяких репрессий?

— Репрессий? — взгляд Седова холоден, твёрд. — Вы отдаёте себе отчёт, Авдий Георгиевич, что вы говорите?

Чеботарь отворачивается.

— Странно, — пожимает он плечами. — Кто поверит в подобные результаты?

— Авдий Георгиевич, — вспыхивает Мария Михайловна. — Как вы можете?

— Авдий Георгиевич сомневается, это его право, — спокойно говорит Седов. — У кого-нибудь будут ещё вопросы?

— У меня есть предложение, — поднимается Клава. — Внимание, товарищи! Я предлагаю в помощь избирательным комиссиям послать на места наших учеников — агитаторами, активистами...

— наших учеников? — изумляется Стучевский. — Клавдия Алексеевна, позвольте... Они и так загружены учёбой — нет, нет, это недопустимо...

— наших учеников, — повторяет Клава. — Сергей Викторович, что вы скажете? Это замечательная школа — агитационная работа на селе, это будет первый их шаг к комсомолу...

— Я ничего не понимаю в ваших делах, конечно, — говорит Чеботарь, заметно волнуясь, передвигая лежащие перед ним тетради, — в конце концов, с нашим мнением можно и не считаться. Мы конченные люди, так сказать, пропевшие свою песню...

— Говорите прямее, Авдий Георгиевич! — Голос Седова звучит требовательно.

— Я ничего не буду говорить. Вы всё равно сделаете так, как сочтёте нужным. То, что предлагает Клавдия Алексеевна, недопустимо. Я совершенно согласен с Евгением Николаевичем. В конце концов, здесь школа, а не... Я слов не могу найти! Здесь, повторяю, школа. Когда они будут учиться?

— Может быть, действительно это слишком загрузит учеников, — говорит Мария Михайловна.

— А когда ваши ученики, — сдерживая себя, говорит Седов, — когда ваши ученики, Авдий Георгиевич, работали на директора по шесть, по восемь часов в сутки, вы тогда так же болели душой за нарушение учебного процесса?

— Но мы и не нарушаем учебный процесс, — вмешивается Клава. — Вопросы коммунистического воспитания ничуть не менее важны, чем вопросы обучения. Особенно в условиях молодой республики. Мы должны выпустить из техникума не просто специалистов, мы должны выпустить советских людей...

В словах Клавы убеждённая страсть. Её слушают молча, внимательно.

— ...Нет педагогики, оторванной от политики, нет и быть не может! — резко говорит Клава. — Даже когда педагогика уверяет в аполитичности своей — это тоже замаскированная политика; мы взрослые люди, мы это знаем... Как говорит Горький: старый птицелов, я и не видя птицу, прекрасно знаю, какая поёт...

Клаве аплодируют — может быть впервые в истории этой тесной и темноватой учительской.

— вспомните, — продолжает Клава, — выход наших ребят в окрестные сёла в связи с осенней посевной. Надолго ли это отвлекло ребят от учёбы? Они почувствовали ответственность за судьбу своего народа, своей республики — они стали серьёзней учиться. Я буду говорить прямо: они почувствовали себя гражданами в большей степени, чем это хотелось бы кое-кому из присутствующих здесь. Ничего не поделаешь! Мы и впредь будем воспитывать из них граждан. Советских граждан — в этом наша задача...

На лице Петра Николаевича радостная улыбка. Другие учителя тепло кивают: советских граждан, конечно. Задумчиво склонил голову

Стучевожий. Мария Михайловна серьёзно смотрит прямо перед собой, чуть прищурясь.

— Молодчина,— шепчет Сергей Викторович, протягивая Клаве под столом открытую ладонь. — Серьёзно, молодчина... — Он тут же выпрямляется: — Голосуем, товарищи! Поступило предложение — создать для работы с избирателями агитационный коллектив из среды наших учащихся. Правильное предложение, я считаю. Кто за это, прошу поднять руки...

Все голосуют за предложение. Чеботарь, поднимая руку, отворачивается и пожимает плечами. Что нам до него? Жизнь принадлежит нам, она идёт вперёд стремительно, радостно, она не поворачивает вспять... За окнами бесшумно сыплется снег, отрезая нас от внешнего мира. А мы трое чувствуем простёртую через завьюженные поля, сквозь притихшие, полусасыпанные леса могучую руку Советской Родины.

4. В Левкауцы!

Агитколлектив организует Клава. Агитаторы ходят с серьёзными, значительными лицами; к своему выходу в Левкауцы относятся, как к предстоящему сражению, в котором надо всё предусмотреть и заранее рассчитать. У всех заведены по совету Клавы специальные «карнеты» — блокноты, и они вносят туда цифры, заметки, выписки из «Молдова социалистэ».

— Интересные данные, ребята,— говорит Клава, раскрывая последний номер газеты, и собравшиеся в учительской агитаторы тянутся к своим «карнетам»,— в прошлом году на колбасной фабрике в Кишинёве при 10 часах работы обвальщики мяса получали в месяц до 2000 лей— 50 рублей на советские деньги, а сейчас те же рабочие при 8 часах работы получают 212 рублей 50 копеек...

— ...Зарплата увеличилась в 4 раза,— откликается Гриша Гончарюк и, записав, с нажимом ставит точку.

— Зарплата увеличилась в 4 раза,— повторяет Клава. — А рабочий день — сократился...

— А рабочий день сократился..

Однажды в сумерки агитколлектив отправляется, наконец, в Левкауцы.

Быстро наступает декабрьский вечер, тянется он долго, долго... В классах ребята то и дело прислушиваются, не возвращаются ли агитаторы, не слышны ли знакомые голоса.

— Я чего боюсь, Вера Михайловна,— в который раз говорит Митя Гуцуляк,— ну, Сашко — он всегда найдёт что сказать, за того не страшно. А вот Котогой — тот, мэй, скромнее, к примеру. Или как там Петрика наш?

Успех Пети Галецкого, любимца первокурсников, мягкого и скромного, ровного в обращении, особенно волнует ребят. Они заботливо закутали его в дорогу, одели во всё лучшее, надвинули до бровей самую тёплую, самую новую шапку, выпросили у Калараша его красивый праздничный шарф. С первого курса агитаторами назначены только двое — и первокурсники умеют ценить оказанную им честь.

И вот, наконец, за дверью звенит голос Васеньки Макаровского:

— Идут, идут!

Сгрудились, подступили к самому крыльцу тёмные деревья странно углубившегося, неузнаваемого парка. Луна вяло барахтается, выбиться не может из густых взъерошенных облаков. И, подхваченное ветром, издалека, из-за пруда, доносится дружное пение:

Последний вечер,
 Последний поцелуй...
 Всего хорошего, моя любимая!

— Идут, идут!.. — ликуют ребята. — Мунтяна отсюда слышно!..
 Уже близки шаги. Вот они, наши агитаторы, запорошённые снегом, усталые, счастливые...

— Ужин, сначала ужин, — отбивается, пробегая на кухню, Клава. — Как волки голодные!..

— Оф, — тяжело вздыхает кто-то, — они ещё ужинать будут!

Наконец-то они умылись, поели, отогрелись с дороги. В переполненной учительской ораторствует Сашко:

— Они ведь какие — крестьяне эти? Ну, мы им своё рассказываем, про конституцию. Так что тому хозяину конституция — ему чоботы подавай. «На что нам, говорят, все твои права, когда купить нечего»...

В почтительной, выжидательной тишине кто-то сочувственно восклицает:

— Оф, Илья! Ну, а ты? Знал, как ответить?

— Э, — даже не поворачивает головы Илья, — Сашко всегда найдёт что сказать...

— Ладно, Сашко, Петрика как? — сердито вмешивается Гуцуляк. — Мэй, Петрика, где ты?

— Уж нас там хвалили, нас хвалили, — отзывается Алёша Мунтян, притягивая к себе за плечи смущённо улыбающегося Галецкого, — а Петю всех больше. Это такая умная голова, оказывается. Стойте, вы же не знаете ничего...

— Лáсе, лáсе, — перебивает Петя.

— Мэй, боець, — не слушая, оживлённо продолжает Алёша, — вот повезло хлопцу! Сидим мы в сельсовете, ждём его, — все уж кончили, одного Петрики нет. Нет и нет, что будете делать? Я, по правде говоря, больше за шарф Калараша боялся — вот, думаю, беда, отвечать придётся. Глядим — идёт... Да не один идёт-то...

— С девчатами?

— С девчатами. По левую руку — одна, по правую — другая, аж две разом красивенького агитатора с участка провожают. И молоденькие, и хорошенькие — ой, пропал Петя, ой, пропал!.. — Мунтян качает головой.

— Да старье ж, ну... — укоризненно прерывает его Галецкий.

В учительскую входит Сергей Викторович, улыбкой приветствует вскочивших ребят; удерживая Васеньку Макаровского за плечи, садится рядом с ним на диван.

— Ну, рассказывайте...

Притихшие ребята переглядываются, подталкивают друг друга:

— Мэй, Илья, скажи...

— Очень много про войну спрашивают, Сергей Викторович, — охотно откликается Сашко. — Крестьяне наши интересуются — или правда, что война будет, или так, дурные люди брешут?..

— Ну, а ты?

— Что ж, Сергей Викторович! Я говорю — у Советского Союза политика мирная, войны он не хочет и не начнёт — ну, а война всё-таки наверно будет...

— Вот! — торжествующе оглядывает всех Беженарь. — Мэй, Сашко! Ты им как говорил за теи чоботы? Я, знаешь, так и говорил: «военная опасность, можно пока с чоботами и потерпеть»...

Семен Котогой озабоченно вспоминает вслух:

— Мне старик один, сердитый такой, стучит палкой, головой крутит, «голосуй, кричит, не голосуй, всё равно скоро немцы придут...»

— Ого, круто разговаривает! А ты ему что на это, Семён?

Котогой растерянно смотрит в глаза Седову:

— Я? А что ж я? Он себе сказал — и всё...

— Нас с тобой, Ванюша, не было, — самодовольно кивает Ведешу Сашко. — Ты, Семка, одну песню хорошую забыл: «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим...»

— То песня, — упрямо хмурится Котогой.

— Оф, Семён, какой ты человек тяжёлый, — удивляется Сашко. — Стой, я тебе всё расскажу сейчас...

В учительскую, с шумом распахнув дверь, входит Клава. Её встречают радостными возгласами:

— Теперь не страшно! Вот повидите, Клавдия Алексеевна, дальше лучше пойдёт!..

— А что, кажите по правде, Клавдия Алексеевна, — Сашко торжественно оглядывается на товарищей, — молодцы мы ребята?

— Молодцы, а как же? — весело отзывается Клава. — Петя, например. Ходит, ходит вокруг своего участка, никак дверь не найдёт со страха. Хорошо, я подросла во-время.

— Зачем же вы рассказываете? — смеётся Гриша. — Какой вы человек, ай...

Клава подсаживается к столу. Ничего, всё хорошо прошло, Сергей Викторович может быть спокоен. Очень хорошо, например, Илья Сашко отвечал на вопросы о возможной войне, разъяснял, в чём основа непобедимости Советского Союза. Крестьяне остались довольны, прислали таких агитаторов почаще присылать.

— Вы бы это не при нём говорили, — смеётся Сергей Викторович, — он у нас и так хвастунишка...

— Я хвастунишка? — оторопело смотрит Сашко. — Сергей Викторович, я хвастунишка?!

Клава рассказывает дальше. Слушатели очень хвалили Петю Галецкого, Гришу Гончарюка, Васю Беженаря... Котогой — тот растерялся немножко.

— Ничего, — говорит Сергей Викторович. — Он подготовится, почищает. В другой раз лучше будет, ты как думаешь, Котогой?

Семён расстроен, машет рукой.

— Вот старик этот...

И хоть ясно, что не всё ещё в этот раз было удачно, но на агитаторов смотрят с завистью и восхищением. Не скоро ещё утихают по дормиториям возбуждённые голоса.

5. Ваня Ведеш

Ваня Ведеш долго не мог уснуть. Прислушивался к сонному дыханию товарищей, беспокойно ворочался с боку на бок. То, что Ведеш услышал сегодня в селе, потрясло его.

— А что, хлопчик, — сказал Герман Думитру, подозрительно глядя в самое лицо ему беспокойными, глубоко сидящими глазами, — ты вот говоришь «Чебану, Чебану»... А в Плачештах, смотри-ка, не хотят за того Чебана голосовать, там своего выдвигают. С чего бы это? Мы, говорят, того Чебана ещё не видали, а Ведеш — тот наш, другого нам и не надо. Потянул бы и я за того Ведеша: я слышал, справедливый он человек...

— За кого, за кого там голосуют? — задохнувшись, переспросил Ваня.

— За Ведеша, чи как? Да я не знаю. Конюхом, говорят, служил в господарии Лясковского... Я про что говорю-то — может, и нам за того Ведеша потянуть?

Ваня с трудом довёл беседу до конца.

Сейчас, беспокойно ворочаясь на койке, Ваня пытался разобраться в собственных чувствах. Переполняясь бесконечной жалостливой любовью, всё вспоминал тонкую отцовскую шею, большие, покорные, лихорадочно горящие глаза. «Тату, тату, милый, — шептал Ваня, — дожил, наконец-то, до почёта, до настоящей жизни...» «Я бы потянул за того Ведеша, он, говорят, человек справедливый»...

Но всюду висят портреты Чебана, Владковской. Может, самые мысли Вани идут против советского порядка? Почему? Почему, господи? Ну предупреждали их — сорвутся выборы, если каждый потянет за своего депутата, если будет разрушен блок, если Плачешты, предположим, будут голосовать за Ведеша, Лукаши — за Сашко, Левкауцы за кого другого. Это понятно. А если все сёла в округе, какие есть, все потянут за Ведеша? Немножко поагитировать, немножко поговорить с людьми... «Я бы потянул за того Ведеша, он, говорят, человек справедливый...»

Чебан — учёный человек, коммунист, прошёл румынское подполье, а чем отец хуже? Сколько принял унижений, побоев старый конюх Яков Ведеш! Что же, не может он разобраться, где правда, а где неправда — справедливый, честный человек? Разве он не заслужил почёта, этой вот доброй славы?

Воображение понесло, понесло Ваню: сын депутата, сын того самого Ведеша! Ваня задыхался от гордости за отца, ему казалось, что стук крови в его висках может разбудить спящего на соседней койке Котоя.

«Какое хорошее время пришло, — благодарно думал Ваня, — какое хорошее пришло время, если конюх может наравне со всеми управлять государством!» Ване уже чудилось, как все сёла в округе, одно за другим, собираясь на митинги, выкликают только одно имя — Ведеш, Ведеш! И колокольный звон почему-то, и отец на трибуне — кланяется народу, благодарит за честь...

А наутро начались сомнения. Нехватало смелости вернуться к радостным мечтам прошедшей ночи — почему, почему? Что в них плохого? Разве он, Ваня, враг советской власти? Друг! Обласканный, благодарный, навеки признательный друг...

Но что делать, как вести себя дальше? «Что я сомневаюсь? — тут же удивлялся Ваня. — В субботу надо до отца сходить. Надо на месте посмотреть, что и как. Пусть тату сам скажет».

Но проходила одна суббота, другая — Ведеш весь отдался захватившей его работе, учёбе и не мог выбраться домой. Пропустить хотя бы один школьный день, хотя бы один лекционный час казалось ему преступлением. А до Плачешт ведь восемнадцать километров!

Ходить в Левкауцы стало для Вани мучением — он боялся встретиться глазами с Германом Думитру, всё ждал, что он наклонится через стол, как в тот раз, и спросит настойчиво, подозрительно: «А как же, хлопчик, в Плачештах?..» Что он, сын Ведеша, ответит ему на это?

Ваня не выдержал, пошёл к Клавдии Алексеевне:

— А что, — замылся он на пороге, — говорят, в Глодянах своего предлагают, Гаврилюка. Как нам, агитаторам, быть?

— Так ведь говорили же! — удивилась Клавдия Алексеевна. — Что это будет, если одно село потянет за своего депутата, другое — за другого, третье — за третьего, ведь сорвутся выборы, так?

«А если все окрестные сёла потянут за моего отца?» — упрямо подумал Ваня, но ничего не сказал. Говорить с Клавдией Алексеевной на эту тему было бесполезно: она ведь не знала Якова Ведеша.

Однажды Ваню остановил Гриша Гончарюк, озабоченно сказал:

— Говорят, какой-то Ведеш дал согласие баллотироваться по Плачештам. То не отец твой? Смотри, сорвёт он нам выборы...

— Нет, почему сорвёт? — смутился Ваня. Тут же спохватился. — То не отец, с чего ты взял? Так, сродный.

Гриша озабоченно щёлкнул языком, недоверчиво глянул на Ведеша, отошёл. «Ох, нехорошо получается, — подумал Ваня. — Запустил очень. В это же воскресенье пойду до отца в Плачешты...»

Но случилось иначе, Ваня не стал дожидаться воскресенья.

Ведеш и Костик Прозоровский сидели на лавке у школьных ворот, когда увидели торопливо приближающегося Морей. Лицо его было взволнованно.

Мальчики поднялись, сдёрнули шапки.

Тяжело опустившись на лавку, Морей глядел на стоящих перед ним юношей.

— Ага, Ведеш, ты же агитатор?.. Садитесь, хлопцы, шапки наденьте, простудитесь. Так вот я к вам, агитаторам... Дело, дорогие мои, получается некрасивое...

Ведеш сидел почтительно-скромно, его лицо изображало сочувственный интерес. А сердце беспокойно стучало: «Вот... начинается... узнал!»

Морей и не мог бы заметить его беспокойства — он сам был слишком взволнован.

— Понимаешь, приходят ко мне сейчас крестьяне — Герман Думитру, Ефтимий Лаю...

— Мои! — заметил Ведеш.

— Твои? — оживился Морей. — Тем лучше, тем лучше... Думитру, Лаю, ещё кто-то... Приходят: так и так, домну Морей, не согласитесь ли баллотироваться по нашему округу депутатом...

У Ведеша от волнения пересохло горло. Истина открывалась ему сразу, и именно потому, что это была неоспоримая истина, ему казалось, что она давно уже была с ним, а не пришла внезапно. Он быстро овладел собою, спросил рассеянно, думая о другом:

— А вы, домну?

Морей взглянул коротко:

— Ясное дело, отказался. Тут другое неясно — я всё думаю, чьих это рук дело, эта провокация?

Ведеш мысленно согласился: провокация, конечно же... Как он сразу не догадался!

Прозоровский взглянул на Ведеша. Провокация? Из торопливого разговора, который вёлся по-русски, Прозоровский понял далеко не всё. Что случилось? О чём, как с равным, может беседовать с его другом домну Морей?

— И ведь какой иезуитский расчёт, — возмущённо продолжал между тем Морей, — мы, дескать, не против советской власти, сохрани бог! Мы за неё, это она дала нам право выдвигать в правительство людей из народа. Вот и будем выдвигать — каждое село своего депутата. И да здравствует советская власть!

«В Левкауцах — Морей, в Плачештах — отца, — мысленно добавил Ваня. — Так и есть — провокация!» Он молчал. Он знал сейчас больше Морей.

Морей порывисто встал.

— Вы не знаете, мальчики, Клавдия Алексеевна у себя? Я, собственно, к ней иду — пусть она вас, агитаторов, подготовит...

«Что нас готовить, — поднимаясь вслед за Мореем, подумал Ведеш. — Мы уже сами, знаете какие?..»

Морей отошёл, приподняв шапку. Прозоровский тронул Ведеша за рукав:

— Что-нибудь случилось, Ваня?

Ведеш рассеянным взглядом скользнул по недоумевающему лицу товарища.

— Понимаешь, Костик, такое дело... с выборами...

Но так и не сказал, какое дело. Отмахнулся, заторопился. Через полчаса он уже быстро шагал по дороге в Плачешты.

6. Личная жизнь Заболотного

Марицу точно подменили — она обнаруживала неизвестно откуда взявшееся упорство. Настойчиво заводила один и тот же наскучивший Заболотному разговор: пусть Никита Фёдорович отпустит её учиться. Она тоже хочет, как все. Заболотный пробовал отшучиваться: «И что тебе вздумалось, вот блажная! Что тебе — фельдшерницей быть захотелось?» Марица стояла на своём. Заболотный урезонивал, сердился — Марица умолкала, на следующий день вновь принималась за своё. Однажды ночью, накинув пальто поверх ночной сорочки, Марица ушла в дормитор к девушкам. Заболотный понял, что дело серьёзно.

Марица пришла на утро ко всему готовая, она ждала упрёков, даже побоев. Она стояла, не решаясь войти, не сводя с Заболотного немигающего, насторожённого взгляда.

Заболотный, полуодетый, взъерошенный, невыспавшийся, сворачивал у окна цыгарку. Обернулся, оглядел её всю.

— А ну, зайди с порога, — чуть дрогнувшим голосом сказал он. — Простудишься ещё босая, чёрт бы тебя побрал совсем.

Так Марица пошла учиться. Она попросилась на зоотехническое отделение — к Аникуце. Аня охотно взялась помочь ей догнать далеко ушедший за три месяца курс. Природные способности, которых Марица в себе до этого и не подозревала, некоторое знание русского языка — всё это помогло Марице двинуться вперёд неожиданно быстро. Целыми днями девушки просиживали за письменным столом Заболотного, склонившись над русской грамматикой, над алгеброй Киселёва, дружно зубрили латинские названия костей и сухожилий. Когда появлялся Заболотный, они пугливо начинали собирать книги.

— Сидите, девчата, вы что? — удивлялся Заболотный. Но они предпочитали уходить в дормитор или в полутёмный переполненный класс.

В классе заниматься было трудно. Появление в их среде такой красивой девушки взбудоражило учеников. Первому зоотехническому «А» завидовали, туда зачастили ученики других курсов, даже старшие, чего никогда не бывало раньше. Они толпились вокруг Аникуцы и Марицы, наперебой предлагая свои услуги. Марица поднимала сердитое лицо:

— Не мешайте заниматься, мальчики...

Все расступаются, когда на горизонте появляются Мунтян и Скутарь — их в последнее время всё чаще видят вместе.

Марица терпится, когда они оба почтительно склоняются над нею, оттирая в сторону других ребят; она доверчиво улыбается на шутку Мунтяна. Но когда они предлагают ей немножко погулять по парку, она спохватывается и, прикрывая конспекты руками, испуганно трясёт головой:

— Нет, нет, мальчики, что вы! Завтра алгебра, физика... Как можно!..

Она учится добросовестно, как и все другие девушки.

Очень уживчивая и податливая, она не чувствует себя ни взрослее, ни опытнее своих подруг. Она целиком живёт их интересами, она настолько увлечена учёбой, настолько озабочена теми сложными задачами, которые ставит перед ней каждый новый день, что с трудом вспоминает по вечерам о необходимости вернуться к Заболотному. Как ни настойчивы, как ни любопытны подруги, Марица никому не рассказывает о своей с ним жизни.

Она идёт к Заболотному равнодушно, спокойно и принуждённо. Никто не замечает, как ревниво следит она во время субботних танцев за мелькающим по залу Сашко, как тоскливо отворачивается, видя смеющееся лицо ни о чём не подозревающей Клавдии Алексеевны. Марица молчит, когда подруги восхищаются весёлой и сердечной директинтой,¹ на всё отзывчивой, всегда готовой помочь. Марица относится к Клавдии Алексеевне насторожённо и отчуждённо.

Заболотный между тем всё чаще задумывался. Учёба Марицы, — он смутно чувствовал это и раньше, а теперь день ото дня всё яснее понимал, — решительно меняла всё. Пока он жил с никому не знакомой, не известно откуда взявшейся девушкой — другим не было до этого дела. Познакомились, полюбили друг друга — кто там начнёт разбираться... Теперь же, как ни верти, он жил со студенткой техникума. Теперь, когда кто-нибудь заставлял их вдвоём, Заболотный тут же отходил от Марицы, становился с нею на людях сух и официален, под тем или иным предлогом отсылал её. Он видел, что Марица уходит охотно, без сожаления, и хмурился, глядя ей вслед. Он не мог не видеть, что Марица очень изменилась за эти дни — она стала независимее, увереннее в себе. В любую минуту она могла оставить его, уйти — как бы он удержал её? Она ещё этого не понимала, Заболотный это понимал прекрасно: он больше не чувствовал своей власти над нею.

Когда в ворота левкаучкового техникума въезжали сани Бахчевана, Заболотный оживлялся. Вот кто был заинтересован в его связи с Марицей, вот кто одним своим присутствием как бы узаконял их союз. Заболотный никогда не забывал, что Бахчеван сам предложил ему Марицу. Как ни был пьян Никита Фёдорович в тот первый вечер знакомства с Бахчеваном, он отчётливо помнил каждый намёк гостеприимного хозяина. Какими соображениями руководствовался этот расчётливый и хитрый крестьянин — это Заболотного интересовало мало. Он твёрдо был убеждён в своём знании людей, непоколебимо уверен, что ещё ни один человек его, Заболотного, не обводил вокруг пальца. Какие бы цели ни преследовал Бахчеван — он, Заболотный, от этого был в прямом выигрыше, остальное его не интересовало.

Может, Бахчеван ждёт от него обещанной мучицы, крупки?.. Э, не на такого напал! Пьяный разговор — одно дело, трезвый расчёт — другое. Школьные фермы всё больше становились для Заболотного делом его самолюбия — Никита Фёдорович был самолюбив. Пока фермы эти шли хорошо, он, управляющий фермами, был значительной, авторитетной персоной — чувством своей значительности Заболотный особенно дорожил. Он был теперь Никитой Фёдоровичем, не тем Никиткой Заболотным, человеком без роду и племени, которого раньше никто и никогда не принимал всерьёз. Ему доверяли советские люди, он самого Седова замещал, когда тот уезжал ненадолго... Доброе расположение кулака Бахчевана не стоило, пожалуй, того, чтоб ради него потерять

¹ Директинга — классный руководитель.

всё это. «Барашка подарить ему, что ли? — думал иногда Заболотный. — А ну его к чёрту, подавится скоро от жадности. Барашка ему! У нас ребят кормить нечем, сами с трудом перебиваемся...»

И Заболотный заботливо подливал вина своему «тестюшке», как он называл Бахчевана, пытаясь извлечь из его присутствия как можно больше пользы для себя. То, что каждый из собеседников считал другого обойдённым и обманутым, придавало их разговорам особую, своеобразную тонкость. Они ослепляли друг друга самыми щедрыми улыбками, с пятой рюмки начинали обниматься и очень хитро, очень значительно подмигивать друг другу. Впрочем, Заболотный хмелел гораздо скорее Бахчевана. Он шумно требовал ещё вина, ещё закусок, и Марица, лёгким движением головы поправляя косы, молча подавала им на стол и то и другое. В ней зрело глухое раздражение, она ни на одну минуту не забывала о том, что Аникуца ждёт её в dormitorio учить уроки, и о том, что завтра физика, а Мария Михайловна обещала её спросить. Она убирала со стола грязную посуду и вновь бралась за книжку. Бахчеван вырывал книжку из её рук, Марица испуганно вскрикивала — это был учебник Марии Михайловны, один на весь техникум. Заболотный ленивым жестом вновь возвращал ей его.

— Ой, портите вы мне дочку, домну, портите... — говорил Бахчеван, следя за Марицей неодобрительным взглядом. — От рук отобьётся, смотрите: девкам вся эта наука ни к чему...

— Пускай учится! — нарочито громко говорил Заболотный. — В Советском Союзе, знаешь, все девчата учёные. А она ничего, она способная, ей учиться надо...

Марица не поворачивала головы.

— Ты ей прикажи, — кричал, хмелея, Заболотный, — ты ей отец, ты прикажи. Она меня любить должна, почему она меня не любит?..

Марица вздохнула, отложив книжку, подсаживалась к Заболотному, выпивала вместе с ним вина, склоняла к его плечу закружившуюся голову. Это успокаивало Заболотного. Он тянулся к Бахчевану через стол, расплёскивая вино, хлопал его по плечу.

— Ты мной доволен, ты тобой доволен, так? Чего мы с тобой не поделили? Выпьем, браток, за мою жену — есть ведь у меня жена, по совести скажу, по правде, — есть. Тут об этом никто не знает, а тебе я скажу. В Кагуле живёт. Ничего женщина, неплохая... Хорошая женщина, а вот жить я с ней не желаю. Не желаю — и всё.

— Правильно, — подхватывал Бахчеван. — Была одна жена, будет другая. Тебе что! Ты ведь у нас какой мужчина — сокол!..

— Не желаю... — Заболотный выпрямлялся во весь рост. — Какая ни есть — не желаю. Завтра же поеду с Марицей запишусь. Кто мне чего скажет?

— Венчаться, домну? — насторожённо подсказывал Бахчеван.

Никита Фёдорович, пошатываясь, махал указательным пальцем перед лицом Бахчевана:

— Ни-ни, это ты брось! Под венец я не пойду, я теперь считай что советский... Мы с Марицей по новому закону запишемся, по советскому — так?

Он охватывал плечи Марицы, крепко целовал её. Марица вырывалась, стыдливо оглядываясь на отца. Отец отводил в сторону хитрые трезвые глаза.

А затем, отодвигая в сторону закуску, выспрашивал «зятя» — не знает он, скоро ли будет в Лукашах Седов? Председатель избирательной комиссии, директор-то? Так, так... Что ж его в такую даль назначили председателем? Конечно, Бахчеван понимает, что Заболот-

ному не докладывают, а всё-таки он к советским-то ближе... Это Заболотному льстило: ну, ближе, а что? Да вопрос маленький — ему, Бахчевану, очень уж руки хотелось бы приложить к общему делу. Конечно, не председателем, какое! Даже не агитатором — что он может сказать крестьянам по своей политической неграмотности? А вот доверенным — это да! Есть ведь у нас на участке доверенные. А то что же это — и Гуйвана привлекли, и Кошуляна, и Сашко Василия — ему, Бахчевану, уж в глаза глядеть людям скоро станет зазорно. Руки прямо горят — поработать для общества, заслужить...

— Вы шепните им, а? Никита Фёдорович, — склонялся он к осоловевшему Заболотному, — за какого они меня там сукина сына считают...

«Ну что он кружит, как тот ворон, что ему надо?» — неприязненно думала Марица, отводя от отца ненавидящие глаза. Она вздыхала облегчённо, когда за Бахчеваном закрывалась дверь. Уложив бормочущего, цепляющегося за неё Заболотного, она прикручивала фитиль в лампе и уходила на весь вечер в девичий dormitorio, к Аникуще.

7. Потревоженное гнездо

Второй вечер продолжается собрание, посвящённое приёму в профсоюз. Вчера приняли Марию Михайловну, Петра Николаевича, нескольких учеников; сегодня Седов, уезжая по избирательным делам в Лукаши, говорил председателю оргбюро Заболотному:

— Продолжайте собрание, Никита Фёдорович, видите, как всё идёт спокойно.

Спокойно!.. Не всё, видно, получается так, как заранее предполагашь — вот уже третий час идёт собрание, а обстановка становится всё более накалённой.

В просторной суфражерии яблоку упасть негде. Присутствуют, кроме учащихся, не только работники техникума, но и все их чады и домочадцы. Лампа «молния» задыхается — пламя то тускнеет, то вспыхивает. Из темноты яркими пятнами выхватены лица Никиты Фёдоровича, огородника Кубова, важно сидящего в президиуме рядом с ним, лицо дяди Миши, выражающее чувство собственного достоинства. Дядя Миша сидит в первом ряду, широко раздвинув колени, сложив на груди руки, и единственный глаз его весело и значительно поглядывает по сторонам: дядю Мишу только что приняли в профсоюз.

— Нельзя его принимать, — жёстко и настойчиво возражал Цивенко. — Он вор. Он кукурузу таскал из школьных запасов.

— Вор? — кричал дядя Миша возмущённо. — Я — вор? Та я бы богат был, як тот кулак, колы бы я воровал! Так что кукуруза, як у меня диты дома голодны да босы сидят. А они, — дрожащим пальцем Миша указывал в сторону Цивенко и Ионеску, — они меня плетью стегали. Да, да, всю спину исполосували, а за что? За что, я спрашиваю? Я — вор! А он — он честный сидит, наел морду на казённом добре...

Звонок председателя призывает дядю Мишу к порядку, но за спиной его слезливым криком заходится Настя:

— Бил, бил! Ой, как они его били, люди добрые. Сапогом ещё, сапогом. Ничого не забулы, ничого, за всё ответите, — и она плачет навзрыд, легонько отмахиваясь рукою: — Та диты же исты хотели, ну, людечки ж добрые...

Дядю Мишу принимают в профсоюз. Теперь он сидит спокойно, важно и ко всему происходящему прислушивается по-хозяйски.

С подчеркнутым почтением все голосуют за доброжелательного, услужливого Михаила Андреевича Бабинского. Он скромно стоит у око-

шечка кухни, сложив под чистым передником руки, и на лице его такое выражение, словно он сейчас заплачет.

— Да, да, работающий человек, очень хороший, — качает головой Стучевский.

Без особых дискуссий принимают Котогоя, Тимофея Тетелю, Плечинту, Митю Гуцуляка. Дядя Миша приподнимается, подмигивая единственным глазом крестнику, и, не слушая председателя, кричит через весь зал:

— Эге, где ты там? Не робей, Думитру! Мы нынче, чуешь, — сила!

На очереди заявление Наги. Низенький, коренастый, плешивый Наги, наш физкультурник, разговорчив и экспансивен. Очень весёлый человек Наги. На лице его застыла постоянная гримаса смеха — гармошкой собраны тщательно выбритые щёки, обнажены длинные зубы. Эта маска с готовностью оборачивается ко всем.

— Фоарте, фоарте симпатик! Фоарте!¹ — восхищённо отзывается он на каждую шутку, тыча указательным пальцем перед собой почти в самое лицо собеседнику. А глаза у него при этом такие, точно он застрелить человека хочет. Крепкие волосатые руки его постоянно спрятаны в карманы кожаного галифе.

Мария Михайловна, как всегда, добросовестно переводит. Наги не помнит родителей, места рождения не знает. Окончил школу при примарии, работал чернорабочим, слесарем, механиком, шофёром. Сейчас преподаёт физкультуру. В партии никакой не состоял.

— Что вы? — удивляется Наги. — Я рабочий человек. Очень тяжело жил, всегда, от самой юности.

— Хороший человек, да, хороший, — покачивает головой Стучевский.

— Есть предложение принять, — возглашает Никита Фёдорович. — Возражения будут?

Прикрываясь рукой, Клава выглядывает из-за слепящей лампы.

— А скажите, Наги, это верно, что вы на учеников замазываетесь? Котогоя даже ударили, например.

Выслушав перевод, Наги весело крутит головой: конечно, нет. Какие странные вопросы ставит ему доамнешоаре!².

— Хорошо, пусть Котогой скажет. Как это было, Котогой?

Длинные зубы Наги всё так же обнажены в развязной, выжидательной улыбке. Он, Наги, готов ко всяким весёлым неожиданностям. А маленькие злые глазки так и сверлят, так и буравят. Котогой неохотно поднимается.

— Ну, как было... Мне домн Стучевский велели расписание написать, я и пошёл с урока физкультуры. А они пришли, начали ругать, ногами топали. Ударили линейкой раза два... Да ну, — неожиданно рассердившись, обрывает себя Котогой, — есть о чём говорить, дело большое!..

Наги, всё так же оскалившись, озирается на нахмурившихся, впившихся в него глазами ребят.

— Так это же шутка была, шутка! — с весёлым недоумением восклицает он. — Переведите, домнуле. Я совсем легонько ударил. Как это? Чуть-чуть.

— Что, Котогой, чуть-чуть? — с лёгкой усмешкой, настойчиво спрашивает Клава.

— Я знаю? — упрямо отвечает Котогой и прибавляет совсем тихо: — Ничего я не хочу говорить, оставьте...

¹ Очень, очень симпатично! Очень!

² До амнешоаре — барышня.

— Хватит, Клавдия Алексеевна, кончай,— сердится Никита Фёдорович.— А, вольтка...

— Пойдите, Наги,— не унимается Клава,— а верно, что вы ребят хаммами и идиотами называете на каждом шагу, угрожаете, говорите: «Я бы вам показал, кабы прежняя власть...»

Наги с холодной яростью взглядывает на неё и вновь раздвигает гармошкой бритые щёки.

— Но это же шутка, всё шутка,— убеждённо отвечает он и даже прижимает кулаки к сердцу.— Я весёлый человек, вы спросите их, я люблю шутку.— Наги кивает головой в сторону ребят.— А они — они сами распушенные, их очень надо ругать, очень...

Ребята отворачиваются и молчат. Как каменная стена, молчат!

— Гончарюк, может быть ты скажешь?

— А что ж я могу сказать за профессора? — медленно говорит Гриша, теребя фуражку, и вдруг краснеет.

— Никто больше выступать не будет? — решительно поднимается Никита Фёдорович.— Есть предложение принять Наги, других предложений нет?

Есть и другое предложение, Клавды: Наги в члены профсоюза не принимать, но её аргументация — непедagogическое отношение к учащимся — не представляется особенно убедительной ни рабочим, ни преподавателям, ни даже, кажется, самим ученикам. Подавляющим большинством голосов весёлый человек Наги принимается в члены профсоюза.

Заявление о приёме кассира Саккара отклоняется — за бывшую принадлежность Саккара к партии кузистов.

— Кузистов? — пугается он.— Царанистов, что вы! Никита Фёдорович, позвольте, я могу засвидетельствовать...

Но на очереди такая колоритная кандидатура, что никто больше не прислушивается к его возмущённому голосу.

— Константин Филиппович Цивенко! — объявляет Никита Фёдорович.

В рядах движение. Тяжёлая фигура поднявшегося Цивенко закрывает собою свет.

— Вот он — вор! — категорически говорит дядя Миша и трясёт головой.— Вор. Казённое имущество воровал, когда уходили румыны...

— Воровал,— спокойно подтверждает Кубов.— Воровал, воровал! Я даже перечислить могу,— и он начинает загибать коричневые, узловатые пальцы: — ульев сорок колод — взял, восемьдесят центнеров муки — взял. Возил в Бельцы продавать сало, сою, шерсть из школьных запасов. Продал пять лошадей...

— Всё врётся! — кричит, теряя самообладание, Цивенко и озирается. Нижняя челюсть его начинает мелко дрожать, красивое лицо принимает отталкивающее, хищное выражение, глаза бегают.— Это всё клевета, всё, никто не поверит. Ты врётся, ты не видел, Кубов!..

Неторопливо поднявшийся Кубов величествен и невозмутим.

— Брынзы вывезено пудов пятнадцать, не меньше,— ровным голосом продолжает он.— Масло на двух телегах везли. Ученики нагружать помогали. Всего отправлено в Бельцы четырнадцать возов всякого добра. А Стучевский,— узловатый палец Кубова, секунду помедлив, обращается в сторону побледневшего Евгения Николаевича, — Стучевский покрывал всё это. Всё покрывал. Они тут, как созетских ждали, — отчётность вдвоём составляли, дня три сидели запершись. Ага, припоминаете! Думаете — дураки вокруг вас, ничего не видят... Мы, рабочие, всё видели, всё подсчитали. Никита Фёдорович, пиши в протокол: и

Стучевский воровать помогал. Рука руку моет. Не знаю уж, что он получил за это укрывательство...

Кто-то коротко ахает. Стучевский оторопело поднимает руки к лицу.

— Как вы можете говорить так, — звенит дрожащий от негодования голосок Юлии Михайловны, — как вы можете говорить так, когда вы сами... Вам Евгений Николаевич столько добра сделал, вы вспомните!..

— Нет уж, ты других не цепляй, — подбоченясь, отделяется от стены жена Кубова. — Ты других не цепляй. Мы ещё не знаем, на какие такие средства ты себе, что ни неделя, новые платья шьёшь!..

Кубов морщится и кидает на жену недовольные взгляды. Юлия Михайловна, уставясь ей в лицо, кричит:

— Ах, какая ты дрянь, дрянь... Да ты вспомни, чьи ты платья донашиваешь...

А в это время овладевший собой Цивенко ведёт наступление на Кубова:

— Когда ты видел четырнадцать возов? Два воза моих личных вещей ехало. Спросите у учеников...

Открыто улыбаясь, он широким движением поворачивается к ребятам:

— Гэй, боецы! Видели вы, вывозил я казённые вещи?

Он сейчас великолепен в этой позе с артистически запрокинутой головой и законченным взмахом руки. Ребят начинает увлекать разыгрывающийся на их глазах спектакль, смелая, развязная, самоуверенная наглость Цивенко.

— Нет, не видали! — весело подмигивая друг другу, хором отвечают они. Отдельные протестующие голоса теряются в дружном гуле.

Цивенко словно дирижирует хорошо слаженным оркестром. На его побледневшем хищном лице откровенное торжество.

— Два воза ехало, ведь верно?

— Два! — дружно отвечают ребята.

Гриша Гончарюк, стиснув обеими руками скамейку, всё ниже опускает голову и ни на кого не смотрит.

— А всё-таки ты вор! — покрывает мальчишеские голоса бас дяди Миши. — Что они там кричат? Ребята Цивенку от когда привыкли бояться! Я всё видел! Не буду молчать, сволочь, всё скажу!

Звонка Никиты Фёдоровича не слышно.

— Закрывайте собрание, — настойчиво шепчет ему Клава, — закрывайте, разве его можно в такой обстановке вести? Тут уж не нам с вами, тут следственным органам разбираться...

Поднятой руки Заболотного не замечает никто, он колотит кулаком по столу, но и этого никто не слышит.

— Кто ещё хоть слово скажет, — кричит он, багровея от натуги и зачем-то потрясая над головой пухлой пачкой заявлений, — кто хоть одно ещё слово скажет — исключим за недисциплинированность из союза!..

Сразу наступает тишина — и в этой тишине собрание ещё раз переносится на завтра.

— ...Я должна знать: правду говорил Кубов или нет? Правду или нет? — почти кричит Мария Михайловна в нарядной столовой Стучевских. Её сухонькое личико бледно и взволнованно.

Из-за спины мужа Юлия Михайловна кидает на сестру умоляющие взгляды.

— Манюся, как ты можешь сомневаться, это обидно, наконец... — тихо говорит она. — Посмотри, Женя едва сидит. Вы поговорите с ним завтра, прошу тебя...

— Но мне нужно только одно слово, — возражает Мария Михайловна, — да или нет? Вы знали, Женя, об этом воровстве или не знали? Почему вы молчите, Женя?..

— Это невыносимо, наконец, — Евгений Николаевич срывает с себя салфетку, встаёт из-за стола. — Юля, скажи ей! Пусть она успокоится, скажи ей — я не вор, до этого я не дошёл ещё... — Губы его кривятся. Пятясь, он нащупывает ручку двери. — Да, да, — кричит он, протягивая вперёд дрожащую руку, — я не взял ни одной казённой булавки, ни одного стакана молока — что бы там ни говорили. Что бы там ни говорили — вы слышите? Передайте мои слова этим новым хозяевам. Пусть приходят, арестовывают: я абсолютно чист перед ними, я ничего не брал...

Он хлопает дверью. Мария Михайловна обнимает бессильно опустившуюся на стул, отвернувшуюся от неё сестру.

— Юличка, прости меня, но какой ты ребёнок! Чтоб быть соучастником преступления, достаточно о нём знать...

— Ну, предположим он знал, — глядя в сторону, говорит Юлия Михайловна. — Маня, я не понимаю, чего ты хочешь? Что Цивенко вор, об этом все знают... Женя был его начальником, пока не пришли советские, они вместе составляли этот акт. Я знаю одно — Женя никогда не сделает подлости, в это ты, по крайней мере, веришь?

— Но у него же на глазах разграбили целый техникум, ты подумай!.. Он честный, он безусловно порядочный человек, но он слабый, наш Женя, ведь слабый, да?

— Он такой добрый... — качает головой Юлия Михайловна, — он так хочет, чтоб всем вокруг было хорошо, чтоб всё было мирно...

Мария Михайловна долго не ложится в этот вечер, расхаживая по столовой, где в углу, за занавеской, стоит её узенькая койка, покрытая белоснежным, туго накрахмаленным покрывалом. Она то и дело останавливается и подносит пальцы к вискам. Она взволнована не только тем, что её зять оказался по бесхарактерности соучастником преступления, она думает о том, какой суровой принципиальности, какой прямоты стала требовать жизнь. Весь этот мир, такой, казалось бы, устойчивый раньше, оказался вдруг точно расколотым надвое. Нет примирения, нет компромиссов, нет равнодушия — Виталий Львович был прав, когда говорил об этом. Жизнь ждёт ответа — с кем вы? По какую сторону расколовшего мир рубежа ваши симпатии, кому вы посвящаете свой труд, с кем вы? Это сегодняшнее профсоюзное собрание — и выразительный, яростный взгляд обнажившего зубы Наги, и это обвинительное слово кучера, и злобно озирающийся по сторонам Цивенко — два мира, два! Цивенко и Стучевский, Цивенко и Стучевский — что между ними общего? Как Женя мог? Неужели он оказался во враждебном лагере? Но с кем же, наконец, сама она? Ах, ей тоже хотелось бы, чтоб всё было мирно! Закрывать глаза, ничего не видеть, не слышать, жить только своей семьёй... Но у неё нет и семьи, у неё нет крыши, которую она могла бы назвать своею, — только вот этот жалкий уголок за чистенькой ситцевой занавеской...

Мария Михайловна вновь заходила по комнате, стараясь подавить поднимающиеся в груди рыдания. Она так стремилась сюда из университета! Как ей было трудно, как ей было одиноко сегодня! Нет, она не хотела прощать, быть беспринципной, не хотела обманывать себя. Не хотела жить иллюзиями. Даже самыми сладкими, даже самыми необходимыми — иллюзией семьи, например...

Мария Михайловна набросила шубку на плечи, откинула дверную щеколду... Уйти куда-нибудь подальше от дома, остаться совсем одной,

заплакать громко, навзрыд, и пусть ни одна душа не узнает об этом.. Мария Михайловна прислушалась: ни звука, лишь скрипит снег под её неровными шагами да прошуршит в нависших ветвях парка вспугнутая ворона.. Нет, так нельзя. О чём она плачет? Одиночество? Но она уже не одинока. У неё есть друг — пусть о дружбе не сказано ни слова. Что сделал бы сейчас этот прямой, благородный человек?

Мария Михайловна остановилась, нежным, рассеянным жестом подняла к лицу муфточку. Виталий Львович.. Что он сделал бы сейчас, к кому бы обратился?..

Мария Михайловна уже не плакала. Она шла медленно, задумчиво. Что она скажет, что? «Простите, я не поняла вот этого места в вашем докладе...» Или: «Знаете, я боюсь, что не справлюсь с учебной программой...» Достаточная ли это причина, чтоб прийти в ночной час к занятию и, наверное, очень усталому человеку?

Заскрипели ступеньки, слишком громко раздался её неуверенный стук. В распахнувшейся двери стоял Седов — спокойный, ничуть не удивлённый.

— Мария Михайловна? Вы ко мне?

Слёзы перехватили Марии Михайловне горло. Она так и не сказала ни одной приготовленной фразы — она разрыдалась. Почему? Ведь она уже сделала выбор, ей было легко, свободно...

8. Работы ещё много

— Труссы, какие труссы! — возмущались мы. — Только жаловаться и ныть мастера, а как до дела дойдёт.. У вас гражданское мужества вот столечко нет..

— А что это — «гражданское мужество»? — простодушно спрашивает Плечинта.

Разъясняешь, что такое гражданское мужество, принципиальность, прямота. Ребята недоверчиво и заворожённо слушают горячие слова о том, каким должен быть советский человек. Они не спорят, не задают вопросов — они вздыхают.

— Эх, Вера Михайловна, — сокрушённо качает головой Тетеля, — нескоро нам ещё придётся советским воздухом дышать. У нас ещё такие есть, э...

Тетеля — признанный пессимист, но иногда мы почти готовы с ним согласиться. Иногда — будто непроходимая пропасть между ребятами и нами.

— Нарисуйте в газете, — весело предлагает редколлегии Илья Сашко, — как Поштарь водой торгует! А что — или про редколлегию нельзя писать?

Поштарь поднимает от газеты лицо:

— Эй, молчи, Илья..

Выясняется, что вчера Шевчук забыл оставить на ночь воды в дормиторах. Поштарь за рубль откомандировал Рошку к проруби за водой.

— Пошёл?

— Ого, — даже удивляется Илья. — Рошка за рубль куда угодно пойдёт.

— Ну, а потом?

— А потом Поштарь этой водой по десять копеек стакан торговал. Сколько выручил, мэй, Поштару?

— Лáсе, лáсе... — посмеивается Поштарь.

Моё возмущение их озадачивает. Что особенного, все так делают. Ну, а Калараш карандаши пятикопеечные по три рубля продаёт? Когда

нет карандашей, так что? Купишь. А Рудой — тот ящик гуталину в техникум притащил. Продаёт по пять рублей баночка. Ребята негодуют — баночка совсем маленькая, раза два башмаки почистить, копеек восемьдесят стоит на базаре. Так где он, базар этот! Честят Рудого по-всякому, и избить собирались — он ни копейки не убавил. Да нет, что вы сердитесь? Вот Сашко — и тот за тридцать копеек на кухню за кипятком бегал. Ведь бегал, Илья?

— Вы что, с ума сошли? — густо, до ушей багровеет Сашко.

В перерыве иду в класс.

— Рудой, у тебя, кажется, гуталин купить можно? Продай мне.

В переполненном, гудящем классе сразу воцаряется тишина. Рудой нехотя, медленно поднимается:

— Гуталин? Нет.

— А, гуталин, — подскакивает Гриша к парте Рудого. — Вот он у него...

— Ну и сколько же стоит такая прелесть? — разглядываю я коробочку.

— Пять рублей! — торжествующе режут столпившиеся вокруг ребята.

Рудой то бледнеет, то краснеет, в растерянных, испуганных его глазах слёзы.

— Эге, пошёл Рудой в прорубь ко дну! — посмеивается Рошка.

— Пошёл, пошёл, — хохочут ребята.

— Ты, Рошка, молчи, ты всех хуже... За копейку душу готов продать! — говорит Гриша Гончарюк.

Рошка удивлённо тарашит смеющиеся глаза. За что, собственно, на него напустились? Ну, ходил за рубль по воду, что же такого? И ещё раз пойдёт, если предложат. Ещё и ещё раз; глядишь, и рубаху новую можно купить — эта уже совсем плохая, по швам трещит.

— О, ведець? Видите? — поднимает он локти.

Говорят, годы нужны на то, чтобы выкорчевать из души эгоизм мелкого собственника, на то, чтоб человек почувствовал и понял великую радость коллектива. Георгий Рошка, удивлённо и снисходительно принимающий наше возмущение, Рудой, с улыбкой младенческого неведения обирающий своих же товарищей, — это же сложнейшая педагогическая проблема. Как подступиться к этой проблеме, как её решить? Мы сидим до поздней ночи, обсуждая, что надо делать.

— Беседы не помогут, что вы? — говорит Клава. — Сергей Викторович, поймите, это же страшно глубоко...

— Ну хорошо, не надо проводить беседы, — соглашается Сергей Викторович таким тоном, что мы с Клавой молчаливо переглядываемся: беседы проводить, конечно, надо.

— Я не верю, — говорит Сергей Викторович поднимаясь, — не верю, что это так глубоко. Ведь это же молодёжь...

— Молодёжь, Сергей Викторович, но...

— Подождите!

Мы терпеливо следим за ним, пока он ходит по нашей комнате, сосредоточенный и строгий.

— «...только если мы научимся сплочению и единому сердцу, — тихо, будто с самим собой говорит Сергей Викторович и останавливается, — мы победим в дальнейшей борьбе и, окрепнув, станем действительно непобедимы». Девушки, где у вас речь Ленина на третьем съезде комсомола? Там одно место есть...

Сергей Викторович берёт книгу, подсаживается к столу.

— Вы что-нибудь придумали, Сергей Викторович?

— Ничего особенного, обыкновенное заседание учкома..

Обыкновенные заседания учкома! Точно вежи, отмечающие пройденный нами путь. Ребята в переполненной учительской сидят на диване, на подоконниках, прижимаются к стенам, дыша друг другу в затылок; члены учкома — вокруг покрытого тёмной клеёнкой единственного стола; Сергей Викторович обращает то к одному, то к другому из слушателей серьёзное лицо.

— ...Вот вы себе представьте, — Сергей Викторович делает короткую паузу, — весь кооператив у нас завален гуталином! Платили бы вы Рудому пять рублей за баночку? Нет, конечно, не платили бы, и Рудой это прекрасно знает. О, Рудой знает! Рудой ночей не спит, думает: а как бы мне всё-таки нажиться? Ага, гуталина не стало! Слава богу, наживусь, стало быть, на гуталине.. Рудой не о товарищах думает, не о том, как бы нам вот здесь, в техникуме, жить стало легче, лучше. Не о других людях — только о себе, о своей мошне. Нехватает гуталина — наживусь на гуталине. Хлеба не стало бы хватать — припрятал бы хлеб, продавал бы втридорога. Молчи, Рудой, я всё знаю! Если уж человек стал на эту дорогу — он ни перед чем не остановится. Видели мы таких в восемнадцатом году. Во время голода, во время блокады — повылазили кулаки, спекулянты; людям, которые в слабеющих от голода руках сжимали винтовки, чтоб молодую Советскую Россию защитить от иностранной интервенции, — показывали хлеб из-под полы: хочешь, накормлю? Снимай с себя последнее, плати немислимые цены — вот теперь мне только и наживаться! За счёт умирающих от голода...

Седов значительно помолчал, оглядел ребят.

— Вот он, проклятый мир капитализма! Подомни под себя своего ближнего, грабь его, души — лишь бы разбогатеть самому. Человек человеку волк! Не к такой жизни зовём мы вас, будущих комсомольцев...

Ребята переглянулись, вздохнули.

— Нет, не к такой... Мы говорим: давайте жить большой и дружной семьёй, вместе трудиться, вместе добиваться счастья. Человек человеку не волк — это капиталисты придумали. Человек человеку друг, помощник, товарищ. Ведь мы, в Советском Союзе, как живём? Азербайджанская нефть у нас по всей стране идёт, уголь с Украины — любовью республике, пожалуйста! Лес с севера, рыба с Каспия, хлеб из Сибири... У вас здесь своей промышленности не было — к вам Советский Союз прежде всего станки, машины везёт: богатеите, растите!.. Потому что живём мы, повторяю, одной семьёю. Товарищ Ленин говорил нам: учите молодёжь сплочению, единодушию, большой настоящей дружбе, «...только если мы научимся сплочению и единодушию, мы победим в дальнейшей борьбе и, окрепнув, станем действительно непобедимы».

Среди ребят настойчиво полз шепоток, они всё чаще оглядывались на Рудого.

— Нам, Рудой, твоего гуталина не надо! — голос Седова звучал непримиримо, жёстко. — Не надо! Мы и в нечищенных сапогах в крайнем случае походим. В восемнадцатом году большевики голодали, но к грязному спекулянтскому хлебу не притрагивались. Ты о себе подумай — на какой путь ты стал? Мы не каждого в свою семью принимаем. Нам копеечников и эгоистов не нужно. Не нужно! Подумай, Рудой, не остаться бы тебе одному!..

Рудой медленно поднялся, глядя в лицо Седову:

— Сергей Викторович, да я... На чёрта мне этот гуталин, возьмите! Я вам говорю — возьмите...

Ребята зашевелились, задвигались; раздался возмущённый голоса:

— И возьмём!..

— Подумаешь, благодетель...

— А раньше-то что ж? Испугался?

— Испугался, ага...

Вася Беженарь вскочил с места.

— А что, ребята, и возьмём! Возьмём! Пусть он это знает... Мы и о нём заботимся, что ж... Пусть он чувствует, что он ещё с нами, что он один не остался, верно?.. Нам не гуталин его нужен, нам его, дурака, жалко, мэй...

Клава тихо засмеялась, толкнула меня локтем:

— Вера, до чего у нас ребята хорошие...

Гриша Гончарюк, очевидно, услышал: строго взглянул на Клаву — встал:

— Не такие мы добренькие! Будет Рудой ещё спекулировать — вылетит из техникума к...

Гришу дёрнули за локоть, он сел, сердито возразил кому-то:

— А что? У нас советский техникум, а не какая-нибудь барахолка...

Ребята засмеялись. Поднялся Сашко, заговорил лукаво, поглядывая на кого-то в толпе:

— А между прочим — у нас не один Рудой. У нас тут и ещё есть люди деловые, коммерческие. Они знают... Я предлагаю: пусть они все свои излишки сдают немедленно, эти наши... домашние спекулянты...

— И сдадим, — откликнулся негромкий, насторожённый голос.

— Сдадим, конечно. А как же?..

— Ты, Сашко, не заносись. Что ты, лучше всех, что ли?

— Оф, да не лучше, — горячо воскликнул Сашко. — Да ведь не во мне только дело! Ну, попадусь я на этом деле — выгоните меня из техникума, Гончарюк попадётся — его... Торгашества у нас здесь больше не должно быть, правильно я говорю?

Учком единогласно вынес резолюцию: торгашества в техникуме больше не будет. Весь вечер ребята сносили в кооператив различные вещи. Вещи эти Ицек должен был продать по номинальной стоимости, а деньги возвратить владельцам — так постановил учком.

— Вот это дело! — простодушно веселился Ицек, раскладывая на прилавке товары. — И где он такие мундштуки достал, мэй, Калараш? Ай-яй... Можно коммерцию делать, а, Сергей Викторович?

— Вы бы помалкивали, между прочим, — рассердился Седов. — Почему у вас карандашей нет? Это в учебном-то заведении! Поедем вот завтра вместе в район, к вашему начальству...

По дормиторам в этот вечер то и дело вспыхивали взволнованные разговоры.

— ...Как это — что тут нехорошего? — горячо убеждал Георгия Рошку Илья Сашко. — Эта наша жадность — она вроде болезни, ты пойми...

— А сам? — недоверчиво косился Рошка.

— О, господи! — негодовал Сашко. — Я тебе про кого говорю? Конечно, и про себя. Только я, Георгий, этого больше никогда не повторю и тебе не советую...

— Ну, не повторишь? — не сдаваясь, поддразнивал Рошка Илью.

Вася Беженарь деловито спросил:

— Рошка, а товарищей предложат продать — продашь? Если дорого заплатят?

Рошка погас, отмахнулся, отошёл обиженный:

— С вами разговаривать...

Седов оказался прав: наши крестьянские мальчишки так восприимчивы к красоте, к благородству. Они точно светились в этот памятный вечер. Добрая воля их искала выхода, они были до крайней степени внимательны и предупредительны друг к другу.

— А ну, — говорил Петя Галецкий, входя в класс и швыряя шапку на парту, — я уже все уроки скопал! Кому математику объяснить, сидайте...

— Мэй, Плечинта, — раздавался голос Семёна Котогоя, — что ты какой огрызок мусолишь? У меня же нечиненный карандаш есть — бери, мягкий...

— Точно именинники, — удивлённо посмеивались скептики. — И что это с нашими хлопцами стало?

Скептиков не слушали. Вечером выборные представители первого зоотехнического «А» спустились в подвальчик к Ицеку и, выложив на прилавок собранные двести с лишним рублей, забрали чудесные бостонные брюки, давно уже висевшие здесь в ожидании богатого и щедрого покупателя. Ицек ахнул, развязавшись с неходким товаром: необыкновенный выдался день...

Большая семья. Эти слова обязывали!

Новые брюки вручали Мите Гуцуляку торжественно, долго и весело аплодировали. Митя стоял растерянный, насупленный, равно готовый и заплакать от умиления и благодарности, и обидеться насмерть.

На других курсах инициатива зоотехников вызвала огорчение — прошляпили, первые не догадались!.. Васенька Макаровский давно уж боканчи подвязывает верёвкой. «Ничего, — утешали себя ребята, — мы дня через два это всё сделаем потихоньку... А то подумают, мы с зоотехников пример берём, очень надо...»

9. Костик Прозоровский

Вечером, взглянув на пустую койку Ведеша, Скутарь со снисходительным интересом спросил Прозоровского:

— Мэй, куда твой дружок пропал, ты не знаешь?

Костик был благодарен Скутарю за этот вопрос — он беспокоился о Ване с той самой минуты, как расстался с ним у ворот техникума. Он искренно отвечал Скутарю: что-то с выборами, какое-то срочное дело... Приходил Морей, говорил о какой-то провокации; кажется, послал Ведеша домой, в Плачешты...

Скутарь насторожился: ушёл домой? По поручению Морей? Скутарь размышлял недолго: изменив своей обычной сдержанной, величественной манере, торопливо оделся, спустился вниз, на улицу, кинулся к дому Чеботаря.

Чеботарь был уже без пиджака, в подтяжках. Он нахмурился, так как считал неприличным малейший беспорядок в одежде, и, прикрывая ладонью то место, где должен быть галстук, повёл Скутаря в комнаты.

— Вы не очень своевременно, мой друг, — говорил он, плотнее задёрнув шторы. — Что-нибудь случилось?

Он предложил Скутарю стул, но сам остался стоять. Тогда Скутарь тоже вскочил и, теребя фуражку, рассказал всё, что узнал от Прозоровского. Он представлял себе восхищение Чеботаря: какая сообразительность, какая оперативность! Но Чеботарь молчал. Молчал, опустив голову, разглядывая узор на скатерти. Затем поднял лицо — оно было недоумевающим, холодным:

— Да, всё это очень интересно, но какое мне до этого дело? Почему вы решили, мой друг, всё это мне рассказать?

Скутарь ушёл озадаченный, смущённый — Чеботарь отпустил его небрежным, извиняющим жестом. Возвращаясь в dormitorio, Скутарь вновь и вновь сопоставлял отдельные факты. Он чувствовал себя оскорблённым: что он, дурак, мальчишка? Может быть, никогда он не был так умён и догадлив...

Когда Прозоровский решил вновь обратиться к Ведешу с откровенным разговором о распавшейся дружбе, Ведеш искренне раскаивался, старался искупить свою вину. Они опять занимались вместе. Ведеш старательно помогал ему в изучении русского языка. Но Костик видел, что Ведеш скучен и принуждён, что он с трудом выдерживает это их уединение, и, наконец, сам с грустью напоминал Ване, что его ждут в редколлегии стенгазеты. Ведеш тут же убежал, с трудом скрывая чувство облегчения.

Костя не судил своего друга. Он сочувствовал его стремлению вмешаться во всё и поспеть всюду и немножко завидовал. И ему было знакомо это стремление. Но Костя был скромн, неуверен в себе, скован своей застенчивостью. Он добросовестно проводил с Аникуцей еженедельные санитарные осмотры, организовал вместе с нею изолятор, делал, в сущности, ничуть не меньше других, но твёрдо был убеждён в незначительности своей роли. Когда Ведеш ненадолго возвращался к нему — глаза Прозоровского светились в ответ такой глубокой радостью, что Ведеш отходил растроганный и немного смущённый. Впрочем, смутное сознание какой-то неопределённой вины тяготило Ведеша, и он старался стряхнуть с себя это обременительное, лишнее чувство.

Затянувшаяся отлучка Ведеша тревожила Костю. Лучше, чем кто-либо иной, он знал, что Ведеш из-за пустяков не пропустит ни одного учебного часа. До Плачешт ходьбы часов пять—шесть, столько же обратно. Что могло задержать Ваню на несколько суток? Эта мысль не давала Косте покоя, и он сам решил идти к Ведешу в Плачешты. С трудом дожидаясь он субботы, за субботний и воскресный день он успевает обернуться. Костя так не терпелось поделиться со своим другом всем, что произошло за эту неделю!

В субботу Прозоровский вышел сразу после обеда. Стоял мягкий, тихий вечер, в недвижимом зимнем небе бледно светила луна.

«Часов восемь...» — прикинул в уме Костя.

Нерешительно ступил с крыльца, сделал первые шаги, ещё постоял, подумал, опять сделал несколько шагов. «Может, позвать с собой кого-нибудь — Гришу, Котогоя, Сашко?» — ещё раз остановившись, подумал Костя. И вдруг представил себе растроганного, обрадованного, удивлённого Ваню: «Костик, ты?» Пусть! Пусть страшно. Костик докажет Ведешу, и ему и себе, раз навсегда докажет, что достоин той большой дружбы, о которой он с такою силою мечтает.

И Костя пошёл — быстро, решительно, широким шагом. От техника поползли вслед длинные тени, мелькнул в последний раз и погас за спиной огонёк суфражерии. На открытом месте потянуло ветерком, сначала приятным, освежающим, затем всё более и более настойчивым. Костя поднял воротник форменной шинели. Белье, мягкие, как у девочки, руки его уже начали мёрзнуть, лицо жалобно сморщилось, глаза за-слезились от ветра. «Не дойду», — подумал Костя, но продолжал ша-гать.

Пустынная белая стена без конца и без края. Бледносерое внизу, темносероеверху небо — лишь светлая полоска на западе, слабый отблеск минувшего дня, отчёркивает линию горизонта. Тихо шуршащая по подмёрзшему пасту позёмка, редкие былочки, торчащие из сугроба,

пригибаются Косте навстречу. Холодно, неприютно. Сколько времени он уже идёт? Точно сон какой-то... Точно не было этого оставшегося позади, трудного, шумного учебного дня, точно не он сидел сейчас среди ребят в освещённой суфражерии, чувствовал человеческое дыхание рядом с собой... Люди, люди! Чего бы не сделал Костя ради того, чтоб почувствовать себя навеки связанным с ними особой, не каждому доступной связью. Сколько времени он идёт? Как трудно передвигать стынувшие, отяжелевшие ноги. Прошёл ли он уже хотя бы четверть дороги?

А как тепло, наверное, дома... Мать положит на плечи сыну нежные мягкие руки: «Скоро уж, Костик, в Левкауцы обратно?» Обнимет крепко, прижмёт к груди, — маленькая и такая сильная, удивительная у Кости мама! «Опять покинешь меня, сыночек, кровиночка». Как хорошо дома, как тепло — если б не отчим!

Морарь женился на его матери, когда Косте и двух лет не было, взял её из позора, из бедности. Костя никогда не слышал, чтоб отчим хоть словом попрекнул мать. В семье он требователен и суров подчас, но неизменно справедлив и заботлив. Грех не любить такого отчима! Родной отец не заботится так о сыне, как заботится о Косте домн Морарь. От труда его бережёт, учит, в люди выводит. В хорошую минуту говорит матери: «Ясная голова у Константина. Вот увидишь, большого человека сделаю из него». Уж как не любят богатого, прижимистого Мораря бедняки-односельчане, и те признают: «Господь за сироту десяток грехов с Мораря снимет». И всё-таки — нет, не лежит душа!

Придвинулся, зачернел впереди лес. Костя обрадовался — значит, уже прошёл полдороги. Как хорошо, как покойно стало, едва лишь Костя ступил под тяжёлые нависшие ветви леса! Отстал недобрый назойливый ветер. И лунный свет здесь ярче, теплее, он рисует весёлые узоры на снегу, между расступившимися деревьями, щедро заливает поляны, натянутой серебристой пряжей дрожит в зачарованных верхушках.

Лёгкий скрип шагов послышался вдали. Костя остановился, прислушался. И опять робкая душа его сжалась в ожидании недоброго. Как бы открыт, чист помыслами ни был человек — всегда есть что-то таинственное, страшное в неожиданной ночной встрече на безлюдье.

Небольшая фигурка показала из-за древесных стволов. Завидя Костю, прохожий на минуту остановился в нерешительности. Снова шагнул, пошёл прямо. Блик луны снизу вверх пробежал по его лицу, но Костя не разглядел его; продолжал напряжённо всматриваться, уже узнавая и не смея верить. Заломленная на затылок шапка, отчаянно смелая, вызывающая походка... Костя с лёгким вскриком кинулся навстречу:

— Ванюша!

Они долго трясли друг другу руки, радостные, смущённые. Ведеш не сводил с товарища откровенно недоумевающего взгляда.

— Ну, Костик!.. Один, ночью...

Они шли в Левкауцы шаг в шаг, нога в ногу, невольно держась за руки, — так Костя мог бы идти бесконечно. Он не чувствовал усталости, не чувствовал холода — он был счастлив. Он ни о чём не спрашивал. Он так боялся, что Ваня каким-нибудь насмешливым замечанием, обычным небрежным ответом стряхнёт радость этой минуты.

Ваня жадно расспрашивал — ему казалось, что он не был в техникуме вечность. Костя уже начал рассказ о профсоюзном собрании, как Ведеш внезапно стиснул ему руку.

Из-за деревьев бесшумно выступили две фигуры. Это беззвучное, неожиданное явление было недоброе. Раздался тихий свист — из-за

деревьев выдвинулась ещё одна фигура. Отворачиваясь, скрывая лица, трое двинулись за Ведешем и Прозоровским. У Кости захолонуло сердце. Ваня словно повеселел, подтянулся, расправил плечи.

Лес кончился. Опять зашуршала позёмка, завиваясь, стелясь под ноги; ветер забился в полах шинелей.

— Второй — Прозоровский, мэй! — раздался сзади негромкий голос.

Тогда, открыв лицо, приблизился Цуркан, оттер плечом Прозоровского, зашагал вплотную рядом с Ведешем.

— Куда ходил? — тихо осведомился он.

— А твоё какое дело? — с весёлым вызовом отозвался Ваня.

— Так, интересуюсь...

— К девочкам ходил, завидно?

— Ну, ты не ври...

— Ну, ты не толкайся...

— Я спрашиваю: где был? — раздельно, жёстко повторил Цуркан.

— А тебе что? Тебя уж не подослали ли, мэй? — Ваня остановился. — Ты, знаешь, говори прямо — от себя или подослал кто-нибудь?

Цуркан тоже остановился. Остановились идущие сзади. Костя почувствовал, как в душе его растёт крик ужаса, ему казалось даже, что он уже кричит. Но он лишь беззвучно раскрывал рот и следил за Ведешем испуганными, умоляющими глазами.

Ваня, помолчав, опять тронулся. За ним — Цуркан. За ними, след в след, тронулись остальные.

— Никто меня не посылал, — спокойно сказал Цуркан. — Так, интересуюсь, куда наши мальчики по ночам ходят...

Некоторое время шли молча. Скрип согласных шагов тех, идущих позади, казалось Косте, слышен был на много километров кругом.

— У меня с тобой свои разговоры, — продолжал Цуркан. — Кто там мог меня подсылать? Я, думаешь, забыл, как ты мне чуть глаз тогда не выбил, в дормиторе, помнишь?.. И как вы меня исключали, не забыл... Понимаешь, Ион, ничего никому не забываю, как жив...

— Понимаю, ещё бы! — откликнулся Ведеш. — Есть, значит, у человека памяти! Я думал, напомнить придётся...

Ведеш вдруг рванулся к Цуркану, но Цуркан, точно ожидая его удара, мигом метнулся в сторону, и Костя в ту же минуту увидел в его вытянутой руке тускло блеснувший нож.

Больше Костик ничего не помнил. Он слышал чей-то пронзительный, страшный крик — ему и в голову не пришло бы, что это кричал он сам. Он ринулся на эту взметнувшуюся руку, всем телом повис на ней, продолжая кричать. Его тут же сбили с ног, он упал, увлекая за собой Цуркана, не выпуская его руки. Кто-то пытался оторвать его от Цуркана, он видел близко перед собой чьё-то лицо с налившимися кровью глазами. Он не чувствовал, что кто-то бьёт его по голове кулаками и сапогом, — Прозоровский уже не кричал, а хрипел, продолжая прижимать к себе вывернутую руку Цуркана. Кажется, он тянулся к ней зубами — этого он тоже не мог вспомнить позднее.

Удары вдруг прекратились, точно сами собой. Рука Цуркана вырвалась из его ослабевших рук.

...Казалось, много-много колёс одновременно с шипением и скрежетом завертелось у него в голове. Костя открыл глаза. Он удивился, почему над ним, почти над самой его головой, стоит небольшая, понурая, добродушная лошадёнка, с дышлом, торчащим вбок, и невозмутимо пожёвывает снег.

— Так то ж агитатор наш! — раздался чей-то удивлённый голос. — Как, Лена, добросим хлопчиков до школы? Крюк небольшой, чего там...

Над Костей склонилось страдальчески озабоченное лицо Вани.

— Костик, ты встанешь? Держись за меня. Садись получше, так, плотнее садись... Вот Думитру Герман нас подвезёт,— приговаривал он, заботливо подтыкая под Костю попонку. Думитру покосился на них, неодобрительно покачал головой; причмокнув, тронул лошадь. Сидящая рядом с ним, закутанная до бровей женщина даже не шевельнулась. Ведеш вскочил боком в тронувшиеся сани, примостился где-то на задке, и поддерживая одной рукой Костю, другой стал растирать озябшие уши. Очень саднило разбитую губу — во рту ощущался солоноватый вкус крови.

— ... Так кто же кричал-то всё-таки? — словно продолжая прерванный разговор, повернулся к Ване Думитру. — Товарищ, что ли, твой?

— Он, — охотно отвечал Ваня. — С ножом, понимаете, напали на нас.

— С ножом? — удивился Думитру. — Что ж так?

— А за девчат! — беспечно отмахнулся Ваня. — Выходят, представьте, трое...

Костя полудремлет на Ваниной руке. У него очень болит голова и нестерпимо горят пораненные ладони. Но так приятно чувствовать, как склоняется над тобой доброе лицо Вани: «Не помёрз, Костик?» Ни о чём не говорить, ехать и ехать...

— ... Из Плачешт, значит? — долетают до него обрывки неторопливого разговора. — Так, так.. А что там слышно, скажи мне, хлопец, за кого там будут голосовать в тех Плачештах? За Чебана чи за Ведеша того?

— За Ведеша? — отзывается торжествующий Ванин голос. — Да вы спросите того Ведеша, ещё даст ли он за себя голосовать? Ведь вы понимаете, что это будет, если одно село потянет за Чебана, другое за Ведеша? Стойте, вот я вам расскажу сейчас...

Мерно поднимается и опускается заиндевшая лошадиная голова, нежно посвистывает где-то у самого уха полоз. Рука друга, точно незначай, нежно касается Костиного лица...

10. Левкауцы волнуются

У доски стоит Тимофей Тетеля и добросовестно вспоминает пройденный материал:

— По второму склонению склоняются слова мужского рода без окончаний. Ла экземпля: ¹ «конь»...

— Пишем...

— Так, пишем: конь.

— Теперь склоняем...

— Теперь склоняем, — покорно соглашается Тетеля. Мел поскрипывает под его заскоружными пальцами.

— Ну а как будет множественное число?

Тимофей смотрит недоверчиво, удивлённо:

— Лошади.

Ребята весело переглядываются.

— А может быть, кони?

Тетеля качает головой:

— Нет такого слова.

Ребята смеются.

— Нет такого слова, — упрямо повторяет Тетеля. Под дружный хохот он отправляется на место.

¹ Ла экземпля — например.

Ребята учат русский язык легко, радостно, даже скучнейшие окончания прилагательных приводят их в неожиданный восторг. Охотно и дружно они подхватывают:

— Ая, ой, ой!

— Ую, ой, ой!

По круглому лицу Плечинты разлито простодушное удивление:

— Легко...

На дворе хрупкие, звенящие на ветру ветви тянутся к ослепительному синему небу, ползут голубые тени поперёк рыхлых, пробитых в сугробах дорожек, и около самого крыльца поминутно звякают о мокрый камень сосульки, разлетаясь на мелкие брызги. Сверкающая, звонкая, прозрачная, как стекло, зима.

После обеда из столовой поспешно выскакивают агитаторы, на ходу застёгиваясь и доедая хлеб. Проваливаясь в снегу, пробиваются напрямик, по нерасчищенным аллеям парка.

— Желаю успеха, — задерживаясь на крыльце, крикнет им вслед какой-нибудь доброжелатель.

— Эге, а как же! — весело откликнется издали Сашко.

Вернутся они поздним вечером, усталые, продрогшие, голодные. Работать приходится много, до выборов остались считанные дни. Клава — член избирательной комиссии, она не всегда и ночевать возвращается. Сначала она присутствует на беседах своих агитаторов, с удовлетворением прислушиваясь к их убеждённым, уверенным, взволнованным речам; потом собирает на участке местных активистов и подолгу сидит с ними; а потом её задерживает то один, то другой из крестьян — того интересуют хлебопоставки, другого — демобилизация сына, третий ждёт разъяснений о социальном обеспечении — авторитет на селе у Клавы велик, её уже все знают. Часов в одиннадцать вечера в дверь заглядывает румяное лицо председателя сельсовета Евдокима Семичастного.

— Вот, — радостно говорит он, — я смотрю — свет на участке. Так, думаю, и есть, опять моя учителька от своих ребят отбилась...

За высокими, сдвинувшимися в темноте плетнями прячутся редкие огоньки, где-то чуть брехнёт собака со сна, качнётся на фоне мутного неба высоко вздёнутый колодезный журавель, выжидательно замолкнет негромкий говорок у приотворенной калитки. Придерживая Клаву за локоть на глубоких выбоинах неосвещённой дороги, Семичастный ведёт её ночевать в свою хату.

— ... Ну, как водится, в партии состоял, — неторопливо рассказывает он. — «Фронт национального возрождения» — такая у нас партия была. Без неё, товарищца, ни на какой службе не держали... Семичастный наклоняется в сторону и шумно прочищает вышитой варежкой нос. — Всё равно вышибли. Я им и в партию вступил, ничего не помогло; лишили человека должности, смазать нечем было. Вот голан был, скажи... Приехал я тут до родичей в Левкауцы — сам-то я из-под Кагула, не здешний. Баба одна и начала вокруг меня ходить, я ж молодой, свободный... её-то не берёт никто — стара да и некрасива. Но богата. Возьму, думаю. Ни тебе двора, ни земли — блукаю, как серый волк, по лесу. По крайней мере оденусь, хозяин буду.

Семичастный остановился у калитки, звякнул шеколдой.

— О, окно светится, не спит. Покажу вам сейчас свою принцессу...

Свет мелькнул в распахнувшихся дверях. Прикрывая свечу рукой, женщина спрашивает с порога:

— Чине аколо, мэй? Евдоким, ты?

— Стойте немножечко, — тихо шепчет Семичастный и, отстранив Клаву, направляется к крыльцу.

В колеблющемся свете свечи неясно видно недовольное лицо женщины. Разговор её с супругом становится всё горячее, всё громче.

— Стыдно, ну! — не желая себя сдерживать, кричит женщина. — Шляется чёрт знает где целый день, домой носа не кажет, а теперь ещё, того мало, и сюда ведёт. О, бедная же я! О, рагуйте ж люди добрые, да что ж это? Совсем стыд потерял! Моя хата, не пушу! Не допущу до такого позора, куда хочешь веди...

— Ласе, ласе, — испуганно останавливает жену Семичастный, и опять журчит его негромкий убеждающий говор. Ненадолго наступившая тишина вновь прорывается нарочитым криком женщины:

— А по мне — хоть откуда! Сказано — не пушу...

Дверь с силой хлопывается. В сенях с грохотом срывается ведро.

— Да чтоб ты сдохла, проклятая! — со слезами в голосе отступает Семичастный. — О, жизнь собачья!

Он сконфуженно возвращается к Клаве.

— Слышали? Идёмте, что делать, поведу вас к кому другому.

Они молча идут обратно, только теперь уже Семичастный не поддерживает Клаву, отступает в тень плетня. Он расстроен, глаза его моргают растерянно и виновато, самоуверенное лицо потускнело.

— Живёте вместе зачем? — осторожно выпытывает Клава. — Ведь ни любви, ни радости — стыдно.

— Что там стыдно, — откликается Семичастный. — Характера нет. Сейчас был бы свободен — первым делом учиться...

— Ну?

— Ну, ну... — сердится Семичастный. — Добра жалко. Думаете, сладко так-то вот мотаться...

Они опять молчат.

— Вам не понять, — говорит Семичастный. — Я сам вижу, вы, советские, совсем другие.

Клаву, наконец, устраивают. В тесной хате, около ярко разрисованной, в маках, чистенькой печки спят на разостланных по полу овчинах раздумывавшиеся ребяташки. Урчит, горбом выгибает спину, трётся о ноги кошка. Белый, сгорбленный дед, в рубахе распояской, будто вышедший из полузабытой сказки, отпихивает её клюкой, прислушиваясь к разговору за столом. Взволнованны, беспокойны за своими тёмными ставенками Левкауцы. Герман Думитру подливает вина себе, Клаве. Навалившись грудью на стол, говорит:

— Я, товарищка, такой человек, мне всё ладно. А вот Бахчевана я встретил — из Лукашей, видный такой крестьянин, может, знаете? — он кажет: «чего ты всё, Герман, Чебан да Чебан; советская власть — наша родная, кого хочешь, того и выбирай». Мы тогда и пошли до Моря...

— Бахчевана слушаете? — сердится Клава. — Это ему-то советская власть родная? Советская власть таким, как он, хуже мачехи.

Степенная темнобровая хозяйка подсыпает вареники из деревянной миски. Дешёвые серьги покачиваются над её полными плечами.

Клава, с увлечением чертя по столу черенком ложки, рассказывает о вражеской диверсионной деятельности на территории Бессарабии.

— В Яссах, например, королевское правительство готовило выступления диверсантов против наших выборов... Страшат их наши выборы, покоя им нет...

— О! — Думитру озабоченно пришёлкивает языком, качает головой.

Жена его спохватывается:

— Ешьте уж, господа! Притомились небось?..

— Ох, да... — вздыхает Клава, придвигает тарелку и тут же опять отодвигает её. — Вы понимаете, необходимо, просто необходимо держаться дружно за одного.

— Сам так думал, скажи! — восхищается Думитру. — Ведь вот, сам так думал... И хлопец один ваш это мне очень хорошо объяснил. А то, товарищка, вы мне вот ещё растолкуйте. Говорил тут один у нас — вы, кажется, за молдавское правительство голосовать будете, а молдаван там и нет ни одного...

— О, это как же так? — настораживается дед.

Клава, возмущённая, срывается с места:

— Стойте, где-то у меня был полный список кандидатов по Молдавской республике. Разберёмся сейчас.

— Да вы ж кушайте, — волнуется хозяйка. — Экий ты, право...

— Кушайте, что вы, — спохватывается и Думитру. — Что вам тот список? Верим ведь и так, крепко верим... — Помолчав, беспокойно двигается на лавке: — Я вот ещё что спросить хочу... Глупость, может, конечно, но ведь люди-то говорят... Ждите, говорят, скоро Германия придёт, доголосуетесь...

— Умный ведь вы человек, — говорит Клава. — Что ж мы дети, что ли? Кто бы ни напал на нас — дадим отпор...

В техникуме, в пустом классе, Ведеш и Сашко подносят лампу к плакату на стене.

— Я давно приглядываюсь — ведь он? — настойчиво шепчет Ведеш. — Ведь он? Ты смотри.

— Он, он! — ликует Сашко. — Как же я не догадался? Смотрю — лицо знакомое, а не узнаю... Ну, Ванюша, за него-то я все сто процентов беру, вот тебе моё слово!

Ведеш кивает головой, на минуту задумывается.

— Садись, — решительно говорит он, сбивая на одно ухо шапку. — Я этого ещё никому не рассказывал, ты первый...

...Когда Ведеш пришёл к себе домой в Плачешты, в маленькой, чистенькой кесуце¹ было битком набито народу. Крестьяне сидели без шапок, густо курили и говорили о том, какие в селе непорядки. Один из них, стуча кулаком по столу, кричал в самое лицо хозяину:

— Да мы ж с тобой в одной господарии маялись, я ж за тебя обеими руками...

Сидящий с краю маленький оборванный Ион Парашук повернул к вошедшему Ване пьяненькое, подслеповатое лицо.

— О, Ванюша, — радостно закричал он, хлопая себя по заплатанному полушубку, — друг ты мой, смотри, кого выбираем нынче. Своего! Слышь-ка, своего! — Он восторженно тряс Ваню за плечо, обдавая его запахом винного перегара. Ваня осторожно отстранялся от Парашука, мягко улыбаясь в ответ. Отец тревожно смотрел с другого конца стола. «Что же не по времени пришёл? — спрашивали его глаза. — Случилось что-нибудь?» Ваня отрицательно качал головой.

Он терпеливо ждал, пока все разойдутся. Незаметно наблюдал за отцом. Отец очень изменился за это время. Сидел с достоинством, опустив на стол тяжёлые, набрякшие от работы руки. В лихорадочно горящих глазах его не было и тени обычного испуга, они останавливались на лицах собеседников спокойно, изучающе, любовно. Он тихо покашливал, пряча подбородок в новый шарф, скрывающий тонкую, обычно

¹ Кесуца — домик.

такую жалкую шею. «Милый мой тату, милый тату мой», — мысленно повторял Ваня, и от жалости и любви к отцу горло его сжимали слёзы.

— Вот, сынок, — конфузливо улыбнулся Яков Ведеш, когда закрылась дверь за последним из гостей, и пошёл к Ване, открывая объятия, — видишь, до какого почёта дожил твой отец...

С улицы вошла мать, тихо вскрикнула, бросилась обнимать Ваню. Будто помолодевшая, она была повязана незнакомым Ване платком с красными цветами. Всё было ново Ване, всё непривычно в этом знакомом до мельчайшей щелинке доме. Теперь здесь словно постоянно ждали гостей, словно постоянно их принимали. На столе — чистая скатерть, в углу портрет Сталина, на особой полочке — книги. Отец едва знал грамоту, даже букварь разбирал с трудом.

— Это что ж — напояз, что ли? — осторожно спросил Ваня, перебирая книги. Лицо у него было светлое, затаённо смеющееся, каким всегда бывало дома. Но неуверенность, смятение охватывало его между тем всё больше.

Отец смущённо потянулся рукой к затылку:

— Такое, понимаешь, дело, Ванюша... Читаю. Я всё думаю — Плачешты бы свои не подвести. Ничего ведь не знаю толком.

Ване становилось всё более не по себе. Когда шёл сюда, он твёрдо знал, что скажет, — издали всё казалось проще. Теперь, дома, наивное, простодушное торжество отца лишало его мужества. Лицо отца сияло; мать смотрела на отца с такою гордостью, так любовно — Ваня чувствовал, что каждое слово его может показаться оскорбительным.

— Меня, тату, с тобой поговорить прислали, — решился, наконец, Ваня, и от того, что он переложил тяжесть ответственности за разговор на чьи-то чужие плечи, ему стало немного легче. И что чудеснее всего, он сам тут же поверил в это: конечно, прислали — а как же иначе? Разве не весь Советский Союз сейчас у него за спиной?

Но сказать, что хотел, ему дали не скоро. Мать увидела следы на полу, долго охала, расшнуровывая его промокшие ботинки. Ваня поджимал ноги, сам нагибался к башмакам — мать обнимала его склонённую шею, целовала лицо и радостно шептала:

— Сыночек мой пришёл. Господи, да радость же...

Эта атмосфера любви, нежности, суетливые хлопоты отца около стола — как радовало бы всё это Ваню в другое время! Только к вечеру, за обедом, Ваня решился, наконец, заговорить.

— Тату, а как же с Чебаном будет? Чебан ведь по нашему округу депутат... — спросил он как можно беспечнее.

Отец развёл руками, тихо засмеялся, не будучи в силах скрыть торжествующую радость:

— Что я поделаю, народ хочет. Народ за своего тянет...

— А ведь он достойный человек, тату. Коммунист, наш, молдавский. Грамотный, хороший человек. Мы за него в Левкауцах, знаешь, все, как один, стоим...

В чистых глазах отца мелькнуло беспокойство.

— Ты не рад, сынок? — с упрёком спросил он.

Ваня решительно мотнул головой:

— Нет.

— О господи! — воскликнула возмущённо мать. — Да что ты, Ион, отцу враг, что ли? Да ты подумай — отец твой всю жизнь спину гнул, ты подумай. Ты чистенький у нас был, ты всё в стороне, ты учился, а чего нам это стоило, ты думал когда? Отец последнюю лею тащил, лишь бы не знали в школе, что ты конюхов сын, холоп... Да стыдно тебе, стыдно...

— Стой, — мягко остановил её Ведеш. — Стой, Юлинька, ты не о том. — Серьёзно склонился к сыну: — Я что-нибудь плохое делаю, сынок?

— Плохое! — мать вдруг заплакала. — О господи, плохое... Да что ж это, господи...

— Мне для себя, сынок, ничего не надо, — так же серьёзно продолжал отец, — ты, может, думаешь — мне почёт нужен, богатство?.. Я, сынок, за всю жизнь нитки чужой не взял. Что мне нужно? Мне нужно, чтоб ты человеком был. Мы для того и живём с матерью. И народу хочу послужить... Если уж народ того пожелал — хочу послужить народу...

Последнее было сказано так просто, столько в этом было достоинства! Тронутый Ваня тихо погладил узловатую отцовскую руку.

— Тату, ты послушай меня, — мягко заговорил он и, не выдержав, отвёл глаза. — Ты послушай, тату, разве вокруг тебя народ? Ты смотри, кто у тебя толчётся: Болбочан этот — человек продажный, это все знают, ты его слушаешь, киваешь, «так, так!». Парашук — тот давно уж своей головой не живёт... Тату, тебя обманули, понимаешь? Я тебе добра хочу, ты послушай...

Он говорил, и казалось ему, что сам только сейчас по-настоящему понял то, что не раз объяснял избирателям.

— ...блок разбивать нельзя. Знаешь, палец — я его взял и разогнул, а кулак — пойдя разогни; ну, да кому я это говорю!.. Никто не скажет, что Яков Ведеш пошёл против советской власти...

Ваня замолчал. Мать переводила встревоженные глаза с отца на сына.

Положив обе руки на плечи Ване, отец поцеловал его в лоб.

— Устал, сынок? — тихо спросил он, и Ваня почувствовал, что отец избегает его взгляда. — Ляг, усни, дорога-то какая...

Ваня поторопился лечь. Сон сразу охватил его, понёс — лёгкий, беспечный сон, какой бывает только дома. Наутро отец сказал ему, где найти председателя участковой избирательной комиссии, и Ваня отправился пешком за шесть вёрст от дома.

Председатель избирательной комиссии кряхтел, потирал ладонью бритую голову, слушая сбивчивый Ванин рассказ. Потом рассказал в свою очередь, что агитаторы по Плачештам слабые. Село маленькое, комсомольской организации нет, понабирали местной молодёжи, а их самих ещё надо грамоте сначала учить.

— Вот посмотрели бы вы на наших, левкауцких, — не удержавшись, прихвостнул Ваня и подмигнул неизвестно кому смеющимся глазом.

— Об отце своём, значит, говоришь? — задумчиво спросил председатель, точно не расслышав замечания Вани.

— Об отце.

— Так, так, — думая о чём-то своём, испытующе глядел на Ведеша председатель, — так, об отце, значит? — И вдруг доверительно нагнулся к нему: — Слушай, проведи-ка ты сам беседу, а? Задержишься немного на селе. Стой, я вот тебе записку напишу в сельсовет, Шаповаленке...

Он долго ещё инструктировал Ведеша, придирчиво ошупывая его своим колючим взглядом. Домой Ваня летел, как на крыльях.

Бурная жажда деятельности охватила его. Он ходил вместе с агитаторами со двора во двор, из улицы в улицу. Собирая по три, четыре семьи разом, он выстулал везде от имени своего отца, благодарил за честь, растолковывал, что такое блок коммунистов и беспартийных. Терпеливо отвечал на вопросы.

Председатель приезжал однажды, послушал его беседу, похлопал по плечу: «А молодец ты, Ведеш, честное слово»... Ведеш ответил полусерьёзно: «Ещё бы, я левкауцкий»...

Он всерьёз затосковал о Левкауцах и собрался уходить, едва лишь увидел, что его присутствие в Плачештах больше не нужно...

— Ну, а потом? — спросил Сашко, когда Ведеш закончил рассказ.

— А потом Цуркан до меня пристал в поле, ты знаешь...

— Стой, я не про то. Нам в комсомол итти скоро; я вот думаю — как тебе со всей этой историей быть?

— Оф, я и не знаю, — вздохнул Ведеш, видно и сам он не раз с тревогой думал об этом. — Знаешь, очень я боюсь. Не разберутся ещё: «ага, скажут, отец твой в той лавочке! Взять, значит, Ванюшу под подозрение»... А я в комсомол хочу, я заслужу, они ведь не знают...

Ване и в голову не приходило, как не пришло это в голову и его товарищу, что «всей этой историей» он уже заслужил право называться комсомольцем.

Между тем слух о внезапно изменившемся поведении Якова Ведеша взволновал «ту лавочку».

— Э, головы, — крупно шагая по комнате, злобно насмеялся Цивенко. — Политики! Такого простого дела не могли организовать... Морей у них отказывается, Ведеш отказывается, все отказываются — чёрт знает что! А всё почему? Я же говорил вам — не троньте семей наших учеников, не троньте. Не послушали! Вот теперь и расхлёбывайте всю эту кашу, мне что! Я человек маленький, скромный, мне вся эта ваша политика ни к чему...

— При чём тут наши ученики? — поморщился Чеботарь. В последнее время, после того профсоюзного собрания, он относился к Цивенко с подчёркнутой брезгливостью. Чеботарь считал себя прежде всего порядочным человеком.

— При чём? — вскипел Цивенко. — Как это при чём? Иона Ведеша, если вы желаете знать, надо было прихлопнуть где-нибудь в поле, и весь разговор. А он шуму наделал на весь район. Я ещё удивляюсь, что никто не пришёл за вами по его следам...

— Прихлопнуть в поле! — Чеботарь побагровел. — Вы что это? За решётку сесть захотелось? Скажите спасибо Саккара — он всех нас чуть туда не посадил...

— Осмелюсь заметить, — приподнялся Саккара, и глаза его, побегав, жёстко остановились на Чеботаре, — осмелюсь заметить, домнуле, я послал Цуркана только последить за Ведешем. Вы припомните, мы с вами вместе договаривались, Авдий Георгиевич, послать кого-нибудь из мальчиков только последить.

— Но Цуркана! — развёл Чеботарь руками. — Знаете, я много от вас ожидал, конечно...

— Что вы хотите этим сказать? — Саккара стукнул ладонью по ручке кресла. Чеботарь промолчал. Затем заговорил сдержанней.

— Цуркан — бандит. Он особенно зол на Ведеша. Вы хотите сказать, что выбрали его случайно?

— Но инструкции были — только последить, — подчёркнуто повторил Саккара.

— Какие бы ни были инструкции...

— А всё-таки, что ж, просвистела ваша кампания? — в упор спросил Цивенко, поворачиваясь на каблуках. — Как, домнуле? Или, может, рискнёте в депутата стрелять, участок подожжёте? Ах, как домн Чеботарь не любит мужского, откровенного разговора... — Он злобно расхохотался. — Эх, политики!..

11. На крыльях

Раскрытие всех внутренних сил в себе, всех возможностей... Что знал об этом ещё несколько месяцев назад простой крестьянский парень Илья Сашко, которому, в лучшем случае, предстояло — с каким трудом, с какими лишениями для всей его семьи! — «выбиться в люди», став сельским ветеринаром, «домну», перед которым неторопливо снимают шапки крестьяне и который сам униженно сдёргивает паларию перед проезжающим щегольским экипажем.

Простой крестьянский парень, которому с младенческих лет внушалось, что истинное счастье в превосходстве над другими, — кто подсказал бы его юношеской совести, его сильному природному уму: иди к людям! Иди к людям, отдай им свой разум, своё сердце, свой талант, найди для служения им новые силы — как много их у тебя, Сашко! Разве знал он раньше истинную меру своих сил?

А теперь, когда говорил кто-либо из советских, Сашко чувствовал: вот сейчас обращаются к самому доброму, к самому благородному, что есть у него в душе. Сашко больше не отводил глаз, не отворачивался, как это было в первые дни, — он был прежде всего благодарен. Ему словно доверили драгоценный, не каждому посильный груз: держи, Сашко, если хватит сил, носи его дальше.

Хватит ли сил! Сашко чувствовал себя будто окрылённым, будто стремительно летящим куда-то. Каждый раз, когда он видел обращённые к нему лица слушателей, пытливые и недоверчивые одновременно — на комсомольском ли кружке, в Левкауцах ли, среди будущих избирателей, даже дома, куда изредка вырывался Сашко, — каждый раз он чувствовал лёгкое волнение и вспыхивающий в душе огонёк азарта. Он начинал говорить — и его волнение постепенно сменялось ясным спокойствием, радостным сознанием своей силы и правоты. Голос Сашко дрожал неподдельной страстью, ликовал. Он видел, как недоверчивые, испытующие глаза смягчаются, глядят на него вдумчиво и немного удивлённо. Он не знал, что это талант. Сашко был прирождённым агитатором, пропагандистом — он не знал этого, никто ему об этом не говорил. Но когда Сашко видел тянущиеся к нему лица, он и сам чувствовал себя растроганным, любящим, раскрытым настезь перед этими доверившимися ему людьми. Если бы они потребовали от него жертвы — он принёс бы её, не задумываясь. Он принадлежал им. Он и не думал никогда, что можно быть таким счастливым, щедро отдавая себя.

Это была его стихия — низкая чистенькая каса, скудно освещённая керосиновой лампой, в тесноте привалившиеся друг к другу крестьяне за грубосколоченным скоблёным столом. Скромно жмутся к стороне женщины...

— Есть вопрос, товарищи, — чуть повышал голос Илья Сашко и стукал по столу карандашом. — Антон Ковальчук спрашивает, что такое коммунизм. Будем, Ковальчук, рассуждать так... — Сашко чуть трогал горло; он был утомлён, беседа шла уже более двух часов. — Будем рассуждать так... Есть у тебя сейчас домик, земля, лошадёнка...

— Жена, детишек трое... — охотно подсказывал Ковальчук.

— Жена, детишек трое... Вся твоя жизнь сейчас около этого хозяйства — вот засеять, вот собрать, вот обмолотить, вот за виноградником доглядеть, вот корма обеспечить скотине — так ведь? Встанешь до света, а забота у тебя одна — как бы до вечера со всеми делами управиться, да кобылка бы не свалилась от натуги — ты-то выдержишь...

— Он мужик здоровый, ничего, — весело соглашались слушатели. — Мэй, Ковальчук?

— Тю на вас, — отмахивался Ковальчук, лениво поблёскивая цыганскими глазами, — ты, товарищ Сашко, про коммунизм...

— Я про коммунизм и буду говорить. Сейчас у тебя все твои силы на что идут? На то, чтоб поест да отвалиться, да кусок на завтрашний день отложить — ведь так? А на большее тебя и нету. Ты, может, и умный, и способный, и самый что ни на есть талантливый — я знаю? — а всё это под спудом, похороненное лежит: не до того, день бы прожить... А представь себе такое: всё, что ни делается в крестьянских полях, делается машиной... — Сашко энергично взмахнул кулаком, — всё, представляешь? Легко, быстро. Отработал ты шесть часов, и га́та, будет, дальше ты сам себе хозяин. Только шесть часов! А живёшь ты не бедно, нет. Сам ты одет, обут, ешь досыта, семья у тебя сыта и одета, дети твои учатся спокойно — хотя в школе, хотя и дальше, в университет пойдут, ты по хозяйству и без них управышься; жена твоя молодая, красивая — хорошая жизнь не старит. И в доме у тебя чего только нет: занавески кружевные на окнах, кровать никелированная, патефон, радиоприёмник какой-нибудь необыкновенный — культурно, чисто. И ведь не один ты, а все крестьяне, сколько их ни есть вокруг — все вот так же живут. Нравится тебе такая жизнь, мэй?

— Что ж, — мотнул головой Ковальчук, — жить можно. Ты, товарищ Сашко, дальше...

— А дальше — самое главное. Ну, живёшь ты богато, работаешь в меру — иногда чуть побольше, иногда чуть поменьше — забота тебя не гложет. Что тебе делать? Спать, что ли, с утра до вечера? Ну, отоспишься ты за две недели, а дальше? А дальше станешь ты, товарищ Ковальчук, книжки читать — да, да, что ты на меня так смотришь? — глядишь, научишься чему-нибудь, квалификацию получишь, в гору пойдёшь... И будешь ты не просто крестьянин, — лицо Сашко приобрело то хитровато-значительное выражение, с которым он всегда произносил «новые слова», — а трудовая интеллигенция, о! При коммунизме каждый человек такую силу возьмёт, знаешь... А главное ведь что? Главное — все равны! Ты сыт — и другой сыт. Тебе хорошо — ну и другому хорошо, слава богу...

Крестьяне помолчали. Гандрабура — тяжёлый, неразговорчивый человек — глянул на Сашко исподлобья:

— Я тебя, хлопец, так понимаю. Коммунизм — это прежде всего богатство, так? Ну, богатство, между прочим, на земле не лежит...

С этим Сашко согласился охотно: богатство на земле не лежит, его добывать надо.

— Вот, добывать надо, — Гандрабура назидательно поднял палец. — А как его добудешь — да ещё на всех?

— О! Так я ж за то и хочу говорить, — обрадовался Сашко. — Есть такая дорога до коммунизма — прямая дорога... Ну, только это тема большая, товарищи... Я в другой раз расскажу, мне почитать чего-нибудь надо...

— Колхозы? — спросил Гандрабура. — Эге, вот тебе и вся твоя коммунизма...

— Как тот поп, — засмеялся Ковальчук, — начал за здоровье, а кончил за упокой...

— Оф, какие вы... — укоризненно покачал головою Сашко. — Стойте, я вот вам сказку на прощанье скажу...

— Ну что ж, сказку давай, — плотнее уселись задвигавшиеся было слушатели.

— Товарищ Сашко, ты только не про колхозы...

— Ладно, будет не про колхозы. Жил на свете крестьянин один. —

Сашко откинулся к стене, упёрся руками в стол, поднял к потолку насмешливое лицо. — И жили за спиной у того крестьянина напасти да страхи. Сто страхов и сто напастей — так и положим для ровного счёта. Сидели у него за плечами и голову его гнули к земле. Что бы он ни делал, куда бы ни шёл — они ему знай своё нашёптывали: «Не разгибайся, в землю смотри! Смотри, дядька, в землю, смотри себе под ноги; неровен час — споткнёшься, неровен час — упадёшь, вот будет беда, вот будет беда, тебе этой беды вовек не избыть...» Так и жил этот крестьянин со страхами и напастями за спиной. Землю ли пахал, надрывался — всё вниз смотрел. По улице ли шёл, борщок ли постный хлебал, детей ли растил — всё глаз не поднимал, всё в землю да в землю глядел. И задумался он однажды о своей судьбе. «Что, думает, я за несчастный такой уродился, за плечами у меня только страхи да напасти сидят, и как мне свою недолю скопать — я уж и не знаю. Попробовать разве, стряхнуть их с себя...» Как выпрямился, как расправил плечи — страхи и напасти с него и попадали. «И что это, думает он озираясь вокруг, мне так легко стало?» Глянул — а страхи его и напасти у него под ногами лежат, да такие жалкенькие, да такие дурные... А кругом-то ясный день, и солнце сверкает, и небо такое синее-синее — неба-то дядька мой в жизни ни разу не видел. Он так и обомлел: «Господи, да какая же кругом красота!» Ну, он не дурак был. Схватил хворостину хорошую, да давай свои страхи охаживать. Те молят: «Оставь, мужик, так ли мы славно вместе жили». «Нет, отвечает дядька, мне вас только теперь и убить, а то вы до смерти от меня не отвяжетесь...» Побил свои страхи, побил напасти — и пошёл...

— Так. Скопал, значит, недолю?

— А то ж...

Помолчали.

— И хитрый же ты человек, — сказал наконец, поднимаясь, Антон Ковальчук. — Ну, хитрый... Ладно, приходи, послушаем в другой раз за тѐи колхозы...

— Сказку ты сам придумал? — недоверчиво спросила уже на улице Клава, подоспевшая к концу Сашковой беседы.

— Сам, а что? — осторожно признался Сашко. — А что, Клавдия Алексеевна, плохая сказка?

Всю обратную дорогу до техникума Сашко бывал обычно весел и возбуждѐн. Затевад возню с товарищами, насыпал им за шиворот снега; его нехотя били, дружно катали в снегу. Он выскакивал из сугробов, встряхивался; догоняя Клаву, заглядывал ей в лицо смеющимися глазами:

— А ну, Клавдия Алексеевна, споѐм молдавскую песню...

Песни, взволнованные, дружные беседы на обратном пути из Левакауц, откровенные излияния впечатлительных, непосредственных ребят, простота и непосредственность самой Клавы — всё это создавало между нею и ребятами атмосферу особой близости, понимания и тепла. Но ближе всех был Клаве Илья Сашко.

Это безотчѐтное тяготение друг к другу не могло остаться незамеченным их всегдашними спутниками. Ребята относились к этой растущей день ото дня близости спокойно и человечно. Они не делали далеко идущих выводов — авторитет Клавы был для них достаточно высок, и ничто нечистое не могло коснуться её имени. Но когда во время агитации возникало какое-нибудь недоразумение — они прежде всего искали Сашко:

— Илья, сходи, скажи Клавдии Алексеевне...

— Вот... Почему именно я? — неискренно удивлялся Сашко.

Он не шёл, он бежал. Как он был счастлив! Клава встречала его весело, охотно помогала разрешить недоразумение. Осторожная, лукавая шутка Сашко, дружный заразительный смех обоих, самозабвенный, до слёз, взгляд Клавы, такой долгий, почти влюблённый...

Почти! Это иногда переставало удовлетворять Сашко. Что ему нужно было? Слов любви? Он уже не сомневался в истинной природе своего собственного чувства. Впечатлительный, склонный к преувеличениям, он скорее раздувал, нежели подавлял его. Его доводила до отчаяния простота Клавы, он не без основания видел в ней непринуждённость женщины, даже не помышляющей о любви. Разница в возрасте его совсем не смущала. Сашко давно уже перестал считать себя мальчиком. Иногда краска заливала его щёки — так смело, безудержно принимался он мечтать в тишине дормитора. Если для всех Клавдия Алексеевна была преподавателем, авторитетом, — для него она была воплощением всего самого доброго, самого нужного ему на земле, вестницей того нового мира, который с такой силой ворвался в его жадную, настежь распахнутую душу. Наутро он бросался к ней, наскоро придумав предлог или совсем без предлога, — если б она протянула ему руку, он, кажется, прильнул бы к ней губами. Но Клава не протягивала руки.

И Сашко, насупившись, глядя на неё ненавидяще и угрюмо, говорил первое, что приходило ему в голову.

А затем начинался день. Он нёс с собой новое — новые прочитанные страницы, новые, впервые услышанные слова; снова надо было собираться в учительской не понимающих русский язык ребят и беседовать с ними; Сашко собирал, беседовал, видел внимательные, жадные лица — и всё прочее отходило для него на задний план.

С кем он дружил больше всех — с Ведешем? Он даже Ведешу не мог признаться, какой хаос чувств захлёстывал его иногда.

Всё глубоко личное мальчики хранили в себе, не умея это назвать, не умея в этом открыться. Ведеш всё больше времени проводил теперь с Прозоровским, он не мог забыть его самоотверженный порыв.

— Ведь тебя тогда чуть не убили, ты знаешь? — удивлённо спрашивал он Прозоровского.

Костик в свою очередь удивлялся. Убить? Его, Костю? За что? Это он, Ваня, был так замечателен, так храбр в ту незабываемую ночь...

Только мысль о Марице иногда смущала Сашко. Когда он видел в глубине чужого класса её склонённую над тетрадами голову, он невольно задумывался. Ему странно было видеть теперь за партой девушку, которая ревниво оберегала его от учёбы, удерживала дома, с собою, уговаривала жениться... Ему начинало казаться, что он чего-то не понимал в ней, вернее — не хотел понять, и смутное чувство собственной неправоты охватывало его. Временами в нём поднималась ревность, старая обида... Какая там неправота, всё правильно! Сашко шёл по коридору дальше. Но почему она такая серьёзная, такая печальная всегда? И упорно избегает встреч...

Мунтян как-то осторожно спросил его:

— Мэй, Сашко, ты не скажешь, Марица с этим, с Заболотным, по любви живёт или так?

— А я знаю? — пожал плечами Сашко. — Спроси у неё...

— Ты же гулял с нею, э? — недоверчиво скосил глаза Мунтян.

«Вот и этот ещё вокруг неё вьётся, — подумал Сашко. — Каждый вьётся, кому не лень. Ладно, найдёт себе заступников, если ей очень надо»... Но беспокойство не проходило. «Сергей Викторович говорил:

то лишь при капитализме человек человеку волк. Мы должны во всём помогать друг другу... Нет, плохой ты ещё коммунист, товарищ Сашко! Плохой, плохой...»

Но подойти к Марице, заговорить с ней было между тем невозможно.

Однажды вопрос о Марице задала ему Клава. Они шли с избирательного участка, далеко отстав от ребят. Клава чуть опиралась на локоть Сашко. Она жалобно морщилась, у неё была стёрта нога; Сашко шёл, отвернувшись от неё, он был против обыкновения молчалив и задумчив. Больше чем когда-либо ему хотелось говорить ей о своей любви.

А Клава спросила — так неожиданно, что Сашко невольно вздрогнул:

— Неужели Марица с Заболотным по любви живёт? Даже не верится... Такая чудесная девушка — умная, серьёзная.. Красавица.

Сашко помолчал, неохотно ответил:

— Не любит она его, что вы..

Клава остановилась:

— Не любит? А как же?..

Сашко пожал плечами:

— Мало ли как бывает..

— Послушай, что ты говоришь? — рассердилась Клава. — Если ты знаешь — что ж ты молчишь об этом? Мимо этого ведь пройти нельзя!.. Я думала, любовь у них...

Клава обладала редким умением вносить в своё отношение к жизни чистоту и строгость юности.

— Что ты о Марице знаешь? Всё расскажи — слышишь? — требовала она.

Сашко медленно пошёл дальше, увлекая её за собою. Он размышлял: «Рассказать? Постойте же, я вам сейчас расскажу»...

И Сашко начал рассказывать. Он давно уже чувствовал настоящую потребность доверить кому-нибудь странную, запутавшуюся судьбу Марицы. Недавно появившееся, такое необычное для него чувство ответственности за другого человека не давало ему покоя. Он говорил о прежней своей любви, о взаимных клятвах, о своём уходе сюда, в Левкауцы, о неожиданной измене Марицы — обо всём. Он говорил искренне и в то же время лукавил. Он говорил так, точно для него измена Марицы была незаживающей, кровоточащей раной, точно Марица была немеркнущим солнцем в его небесах. Когда там она была его солнцем! Он говорил — а сам ревниво вглядывался в лицо Клавы: не дрогнет ли, не переменится ли, не отразится ли на нём хоть на миг, на единственный только миг оскорблённая, вспугнутая любовь. К нему, к Сашко... Что он дал бы, чтоб увидеть хоть слабый отблеск этой любви!

Но лицо Клавы оставалось спокойным, внимательным и немножко сердитым.

— Эгоист! Так и не выслушал девушку, не понял, не захотел понять!..

Сашко вздохнул разочарованно и виновато.

12. «Вперёд, заре навстречу...»

Из райкома привезены, наконец, анкеты. Вновь и вновь мы повторяем на комсомольском кружке уже знакомые каждому нашему ученику слова комсомольского устава: «...ВЛКСМ помогает партии большевиков и советскому правительству в выполнении великой исторической задачи — строительстве коммунистического общества... «ВЛКСМ воспитывает всё молодое поколение в духе советского патриотизма, беспредельной преданности и безграничной любви к СССР — к своей родине».

Советский Союз — их родина! Они сидят притихшие, взволнованные. Каким это ещё недавно казалось далёким, недосыгаемым — и вдруг вот оно, рядом, рукой подать: написать заявление, поставить под ним свою подпись — и ты уже не принадлежишь себе. На всю жизнь безоговорочно ты принадлежишь своему народу.

Вечером, на уроке молдавского языка, мой профессор Илья Сашко, молчаливый и рассеянный как никогда, вдруг перебивает меня на полуслове и говорит:

— Знаете, Вера Михайловна, я очень, очень должен быть в комсомоле!

Дня через два приходит Ваня Ведеш. Он сидит против меня, скромно подобрав под табуретку ноги, поджав губы, с тем особым своим умильным выражением лица, которого давно уж никто не видел у Ведеша: «Ну, посмотрите же! Разве вы не видите, какой я серьёзный, внимательный, заслуживающий всякого доверия человек...» Пепельные волосы его тщательно приглажены, курточка застёгнута доверху, он спокойно и терпеливо ждёт моего ответа: Ведеш тоже хочет быть в комсомоле.

Я медлю с ответом. Я думаю о его осторожности и уклончивости, меня раздражает его заискивающая робость. Ведь был же он иным всё это время — прямым, непоседливым, смелым! Неужели сейчас, к самой большой и чистой цели он хочет прийти старыми, рабскими путями?

— Тёмный ты человек, Ваня, — говорю я полушутя, полусерьёзно, — ну что ты так мнёшься сейчас, будто в чём-то виноват?

Ваня опускает глаза и молчит.

— Я не виноватый, — не поднимая глаз, медленно отвечает он, наконец. — Вы сами повидите, Вера Михайловна, вот я вам всё расскажу сейчас...

И неожиданно для меня он начинает говорить о своём отце. О том, какой он умный и справедливый человек — ну, не понял кое-чего немножко, стал жертвой провокации... О том, как он, Ваня, долго колебался, а потом, после случая с Мореем, пошёл в Плачешты — уговаривать своего отца... О том, как явился в избирательную комиссию, как потом по домам ходил, агитировал. «Я хорошо справился, вы не думайте... Меня там хвалили даже...» Как он колебался эти последние два дня — говорить обо всём этом или не говорить.

— За комсомол боялся. Но я заслужу, Вера Михайловна, вы ведь не знаете...

Ведеш взглядывает мне в лицо и озадаченно замолкает: я смеюсь.

— И всё?

— И всё, — удручённо соглашается Ваня.

— Это потому ты таким пайнкой сидел сейчас, на себя непохожий? Ваня молчит.

...Тяжёлая работа у нас, у педагогов: иногда так хочется обнять от всей души, а нельзя, не принято.

— Да, Ваня, рекомендацию. Но только смотри — будь примерным комсомольцем...

Ведеш вихрем выносится из комнаты.

На душе у меня ликование — открытым, честным путём идут они все к комсомолу..

Рекомендацию получают также Петя Галецкий и Вася Беженарь — скромные, твёрдые ребята. Все они — и Ведеш, и Сашко, и Беженарь, и Галецкий — ходят по техникуму почти не разлучаясь друг с другом, а за каждым шагом их следят настороженные, ревнивые глаза. Им завидуют — и за них боятся. В райкоме обещали разбирать их дела в се-

редине января, после выборов. Этого дня в техникуме ждут не дож- дутся: как там наши, подходящие ли окажутся? Окажутся подходя- щие — и мы вслед за ними: что́ мы, хуже их, из другого лыка плетёны?

Но почему не приходит за рекомендацией Гончарюк? Я остановила его однажды:

— Гриша, разве ты не думаешь о комсомоле?

Гриша слегка покраснел, опустил глаза:

— Почему? Я думаю, вы подождите, не кажите мне пока ничего...

Проходит несколько дней — а он всё не приходит. Смотрит отчуж- дённо, строго — и явно уклоняется от разговора.

— Вот вы повидите, ничего... — загадочно говорит Ведеш, — Григо- рий Гончарюк из нас всех самый, мэй, правильный...

А Гриша между тем часто уединяется с Котогоем, с Гуцуляком, они уходят к дяде Мише и что-то записывают с его слов в потрёпанный Гришин карнет.

По вечерам в dormиторе ведутся долгие, непримиримые споры.

— ...Струсили, верно ведь? — жёстко спрашивает ребят Гриша. — Что, вас это не касается, не ваш техникум ограбили? Развеселились, не знаю с чего: «Два воза, два воза...»

— Ну, ладно тебе, — примирительно откликается Сашко. — Это ко- гда было...

— Комсомольцы! — вторит Грише Котогой. — Неправильные вы ком- сомольцы. Комсомол — это ведь какое слово! А вы...

— Молчи, Семён, ты всех лучше, — начинает сердиться и Сашко. — Точно ты на собрании не кричал? Кричал, как все...

— Я за себя не говорю. Я в комсомол не лезу, у меня совесть есть.

— Нужна кому твоя совесть!..

— Ты, Сашко, подожди... — строго обрывает Гриша. — Все вы жа- луетесь, когда у нас недостатки, — плакать вас много. А как до дела дошло — где вы были? Побоялись, неприятность можно какую-нибудь получить? Ты, Илья, всё смотришь, как тебе удобнее...

— Вот, вот, правильно говорит, — солидно качает головой Тетеля.

— Подожди, — повышает голос Гриша. — Кто вы получаете — хозяева или приживалы при советской власти?.. Ты, Илья, скоро голо- совать пойдёшь...

— Что ты меня агитируешь? — вспыхивает Илья. — Другие не кри- чали, что ли — что ты ко мне одному пристал? Чуть сказали не подумавши, а ты уже целую историю разводишь...

Когда говорит Гриша, ребята затихают. В его словах они смутно чувствуют большую, не сразу понятную правду.

— «Хозяева»... — удивлённо повторяет Плечинта. — А что ж, хозяе- ва, что ли?

Гриша оборачивается к нему:

— Кто коней школьных в Бельцы угонял? Ты, Иван?

— Ну, я...

— Сколько, помнишь?

— Чего не помнить! — удивляется Плечинта. — Я до десяти считаю.

— Подписаться надо будет — подпишешься?

— Придумал... — Плечинта недовольно отворачивается. — Ты что, Цивенку не знаешь?

— Нет, ты подожди, — подсаживается к нему Гриша. — Мэй, Си- меоне, пойдй сюда...

И Котогой, Гончарюк и Плечинта долго шушукуются о чём-то в дальнем углу dormитора.

А через несколько дней приходит за рекомендацией и Гриша.

Накануне вечером Гриша долго ходил с Аникуцей по протоптанной дорожке вдоль интерната, сжимая в холодной ладони её пальцы, и горячо убеждал её в чём-то. Не отвечая на подшучивание пробежавших мимо ребят, чуть толкая друг дружку плечами, они ходили взад и вперёд, изредка останавливались, и тогда Аникуца задумчиво смахивала варежкой прильнувшие к его плечам снежинки.

— Мне с тобой вместе итти хочется, — говорил между тем Гриша. — Договорились ведь — всё, всегда делить пополам. Разве мы не друзья с тобой?

Аня взглянула снизу вверх кротко и благодарно.

— Боишься, что ребята смеются? Пусть их... Что они понимают, ребята!..

— Я не из-за ребят, что ты? — остановилась Аникуца. — Оф, Григорий, ты не знаешь, у меня причина есть.

Гриша требовательно стиснул её пальцы:

— Какая причина?

Аня замотала головой, отвернулась:

— Нет, нет, ты посмеёшься, нельзя..

Гриша рассердился. Что за секрет? Он ей всё несёт, кажется, ничего не осталось скрытого, тайного от неё — а она? Э, разве можно с девчонками дружить... У ребят всё открыто, просто, а у них на каждом шагу эти никому не нужные секреты...

Аникуца грустно смотрела в сторону. Гриша осыпал её упрёками, а в сердце его что-то тихо вздрагивало при взгляде на это милое обиженное лицо. Полный жалости и прозрачной, хрупкой, как тонкая льдинка, любви, он невольно, сам того не замечая, клонился всё ближе к этому лицу, к губам Аникуцы. У него перехватило дыхание, он замолчал.

Кто-то из первокурсников пробежал из суфражерии. На бегу крикнул насмешливо и предостерегающе:

— Уговариваешь, мэй?..

Гриша вздрогнул, выпрямился, виновато оглянулся. Аня повернулась к нему — она так ничего и не заметила, — доверчиво сказала, крутя пуговицу на его груди:

— Знаешь, я тебе скажу, Григорий. Ты только советским не говори, хорошо? Знаешь, я в бога верю..

Гриша задумался.

— Да, тогда нельзя, — согласился он. — Какая ты тогда комсомолка?

Аникуца покорно вздохнула.

И вот Гриша сидит у нас в комнате, большеглазое, тонкое лицо его взволнованно и строго.

— Ну, хорошо! — медленно говорит он. — Большое спасибо, что доверяете. Вы мне теперь скажите, какие у меня недостатки. Я, может, не знаю, вы скажите...

Как трогает это чистое, высокое их отношение к комсомолу, их радостное волнение на пороге новой жизни!.. Разве это волнение не искупает даже неизмеримо больших человеческих недостатков?

После минутного колебания Гриша протягивает вчетверо сложенный листок плотной бумаги.

— Вот. Раньше не мог отдать: вы бы сказали — это я нарочно к комсомолу подмазываюсь. А я без этого не мог пойти в комсомол, совесть не позволяла.

Когда он уходит, мы разворачиваем этот мелко исписанный лист. Тут записано всё: кто вместе с Цивенко увозил из техникума имущество, и куда оно продано, и где находится сейчас, и каких свидетелей можно привлечь, если это необходимо. Под перечисленным подписи Гончарюка, Котогоя, Плечинты, Ведеша, Беженаря, Сашко, дяди Миши, Кубова, других школьных рабочих. Даже Шевчук поставил крест под длинным столбцом фамилий. Одна из грязных страниц истории нашей школы оказалась переписанной набело честной и беспощадной мальчишеской рукой.

13. Клава Долинина

Когда Сашко говорил о своей прежней любви к Марице, Клава изо всех сил старалась, чтоб он не заметил на её лице разочарования и обиды... «Вот и всё, вот и всё», — невесело думала она. «А ну, постой, — перебивал её мысли другой внутренний голос, взыскательный и строгий, — постой, ты, может, рассчитывала на что-нибудь? Тебе-то не всё равно, кого он там любит?». Ей было не всё равно. Она доброжелательно и грустно приглядывалась к тёмной головке Марицы, склонившейся над партией. Красивая девушка, Ровесница Илье, его односельчанка, — так и должно быть, вот кого можно любить до безумия! А она, Клава, — скуластая, широколицая, так много пережившая. «Ну и молчи, — уговаривала она себя, — смешно, брось думать...» Но лишь стояло ей лечь в постель после полного суеты, напряжённого дня, как перед ней выплывало это лицо — или беззаветно смеющееся, лукавое, или вдохновенное, страстное, устремлённое навстречу слушателям. «Илья, мальчик мой», — засыпая, думала Клава.

Неужели это любовь? Клава презирала, ненавидела себя: не за тем приехала она в Молдавию!

Клава была сильным человеком. Ей удивлялись, ей подражали, к ней тянулись товарищи. В институте она была секретарём комсомольской организации — это было не случайно. Она всегда была с людьми и на людях; она принадлежала им, со всеми своими помыслами и поступками.

Когда возникал какой-либо сложный вопрос — первое слово чаще всего представлялось ей; зал взрывался аплодисментами после окончания её речи. Если с кем-нибудь случалось несчастье, если кто-нибудь серьёзно заболел — у постели товарища первой появлялась Клава. Рядом с ней было спокойно, просто. Клава садилась заниматься, выбрав в институте уголок потише и поуютней, а через полчаса уже все столы, все диваны вокруг бывали заняты притихшей читающей молодёжью. Поздно вечером возвращалась она из института в общежитие, окружённая весёлой, хохочущей толпой, и где-нибудь в тёмном, безлюдном переулке вдруг запевала «Теремок» или «Златые горы», — голосистая, задорная девчонка из Подмосковья; восхищённые товарищи подпевали ей. День Клавы кончался поздно. Всегда находились люди, не умеющие справиться с личной своей жизнью; они задерживали её на балконе общежития или на лестничных переходах. Клава выслушивала их терпеливо, доброжелательно; охотно склонялась на просьбу помочь. Близкие друзья сердились: «На всех тебя хватает»... Может быть, просто ревновали её? Напрасно. В большом сердце новые привязанности не вытесняют старых, сердце находит в себе новые и новые силы.

Шёл последний год пребывания в институте. Проходили практику в московских школах, с волнением ждали государственных экзаменов.

В это самое время пришёл запрос из министерства: Дальний Восток срочно нуждается в преподавателях, преподавателей негде брать, мно-

гие призваны в армию, — не помогут ли комсомольцы? Добровольцам следовало перевестись на заочное отделение и немедленно уезжать. Клава читала обращение комитета к организации. На скулах её горел румянец, лицо было вдохновенно и строго. Заявления членов комитета уже лежали на столе президиума. По рядам передавались новые. Они были написаны наспех, карандашом, взволнованно, неровно.

— Не решайте сгоряча — думайте! — предостерегала Клава. — Предстоит будничная кропотливая работа в посёлках тихоокеанского побережья, в сёлах Уссурийского края. Не закрывайте глаза на трудности. Будьте готовы к суровой жизни, к разлуке с близкими, которая протянется, может быть, годы, к самостоятельному решению многих вопросов, к ответственности, которую не с кем подчас разделить. Не торопитесь, спросите себя: способны вы на это?..

Комсомольцы мысленно присягали: способны. Это видно было по их горящим лицам. Всё новые заявления поступали в президиум. Клава оглядывала зал торжественно, любовно. «Радость о человеке — её так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле»... Щедрой мерой была ей отпущена эта радость, о которой так хорошо сказал Горький.

Волнующими были эти прощальные дни. Запасались литературой, записывали последние лекции, читали всё, что можно было достать, о Дальнем Востоке. Клава тоже готовилась, причислив себя к отъезжающим. Но в райкоме комсомола её запретили отъезд категорически, бесповоротно.

— Ты что, газет не читаешь? — говорил ей секретарь райкома. — Нам такой год предстоит, а ты двухтысячную комсомольскую организацию бросаешь на произвол судьбы...

Клава хотела быть со своими друзьями. Ей казалось, что институт опустел — остались лишь трусы, лишь дезертиры...

— Ты несправедлива к людям, — словно читая её мысли, продолжал секретарь райкома. — Клава молчала. Секретарь встал, считая разговор законченным: — И своим дальневосточникам здесь ты будешь гораздо полезнее...

— Ты полезнее будешь здесь, — утешали её отъезжающие. — Клава вочка, ты будешь нашим полпредом...

Она могла бы почувствовать, как много значит она для людей, если бы не была так скромна. В эти дни перед разлукой товарищи признавались, что многим обязаны именно ей, благодарили её. Она искренно недоумевала: будет вам, что я сделала? Обычно сдержанные и насмешливые парни неловко целовали её большие руки. Клава смущённо отмахивалась: что вы, смеётесь?.. В эти последние дни оказалось, что многие влюблены в Клаву. Клава терпеливо выслушивала влюблённых, матерински напутствовала: «Ты не горюй. Знаешь, всё ещё только начинается в жизни...».

На вокзале до самой последней минуты, пока не тронулся поезд, Клава старалась быть оживлённой, весёлой. Смеющимся лицом прижималась к вагонным окнам. В голове поезда гремел оркестр, звуки его относило ветром. Ветер ходил по платформе, лёгкий, свободный ветер нашей прекрасной юности...

Дни шли. И раньше отличавшаяся исключительной работоспособностью, Клава теперь совершенно не щадила себя. Глаза её ввалились, лицо заострилось. Вечером в институт, в комитет ВЛКСМ заходил Борис Луковский.

— Дурочка, — говорил он. — Ты посмотришь в зеркало, на кого ты похожа...

Он заставлял её уходить, провожал до общежития. По дороге говорил о своей любви.

Она была привязана к нему, как привязываемся мы к тем, кому делаем добро, как любим мы тех, кого создаём своими руками: своих собственных детей, своих учеников, воспитанников. Иногда друзей. Её влиянию Борис обязан был всем — и тем, что он, бывший беспризорник, пошёл учиться, получил среднее образование, готовился стать инженером; и той уравновешенностью, чистотой, той окрылённостью, которую внесла в его жизнь дружба с Клавой. Она росла сама и тянула его за собою. Она лепила его характер внимательно и любовно. Может быть, она пошла бы за него замуж, но всё было как-то не до того... Ей казалось, что это и есть любовь. Что она знала!

Борис покорно ждал: хорошо, они окончат вуз, поедут вместе работать... Он не удивился, когда она подала заявление о поездке на Дальний Восток, он знал, на что шёл, готовясь связать свою судьбу с нею: её всегда надо было догонять, всегда...

Жизнь текла стремительным, широким потоком, неся сильные волны, набегающие одна на другую. Будь благословен этот год — он воспитал целое поколение!

Однажды Борис пришёл в общежитие к Клаве, тихо окликнул от двери:

— Клава!

Клава оглянулась — и сразу поняла всё: у ног его лежал вещевой мешок.

— На фронт?

Всю дорогу на Октябрьский вокзал он радостно делился с ней:

— Обманул комиссию, всех обманул, ведь ты же знаешь, что у меня со слухом...

Он запомнил её взгляд: тёплый, любовный. Они никогда ещё не были так близки друг другу. Он спросил, чтоб скрыть волнение:

— А у вас уже набирали добровольцев?

Да, Клава вчера проводила на финский фронт нескольких парней из института; они тоже оживлённо рассказывали, что кого-то там, в медицинской комиссии, обманули... Радость за людей — величайшая радость на свете!..

Никогда ей не приходилось писать столько писем! Дальневосточники требовали от своего «полпреда» методической литературы, сборников самодеятельности, журналов, книг, ребята с фронта требовали писем, писем...

А потом пришло письмо-треугольник с Карельского перешейка, подписанное незнакомой рукой: Борис не вернётся... Об этом письме так и не узнал никто.

И новые колонны добровольцев — на педагогическую работу в Западную Белоруссию, Западную Украину. Необыкновенный выдался год! Клава уже убедилась, что тогда, в сентябре, действительно была несправедлива к людям, излишне горяча. Когда было нужно — в институте ещё и ещё находились свежие молодые силы. Сколько он уже отдал, а всё не иссякал!

В июне с Дальнего Востока вернулась Вера — сдавать государственные экзамены. Из армии демобилизовался работник, которого она замечала. В институте её забросали вопросами:

— Ну, рассказывай...

Вера смотрела на возмужавшие лица. Эти ребята в марте вернулись с финского фронта. Они и сами накопили впечатлений и были не прочь поделиться. Миша Галузо радостно говорил:

— Что за судьба у нашего поколения! Вот и встречаемся вновь — одни с Запада, другие с Востока...

Это уже было твёрдо решено между Верой и Клавой: ехать на Запад, в освобождённые республики! Только что освободили, например, Молдавию... Клаве предлагали остаться в аспирантуре. Она стояла на своём: я этой Молдавии, может быть, целый год ждала!

Тёплый, ласковый ветер молдавских просторов, подхватывающий всё что ни встретится на пути — и лёгкую гряду облаков, и винный запах яблок, и прелую сладость раскрытой, обнажённой земли, и короткие всплески пастушьего рожка, и протяжные звуки замирающей молдавской дойны... Радостный ветер бесконечных холмистых степей, неистребимая, ликующая сила жизни, примиряющая с любым горем, затягивающая любую рану, несущая, победно несущая вперёд!..

Как ей хотелось жить, как ей неосознанно хотелось любви — она ведь ещё никогда не любила, теперь она это знала твёрдо.

Но она не должна была об этом думать...

По дороге в техникум, умышленно отставая от остальных ребят, Клава говорила Сашко:

— Ты будущий комсомолец, ты не смеешь быть равнодушным к людям! За эту девочку ты отвечаешь.

Она требовала, чтоб Сашко сам поговорил с Марицей. Чтоб он к ней вернулся. Она была искренна, потому что Марица ей нравилась. Потому что она желала добра Сашко. И когда Сашко упрямо качал головой, она сердилась:

— Я тебе рекомендацию давала...

Сашко отвернулся, возразил глухо, еле слышно:

— Вы не знаете, Клавдия Алексеевна, я одну женщину люблю...

Оба замолчали. Под ногами скрипел снег, равномерно, звонко.

— Какую? — с усилием спросила Клава.

Равнодушно, всё так же звонко скрипел снег. Сашко, наконец, решился:

— Вас...

Налетели поджидавшие на повороте ребята, Клава приветствовала их шумно, неестественно оживлённо — она растерялась. Всю дорогу до техникума она кстати и некстати смеялась, пела, точно вовсе не замечая перепуганного, несчастного Сашко. Звонко, с надрывом, по-деревенски запевала поволжское «страданье», и ребята, на ходу наученные ею, подхватывали старательно, деловито:

— «Ох, Коля, грудь больно...»

На следующий день Клава вызвала к себе Марицу. Говорить ей с Марицей было трудно... Марица глядела на неё серьёзными, недоверчивыми глазами, отвечала сдержанно, осторожно.

— Ты будь откровенней, — уговаривала её Клава. — Может, я тебе помогу чем-нибудь. Я же вижу, ты несчастливая. Ведь ты Никиту Фёдоровича не любишь?

— Какая любовь... — пригнула голову Марица. — Он мне не ровня...

— Ничего не понимаю. Зачем же ты с ним живёшь?

— Ну, зачем... Взял за себя, вот и живу.

— Ты что, расписывалась с ним?

— Не. — Марица робко взглянула на Клаву. — Как расписываться?

У него жена есть...

— Зачем же ты живёшь с ним?

Марица не ответила. Что она могла сказать? Зачем живёт? А как же она уйдёт теперь? И куда, домой?

Как бы угадав её мысли, Клава спросила:

— Ты к отцу вернулась бы?

Марица отрицательно мотнула головой. Брови её упрямо сдвинулись.

— Учиться хочешь?—Марица ничего не отвечала.—Не могу я так разговаривать! — с отчаянием воскликнула Клава.— Слушай, Марица, я ж тебе добра хочу, ты поверь...

— Да я не знаю, что про себя говорить... — уже мягче и искренней сказала Марица.

Клава осторожно завела речь о Сашко, Марица опять замкнулась. Нет, она его не любит. С чего директинта взяла, мало ли мальчиков на свете? Тогда Клава передала ей рассказ Сашко.

— Видишь, я и так всё знаю, — просто сказала она. — Я только понять не могу, как ты могла сойтись с Никитой Фёдоровичем...

Тогда Марица заговорила — медленно, с трудом. Клава с ужасом слушала её невесёлые рассуждения.

— Влиятельный человек? — горячо перебивала она. — Да пойми ты, дурочка, в Советском Союзе ни один человек, самый влиятельный, самый сильный, не может распоряжаться чувствами другого человека. Нельзя заставлять любить себя, ты пойми...

— Да я ж не люблю... — удивлённо возражала Марица.

На углях в голландке зашипел, закипел чайник. Марица безучастно следила за проворными, ловкими движениями Клавы. Клавдия Алексеевна собирала на стол, колола сахар. Она была в домашнем голубом халате, глубоко открывающем нежную шею. Её сильные, большие руки летали над столом, мягко, осторожно прикасаясь к посуде. От всей её крупной фигуры веяло внутренней силой, свежестью, душевным теплом.

Марица сказала неожиданно для себя:

— Вы — как моя мама...

Она тихо заплакала, смущённо отмахиваясь:

— Господи, Клавдия Алексеевна, как вы легко говорите... Куда я пойду?

Она покорно затихла. Ей на плечи легли эти большие, спокойные, материнские руки.

14. В семье

Сергей Викторович прикрыл за собой дверь.

— Я вызвал вас, ребята, для серьёзного разговора. Помните последнее собрание учкома? Говорили мы с вами тогда о том, что жить мы должны одной большой семьёю, одним коллективом...

Ребята смотрели выжидательно.

— Дело вот в чём: у нас один человек без семьи остался... — Седов подождал, оглядел всех, пояснил: — Марица...

Аникуца обеспокоенно спросила:

— Сергей Викторович, у неё умер кто-нибудь?

Седов рассказал: от Заболотного её надо взять, с отцом своим, с кулаком Бахчеваном, она не хочет иметь ничего общего. Возьмёт ли коллектив на себя заботу о ней? Стипендию он, директор, ей определит, конечно...

Вася Беженарь не дал Седову докончить:

— Сергей Викторович, а как же иначе? Поможем, конечно...

Ребята заговорили все разом: конечно, они будут о ней заботиться. И как они сами не догадались — вот почему она всегда такая печальная, такая неразговорчивая!

Один только Сашко сидел молча. Аникуца встала, сказала смущённо, потирая лоб тыльной стороной ладони:

— А в воскресенье я её буду к себе брать, а, Сергей Викторович? У меня и тата, и мама очень хорошо её примут...

Сергей Викторович поднялся:

— Спасибо, ребята! Я от вас другого и не ждал...

Заболотному Сергей Викторович предъявил суровое обвинение.

— Плохо вы устраиваете свою жизнь, Заболотный, — говорил Седов. — Гляжу на вас — и не знаю: то ли вы друг советской власти, то ли враг. Очень в вас старой гнили много. Обстановку вот себе завели — ковры, радиоприёмник, кресла мягкие... Знаете, о чём я думаю: а не продаст ли Заболотный за эту обстановку советскую власть в тяжёлый момент?..

Заболотный счёл за лучшее обидеться:

— Я уж и не знаю, Сергей Викторович, как вы так можете? Я всегда всей душой...

Сергей Викторович вспыхнул:

— Да душа-то у вас двойная... О человеке и по его личной жизни судят. А какая у вас личная жизнь? Самая двурушническая. Забыли о советской законности, хотите под суд попасть?

Заболотный растерялся. Неужели Седову всё известно? Сказал неуверенно:

— Я, Сергей Викторович, женюсь на ней.

Седов отмахнулся:

— Женюсь! Не пойдёт она за вас. Она будет учиться, человеком станет. Вам я советую взяться за ум. Мы вам большое дело доверили. Будьте же достойны нашего доверия.

Когда Заболотный вошёл в комнату, Марица сидела спиной к двери за его письменным столом и что-то читала. Как всегда при его появлении, встала. И как всегда, у Заболотного вспыхнуло мгновенное ликующее сознание, что вот она у него в комнате, одна...

Но чувство радости тут же погасло. Отчуждённо и грустно глядел он на эту склонённую красивую головку. Удивлённая его молчанием и неподвижностью, Марица подняла лицо, робко спросила:

— Вы что, домну?

Он притянул её к себе.

— Марусенька, красавица ты моя, ты хоть знаешь, как я тебя люблю?.. Не знаю, что бы я сделал!.. Ты только согласишься, Марица, пойдёшь за меня замуж, а?

Сдвинув брови, Марица молча глядела ему в лицо.

— Поедем в район, запишемся. Скажу — вот она, законная жена; всё, дескать, по любви, по совести... Пойди за меня замуж...

Марица отвернулась. В глазах её блеснули слёзы.

— Ну, Марица? Марица?

Марица взглянула серьёзно, строго. Медленно, задумчиво повела головой.

— Нет? — упавшим голосом переспросил Заболотный. — Нет, не пойдёшь? Ты подумай...

Она повела головой ещё раз. Заболотный толкнул её с колен:

— Иди от меня. Совсем уходи, понимаешь — совсем.

Марица плакала, повернувшись к нему спиной. Почему? Она и сама не знала. От радости ли, что она свободна теперь, наконец-то свободна, от страха ли перед будущим, просто ли от волнения? Слёзы были лёгкие, быстрые. Стыдливо прикрываясь рукавом, она пояснила:

— Я другого люблю, домну...

— Иди от меня, ну... — глухо повторил Заболотный.

Не дожидаясь, пока она соберёт свои вещи, он взял сброшенное на стул у дверей пальто и, не разуваясь, лёг на кушетку, укрывшись с головой, лицом к стене. Марица тихо вздохнула, отошла на носках. Уходя, привернула фитиль стоящей на столе лампы. Заболотный с жадностью ловил эти последние звуки. Дверь открылась и вновь закрылась. Ушла...

15. С Новым годом!

Над трубами стелется в небе лёгкий, вздрагивающий дым; из форточек преподавательских квартир просачиваются во двор аппетитные запахи. Зинаида Васильевна Ионеску даже с уроков убегает поглядеть на своё тесто.

Ещё вчера отправили в Рошканы за оркестром две пары саней. В суфражерии готовят столы, прошумела зелёными лапами по снегу опрокинутая навзничь красавица-ёлка.

Вечерние занятия никому на ум не идут. В оттаявшие окна смотрят спокойные, тяжёлые звёзды. Ребята вспомнили дом, притихли...

— Знаете, что я предлагаю, мэй? — говорит Алёша Мунтян. — Пошли до Веры Михайловны, коляды им петь. Они, советские, ещё наших коляд не слышали!..

У каждого праздника своё особенное лицо. Сегодня тон задаёт наша ёлка, великолепная ёлка, щедро увешанная бубликами и леденцами. Есть что-то располагающе-наивное в этих румяных, весёлых, простодушно выглядывающих из хвои бубликах, заменяющих собой дорогие игрушки.

Коротенькую вступительную речь произносит Клава.

— Зачем нужны эти речи? — сердилась она перед выходом на трибуну. — Танцевать хочется...

— Идите, идите, — лукаво уговаривал её Сергей Викторович, — хуже будет. Я не танцующий, я, если придётся, на два часа речь закачу, не меньше...

Наши преподаватели в последние дни неузнаваемы. Они точно сговорились между собой быть как можно теплее и проще. Неизвестно, какие здесь действуют скрытые процессы. Время упорно и настойчиво работает на нас, и с ним не поспоришь.

Сегодня весь праздничный концерт составлен силами преподавателей. Охотно и непринуждённо играет на скрипке Евгений Николаевич, поют дуэтом Юлия Михайловна и Зинаида Васильевна. Номера следует один за другим, и вот, наконец, на сцене появляется распорядитель вечера Илья Сашко.

— Ве рог, май линишти! — восклицает он, внимательно глядя на часы. — Один, два... Двенадцать! Ку ану ноу, товаришилор!¹

Разместившись на сцене, грянул знаменитый рошканский оркестр. «Нет, ничего, — успокоились насторожившиеся было слушатели, — совсем неплохо начал...»

Танцуют все, весь зал закружился в танце. Школьные рабочие, обычно нерешительно толпящиеся в дверях, сегодня выводят в круг своих неловких от смущения жён и ведут их, лихо вскрикивая, дробно притоптывая и бодро встряхивая головами.

— О, это по-нашему, — смеётся, глядя на них, Сёма Котогой.

— Ну-ка, дай и я, — решительно поднимается Никита Фёдорович. Ему сегодня хочется веселиться, он, кажется, заслужил это право. Вот

¹ Прошу вас, тише!.. С Новым годом, товарищи!

уж неделя, как он изо дня в день, каждый час одерживает какую-нибудь небольшую победу. Из очередной партии вина, принесённой ему, оставил лишь две бутылки — Новый год на носу! — остальное отправил назад, строго покрутив пальцем перед изумлённым Ицеком. Сегодня утром написал, наконец, письмо жене: «Шурочка, выезжай, скучаю»... Заболотный издали поглядывает на Марицу — надо понимать, какого человека упустила... Настоящего человека! На днях подслушал случайно негромкий разговор на ферме: «Заболотный-то наш — деловой, оказывается...» Заболотный самодовольно засмеялся — ещё бы не деловой!

— А ну, лезгинку давай, что ли, — кивает Никита Фёдорович в сторону предупредительно затихшего оркестра. — Лезгинку знаете? — Никита Фёдорович победно улыбается и опять украдкой взглядывает на Марицу. Та следит за ним издали доброжелательно и спокойно.

— По-шёл! — вскрикивает он — и вот пошёл, засеменял, понёсся по кругу, взвиваясь на носки и вскидывая локти: — Асса! Э-ге!

Ему все с готовностью хлопают, а он уже в центре, и улыбается на все стороны, и кружится таким чёртом! Под аплодисменты зрителей довольный Никита Фёдорович, раскланиваясь и обмахиваясь, возвращается на место.

— Русскую, русскую, — Зинаида Васильевна взмахивает платочком, — играйте русскую, эй!

Подбоченясь, повела начернённой бровью и пошла, поплыла от Никиты Фёдоровича боком, поводя руками, покачивая крутыми, могучими бёдрами. Не выдержал Никита Фёдорович — пошёл за нею гоголем. Рошка исподлобья смотрел на них, смотрел упорно, затаённым, смеющимся взглядом, да вдруг вскрикнул «гай!» и двинулся прямо с места вприсядку, выпрямился на быстрых, ловких ногах, ещё присел, ещё выпрямился — и засеменял перед Гришей Гончарюком, улыбаясь подчёркнутой, нарочитой улыбкой. Ребята катаются со смеху: «ну, точь-в-точь Никита Фёдорович, ай-да Рошка!» Куда девалась серьёзность и строгость Гриши! Он выступает за Рошкой степенно, плавно, кокетливо, — ни дать, ни взять, Зинаида Васильевна! — но не выдерживает принятой на себя роли, хватается за голову с шальным вскриком и, притоптывая, пристукивая, идёт вдоль всего круга, сумасшедшими глазами поводя на зачарованных, притихших ребят...

Так и пришёл к нам новый, тысяча девятьсот сорок первый год — под беззаботный напев немудрёной крестьянской скрипки, с лихим мальчишеским посвистом да с пристукиванием каблуков. Вперёд бы знать, что несёт с собой новый год, какие испытания возложит он на сильную душу народа!

16. Большие дни

Ваню Ведеша спрашивали: «А верно, что ты с Цурканом подрался в поле?» Ваня удивлялся — откуда идёт слух об этой драке? Сам он рассказал о ней лишь Сашко, да и то под секретом, на расспросы ребят отвечал молчанием.

Особенно настойчив был Беженарь:

— Мэй, ребята, Цуркан же врал, что вы, не видите? Слово дал, а сам опять драку затеял. Ну, нянчимся с тем Цурканом, нянчимся... Исключить его — и дело с концом!

Ребята соглашались: раз опять драку затеял — надо исключить. Собирались уже созвать заседание учкома, как Цуркан вдруг исчез из техникума; куда, надолго ли — неизвестно. О нём поговорили и забыли — в конце концов, всем было не до Цуркана. Дни шли стремительные, радостные.

Незамеченным остался и арест Цивенко. О письме, которое за подписями учеников и рабочих послано было районному следователю, все знали, ареста этого ждали давно. Поговорили немножко о том, как нахально и самоуверенно держал себя в последние дни перед арестом Цивенко — словно ничего не произошло, словно ничто ему не грозит, но и эта тема исчерпалась довольно быстро. Совсем другое занимало ребят — предстоящие выборы.

Клонится в стороне от дороги плакучая ива у занесённого снегом ручья. Покачиваются, позванивая, заиндеветшие розоватые ветви. Коричневыми промоинами выступает кое-где вода из-под льда. Робкий заяц топчется вокруг ивы, нерешительно подходит к проезжей дороге, и вдруг стремительно бежит прочь от неё — в чернеющий неподалёку лес.

Проснулись Левкауцы. Горланят петухи, скрипят, раскланиваясь друг с другом, колодезные журавли, стучат открываемые хозяйками ставни. Поднимается над крышами лёгкий дым. Нетерпеливо ржут запрягаемые по дворам кони.

Медленно разгорается позднее зимнее утро. Ива у ручья поджигает под себя свою лёгкую лиловатую тень. Скрипят ворота; далеко разносятся в морозном разреженном воздухе чистые, свежие голоса — выезжают из села первые сани.

Одни, другие — сколько их! Всё село, кажется, двинулось сегодня вдоль проезжей дороги. Красные ленты выются на дугах, в гривах лошадей, алеют банты на полушубках мужчин. Сани несутся с пением, уханьем, смехом. При выезде из села их заносит на раскате — замолкают на миг перепуганные колокольчики в дугах, вскрикивают, смеясь, женщины, мужчины лихо надвигают шапки на самое переносье. Получив по крупу хороший удар кнута, лошади несутся вскачь.

— Ого-го! Даць друм! — Какие-нибудь сани выносятся из узких улиц села на вольный простор. Их мигом настагают другие, передний возница озирается, осклив белые, как сметана, зубы, и азартно настёгивает лошадей. Храпят и мнут друг друга кони, визжат женщины, возницы что-то кричат, даже не пытаясь расслышать друг друга, — и вот, наконец, кто-то вырывается вперёд и мчится, заставляя шарахаться и сторониться всё на своём пути. Иные, разгорячив коней и отпустив вожжи, несутся прямо по целине. В смеющиеся лица седоков сеется мелкая снежная пыль; развеваются гривы коней, колокольчики в дугах говорят о чём-то своём, немолчно и хлопотливо.

Пешие жмутся в сторону, проваливаясь по колено в снег. Отставшую Клаву кто-то с силой втащил в проезжающие розвальни, на колени какой-то женщине, покосившейся на неё горячим взглядом из-под коврового платка. Снежный вихрь рванулся из-под взвизгнувшего, круто повернувшего полоза, сани дёрнуло, сжалось сердце при бешеном разгоне под горку.

— Чисто скаженные, что? — кричит Клаве черноглазая молдаванка.

Вот и паровозный гудок слышится впереди. Виднеется кирпичное здание станции Падурике Маре. Оставленные седоками сани сгрудились в стороне; кони с лёгким ржанием взмахивают торбами, лёгкими упругими мячиками подскакивают воробьи возле навозных куч.

Несколько окрестных сёл — Бричауцы, Бричауцы-Молдова, Левкауцы, Плачешты, Малый Извор собрались сюда на митинг. На открытом месте, за станцией, возвышается обтянутый полотном помост. Выступает один из секретарей райкома партии Разметов. Его могучие руки, опираясь, сотрясают шаткие перила помоста.

— Мы, коммунисты, в этих выборах, как и всегда, будем с народом. Выберем своих депутатов в союзе с беспартийными, в блоке с ними. Пусть весь мир знает, что коммунистическая партия и народ — это одно, что народ поддерживает коммунистическую партию, что коммунистическая партия служит народу... Пусть посмотрят там, за границей, что такое наше народное правительство, наша советская система.

Анастасия Владковская, немолодая крестьянка, вышла вперёд, умными, спокойными глазами оглядела толпу. Притихли вокруг, слушают её плавную, незамысловатую речь. Биография обычная — раннее замужество, побои, нужда, голодные дети, работа на помещика от зари до зари. Пригорюнились женщины, подпёрли руками подбородки.

— Так, так... — негромко поддакивают во внимательной недвижной толпе.

— А что, грамотная ли? — сурово спрашивает Герман Думитру, стоящий у самого помоста. — В правительство идёшь, не шутка...

— Выучилась... — с достоинством отвечает Владковская, заправляя под платок седую прядь. — Спрашивайте, люди, спрашивайте. Я перед вами, как на духу — вся открытая...

Рядом с Владковской стоит черноусый мужчина с простым, немного усталым лицом — Иван Чебан. Взгляд его скользит по лицам теснящихся вокруг помоста людей — свободный, доброжелательный взгляд человека, много видевшего в жизни. Словно эти мужчины, женщины, подростки всегда окружали его, словно всю жизнь он чувствовал на себе их ожидающие, нетерпеливые взгляды. И вдруг Чебан улыбается. Весело, откровенно кивает кому-то в толпе.

Невольно оглянувшись по направлению его взгляда, Клава видит ликующую физиономию Сашко, мягкую, милую улыбку Ведеша. «Сурков сбежали, вот черти!» — весело удивляется она.

— Узнал, узнал! — чуть не кричит между тем Сашко и больно стискивает локоть Вани. — Узнал нас, Ванюша! Узнал — и зла не имеет!..

Чебан по-мальчишески подмигивает им, меняясь с Владковской местами. Эта неожиданная улыбка на одно лишь мгновение освещает его лицо, но она предназначена им, им!

Клонясь вперёд сильными плечами, Чебан говорит с трибуны:

— ...Что мы от них видели, от боярских властей, какую правду? Правда у них одна — плеть, да кулак, да решётка на нашего брата. Работал я тут недалеко от вас — в левкауцкой сельскохозяйственной школе. Месяца два проработал — пришли мсня с собаками искать. Спросите, за что? Убил кого, украл что-нибудь? Радио у себя поставил, Москву слушал — вот и всё. Правды добиться хотел. Выследили. Ах, правды хотел, быдло, мужик!.. Собаками травили человека, в сигуранце морили, пытали так, что косточки нет неломаной... — Лицо Чебана гневно, сурово, он обводит взглядом сдвинувшуюся плотнее толпу. — За что — вы знаете? За что в Хотинском уезде семь деревень было сравнено с землёй, расстреляны тысячи неповинных людей — больше одиннадцати тысяч? За что при помощи морской дальнобойной артиллерии начисто сносятся придунайские молдавские сёла? За что были брошены в тюрьмы наши отцы и братья? Ведь у нас же цифры есть, цифры говорят о великом множестве приговорённых по обвинению в «преступлениях» против королевской «конституции». Кто из нас не испытал этого террора? Жертвы террора всюду — в каждом селе, в каждой семье. Сколько убито коммунистов и комсомольцев — в тюрьмах, в подвалах охранки, прямо на улице из-за угла: их имена здесь не-

возможно перечислить, так их много. Имена мужественных, самоотверженных людей, детей молдавского народа!

Словно сдавленный стон, словно вздох проносится в сдвинувшейся, взволнованной толпе.

— Советская Россия, её правда — вот что пугало румынских бояр! — продолжает Чебан. — Правда, перед которою они, эти хозяева, были бессильны. И вот она пришла наконец — мы победили, товарищи! Мы стали частью Советского Союза. Мы живём под его флагом, по его законам; если надо будет драться, если нападёт на него враг — мы будем драться в рядах его армии. Да здравствует Советский Союз, да здравствует советская Молдавия! Да здравствует советская власть, товарищи!

Чебан выжидает, пока смолкнет в толпе приветственный гул, склоняется ниже к толпе, говорит о повседневных делах крестьянства — о земле, о ссудах, о машинно-тракторных станциях, о политике советской власти в деревне.

— Как он говорит! Ванюша, как он говорит! — шепчет Сашко. — Вот бы так научиться!

— ...Вместе с Анастасией Дмитриевной Владковской, — заканчивает своё выступление Чебан, — мы обещаем вам: твёрдо стоять за интересы народа, во имя правды жизни своей не щадить.

Владковская чуть склоняет прямой, годами не согнутый стан:

— ...и пусть наши дети светлую жизнь повидят!

Под дружные аплодисменты Чебан спускается с помоста, уже на ходу протягивая руку бросившимся к нему ребятам. Степенно спускается вслед за ним Владковская, подбирая сборчатую красную юбку, аккуратно ставя ноги в начищенных полусапожках.

Выступает молодой красноармеец в распахнутой настежь шинели, говорит горячо и сбивчиво, отирая рукавом со лба горошины пота. Выступает Морей — он торжествен, спокоен. Ветер треплет лёгкие, седоватые пряди волос над его открытым лбом.

— ...Это прежде всего праздник молдавской молодёжи, — говорит Морей, — праздник тех, кому отныне открыта дорога к образованию, к свободному выбору профессии, к радостному, любимому труду. Это праздник молдавской интеллигенции, воспитанной на идеалах гуманности и демократии; это праздник всего нашего многострадального народа. Односельчане, друзья мои! Двенадцатого января в день выборов мы присягаем советской власти...

Морею хлопают особенно горячо — его любят.

Выступают многие: говорят по-русски, по-молдавски, по-украински, спешат излить переполненную, взволнованную душу. Ваня Ведеш сжимает лежащую на его плече руку Чебана:

— Товарищ Чебан, послушайте, то тату мой...

На трибуне стоит Яков Ведеш.

— Прошу внимания, домнуде...

Лицо его печально и серьёзно.

— Я Ведеш, Яков Ведеш, — негромко говорит он, и все шикают друг на друга, тянутся, чтоб расслышать его слабый, неуверенный голос. — Вы, может, слышали — в Плачештах у нас голосовать собрались за Ведеша. Так вот он я, Ведеш, смотрите! Я стою здесь, чтоб сказать народу: мне стыдно! Стыдно мне, что недобрые люди могли одурачить меня, обвести вокруг пальца. Есть среди нас ещё такие люди, домнуде... Чего они хотят? Им мало того, что уже пережили мы, трудовые крестьяне. Они счастье хотели бы от нас отнять, они столкнули бы

нас с правильного пути, если бы дать им силу... Будьте осторожнее, домнуле, не слушайте их! Молодёжь слушайте...

Ведеш вдруг увидел в толпе страдальчески напряжённое лицо сына. Увидел Чебана рядом с ним. Положив руку на плечо Вани, Чебан глядел на Якова Ведеша спокойным, добрым взглядом.

Голос Якова Ведеша дрогнул, он слабо взмахнул рукой в сторону сына:

— Вот они, дети наши, — видите, они с коммунистами! Они уже выбрали свою дорогу. Домнуле, я вам скажу: слава богу! Дети наши будут советскими людьми, им не придётся унижаться, кланяться, они будут лучше нас, они и жить будут лучше. Я одно скажу с этой вот трибуны: пусть наши дети живут по советским законам, пусть они будут счастливы...

Митинг закрывается. В отъезжающих санях делегаты долго машут взволнованной толпе.

— Проголосует, добре, — ни к кому не обращаясь, негромко, с суровой важностью говорит Герман Думитру и глубже натягивает на стынущие уши шапку.

— Греться, преться, танцевать! — тормошит молодых ребят Семичастный. — Музыка, эй, не спать у меня!

Засуетилась охочая до танцев молодёжь. Туже подтянули кушаки хлопцы. Девчата, спустив платки на плечи, наскоро переплетают косы.

Заскрипели крестьянские смычки, закружились пары. В развеселившейся, оживлённой толпе, как пузыри в закипающей воде, зашевелились тепло закутанные, неуклюжие на снегу фигуры.

Долго и старательно водит Клаву по кругу какой-то парень, крутя головой, старательно притоптывая и глядя при этом на носок своего сапога. Клава хохочет, тормошит его:

— Ой, какой вы! Быстрее, быстрее немножко. Май юте!¹

Она ищет в толпе родные лица своих ребят, но ни Сашку, ни Ведеша уже нет. Уехали провожать Чебана? Куда они делись?

— Ой, ну, товарищка! — подлетает к ней Семичастный. — Ты, можешь, и сырбу знаешь?

— Мы, левкауцкие, всё знаем! — весело кричит через плечо Клава.

— Сырбу, сырбу, — хлопочет Семичастный. — Девчата, кончай фокстрот, давай сырбу!

Долговязые, улыбающиеся хлопцы в пёстрых шарфах и высоких шапках охотно встают в круг, берут друг друга за плечи; задорно вклиниваются промеж них две—три девушки побойчее. Семичастный за руку подтягивает замешкавшуюся Клаву.

Идём один, бьём два,

Идём два, бьём три...

И вот закипела в примятых сугробах весёлая сырба, поднялась от дружного притоптывания тонкая снежная пыль.

Листья зелёные, листья ореха...

— Скорей, скорей, — торопит Семичастный. — Эй, товарищка, как, жива ещё?

— Наши ребята шибче танцуют, — не сдаётся Клава.

Уже сгущались сумерки, когда потянулись по домам крестьянские сани. Разметов подъехал к Клаве, придержал лошадей:

¹ М а й ю т е — быстрее.

— Садись, Долинина! На участок подъедем, проверим, как там со списками...

— Не могу больше, — взмолилась Клава. — Поверите, целую вечность в техникуме у себя не была — всё на селе и на селе. Добегу, хоть одним глазочком взгляну, что там...

17. В своей республике

В тот вечер, когда Мария Михайловна разрыдалась на пороге его комнаты, Седов в который уж раз подумал: привлекать людей надо ещё шире, ещё смелее. Нет воспитания вне действия, и даже взрослый человек окончательно формирует своё мировоззрение лишь тогда, когда начинает решать живые, практические вопросы. Он терпеливо слушал Марию Михайловну. Неожиданно спросил:

— Вы не могли бы нам помочь немного?

— Пожалуйста.

— Знаете, мы с Клавдией Алексеевной очень загружены сейчас в связи с выборами. По существу, всю работу с учащимися ведёт одна Вера Михайловна: и кружки, и руководство учкомом, и дополнительные занятия... Это много для одного человека.

— Да, да, понимаю, — озабоченно согласилась Мария Михайловна.

— Вы поговорите с ней. И ещё одно — может быть, вы приняли бы участие в нашей агитационной работе? Кружок со школьными рабочими, например?..

Мария Михайловна удивилась:

— Разве я могу?

— Почему же не можете?

Разговор с Седовым в чём-то разочаровал Марию Михайловну, он прошёл как-то слишком буднично — ряд деловых советов, необходимая литература... «Суровые люди, — думала она. — Даже этот внимательный умный человек, кажется, ничего не понял...»

Но работать она начала. Вела дополнительные занятия по физике и математике, — ребята ими неожиданно увлеклись; обходила по вечерам дормиторы, классы; начала занятия с рабочими. Ощущая тот подъём сил, который всегда возникает в процессе труда, в беспрестанном и деятельном общении с людьми, Мария Михайловна через несколько дней убедилась: Седов понял её тогда лучше, чем она сама поняла себя. Вспомнив о том вечернем разговоре, Седов как-то предложил ей отдельную комнату; она удивилась, застенчиво отказалась: не надо, спасибо... Потом заинтересовалась: простите, пожалуйста, а где эта комната? Сколько там можно поставить коек?

— Знаете, Сергей Викторович, надо ещё разгрузить дормитор второго зоотехнического...

Во время поездок своих в Лукаши, покачиваясь в санях среди белоснежных холмистых просторов, Седов любил отвлекаться от осаждавших его мелочей, одним взглядом охватить величие происходящих в Молдавии перемен. В этих просторах, в этих сёлах, затерявшихся в снегах, пробуждались к жизни тысячи, десятки тысяч людей: они начинали чувствовать ответственность, беспокойство за общее дело, приобретали привычку мыслить государственно. На собраниях сельского актива говорили о промахах в работе заготпункта, кооперации, сельсоветов; когда в голосах молдавских крестьян звучали уверенные, хозяйские нотки, Седов был не в силах скрыть довольную улыбку. К нему подступали:

— Кооператор наш людей гонял на приёмку товаров, а расчёта и по эту пору не произвёл. Это что ж, товарищ Седов, нарушение советской законности, выходит?

Седов соглашался: да, нарушение; охотно шёл разбираться. Избирательная кампания расширяла его полномочия — это Седову нравилось. Чем сложнее и разнообразнее становились его обязанности, чем с большим количеством вопросов ему приходилось сталкиваться — тем проще и разрешимее представлялись ему школьные проблемы. Левкауцкий техникум плыл в общем потоке жизненных задач, чуть покачиваясь на несущей волне; волны обегали его, журчали у самого порога, врывались внутрь — ни одного угла уже не оставалось не тронутого жизнью. Седов возвращался в техникум ночью, утомлённый, обмёрзший. Дядя Миша, распрягая лошадей, сердито докладывал:

— Вы, Сергей Викторович, тому Заболотному накрутите хвост. Отвозил я на мельницу нынче мешки с зерном, глянул — а в одном мешке-то зерно сортовое! Этому чёрту повернуться лень!..

Иногда Седов оставался ночевать в Лукашах, в Сашковой хате — семья была открытая, гостеприимная. Суевливая, живая старуха всё интересовалась, потчуя гостя: а как там её младшенький в Левкауцах?

Седов искренно отвечал:

— Прекрасный парень, энергичный, талантливый, самый лучший агитатор у нас. Вот подождите, мы его скоро в комсомол примем...

Мать расцветала, её худое морщинистое лицо молодело от радости. Она скрывалась в чулане, выносила, на ходу обтирая подолсм, бутылку с вином; Седов отказывался:

— Это уж лишнее, хозяйка!..

Молодая невестка вторила матери:

— Пейте, пейте! Как это — гость в доме, и чтобы «всего хорошего» не сказать...

Она кормила в углу новорождённого. Небрежно прикрыв грудь, тоже присаживалась к столу. Василий разливал вино в старинные, толстого стекла стопки, чокался с гостем:

— Ну, бувайте здоровеньки! Всего хорошего!..

Все повторяли «всего хорошего!», серьёзно, истово выпивали. Василий озабоченно придвигался к Седову:

— Боюсь я, Сергей Викторович. Как нас в эти партии боярские гнали, вы ведь не знаете!.. И фронт национального возрождения, и либеральная, и кузистская, и царанистская — каких только партий не было. Дурили, дурили головы крестьянам... Очень я боюсь, как бы дурость эта сейчас не стала нам на дороге.

В разговор вмешивалась мать:

— Ну, что тебе те партии, Василий? От нашёл лишечко! Твой отец в царанистскую партию вступал, говорил: «Пойду, нехай отвяжутся...» Что он от неё имел, что знал? Ни он царанистам, ни они ему. Вы, Сергей Викторович, даже и не думайте за это: люди свой интерес понимают...

Седов отвечал ей смеющимся взглядом. Умная женщина! Люди свой интерес понимают...

— ...Мы, коммунисты, завоевали доверие молдавского народа, — говорил Седов на собрании партийного актива. — Новое побеждает — это исторически закономерно. А из этого следует только одно, я вот часто думаю об этом... Надо шире, смелее привлекать местное население к нашей повседневной работе, поощрять людей, развязывать их инициативу, помогать каждому достичь своего «потолка»...

В кабинете Колесниченко накурено, тесно; иные приехали за восемнадцать—двадцать вёрст по открытой снежной равнине — они томятся в тяжёлых полушубках, в тёплых шарфах. Но Седова слушают с сосредоточенным вниманием.

— Я насчёт этой твоей идеи: привлекать, — откликается директор Липницкой МТС. — Хорошо тебе, Седов, говорить — ты с детьми работаешь... Я вот понадеялся, привлёк местных механиков, — так, понимаешь ты, вредительство на станции: два трактора вышли из строя. Мне не обидно? Привлечёшь, а потом и наплачешься...

— И всё-таки надо привлекать, товарищ Богун, — настойчиво повторил Седов. — Мы здесь обо всём говорили: о запасных частях, о навозохранилищах, о местной промышленности — почему никто не говорил о людях? В них ведь душа нашего дела...

— Кто-нибудь будет ещё выступать? — спросил Колесниченко.

Седов сел. Клава, не поворачиваясь, громко выразила ему своё одобрение:

— Здрóрово!

— Здрóрово? — усомнился Колесниченко. — Вовсе не так уж здóрово... А почему он сам о людях не сказал ни слова? Почему он не рассказал — ну, о Морее, например? Ведь Морей в партию готовится, вы знаете? Или о Василии Сашко — ведь его в селе председателем будущего колхоза прочат... Не сказал даже о ваших, левкауцких. Учительница Смеречинская, повар Бабинский, кучер Пахолко например...

Клава тихо, удивлённо засмеялась:

— Алексей Васильевич, вы наших левкауцких, наверное, лучше нас знаете...

Колесниченко охотно согласился:

— А что ж, знаю... Почему вы не расскажете о ваших агитаторах: о Ведеше, о Гончарюке, о младшем Сашко — прекрасный, говорят, агитатор этот Сашко! Как вы их воспитывали, на чём — думаете, партийному собранию не интересно? Как вы с населением в Левкауцах работаете? Безобразия, понимаете, — накопили опыт и молчат... Нечего улыбаться, Седов. Мы бы на вашем примере кое-кого из неповоротливых товарищей поучили... Тех, которые всю эту историю с Ведешем в Плачештах проморгали. Агитаторы у них слабые! Ай, ай...

— Тут, Алексей Васильевич, всё-таки условия особые...

— Условия особые?.. Да вокруг тебя, товарищ Гусев, умных людей пруд пруди, только поискать. Не искал, не интересовался, скажи честно. А ведь мы стоим на пороге громадных преобразований. Вот в Бричауцы-Молдова уже создан, как вы знаете, первый колхоз в районе. Объединилось сто тридцать два бедняцких хозяйства, обобществили свыше пятисот гектаров земли... Советский трактор несёт с собой революцию в сознании молдавского крестьянства. Смотрите вперёд! Идёт социализм в Молдавию, а социализм побеждает лишь там, где каждый человек привыкает личную судьбу свою накрепко связывать с общим делом. Каждый человек! Об этом мы, коммунисты, и должны сейчас думать...

18. 12 января

Молчалив и задумчив голубой, залитый лунным светом лес. Бесконечной чередой плывут навстречу дубы, закинув друг другу на плечи могучие ветви. Тихо.

Медленная, печальная песня плутает между древесных стволов, тянется, вздрагивает, как паутинка.

Фий арамас ла плуг, ла коасе.

Фий арамас а касе...¹

¹ Лучше бы я остался у плуга, у косы. Лучше бы я остался дома... (молдавск. песня).

Поскрипывают полозья, пофыркивают лошади, мерно позвякивает колокольчик; в переполненных санях агитаторы едут на избирательный участок. Привалившись друг к другу на козлах, Илья Сашко и Алёша Мунтян выводят проникновенно и грустно:

Как я берёг бы вас, любил,
Опорой в старости вам был...

Нет ещё и шести часов, а в селе уже зажжены приветливые огоньки. Ярко освещённые окна избирательного участка отбрасывают далеко в поле снопы тёплого оранжевого света.

В просторном помещении, сплошь увешанном вышивками и пёстрыми коврами, уже собрались члены избирательной комиссии.

Ольга Гаманюк чуть не плачет, стараясь наскоро приспособить стол для работы редколлегии:

— Как же никто наперёд не сказал, что будете газету делать? Ох, хлопчики... Ничего ведь нет, бумаги даже...

Гриша Гончарюк, по-детски оттопыривая губы, мастерит кисточку из куска верёвки.

— Нечего волноваться, — говорит он. — Мы, левкауцкие, такие ребята...

— «Мы всё добудем, поймём и откроем», — рассеянно вторит ему сосредоточенный, деловитый Сашко.

Ольга Гаманюк буквально выстрадала здесь каждый коврик, каждый стул, занавеску на каждой кабинке. Прекрасная рукодельница, она принесла сюда все свои вышивки, тщательно бережёные по сундукам. Тряпкой протирая пол, она говорила Клаве:

— Вот вы не поверите, наверное, а я и перед свадьбой своей так не волновалась, правда.. И такая я счастливая сейчас, передать вам не могу...

Сейчас лёгкие руки её так и летают, исправляя одной ей заметные недостатки.

— Товарищилор, товарищилор! — торопится она к входной двери. — Очень прошу вас держать порядок!

Шести часов ещё нет, но поминутно подъезжают сани, гурьбой вваливаются избиратели, задерживаются в сенях, отряхивая снег. Зайдя в помещение, затихают и изумлённо озираются:

— О-о, фоарте фрумоасе...

Шаги делаются осторожнее, на лицах загорается отблеск горделивого чувства. Что думает молдавский крестьянин, в течение всей своей жизни обкрадываемый и униженный, ступая на эти стелющиеся к его ногам ковры?..

А тут уже торопятся навстречу и наши левкауцкие хлопцы, почтительные и деловитые:

— Мэй, товарищ Думитру, товарищ Лаю! Очень просим немножечко обождать...

Женщина в двух полубухках и клетчатой шали твёрдо занимает подступы к заветной двери, ревниво поглядывая на вновь прибывающих.

— Что, пришла найпервейшая? — понимающе окликают её. — Вот, скажи, повставали люди в какую рань... — При этом говорящий конфузливо улыбается, ведь и сам он торопился, сам торопил замешкавшуюся жену.

И вот — распахиваются все двери, сдержанным гулом наполняются комнаты. В кабины заходят целыми семьями, грамотные собирают вокруг себя неграмотных, бюллетени читаются внимательно, не спеша. Привыкшие к тяжёлой работе, к тяжёлой ноше крестьяне несут бюлле-

тени перед собой обеими руками; прижимая под локтем шапку, молодежато подходят сельские парни, подмигивают членам комиссии:

— О, чтоб всё было в наилучшем порядке!

Проста, неподдельна радость человека, впервые почувствовавшего себя хозяином и гражданином.

Уходить никто не торопится. Новые всё идут, а отсюда почти никто не выходит. Просто удивительно, сколько народу вмещается здесь сегодня!

Но несмотря на тесноту, в помещении нет толчеи. Среди общего оживления нет ни одного резкого или чрезмерно громкого выкрика. На лицах людей сдержанная, глубокая улыбка.

Ефтимий Ефимович Лаю с уважением следит за редакторским летающим карандашом.

— Вы напишите, что я чувствую, вот главное. Жизнь у меня не интересная, про неё и знать никому не надо. Что я делал — робыв да робыв... Вы пишите так: я, дескать, Ефтимий Лаю, очень чувствую такое отношение к нашему трудовому народу — вот как... Я, значит, точно весеннего воздуха надышался нынче... Господи, — спохватывается он, — да что я вам говорю, вы ж люди грамотные, сами знаете, как нужно писать...

Герман Думитру, склонившийся тут же, нетерпеливо теребит его за плечо.

— Чего там она знает, она женщина молоденькая... — Думитру поглядывает на меня неодобрительно. — Чего там она видела! Ты, Ефтимий, сам говори. Так, кажи, и так, мы, молдаване, только теперь людьми стали, с советскою властью...

К окну кидается Ведеш:

— Мэй, мальчики, наши идут!

Вдоль железнодорожной насыпи тянутся неровной цепочкой наши левкауцкие. Красное полотнище флага на ветру рвётся из рук Гуцуляка.

Агитаторы встречают их, замёрзших, точно радушные хозяева, смахивают вениками снег, провожают к жаркой печке, показывают, где буфет.

Сразу становится шумно. На минуту исчезает ощущение торжественности — слишком много вокруг счастливых, оживлённых, всё принимающих как должное, ребят. Они с подчёркнутой важностью пожимают руки агитаторам — им льстит близость к этим деловитым, значительным людям. С любопытством толпятся вокруг шахматных столиков, патефона, стоят у стенгазеты. Они не торопятся выходить из кабинок — им надо выпить до дна, просмаковать этот чистый, благородный напиток, именуемый чувством человеческого достоинства.

Прижимая к карманам волосатые кулаки, Наги ревностно набросился на группу ребят, столпившихся у патефона:

— Что толпитесь? Забыли, где вы находитесь? Смирно стоять у стены!..

Ребята привычно шарахнулись, подтянулись, опустили по швам руки. Неизвестно откуда появился Ваня Ведеш, взглянул на Наги прозрачными, как ледок, глазами:

— Домну профессор, имею вас предупредить — будьте потише... Пора быть потише...

Дядя Миша только что вернулся из Лукашей, куда отвозил Седова. Опустив бюллетень, он вышел из кабины.

— А ну, кто со мной — угощаю! Геть до буфету!..

Он улыбался, подмигивая единственным глазом. Многие впервые за-

метили, какие у дяди Миши белые, здоровые зубы — щедрая, широкая улыбка заливала его красное с мороза лицо.

В буфете сидели люди степенные, пили стаканами кислое вино, заедая бутербродами со свининой.

— Выпьем, — предложил дядя Миша широко улыбающемуся Гуцуляку, — выпьем за тебя, дурня, тай за добру годину...

Около буфета, сдвинув столики, танцуют в ожидании попутных с собой сельские парни, притоптывают сапогами, перехватывают друг у друга конфузливых девушек. Петя Галецкий стоит, насупившись, в дверях.

— Что ж не танцуешь, Петя?

— Э, вы наших обычаев не знаете, Вера Михайловна! Нельзя, то незнакомые...

За столом избирательной комиссии заметно какое-то беспокойство.

Вошедший только что высокий мужчина в новом кожухе подошёл к столу, переводит с одного лица на другое выжидательный взгляд.

— Вы меня, осмелюсь спросить, вызывали? — склоняется он в сторону Разметова.

Разметов кивает на стул.

— Садитесь. Вам известно, конечно, зачем мы вызвали вас.

Мужчина свободно откидывается на стуле:

— Видите ли, домну, тут такое дело... Евангелист я. Секта такая.

— И что же?

Евангелист с сожалением разводит руками:

— В евангелии сказано, в воскресенье работать грех. — Он прибавляет, хитро прищуриваясь: — Если можно, я к вам в понедельник загляну, с утра.

— Послушайте, неужели никак нельзя? — с отчаянием восклицает Клава. — Голосование заканчивается в двенадцать часов, послушайте...

— Нет, — отрезает евангелист и встаёт. Уже в дверях он оборачивается: — И пусть эти ваши хлопцы, — он кивает в сторону агитаторов, — пусть они даже не приходят до меня, слышите. Мне на них и сердиться-то грех...

Наутро чуть свет к нам в комнату постучался Сашко:

— Клавдия Алексевна, результаты?

Клава дождалась подсчёта голосов, вернулась ночью. Она вскочила, протирая глаза, выбежала к Сашко:

— Иди скорей агитаторов поздравляй! Скажи: девяносто девять процентов — здорово, правда?

19. Сердце растёт

И вот они в райкоме — первые наши комсомольцы. Гриша Гончарюк стоит посреди комнаты, беспокойно мнёт в руках шапку. Его спрашивают, кто его родители, просят рассказать биографию. Какая ж у него биография? Раньше учился, советская власть пришла — тоже учился.

— Тогда учился, теперь учишься? — придиричиво спрашивает его простоватый на вид парень — член бюро райкома. — И разницы никакой нет? Никакой нет разницы?

Гриша неожиданно улыбается:

— Есть...

— Какая?

— Вот, какая? — удивляется Гриша. — То я для себя только учился, а теперь...

— А теперь?

Гриша опускает глаза и молчит. Пауза затягивается. Беженарь спокойно оглядывается на членов бюро, сидящих за столом. Сашко не выдерживает:

— А теперь для народа! — негромко подсказывает он и густо краснеет.

— А теперь для народа, — тихо, убеждённо повторяет Гриша.

— Так, хорошо. А национальность твоя какая?

— Там же всё записано, — опять удивляется Гончарюк. — Украинец я, из-под Хотин...

Девушка, ведущая протокол, взглянула на Гришу, улыбулась:

— О, земляк... Розумиешь украинску мову?

— Так дома ж у нас только по-украински и говорят...

— В комсомол-то зачем идёшь?

Гриша глядит серьёзно и строго в милое девичье лицо:

— Хочу быть настоящим советским коммунистом, — с силой говорит он. И добавляет тише: — Сам хочу быть устройтеlem коммунистического общества...

За столом переглядываются. Секретарь райкома Быков говорит:

— Насчёт устройства — это ты очень хорошо сказал, правильно сказал. Учишься как?

Гриша потухает:

— Ничего учусь, немножко.

Тут я вмешиваюсь:

— Скромничает он. Учитесь, как и все. Отлично. Вы про учёбу и не спрашивайте у них. Хорошо учатся.

Быков весело подмигивает:

— У левкауцких, — говорит он, — комар носа не подточит, уж это известно... Молодцы ребята. — Он садится рядом со мной. — Хороших ребят привезла... У вас там много таких?

— Есть кое-кто...

— Вези ещё, очень хорошие ребята. Этот, — кивает он в сторону нахохленного Сашко, — он у вас всегда сердитый такой?

Райкомовцы шумно поднимаются, поздравляют ребят, крепко трясут им руки.

Нас провожают на крыльцо. Подъезжают сани. Застоявшиеся лошади пятятся, месят копытами рыхлый, глубокий снег.

Санки тесные, умещаемся в них с трудом — двое садятся, двое на колени к ним, двое карабкаются на козлы. Медленно выезжаем из ворот на скудно освещённую улицу районного центра.

— Левкауцкие, эй, приезжайте почаще! — напутствует Ванюша Быков.

— Чтoб дела у вас там гремели, эй, левкауцкие! — кричат хором с крыльца райкома. — Не опрокиньтесь смотрите, лошадей не гоните, хлопчики!

Минуем околицу — и тут же охватывает со всех сторон тёмная, непроглядная ночь. Закружила вьюга, обняла за плечи, осыпала слепащей снежной пылью.

Сдвинулись в санях ещё теснее. Лошади с трудом нащупывают дорогу, сани то ныряют по самые оглобли в снежный сугроб, то неожиданно вздымаются, тяжело переваливаясь через обледенелый горбыль дороги. Раз а два сани переворачиваются — и тогда не хочется вставать: хорошо, мягко, спать так и тянет...

— Вставайте, застынете... — торопят ребята. — Вот попал!..

— Ничего, — успокаивает вновь утвердившийся на козлях Сашко. — Уж вы на меня положитесь! Мигом домчу, завтра к вечеру дома будем... Н-но, милые...

Он радостно возбуждён, счастлив.

— Мэй, боець, — помахивает Илья кнутом. — А что, грамматику я хорошо знаю? Н-но, милые, ушка, ишка, ишка! ышк-ышк!!!

— Суффиксы, во! — радостно удивляются ребята. На первом же ухабе поднимается разноголосый вопль:

— Ая, ой, ой! Ую, ой, ой!

Петя Галецкий вздыхает:

— Оф, я не знаю, я точно именинник сегодня!

Гриша склоняется с козел. На тонком лице его различимы в темноте лишь возбуждённо сверкающие глаза.

— Знаете, я одно скажу: мы так теперь будем работать, так теперь будем работать... А, что говорить — слов нет! — И ударяет себя в грудь: — Сердце растёт, верите?

Сани сильно кренятся. Петя, соскочив, подпирает их плечом. Илья, привстав, надрывается на козлах:

— Енька, онька, онька! Ушк, ушк!.. Эге, пошло, сидай, Петрика!..

Лошади жались друг к другу, плутали по бездорожью, проваливаясь в снег; понатужившись, выбирались на дорогу, ← а нам казалось, что домчались вмиг.

Впереди замерцал огонёк. Вот он, дом наш, родная республика наша! Субботний вечер — в столовой, наверное, танцы, как всегда..

— Поздновато что-то для танцев, — с сомнением вглядывается Петя. — Это не в суфражерии, это в дормиторах огонь..

— Ребята ждать будут, Котогой сказал, что спать не ляжет, нам будет дорогу светить..

Всё приближается, всё ярче разгорается огонёк. Коней рвануло, понесло.

— Ну, ребята, — с озарённым лицом обернулся Гриша; хотел сказать что-то, да то ли воздуха нехватило, то ли слов. И что говорить человеку, когда у него «сердце растёт»?

(Конец первой книги)



ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ

★

БЕЛГОРОД

1. Памятник

Вдоль домиков белых, красненьких
Ползут пехотинцы: взмокли!
А генерал Апанасенко
Стоит на бугре с биноклем.

Струится Донец за парком вкось,
Дымятся внизу руины.
А там, за горою харьковской —
Рукой подать Украина.

Не утерпел командующий:
— Машину! На третью скорость!.. —
В огне и дыму, косматом ещё,
Вокзал, меловые горы.

В подвалах рыданье:
— Настенька!..
Наши! Освобожденье!..
...А генерал Апанасенко
Безмолвно лежал на сиденье.

Рядом в молчанье тягостном
Пилотки сняла пехота.
Это было пятого августа
Сорок третьего года.

А в полночь чеканным строем
Приказ прозвучал в эфире:
— Вечная слава героям!..—
И гром прокатился над миром.

Но стих на том не окончится.
Я был на новом вокзале,
И возле него на площади
Мне памятник показали.

Стоял окрылён успехом там, —
Не старый Донец у ног ли? —
Как на бугре перед Белгородом,
Командующий с биноклем.

2. В розысках друга

О годы школьные,
 Мячи футбольные
 И споры наши!
 Где одноклассник мой,
 Друг ясноглазый мой,
 Колёк,
 Брат Саши,
 Друг детства раннего?
 Парнишку ранило
 Под самой Будой.
 Он здесь, по-моему,
 Хоть под землёй его
 Найду, добуду!

И мы вешним утром славным
 По нашей улице главной
 Пройдём из конца в конец
 Или взберёмся лучше
 На меловые кручи
 Взглянуть, как бушует Донец.
 И вспомним с тобою, Коля,
 Игры в начальной школе,
 Учителей своих,
 Горячую тройку нашу,
 Старшего брата Сашу,
 Которого нет в живых...
 Где ж ты?
 Все улочки,
 Все закоулки
 Прошёл раз тыщу.
 Мне впору сердиться,
 Устал. Но сердце
 Стучит:

— Отыщешь!
 Стал безотчётно я —
 Доска почётная
 Перед горкомом.
 И ахнул сразу я —
 Так ясноглазое
 Лицо знакомо!
 Как взгляд твой светится!
 Должны мы встретиться
 С тобой сейчас же,
 Многостаночник мой,
 Друг-полуночник мой,
 Колёк,
 Брат Саши!

И мы вешним утром славным
 По нашей улице главной
 Пройдём из конца в конец
 Или взберёмся лучше
 На меловые кручи
 Взглянуть, как бушует Донец.
 И вспомним с тобою, Коля,
 Игры в начальной школе,
 Учителей своих,
 Горячую тройку нашу,
 Старшего брата Сашу,
 Которого нет в живых...
 Застынем в молчанье строгом.
 Но властно влечёт в дорогу
 Прекрасных мечтаний вихрь.
 Простившись с армейской службой,
 О будущем думать нужно
 Тем, кто остался в живых!

3. Молодой театр

Не ищите громкого имени,
 У нас — молодые да ранние —
 Ребята вчера лишь покинули
 Училище театральное.
 Мною не обнаружено
 На синих афишах добротных
 Здесь артистов заслуженных,
 Не говоря о народных.
 Но гляньте, как в воскресенье
 Весь город ждёт не дожждётся
 Полной большого волнения
 Пьесы о краснодонцах.

Смолкает за рядом ряд,
 Только глаза горят:
 Всё пережитое, близкое! —
 Фашисты семь лет назад
 И в нашем городе рыскали.
 — Не трогайте Любку, не трогайте! —
 И по рядам повсюду
 Друг друга хватают за локти
 Совсем незнакомые люди.
 Всё вдохновенней, дальше,
 Сердечно, молодо, чисто,
 Простые, чуждые фальши
 Звучат голоса артистов.
 Вскипев, словно ливень брызнет
 Овация:
 Зритель ценит
 Способных на подвиг и в жизни,
 Не только на сцене.
 Назавтра кассир сконфуженный
 Ворчит:
 — Все билеты проданы!..

Будут у них заслуженные,
 Будут у них народные!

4. Хозяин лесов

Над прозрачной рекой, над кувшинками ветер,
 Словно нянька, качает зелёные ветви.
 Эй, нежнее, свежее, старательней вей,
 Укрощённый листвою дикарь-сухостей!
 Славят юный лесок хлопотливые птицы,
 Шелестят благодарно колосья пшеницы.
 Аукнешь — и выйдет с берданкой на зов
 Наш безусый, очкастый хозяин лесов.
 Деловой, в сапоги с ремешками обутий,
 Он вчера лишь диплом защищал в институте.

Крыши домиков беленьких
 В сочной плещутся зелени.
 Захлестнут их, сдаётся,
 Листья в юном веселье.
 Прелесть улочек этих
 Мальчик только заметил,
 Когда город под бомбами
 Покидал на рассвете.
 Там, где спины согнули
 Старики-саксаулы,
 Слушал сводки по радио
 Он в песчаном ауле.

И мечтал про зелёные,
 В майский ливень влюблённые,
 Шелестящие листья
 Незапылённые...
 Вы послушайте, люди,
 В ночь сто двадцать орудий
 Громыкнули за Белгород —
 Друг мой снова там будет!
 Здравствуй, город наш беленький!
 Постарел ты без зелени:
 Только пни да руины,
 Да могилы расстрелянных.
 Поглядел друг — и будто
 Повзрослел за минуту,
 Вот он входит, задумчивый,
 В двери лесинститута.
 Но, конечно, не ведал он,
 Что в Кремле пред победою
 О массивах зелёных
 С самым смелым учёным
 Вождь, как с другом, беседовал,
 Чтобы после победы
 Проросла та беседа
 Молодыми дубочками
 Во все стороны света.

Над прозрачной рекой, над кувшинками ветер,
 Словно нянька, качает зелёные ветви.
 Аукнешь — и выйдет с берданкой на зов
 Сам безусый, очкастый хозяин лесов..
 Неважно, что это сегодня мечта лишь,
 Что покуда, мой друг, ты конспекты читаешь,
 Что всего по колено тебе деревца,
 Что ещё суховей крутит пыль у Донца.
 Разве солнце затмить этой сизой пылью? —
 Скоро станет мечта густолистою былью.

5. Девушка из слободки

Запахло в поле
 Водю полой,
 Гнездовьем птичьим.
 Цыганкой бродит
 Молва в народе:
 — Ну, как уродит
 Землица нынче?
 Но есть в слободке
 Дружка залётка
 С душой горячей.
 У той Галинки
 В глазах смешинки,
 Как порошинки,
 Лукаво скачут.

Не скажет сроду
 Она:
 — Уродит
 Иль нет земляца?
 Золу всю осень
 С бригадой возит,
 А лишних просит
 Посторониться.
 Окончив дело,
 Гуляет смело:
 На танцах в клубе.
 Тряхнёт девчонка
 Пушистой чёлкой
 Да как прищёлкнет —

Под корень срубит!
 Ужин не нужен! —
 На пену кружев
 Сползла косынка...
 С дружкой весёлым,
 Под радиолу
 Кружит Галинка.
 Мать чиркнет спичкой:
 Кровать девичья
 Всю ночь пустует.
 А дочь у клуба
 Стоит. Ей любо:
 Глаза и губы
 Дружок целует.
 Весной за восходы
 Она с погодой
 В степи воюет,
 Бьёт ветер в личико.
 Опять в светличке
 Кровать девичья
 Всю ночь пустует.

В страду от зноя
 Аж спины ноют —
 Работы пропасть!
 Приляжет жница
 В траву — и снится:
 Снопки пшеницы
 Увозят в область.
 Окончив дело,
 Гуляет смело
 Опять Галинка.
 Гулять устанешь —
 Взгрустни. А там уж
 Можно замуж, —
 В чём заминка?
 Наряд хороший,
 Батист в горошек,
 Чудесно скроен.
 Учтите, сватьи,
 На этом платье
 Ей будет кстати
 Звезда Героя!

6. Первый шаг

— Тсс! К нам новенькая учительница! —
 В классе шёпот перед уроками, —
 Ой, пойдите взгляните в лицо:
 Видно, ужасно строгая!..
 Входишь в класс, как в зеркальную залу.
 Зеркалами — ребячьи лица.
 Что б ни сделала ты, ни сказала —
 В тот же миг на них отразится.
 И поэтому ты между партами
 Тихо с книжкой идёшь, спокойная,
 Просто, чётко, негромко с ребятами
 Говоришь, как давно знакомая.
 Ты волнение, как пар в сосуде,
 Плотнo волею-крышкой прихлопнула,
 Но глазастые Димы и Люды
 Ничего не заметят особого.
 Где им знать, что должна ты успеть —
 Лишь окончишь уроки школьные —
 Бегать в ясли, варить обед,
 Проверять работы контрольные.
 А назавтра ты вновь между партами
 Тихо с книжкой идёшь, спокойная.
 У ребят, как подснежник, симпатия
 Прорастает к тебе невольная.
 Детской веры росту зелёному
 В женский праздник стать предназначено
 «Крымской розы» склянкой гранёною,
 Целым классом купленной вскладчину.

7. Моя землячка

Люблю я, признаться, перрон станционный,
 Свистки, суматоху, вагоны, вагоны,
 Спешащие вечно вперёд.
 Стоишь — от восторга души не чаешь,
 Стоишь — каждой клеточкой пульс ощущаешь,
 Которым страна живёт.
 Мне нравится руки жать на прощанье
 Ставших курянами, москвичами
 Своих ровесников-земляков.
 Тот в свитер, а тот в гимнастёрку одеты,
 Стоят отъезжающие студенты.
 В руках чемоданчик: легко!
 Чрез год или два получают дипломы,
 Попробуй тогда увидеть их дома! —
 Умчатся в далёкие города.
 Но девушка эта в пальтишке лицеванном,
 Смешливая Анечка, Анна Петровна,
 Работать приедет сюда.
 Давно ли с подругой прививок боялись?
 А нынче — что стоит взять кровь на анализ!
 Скальпель уже доверяют им.
 Правда, кем стать — не решила толком:
 Ларингологом, невропатологом
 Или хирургом самим.
 Зато решено: здесь, где бегала в школу,
 Где строят больницу на месте голом,
 Где улицы в милом известняке,
 Здесь доктором будет она непременно
 В таком знаменитом, в таком неприметном,
 В таком дорогом городке.

8. Тридцать лет спустя

Когда-то, ещё в двадцатом,
 Вот здесь, на бугре горбатым,
 Ручьями исполосованном,
 Стоял мой отец чубатый,
 Уже демобилизованный.
 А небо, как откровенье,
 А ветер хмельной, весенний
 С полою шинели заигрывал.
 Железного лома горы,
 Порубленные заборы,
 Недвижные семафоры
 Ждали труда великого.
 Ну что ж! Паренёк чубатый,
 Ещё холостой, не женатый,
 Будённовку снял линиялюю,
 Волосы треплет ветер.
 Отец в женихи не метил,
 Только имел на примете
 Телефонистку чернявую...
 А нынче, в пятидесятом,

Здесь на бугре горбатов,
 Ручьями исполосованном,
 Стоит его сын чубатый,
 Уже демобилизованный.
 А небо, как откровенье,
 А ветер хмельной, весенний
 Ласково треплет волосы.
 Мне тоже ночами снится
 Курносая выпускница,
 Отчаянная шутница
 С милым певучим голосом.
 Но всё вокруг по-иному:
 Вокзал белоснежный новый
 Задел облака порталами.
 А там, где в ребячьи годы
 Пололи мы огороды, —
 Заводы, заводы, заводы
 Встали прямыми кварталами.

9. Наша родословная

Мы — Фёдоровы. Не спорю,
 Нас в мире, что капель в море,
 А всё же фамилия славная!
 И я без прикрас неуместных,
 Подробно, уверенно, честно
 Свою расскажу родословную.
 Мой прадед, мужик здоровый,
 Как бублики, гнул подковы,
 Бои уважал кулачные.
 А помер больной, сутулый:
 В дугу самого согнула
 Холопская жизнь собачья.
 И дед мой землю бросил,
 С котомкой, в лаптях, под осень
 Подался на фабрику ткацкую.
 Паучий станок постылый
 Мужички высосал силы,
 Да штрафы, да одурь кабацкая.
 Отец мой, как Ванька Жуков,
 Хозяину отдан в науку,
 А в пятом, в метель, на Пресню
 Волок хозяйские кресла.
 А лет через десять в траншее
 Он, со шрамом на шее,
 Драться устав с германцами,
 Читал, солдат расторопный,
 Притихшей братве окопной
 Запретные прокламации.
 Потомственный пролетарий,
 Он, будто бы в цех свой старый,
 Вошёл в большевистскую партию.
 Других посылал учиться,
 Других посылал лечиться, —
 «А сам-то не сдам!» — вот батя мой.

Лишь гром над Россией грянул —
 Забыв про старые раны,
 Отец дождался очереди
 С сынами в военкомате.
 Мне помнятся слёзы матери
 На привокзальной площади.
 Мы все коммунисты. Если
 Добавить невестку — не честь ли? —
 В семействе партгруппа полная.
 И старая мама с внуком
 Пропитаны нашим духом,
 Помнят свою родословную.
 Мы — Фёдоровы. Не спорю,
 Нас в мире, что капель в море,
 А всё же фамилия славная!

10. Улица юности

Вы спросите, лет мне сегодня сколько? —
 В доме, где во дворе детский сад,
 Я родился на улице Комсомольской
 Четверть века тому назад.
 И мне никакого дела не было,
 Что раньше она называлась Купеческой:
 Нам с братом казались дикой небылью
 Купцы, полицейские с прочей нечистью.
 О, как я жалел коммунарский отряд,
 Сжимая детские пальцы:
 Зачем он под натиском белых солдат
 В жестоку расправу попался!
 С красной звездой на матроске синей,
 Крапиву, как белых, срубая метко,
 Мы с братом на прутиках вскачь носились:
 Он был Чапаевым, а я — Петькой.
 Потом старшекласником, лет через семь,
 Готовый билет показывать всем,
 Я с головой непокрытой
 Летел из горкома ВЛКСМ
 По лужам, по каменным плитам.
 Война всех друзей обратила в солдат.
 Дороги в огне и тумане...
 А нынче в тот самый детский сад
 Бегают мой племянник.
 Он вешние будет вдыхать ветра,
 В коммуны отвагу свою нести.
 Улица наша пряма, светла —
 Бессмертная улица юности.

11. Наш поэт

Жил мальчуган где-то в нашем районе,
 Весел, горяч и увёртлив,
 В родную речушку нырял с разгона,
 Лазил, что кошка, на вётлы.
 Но те, кто с клюкой сторожил огороды,

И «белый налив», и груши,
Не знали, что курская наша природа
Войдёт их мучителю в душу,
Что после, одетый в шинель солдата,
Прошедший Европу и Азию,
Увидит во сне он лужок, где когда-то
На вётелы мальчишками лазили,
Что будет бессонница мучить беднягу:
Любовь к этим тропкам и рошицам
Размашистым почерком на бумаге
Излить нестерпимо захочется.
Но чувства кипят, а слова капризны,
Слова подбирать мучительно.
Уже не один карандаш изгрыз он —
Тут нету самоучителя!
Приехав домой, он в вечерней школе
Потеет над логарифмами
И край свой воспеть желает до боли
Такими, как майские травы в поле,
Пахучими, сочными рифмами.
Любитель кроссвордов и спорщик страшный,
Член кружка фотокорского,
Земляк мой влюблён одинаково страстно
И в Пушкина, и в Маяковского.
Шумят в его памяти с вётлами разом,
Такие знакомые, близкие,
Варшавы акации, пальмы Кавказа
И лиственницы сахалинские.
Он верит упрямо: придёт минута —
Всё выльется, — в сторону шуточки!
Студенты Московского литинститута,
А ну, потеснитесь чуточку!



АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК

★

КАЛИНОВАЯ РОЩА

Комедия в четырёх действиях, пяти картинах
Перевод с украинского

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Иван Петрович РОМАНЮК.
2. НАДЕЖДА — его дочь.
3. Наталья Никитична КОВШИК.
4. ВАСИЛИСА — её дочь.
5. Карп Корнеевич ВЕТРОВОЙ.
6. Сергей Павлович БАТУРА.
7. Николай Александрович ВЕРБА.
8. Ага Александровна ЩУКА.
9. Архип Герасимович ВАКУЛЕНКО.
10. Мартын Гаврилович КАНДЫБА.
11. Максим ЗОРЯ.
12. Пётр МОРОЗ.
13. Василий КРЫМ.
14. Екатерина КРЫЛАТАЯ.
15. Ольга КОСАРЬ.
16. Оксана ДАВЫДЮК.
17. Пелагея ГРУДЧЕНКО.
18. Варвара ПУРХАВКА.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Новый, под черепицей, дом председателя колхоза Ивана Петровича Романюка. Возле дома сидят за столиком секретарь сельсовета Мартын Кандыба и заместитель председателя колхоза Архип Вакуленко.

Кандыба (играет на гитаре, тихо поёт).

Гляжу на тебя, я гляжу,
И грусть на душе у меня.
Душа моя хочет...

(Подбирает рифму.)

Душа моя хочет... кричать.

Нет!

Душа моя хочет... рыдать.

О!

Вакуленко. А куда вы поедете, Мартын Гаврилович?
Кандыба. Поеду в столицу. (Поёт)

Гляжу на тебя, я гляжу,
И грусть на душе у меня.

Вакуленко. А откуда вы знаете, что у вас талант?

Кандыба. У меня сто двадцать писем из редакций газет и журналов.

Вакуленко. И что там пишут?

Кандыба. Все пишут, что у меня талант, но нехватает поэтической культуры, а где её здесь взять, где? Я могу на любое слово стих или песню сложить.

Вакуленко. Неужели на любое слово можете сложить песню?

Кандыба. А вот загадайте слово.

Вакуленко. Ну, скажем «свинья».

Кандыба. «Свинья»... для песни это слово тяжеловатое, но... (Берёт аккорд).

Входит Василиса

Василиса. Добрый день.

Кандыба и Вакуленко. Добрый день, Василиса.

Василиса. Это что за новые порядки наш председатель заводит?

Вакуленко. Как новые?

Василиса. В воскресенье, да ещё в такую рань вызывает.

Кандыба. Видно, что-то случилось.

Василиса. Да что может случиться?

Кандыба. Директива, может, какая из района или из области.

Василиса. А где же председатель?

Вакуленко. Встаёт.

Через окно слышно, как стонет Романюк

Василиса. Уж не заболел ли Иван Петрович?

Кандыба. Похоже на то.

Вакуленко. Как стонет, бедняга.

Слышен из окна голос Романюка: «Надя.. Надежда...» Голос Надежды: «Что, тату?». Голос Романюка: «Ой, голова разрывается... Дай мне, доченька, пирамидону, да запить его чем-нибудь...»

Василиса. Лекарство просит. Это его что-то крепко взяло... Не воспаление ли лёгких?

Вакуленко. Тише...

Голос Романюка: «Пойди в погреб, принеси жбан квасу побольше»

Вакуленко. Ясно.

Василиса. Что?

Вакуленко. На квас потянуло. Будет жить.

Выходит из дому Надежда. В руках у неё жбан

Надежда. Доброе утро.

Все. Доброе утро.

Надежда. Батько сейчас выйдут.

Василиса. Заболели Иван Петрович?

Надежда. Да.

Василиса. А доктор был?

Кандыба. Какая температура?

Надежда. Ему не доктор нужен. Была бы мать жива, она бы ему сегодня температуру измерила... (Ушла).

Вакуленко. И сердитая дочь у нашего председателя.

Василиса. Хорошая она.

Вакуленко. А что в ней хорошего? Учительница, а на родного отца при людях критику наводит, как малограмотная.

Василиса. Мартын Гаврилович, сложите песню, как один председатель взял себе дьячка в заместители, чтоб тот ему пел «многая лета».

Вакуленко. Я дьячком не был.

Василиса. И чего вы отзываетесь, я не о вас говорю.

Вышел из дому Иван Петрович Романюк. Он в новом костюме, на пиджаке ордена: «Отечественной войны», «Знак почёта» и три медали. На голове фетровая шляпа. Подходит. Все встали

Романюк. Не вижу председателя сельсовета.

Кандыба. Я пригласил, как вы велели.

Василиса. Мать скоро будет.

Романюк (к Василисе). А ты чего без ордена? Непорядок. Правительство дало тебе орден, чтобы он всегда на твоей груди сиял, а не на костюме в шкафу висел. Непорядок. Садитесь.

Все села

Романюк. Я вызвал вас, чтобы...

Возвращается Надежда, поставила перед отцом жбан с квасом и пошла в дом

Романюк. Простите, приму пирамидон. Очень голова болит. (Открыл коробочку, взял таблетку.) Одну принять или, может, две?

Кандыба. Вам и три не повредят.

Вакуленко. Нельзя. Он очень на сердце действует, одну.

Романюк. Так у меня ж не сердце болит, а голова. Приму три. (Принял три таблетки и выпил жбан квасу). Вчера вечером приехало к нам одно важное лицо, и говорил я с ним часов пять. И на очень высоком уровне. Может, оттого и голова болит.

Кандыба. Кто ж это приехал?

Романюк. А ну, угадайте, какая столичная птица к нам залетела?

Вакуленко. Уполномоченный ЦК?

Романюк. Уполномоченные ездят, когда дела плохо идут, а у нас всё в порядке. Уже третий год стоим твёрдо на ногах.

Василиса. Время бы и двигаться.

Романюк. Куда?

Василиса. На первую линию.

Романюк. Разве ты не на первой линии? Твоё звено вся область знает.

Василиса. Я не о себе. Всем колхозом нужно выйти на линию передовых.

Вакуленко. Душа всегда хочет в рай, но грехи не пускают.

Василиса. Тогда нужно исповедаться.

Вакуленко. А кто же у нас грехи отпустит, когда нет попа?

Василиса. Созывайте собрание колхоза, мы вас исповедуем так, что лишь бы выдержали.

Вакуленко. Слышали, Иван Петрович?

Романюк. Слышу.

Вакуленко. Так чего же вы молчите?

Романюк. А ты на ус наматывай, когда Василиса говорит, и подтянись.

Вакуленко. Это не она говорит, это работа Карпа Ветрового. Я говорил вам, он на острове сложа руки не сидит, всех настраивает против меня. Снова хочет на моё место стать, а может, и на место председателя колхоза.

Василиса. И вредный же вы, товарищ Вакуленко.

Вакуленко. Слышали, Иван Петрович, слышали?

Романюк. Что я тебе, глухой, или мне позакладывало? Молчи.

Вакуленко. Простите, но я требую...

Романюк. Молчи, я вас вызвал не для дискуссии.

Кандыба. Кто же приехал?

Романюк. Угадайте. Что у вас, хвантазии нет?

Василиса. Из Министерства сельского хозяйства?

Романюк. Бери выше.

Кандыба. Из Совета Министров?

Романюк. Бери ниже.

Василиса. А может, митрополит?

Романюк. А чего ему сюда ехать, когда у нас, слава богу, церкви нет.

Василиса. Вот клуба нет. Хоть бы построили, а то зима придёт...

Кандыба. Подождите, Василиса, кто же приехал?

Романюк. Вижу, нет в ваших головах хвантазии, не угадаете.

Кандыба. У меня-то столько фантазии, что голова пухнет.

Вакуленко. Так кто же?

Романюк. Приехал лауреат.

Василиса. Кто?

Романюк. Лауреат Сталинской премии. Вот какое событие.

Кандыба. Не такое уж событие. Лауреатов теперь столько, что все газеты за полгода никак не успеют их портреты напечатать.

Романюк. И что ты мелешь. Где видано, чтобы в село, которое за шестьсот пятьдесят километров от столицы, приезжал ко мне, в наш колхоз, стало быть, лауреат с первой золотой медалью.

Вакуленко. Проездом?

Романюк. Нет. Тут будет жить. На всё лето к нам, а может, и на больше. Прямо из Киева.

Василиса. С женой приехал?

Романюк. Не женат.

Василиса. А мне этой ночью снилось: стою на краю села и вижу — идёт человек, подходит ко мне, спрашивает: «Какое это село?», а я ответить не могу, гляжу ему в глаза, а они такие глубокие, такие глубокие, будто озёра...

Романюк. В очках?

Василиса. Нет.

Романюк. Так это ж не он.

Кандыба. Как его фамилия?

Романюк. Сергей Павлович Батура.

Кандыба. Знаменитый писатель.

Василиса. Это его книга про матросов под Севастополем?

Кандыба. Его.

Василиса. Хорошая книга. В моём звене все прочитали.

Романюк. Выходит, все прочитали, только я один (кашлянул) не дочитал. Никак не соберусь поменять очки, глаза болят.

Вакуленко. Да, это событие.

Романюк (к Кандыбе). Мартын, ты как секретарь сельсовета после завтрака покажешь им наше село. Ты, Василиса, тоже пойдёшь. Проведите по главной улице, сверните возле Матрёны Бабенковой направо...

Кандыба. Зачем сворачивать? Прямо поведу.

Романюк. Не надо прямо, слушай, что тебе говорят. Там же мостик разрушенный перед правлением колхоза. Да и само правление очень облупилось, придётся срочно побелить. Я дал команду, сегодня побелят, а завтра примем их в правлении.

Вакуленко. А мостик?

Романюк. На мостик чуть свет выйдут люди, чтобы видно было, как заботимся о дорогах. (К Кандыбе). Ты человек хорошо грамотный, начитанный, сам шкрябаешь песни, смотри, голубчик, чтобы всё было культурно.

Кандыба. Не беспокойтесь. Вот счастье. Наконец-то я прочитаю свои сочинения настоящему писателю.

Романюк. Я тебя, голубчик, хочу категорическим путём предупредить. Писатель приехал сюда работать, ему тишина нужна, понял — тишина, а от твоих песен собаки воют.

Кандыба. Иван Петрович, я протестую.. У меня есть ответы из редакций..

Романюк. Знаю, не горячись. Может, я и преувеличил, а только ты ко всякому свежему человеку как смола липнешь, а не все могут твой талант выдержать.

Кандыба. Хорошо, я не буду ему читать. Я только передам одну тетрадь, и вы увидите, кто такой Мартын Кандыба (ушёл).

Романюк. Куда ты? (Кандыба не отвечает.) Обиделся.

Вакуленко. Придёт. Это он за своими сочинениями побежал.

Василиса. А где же гость?

Романюк. Пошёл купаться. Приехал с другом, художником. Тот, правда, ещё не лауреат, но, наверно, скоро будет..

Вакуленко. А про что он будет писать?

Романюк. Про нас, чтобы все знали, какие мы есть. А друг его будет портреты рисовать, чтобы все видели, какие у нас люди.

Вакуленко. Не по душе мне всё это. Здесь что-то есть.

Романюк. Что?

Вакуленко. Почему как раз про нас? Что мы — передовые?

Романюк. Да ведь и не отсталые. Не всё же о Дубковецком, Шполянцах да о Макаре Посмитном писать. И так они позанимали все центральные президиумы да все газеты своими портретами. Они, конечно, передовые, но мы, средние колхозы, — есть основная сила. Пусть немного подвинутся.

Василиса. Надо и нам подвинуться. У них вон сколько героев, а у нас их нет.

Романюк. Потому они и герои, что мы не герои, а кабы мы стали героями, то тогда это слово не имело бы такого значения.

Василиса. А почему ж вы неделю хворали, когда в прошлом году в соседнем колхозе председателю дали орден Ленина, а вам всего «Знак Почёта»?

Романюк. Потому что была проявлена ко мне высшая несправедливость. Все знают, что секретарь райкома нас недолюбливает..

Вакуленко. А ежели секретарь их сюда направил, чтобы лауреат нас описал, да ещё в комедии?

Романюк. В комедии? (Встал, за ним встал Вакуленко.) Не может этого быть.

Вакуленко. А кто его знает? И как начнут над нами смеяться по всей Украине, а может и до Москвы докатиться, да начнут на наши портреты смотреть и пальцами тыкать: вот он, Иван Петрович Романюк, во всей красе.. (Смотрит на Василису) Или вот..

Василиса. Вакуленко, который без рюмки дня прожить не может.

Романюк. Тише, Василиса. Не может этого быть. Он человек почтенный, серьёзный, а не какой-нибудь сочинитель комедий. Садитесь. Я их вчера долго прошупывал..

Вакуленко. Оно и видно.

Романюк. Лауреат сразу подвыпил и говорит: «Я счастлив, что могу на весь Союз прославить ваш колхоз». Прославить хочет! А художник, правда, молчал, а пил хорошо. Потом только язык у него развязался. Встал и этак торжественно заявляет: «Прославим, Иван Петрович, чтобы не только теперь, а и потомки знали о вас». А я ему: дело не во мне — прославляйте всех колхозников... Надо помочь гостям, чтобы встречались не с какими-нибудь брехунами, а с людьми достойными.

Выходят из сада писатель Сергей Павлович Батура и художник Николай Александрович Верба. Голова у Вербы повязана мокрым полотенцем

Романюк. Вот они.

Вакуленко. Видно, и им лекарство с квасом принять надо.

Романюк. Тише.

Батура и Верба подошли

Батура. Доброе утро.

Романюк. Знакомьтесь, это мой заместитель Архип Герасимович Вакуленко, а это Василиса Дмитриевна Ковшик, звеньевая, награждённая орденом Ленина.

Батура и Верба. Очень приятно (здороваются).

Василиса (к Вербе). Это вы — писатель?

Верба. Нет. (Показывает) Сергей Павлович Батура.

Батура. А друг мой — художник, Николай Александрович Верба.

Василиса. Садитесь.

Батура. Благодарю.

Все садятся

Романюк. Я уже рассказывал им о вашем приезде. Для нас большой праздник...

Батура. Что вы, Иван Петрович, это для нас праздник. Здесь такая чудесная природа. Не село, а сплошной сад. А какая речка... Боюсь, мой друг останется у вас навсегда.

Вакуленко. Навсегда?

Верба. Я решил построить в хорошем селе мастерскую — и по-настоящему взяться за работу.

Романюк. Простите, какую мастерскую?

Верба. Чтобы писать. Для рисования. Обыкновенный дом, только одна комната должна быть большая и светлая.

Романюк. Если вам наше село по душе, то к осени будет у вас мастерская. В колхозном саду построим. У нас сад двадцать гектаров, пойдите посмотрите, как он сейчас цветёт. Такая картина, ну просто как на фотографии...

Верба. Спасибо. Посмотрю непременно.

Слышно — поют девушки

Верба. Какие у вас красивые люди. Берегом шли девушки, это, вероятно, они поют.

Все слушают песню

Верба. Одна в одну — стройные, смуглолицые, таких девушек я ещё не видел.

Василиса. Вот услышала бы ваша жена, как вы наших девушек расхваливаете...

Верба. У меня нет жены.

Вакуленко (к Батуре). Простите, можно вас спросить?

Батура. Пожалуйста.

Вакуленко. Мы очень рады, что вы посетили нас, но скажите пожалуйста, почему вы именно к нам приехали?

Батура. Я хочу собрать материал для книги.

Вакуленко. А всё-таки, простите, почему же именно к нам?

Батура. Не понимаю вашего вопроса.

Вакуленко. Есть же колхозы, где много героев, а у нас ещё их нет.

Батура. Так будут.

Романюк. Безусловно, будут.

Вакуленко. Когда ещё будут, а им теперь писать нужно... (К Батуре). Почему бы вам, в самом деле, не поехать к Дубковецкому? Такую о нём книгу написали бы.

Батура. Я был у Дубковецкого.

Романюк (удивлённо). Были?

Батура. Да.

Вакуленко. И неужели вам у него не понравилось?

Батура. Очень понравилось, но я хочу знать, почему вы, простите, не такие...

Вакуленко. Ага...

Батура. Что вам мешает?

Вакуленко. А вы думаете, все такими могут быть?

Батура. Об этом я хочу вас спросить: как вы думаете?

Романюк. Когда-нибудь и мы будем генералами, а пока что в сержантах пребываем, а без них армии нет... (смеётся).

Из дому выходит Надежда

Надежда. Понравилась вам наша речка?

Батура. Очень хорошая. Вода тёплая, прозрачная.

Верба. А на лугу трава, как шёлк.

Батура. Мы видели, дети наливали в бочку воду. Куда они её везят?

Романюк. Это её команда. (Показывает на Надежду.) Пристали ко мне: дай лошадь и бочку на всё лето. Пришлось закрепить.

Надежда. Я вам покажу, какие мы клёны и дубы посадили. Теперь их поливают школьники. Это мой кружок «Юные друзья Сталинского плана».

Верба. «Юные друзья». Какая хорошая и благородная тема. Непременно напишу их.

Батура. Не забудь того паренька, который вёл лошадь. Кепка съехала на ухо, идёт гордый, в мокрых трусах, кнутиком стегает. Его первым планом возьми.

Верба. Обязательно, и среди них Надежду Ивановну.

Василиса. Только Надю нарисуйте в военной форме, уж очень к ней идёт.

Батура. Вы были в армии?

Надежда. Три года, так что институт пришлось заканчивать после войны.

Батура. На каком фронте?

Надежда. Я на фронте, к сожалению, не была. Работала в тылу, в госпитале среди тяжёлораненых.

Батура. Я думаю, нам на фронте было легче, чем вам.

Надежда. Не знаю...

Пауза

Батура. Невыразимая тишина у вас... Покой, величественный покой.

Надежда. Разве покой может быть величественным?

Романюк. А почему не может быть? Они лучше тебя понимают, что может быть, а чего не может быть. Приглашай к завтраку дорогих гостей.

Надежда. Отец, писатели и художники так рано не едят. Правда?

Батура. Правда.

Вакуленко. Это почему?

Надежда. Они сначала встречаются с музами, а потом завтракают.

Верба. Я вечером встретился (поправляет полотенце на голове).

Василиса. Зачем это вы мокрым полотенцем голову повязали?

Верба. Болит.

Романюк. Может, пирамидону примете?

Верба. Нет, спасибо.

Василиса. А может, квасу холодного... (Взяла жбан.) Я принесу вам.

Верба. С большим удовольствием.

Василиса ушла

Батура. А много рыбы в реке. Так и выбрасывается.

Вакуленко. Есть. Сомки попадаются хорошие, так килограммов на пять, восемь, бывают и больше.

Романюк. Любите на поплавок посмотреть?

Батура. Люблю. Это лучший отдых нервам.

Надежда. Никогда бы не сказала, что вы нервный.

Верба. Ого. Когда Сергей Павлович пишет и что-нибудь не выходит — не подходит, убить может.

Надежда. Неужели?

Батура. Не верьте ему.

Верба. Я немного преувеличиваю. Может, и не убьёт, но контузию от него получить можно. Швыряет что под руку попадёт.

Романюк. Всё война наделала. У нас вот тоже есть один матрос контуженный. Такой нервный, просто житья от него нет.

Надежда (резко). Отец!

Романюк. Да не сердись, дочка. Человек он заслуженный, при орденах, но людям надо правду сказать. С кем ни встретится — сразу спорить, и как что не по нём — выругает. Нужно предупредить, чтобы гости наши знали, а то случайно встретятся на речке, а он такой, не посмотрит — простой вы человек или заслуженный лауреат...

Надежда. Отец, я прошу тебя...

Романюк. Да я против него ничего не имею.

Вакуленко. Он не совсем нормальный.

Надежда. Неправда.

Вакуленко. Тогда скажите, Надежда Ивановна, почему он так против течения идёт? Почему?

Надежда. Где течение? У нас вода стоячая. Кому вы очки втираете?

Романюк. Надя, что с тобой? Представляешь интеллигенцию нашего села, а так невежливо разговариваешь с руководством.

Вакуленко. Не обижайтесь, Надежда Ивановна, матрос наш всё-таки чудной.

Надежда. Я не обижаюсь. А одно знаю: далеко вам до него, товарищ Вакуленко.

Вакуленко. А мы и не равняемся, такого чуба, как у него, на весь район не найдёшь.

Надежда. А такой лысины, как у вас, во всей области не встретишь.

Романюк. А и верно, ты хотя бы с затылка одалживал и наперёд зачёсывал. Я видел, в Киеве так делают.

Верба. А что делает матрос в колхозе?

Вакуленко. Был заместителем председателя, но пошёл против порядка, который мы устанавливаем. Пришлось ему сдать мне этот пост. Ему всё не нравится. И наши нормы выработки, и то, что бригадиры у нас не ту власть имеют. Матрос — за постоянную производственную бригаду, а мы уже вперёд двигаемся. В центр ставим звено.

Батура. Не понимаю. У нас была и есть основная форма организации труда — постоянная производственная бригада.

Романюк. Я вам расскажу. Я и Вакуленко после войны были в Курской области. Мы там увидели, что куряне пошли дальше нас. У них производственная бригада только для формы. Всё держится на звеньях, которые имеют свой инвентарь, свою рабочую силу..

Вакуленко. И подчиняются председателю или его заместителю.

Батура. И что же, у них большие урожаи?

Романюк. Нет. Урожаи средние, а больше плохонькие, но организация труда очень передовая.

Батура. Как же это, передовая организация, а урожаи плохонькие?

Романюк. Потому что они тогда ещё её не освоили. Секретарь ихнего райкома мне сказал: как освоим, так всем покажем..

Батура. И что ж теперь?

Романюк. Не слышал, но, видно, скоро покажут. Секретарь их сказал: как только у нас экс... эксперимент выйдет, тогда во всём Союзе о нас заговорят..

Батура. И вы решили так работать, как они?

Романюк. Не совсем, но понемногу применяем их опыт, когда же у них тот эксперимент полностью выйдет, тогда и мы двинем за ними.

Батура. А где я могу встретить матроса?

Вакуленко. На берегу. Он теперь командует бригадой рыбаков. Старые моряки у него, разрисованных много встретите.

Верба. Как, разрисованных?

Романюк. На руках, на груди в молодости понакалывали себе барышень, теперь постарели, а барышень смыть нельзя, так они их и в могилу заберут.

Входит Василиса, ставит на стол жбан с квасом и два стакана

Василиса. Прощу. (Наливает и подаёт Вербе и Батуре.)

Верба. Благодарю.

Верба и Батура пьют. Входит Мартын Кандыба, в руках у него большой пакет

Кандыба. Позвольте отрекомендоваться: секретарь сельсовета, инвалид Отечественной войны, местный поэт-песенник Мартын Гаврилович Кандыба. Весь к вашим услугам.

Батура. Сердечно благодарим. Батура. (Подаёт руку.)

Верба. Очень рады с вами познакомиться. Верба. (Подаёт руку.)

Кандыба. Я счастлив, что могу передать вам..

Романюк (перебивает). Подожди, Мартын..

Кандыба. Прощу не перебивать. (К Батуре и Вербе) Я счастлив, что могу передать вам..

Романюк. Ну что ты за человек.

Кандыба. Я прошу меня не зажимать... (К Батуре и Вербе) Я счастлив передать вам самый искренний привет от председателя нашего

сельсовета Наталии Никитичны Ковшик. Её задержали дела, и она, к сожалению, не сможет прийти.

Батура. Передайте ей от нас искреннюю благодарность за привет и попросите, чтобы не беспокоилась, мы сами зайдём к Наталье Никитичне, как только она сможет нас принять.

Романюк. Прости, Мартын, я думал, что ты этот узел виршей хочешь...

Кандыба. Прежде всего это не узел, а во-вторых, я вас великодушно прощаю. (К Батуре) Я счастлив, счастлив, что имею честь так близко стоять возле великого писателя. Перечитал всё написанное вами. Я лично не пишу прозой, но очень люблю читать прозаические произведения. Скажу от всего сердца: ваша книга о моряках — непревзойдённый шедевр.

Батура. Что вы. Обыкновенная книга, и в ней есть и схематические образы и неглубокие места.

Надежда. Вы шутите.

Батура. Нет.

Надежда. Позвольте читателю сказать вам правду.

Батура. Прошу.

Надежда. В вашей книге командир получился, действительно, схематичным, даже сухим и нудноватым...

Верба. Держитесь, Сергей Павлович.

Надежда. Но друг командира, матрос Горовой, — это такой большой человек, что я в него просто влюбилась.

Верба. Жаль, что не в командира.

Надежда. Почему?

Верба. Командир — это сам автор.

Надежда. Неужели?

Батура. К вашим услугам, сухой и нудный...

Надежда. Простите, я об образе.

Батура. Ничего, ничего.

Надежда. Но вашего героя матроса я представляла себе внешне таким, как вы.

Батура. Благодарю.

Надежда. И вам спас жизнь матрос Горовой?

Батура. Мне.

Надежда. Расскажите.

Батура. Я написал точно, как было.

Надежда. Да... Ваша книга раскрывает такую красоту души простого человека, что если бы я встретила его — за него отдала бы всё самое дорогое.

Батура. А вы, действительно, словно в живого влюбились...

Василиса. А разве он погиб?

Батура. Погиб...

Надежда. Как хорошо вы закончили книгу — «Где ты, друг мой... Друг верный...»

Пауза

Василиса. А мне уж, простите меня, не нравится конец. Нужно, чтобы вы встретились с матросом. Допишите немножко — и нам будет легче.

Батура. Нельзя.

Василиса. Почему?

Большая пауза

Батура. Я никогда не встречу его...

Кандыба (к Батуре). Позвольте вас на одну минуту.

Батура. Пожалуйста.

Батура и Кандыба идут в сад

Романюк. Не выдержал, аспид...

Василиса. Распаковывает... Ещё петь начнёт.

Верба. Кто?

Василиса. Наш Кандыба.

Надежда (тихо). «Друг мой... Друг верный...»

Романюк. Я вот думаю, где вам лучше будет жить. Может, так — Сергей Павлович у нас, комната есть свободная. Как, Надя?

Надежда. Что ж, если согласится...

Романюк. Согласится. (К Вербе) А вас, если разрешите, к товарищу Вакуленко.

Василиса. Выдумали. У него же дети...

Верба. Прошу вас, если можно, в такой дом, где нет детей. Мне тишина нужна.

Василиса. Тогда ясно. К нам пойдёте. Полдома вам, а на другой половине я и мать. Больше у нас никого нет.

Романюк. Им же тишина нужна, а твоя мать...

Василиса. Что? Моя мать с утра до вечера на работе, характер у неё кроткий, тихий. (К Вербе) Согласны?

Верба. С радостью, но может быть, ваша мать не согласится...

Василиса. Как? Да вы влюбитесь в неё, когда увидите. Скажите, Иван Петрович, есть ещё в нашем селе такой души женщина?

Романюк. Нет. Во всём свете такой нет.

Слышны с улицы голоса, кто-то плачет, а потом на всю улицу женский голос: «Не плачь. Говорю, не плачьте. Идите в сельсовет и ждите, а я его сейчас за уши притяну. Я ему на носу печать поставлю»

Верба. Что это?

Василиса. Моя матушка с кем-то разговаривает.

Романюк. Редкой души женщина...

Быстро входит председатель сельсовета Наталья Ковшик.

В руках у неё большой брезентовый портфель

Ковшик. Где мой секретарь? Где мой бюрократ? (Увидела в саду Кандыбу.) Иди сюда, чернильная твоя душа... Иди сюда... Быстрее...

Василиса. Мама.

Ковшик. Молчи.

Входит Кандыба, за ним Батура, в руках у него тетради

Ковшик (к Кандыбе). Иди быстрее, а то меня на куски разорвёт.

Василиса (к Романюку). Скажите ей...

Романюк (махнул безнадежно рукой и простонал). О господи.

Ковшик. Отвечай мне, кто такие Евдокия Мироненко и Мария Берёза? Отвечай.

Кандыба. Как, кто?

Ковшик. Где их мужья? На поле боя, как герои... А ты где был? В камышах прятался, пока тебя не освободила Красная Армия.

Кандыба. Позвольте, у меня... (показывает на медаль).

Ковшик. Что ты мне на медаль показываешь? Сколько ты был в армии? Пять месяцев. Даже до Берлина не дошёл, по дороге вывихнул ногу — и в госпиталь. А их мужья четыре года воевали.

Кандыба. Я протестую. Я могу всем показать рану (поднимает штанину).

Ковшик. Опустит штанину. Как же ты смеешь так относиться к заслуженным матерям, заячья твоя душа. (Подняла портфель.) Куда ты их документы на пенсию заслал?

Кандыба. Я послал на перерегистрацию.

Ковшик. Когда?

Кандыба. Четыре месяца тому назад.

Ковшик. Врёшь, вот они. (Вытянула из портфеля бумаги.) Я их в твоём шкафу среди старых газет и всякого рванья нашла. Смотри, мыши начали грызть. Четыре месяца плачут бабы, пенсии не получают, а ты им брешешь, что ответа нет. Какой же ты есть секретарь Советской власти?

Кандыба. Как же это получилось?

Ковшик. Ещё меня же и спрашиваешь? На портфель, иди сейчас в сельсовет, я там с тобой поговорю. Иди, бюрократ, писатель, аспид.

Кандыба. Простите. (Побежал.)

Ковшик (сняла косынку с головы, подошла к столику). День добрый.

Верба. Добрый день.

Ковшик (к Романюку). Что это ты, кум, нахохлился?

Романюк. Нездоровится.

Василиса. Познакомьтесь, мама, это товарищ Верба — художник.

Ковшик. Очень рада. (Подала руку).

Подходит Б а т у р а

Василиса. Знакомьтесь, мама, это писатель...

Ковшик. Как, писатель? Кандыба сказал, что лауреат приехал.

Василиса. Писатель лауреат, товарищ Батура.

Ковшик. Рада и вам. Простите, что я Кандыбу писателем обозвала, он из-за своих виршей все официальные бумаги теряет.

Батура. Ничего. Я просто счастлив, что с вами познакомился. У вас такой темперамент...

Романюк (тихо к Вакуленко). «Счастлив», ловко высмеял.

Вакуленко. Что-то непохоже.

Батура. Садитесь пожалуйста.

Ковшик. Спасибо, садитесь вы. Отдыхать приехали к нам?

Батура. Нет. Хочу собрать материал для книги.

Ковшик. Для книги... Это хорошо. Опишите, пожалуйста, моего кума. Если хотите — я вам о нём такое расскажу...

Романюк. А я о тебе, кума...

Ковшик. Начинай, я не боюсь.

Романюк. И я не боюсь. Проси, Надя, гостей завтракать.

Надежда. И вправду, пора. Прошу всех в дом.

Ковшик. Спасибо. Мне надо итти. Будьте здоровы, приходите, если будет время, в сельсовет.

Батура. Непременно зайдём.

Василиса. Мама, товарищ Верба согласился у нас жить. Он картины будет рисовать.

Романюк. Не будет он у вас жить.

Ковшик. Это почему? Что у меня — дом хуже твоего, или пироги не румяные?

Романюк. Им нужна тишина, покой, а не ярмарка.

Ковшик. Ярмарка? Приходите, товарищ художник, от души приму. Вы не думайте, это я так с бюрократами, да с теми... вот снова забыла, как оно то слово, кум?

Романюк. Какое?

Ковшик. Которым тебя обозвал наш матрос на районном активе.

Романюк. Не помню.

Ковшик. О, вспомнила — опуртунист... с опуртунистами.

Романюк. Знаешь, Наталья, я тебя привлеку к партийной ответственности. Это был закрытый актив, и о таких делах не говорят частным лицам.

Надежда. Отец.

Василиса. Мама, прошу вас, идите.

Ковшик. Иду. Уж не сердитесь. (Подходит к Романюку.) И ты не сердись, я же кума твоя, а куму любить нужно. (Подмигнула и ушла.)

Вакуленко (к Василисе). И когда твоя мать успокоится?

Василиса. Наверно, никогда.

Надежда. Прошу.

Все идут в дом, последними Василиса и Верба

Василиса. Переедете к нам или раздумали?

Верба. Перееду, с большой радостью.

Василиса. Мать у меня тихая, кроткая...

Верба. Я напишу её портрет. (Посмотрел на Василису.) И ваш.

Входят в дом

Из глубины сада выходит матрос Карп Ветровой. Он в бескозырке, на плечи накинута бушлат. В одной руке он держит весло, в другой большой букет водяных лилий. Остановился под деревом, слушает. Из дому слышны весёлые голоса, звон тарелок. Выходит Надежда с кружкой и полотенцем, за ней Батура с ведром в руках. Ветровой стал за деревом. Надежда зачерпнула воды,

Батура протянул к ней руки

Надежда. Подождите, я вам часы сниму. (Снимает часы с его руки, поливает из кружки ему на руки.) Вы даже представить не можете, как я рада, что вижу вас.

Батура. И я счастлив, что приехал к вам. Здесь всё ново для меня.

В окне появился Романюк

Романюк. Надя, а где же хрен?

Надежда. Сейчас, отец, забыла. (Подавала полотенце Батуре, побежала в дом.)

Батура вытирает руки. Вышел Ветровой, встал. Батура заметил его. Смотрят друг на друга. Батура сделал несколько шагов вперёд, остановился.

Пауза

Ветровой (тихо). Сергей Павлович...

Батура. Не может быть... Друг мой... друг... (бросился к нему, обнял, целует, припал головой к его груди). Карп, друг мой... друг верный...

Ветровой. Серёга... Серёга... Успокойся, Сергей Павлович, прошу тебя...

Батура (вытирает слёзы). А я думал... Карп, прости...

Ветровой. Погиб?

Батура. Да. Я искал тебя, ответили — без вести пропал.

Ветровой. Живу. Правда, весь в заплатах, но живу.

Батура. Почему не написал мне?

Ветровой. Думал написать, но ты, Сергей Павлович, стал знаменитым человеком, можно сказать на весь Советский Союз, решил не отнимать у тебя время.

Батура. Солдатскую дружбу забыл?

Ветровой. Нет, я не забыл, но напоминать о ней не хотел.

Батура. Эх ты, орёл сизокрылый... Эх, вот ведь счастье... (смотрит на него).

Ветровой. И я счастлив. Приходи. Дом мой недалеко, над самой рекой. А сейчас иди, тебя там ждут.

Батура. Не отпущу, пойдём со мной.

Ветровой. Нет. С хозяином этого дома у меня свои счёты. Туда я не пойду. Приходи вечером или завтра...

Слышен голос Надежды: «Сергей Павлович!»

Ветровой. Иди, дружище, Надя зовёт. Передай ей эти лилии, она просила... (Показал: на траве лежат лилии. Пошёл садом.)

Батура смотрит ему вслед. Где-то далеко зазвенела песня...

Батура (тихо). Карп... Карп...

Упало полотенце на лилии. Батура быстро пошёл за Ветровым.

Снова прилетела песня. Из дома слышен звон рюмок и голос Вербы: «За Калиновую Рощу». Вышла Надежда, увидела лилии, смотрит в сад.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина вторая

На острове. На берегу, под столетней вербой, шалаш. Сушатся развешенные сети, вентери... За шалашом высокий камыш. На траве сидят рыбаки: Максим Зоря, Пётр Мороз и Василий Крым. Они в белых рубахах, брезентовых штанах, а на ногах высокие резиновые сапоги. На голове у каждого старые бескозырки. Полуголые руки покрыты татуировкой: якоря, сердца, пробитые стрелой, голуби, а у Крыма на раскрытой груди вытатуирована девушка.

Зоря (запевает):

Наверх вы, товарищи,
Все по местам.
Последний парад наступает.

Мороз и Крым (подтягивают):

Врагу не сдаётся
Наш гордый «Варяг»,
Пошады никто не желает.

Зоря. Петька.

Мороз. Что, Максим Порфирьевич?

Зоря. У контрабандиста табак есть?

Крым. Есть, Максим Порфирьевич. (Достаёт.)

Зоря. Закурим.

Рыбаки вынули трубки, закуривают

Крым. И что это наш капитан такой мрачный?

Зоря. Мрачный.

Пауза

Мороз. Мрачный...

Пауза

Крым. Очень мрачный...

Зоря. Не таракти.

Крым. Есть.

Пауза

Зоря. Задумчивый...

Мороз. Задумчивый...

Крым. И очень задумчивый...

Зоря. Ты опять?

Крым. Есть, не тарактеть.

Пауза

Зоря. Жаль...

Мороз. Жаль...

Крым (открыл рот, но не выдержал взгляда Максима Зори, безнадежно махнул рукой и тихо сказал). Есть.

Зоря. Довольно языки чесать. За работу.

Рыбаки чинят сеть

Зоря (запевает).

Задумав діточок,

Задумав жениться.

Ой, сів думав-думав, } 2 раза

Задумав жениться.

Що старої не хочеться,

Молода не піде.

Ой, сів думав-думав, } 2 раза

Молода не піде.

Входят Карп Ветровой и Сергей Батура, остановились, слушают песню. Зоря их заметил и тихо: «Встать!». Рыбаки встали. К ним подошли Ветровой и Батура

Батура. Добрый день.

Рыбаки. День добрый.

Зоря. Где вы причалили?

Ветровой. На косе.

Батура. Я хотел обойти остров. Ну и камыш у вас, как бамбуковый лес.

Зоря. Высокий.

Ветровой. Заканчиваете?

Зоря. Заканчиваем.

Ветровой начинает осматривать сеть, за ним неотступно следит Зоря

Батура (посмотрел на небо). А гусей сколько.

Мороз. С поля на лиман летят.

Батура. А там что?

Мороз. Где?

Батура (показывает). Вон, высоко-высоко.

Мороз (посмотрел). Не вижу... Крым, посмотри.

Крым (поднял голову вверх). То лебеди.

Зоря. Не брешы. Они в эту пору не идут. То белые цапли.

Батура. А лебеди здесь садятся?

Мороз. Живут осенью долго. Там, за ериками, на озёрах собираются гуси, тысячи их, и лебеди, а уток, как мошкары.

Ветровой. А это что?

Зоря. Где?

Ветровой (поднял сеть). Вот.

Зоря. Пропустил.

Ветровой. Кто?

Зоря смотрит на Крым а, тот подходит

Крым. И как это я не заметил?

Зоря. Мелешь языком... Тарахтишь.

Ветровой. Кто казан чистит сегодня?

Мороз. Я.

Ветровой. Передай ему.

Мороз. С превеликим удовольствием.

Ветровой (к Крыму). Неделю будешь чистить.

Крым. Есть, чистить.

Ветровой. Я пойду лодку перегоню, а Сергей Павлович с вами будет говорить. На все его вопросы дадите ответ.

Зоря. Хорошо.

Ветровой. Только ты, Крым, смотри, не того... Ясно?

Крым. Ясно.

Батура. Что?

Ветровой. У него язык, как мельница, никому слова не даст сказать. (Ушёл.)

Батура сел, сели рыбаки. **Батура** смотрит на них, рыбаки молчат. **Батура** кашлянул, кашлянули рыбаки

Батура. Жарко. Как вы думаете, дождь будет?

Зоря. Будет.

Мороз. Будет.

Крым. Будет под вечер...

Зоря посмотрел на него, Крым махнул рукой

Батура. Хорошо припекает. (Вынимает платок, вытирает со лба пот.)

Пауза

Зоря. Если у вас, товарищ писатель, больше нет вопросов, то мы поедем вентери трусить.

Батура. Я хотел спросить вас, где вы служили, на каких кораблях.

Зоря. Мы служили на миноносце «Звонком», а когда в гражданскую под Новороссийском по приказу товарища Ленина корабли потопили, тогда мы пошли в пехоту, драться за Советскую власть. Мы — это Мороз и я.

Батура (к Крыму). А вы?

Крым. Я в торговом флоте пребывал.

Мороз. Он у грека контрабандиста служил.

Батура. Где?

Крым. В Одессе. На шхуне «Стрела». Какая была шхуна. Её все знали. К нам когда-то тоже приходил писатель, его фамилия, кажется, Куприян. Точно, Куприян.

Батура. Может быть, Куприн?

Крым. Может. Придёт, всё расспрашивает нас, а потом всю ночь обязательно угощает. А пили мы тогда с ним больше бордо — красное, и закусывали мидиями...

Зоря. Крым.

Крым. Есть.

Мороз. Ты лучше скажи, сколько раз в турецкой тюрьме сидел.

Крым. Трижды в турецкой и в одесской дважды, но не долго. Грек всегда выручал, один только раз, видно, плохо подмазал — и нас канонерка потопила в турецких водах.

Мороз. Сколько лет прошло, а в нём и сейчас просыпается контрабандист.

Крым. Не ожидал такого от вас. За все годы Советской власти я только раз попробовал, и то очень неудачно. Посадили меня в чрезвычайку, там просветили — и с того времени веду честную жизнь... Я теперь ударник.

Мороз. Попробовал бы ты не быть ударником в нашей бригаде... С борта сбросили бы.

Зоря. Работает он хорошо, только больно часто грековую шхуну вспоминает.

Крым. Вспоминаю... Потому что она очень хороший ход имела. В турецких водах один раз за нами гнался...

Зоря (перебивает). Подожди. Скажите, товарищ писатель, вы давно с нашим бригадиром познакомились?

Батура. Во время войны.

Мороз. Так это о вас Карп Корнеевич рассказывал?

Батура. А что рассказывал Карп Корнеевич?

Зоря. Что вы были хорошим командиром.

Батура. А... больше ничего не говорил?

Зоря. А чего может быть больше, чем когда солдат командира хвалит? Любит он вас, очень любит.

Мороз. Не забывает.

Крым. Разве забудешь боевого друга? Вот когда нашу шхуну потопила турецкая канонерка и очутился я в чужих водах...

Зоря. Крым, ещё слово — и ты сейчас очутишься в наших водах.

Крым. Есть.

Входит Ветровой

Ветровой. Ну как, поговорили?

Батура. Поговорили.

Ветровой. Вынимайте вентери и готовьте наживу, бросим на ночь перемёты.

Зоря. Есть. По лодкам!

Рыбаки взяли вёсла. Зоря запекает, Мороз и Крым подтягивают. Ушли.

Ветровой. Может быть, отдохнёшь в шалаше?

Батура. Нет. Я не устал. Посидим здесь.

Садятся на опрокинутую лодку

Ветровой (вынимает папиросы). Кури.

Батура взял. Закурили

Батура. Сегодня месяц, как я приехал к вам.

Ветровой. Неужели?

Батура. Месяц, друг мой, а будто один день.

Ветровой. Это хорошо.

Батура. Написал в Киев, чтобы не ждали меня до поздней осени.

Ветровой. А может, и перезимуешь у нас? Вода замёрзнет. В камышах такая охота!

Батура. А что ж, может и так. Писать здесь лучше. Никто не будет мешать (обнял Ветрового). Думали ли мы, когда лежали, обливаясь кровью, что будем сидеть вот так и смотреть на солнце в воде...

Ветровой. Я думал...

Батура. А я нет.

Ветровой. Почему?

Батура. Когда ты встал и с гранатами пошёл на танк...

Ветровой (перебивает). Не нужно вспоминать... Серёга, ты Наде ничего обо мне не говорил?

Батура. Нет, а что?

Ветровой. Вчера была здесь.

Батура. Она мне говорила.

Ветровой. Говорила?

Батура. Да.

Пауза

Ветровой. Допытывается, когда я с тобой познакомился.

Батура. Не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы она всё знала?

Ветровой. Не хочу.

Батура. Карп, скажи.

Ветровой. Ты написал обо мне много такого, чего не было.

Батура. Но главное...

Ветровой (перебивает). Я ещё раз тебя прошу, ни слова Наде и никому. Можешь это сделать для меня?

Батура. Хорошо. (Пауза.) Карп, ты любишь её?

Ветровой молчит. Пауза

Батура. А Надежда?

Ветровой. Не знаю.

Батура. Говорил с ней?

Ветровой. Нет.

Батура. Почему?

Ветровой. Удивительно.

Батура. Что?

Ветровой. Писатель ты, глубоко видишь, а такую простую вещь не понимаешь. Разве я ей пара?

Батура. Ты думаешь?

Ветровой. Семнадцать лет между нами. Это не шутка. Она красивая, а я на болотного чёрта стал похож...

Пауза

Батура. Ещё что?

Ветровой. Она сильная, весёлая, звонкая, а я...

Батура. Ну?

Ветровой. Весь сшитый... Да и ещё есть причина. (Посмотрел на Батуру.)

Батура. Какая?

Ветровой. Обо всём сразу не переговоришь.

Батура. Что сшитый — это не беда, лишь бы рубцы были хорошие, а они у тебя, видно, крепкие, гнал лодку так, что моторка за тобой не поспела бы... А всё остальное никакого значения не имеет, если есть любовь.

Ветровой. Если есть... А если нет?

Батура. Так спроси. Неужели, Карп, ты боишься?

Пауза

Ветровой. Разве об этом спрашивают, Серёга?

Пауза

Батура. Да... Не спрашивают...

Ветровой. Как тебе живётся у Романюка?

Батура. Приняли меня, как родные.

Ветровой. Да... Я вчера ждал тебя, как условились, весь вечер...
Что-то помешало?

Батура. Прости, Карп, никак не мог. Я учителям доклад о литературе читал, а потом столько мне вопросов задали. До часу ночи беседа затянулась.

Ветровой. Хорошо, что сегодня встретились. Ночевать будешь здесь?

Батура. Буду, Карп. Буду, друг мой. Закинем сети...

Ветровой. Закинем и сети, и перемёты. А сейчас давай уху сварим.

Батура. А рыба где?

Ветровой. Есть: линочки, окуни, сомки, караси, со вчерашнего дня ждут тебя. А здесь у меня припасы. (Выносит из шалаша ящик, вынимает.) Вот перчик, лук, старое сало...

Батура. А сало зачем?

Ветровой. Без старого сала нет ухи... Два литра.

Батура. Ого.

Ветровой. На свежем воздухе и не заметишь, как пойдёт... Да и бригада моя непьющая. (Смеётся.)

Батура. Не пьют?

Ветровой (начинает чистить картошку). Вчера целую ночь терзали меня: «Что же друг не приехал, а водка стоит, ещё градусы поудируют». Насилу от них отбился.

Батура. Я так сидеть не буду, давай и мне работу.

Ветровой. Возьми казан и принеси воды.

Батура. Есть, капитан! (Побежал по воду).

Слышен голос Батуры: «А вода тёплая, я буду купаться»

Ветровой. Подожди, Серёга. Здесь купаться нельзя.

Входит Батура

Батура. Почему?

Ветровой. Погибнешь.

Батура. Что?

Ветровой. Быстрина.

Батура. Я плаваю хорошо.

Ветровой. Там водоворот большой, крутит так, что никто не выплывет. Поедем ниже, на спокойные места.

Батура. Жаль...

Ветровой. Садись. Как тебе наш колхоз нравится?

Батура. Всё есть для того, чтобы передовым стать.

Ветровой. Всё есть, да только председатель наш этого не видит.

Батура. Странно. Романюк очень интересная, я сказал бы, колоритная фигура. У него большой природный ум.

Ветровой. На одном природном уме теперь далеко не уедешь. Ты был на полях?

Батура. Был.

Ветровой. Ну и что?

Батура. Сорняков много.

Ветровой. Пропалывают?

Батура. Мало.

Ветровой. А вот на усадьбах сорняков нет.

Батура. А почему так?

Ветровой. Знают, что урожай решает обработка.

Б а т у р а вынул блокнот, записывает

Ветровой (улыбнулся). Счетовод мне сказал, что ты ему целую ре-
визию учинил. Все книги пересмотрел.

Батура. Меня интересовало, как у вас дела с трудоднями.

Ветровой. Ну и что ты увидел?

Батура. Всё-таки у вас работают не плохо. У каждого столько тру-
додней...

Ветровой. Трудодней много, за это нужно прославить Романюка.

Батура. Ты смеёшься или вправду?

Ветровой. Вправду. За это его и любят. Только спроси у Романюка:
почему трудодней у каждого много, а на полях сорняки, а на фермах
свиньи вроде гончих?..

Батура. Действительно, что-то не вяжется.

Ветровой. А знаешь почему?

Батура. Скажи.

Ветровой. Наш председатель на передовую линию не хочет итти.
Ползёт, но не встаёт.

Батура. А почему?

Ветровой. Привык смотреть на тех, кто от нас отстал, а не на тех,
кто далеко впереди нас. Гордится тем, что он передовой среди отсталых.

Батура. Интересно. А как же ваш райком партии на это смотрит?

Ветровой. Критикуют Романюка — а он кается; проходит время,
критикуют его ещё больше — он ещё пуще кается... Так оно и идёт.

Батура. А почему ваша парторганизация молчит?

Ветровой. Не молчит, но и не взялась как следует. Приходи завтра
на партсобрание, увидишь, как мы будем по душам говорить с нашим
председателем (Смеётся).

Батура. Приду. Скажи, Карп, а почему ты командуешь рыбаками,
а не настоящим делом занимаешься?

Ветровой. Но, но, ты поосторожней, моя бригада теперь сто тысяч
рублей в год даёт колхозу.

Батура. Прости, я не знал, и всё-таки не здесь твоё место.

Ветровой. Промах у меня вышел.

Батура. Какой?

Ветровой. Как вернулся из армии — выбрали меня в правление и за-
местителем председателя назначили. Я сам разработал план, чтобы
резко повернуть колхоз, поднять трудовую дисциплину, увеличить нор-
мы выработки. Чтобы не отдельные звенья, а все бригады были пере-
довыми, а бригадиры настоящими командирами, чтоб председатель кол-
хоза был капитаном крейсера, а не флотилии деревянных челнов, пото-
му что веслом к коммунизму не догребёшь. Начал войну с председате-
лем, но большинство меня не поддержало.

Батура. Почему?

Ветровой. Никого не подготовил, не посоветовался с активом. Ду-
мал, сам всё смогу; прочитаю план на собрании — и все проголосуют
«за», а вышла осечка. Это была моя первая ошибка, а за ней вторая —
я разгорячился на собрании и сказал: не принимаете мой план, тогда
снимите меня с заместителя председателя. Романюк за это ухватился, и
назначили меня бригадиром рыбаков.

Батура. И ты сдался?

Ветровой. Моряки не сдаются (усмехнулся). Там у меня в шалаше целая библиотека, читаю, учусь, провожу беседы в звеньях, как агитатор. Ездил к шполянцам, чтобы понять, как там руководители всех людей подняли. Одним словом, подковываюсь на все четыре. Теперь я не один.

Б а т у р а записывает

Ветровой. Ты что записываешь?

Батура. Твои мысли.

Ветровой. Ты лучше мысли Романюка попробуй записать.

Батура. После твоей характеристики Романюк для меня ясен.

Ветровой. Ой, не спеши. Попробуй загляни в его душу. Девятнадцать лет председательствует, люди ему доверяют, воевал хорошо, до Берлина дошёл, и когда нужно будет — уверяю, сапёр Романюк наведёт мосты через любые воды. Такие люди нам дороги.

Батура. А всё-таки, если он не хочет итти к лучшему, нужно снять.

Ветровой. К хорошему и он, и все хотят итти...

Батура. Не понимаю тебя.

Ветровой. Только его хорошее — узкое, маленькое. И пока оно станет широким, большим — нужно много времени, а такие, как шполянцы, да и не они одни, поверили в свою силу и взяли быка за рога.

Батура. Прости, я тебя опять не понимаю. То ты говоришь так, словно его сегодня снимать надо, а с другой стороны...

Ветровой (смеётся). А я нарочно говорю со всех сторон, хочу себя на тебе проверить. Ты, человек знаменитый, высокой культуры, всё меня спрашиваешь, а я хочу и тебя послушать. Что посоветуешь?

Батура. Политик же ты, Карп, настоящий политик...

Ветровой (встал). И почему ты так любишь всё преувеличивать? В книге расписал меня так, ну просто в рай. И здесь говоришь...

Батура. Карп, говорят, бывает уничижение паче гордости.

Ветровой (резко). Какой же я к бесу политик, когда мы до сего времени барахтаемся. Дубковецкий — это настоящий политик, а нам заработать нужно, чтобы достойными его учениками назвали. Понял?

Батура. Понял...

Ветровой. Запиши в свою книжечку.

Батура (прячет блокнот). Я и так не забуду.

Далеко на реке запела девушка

Батура. Кажется, кто-то поёт?

Ветровой (смотрит). Не видно.

Батура. Хороший голос.

Ветровой. Да, хороший... Это Надя поёт. (Садится).

Батура. Надежда? К тебе в гости едет.

Ветровой. Не улавливались.

Батура. Тем лучше, сама едет. Видишь, эх ты, водяной. Мы её ухой угостим. Беги встречай.

Ветровой. А может, ты встретишь?

Батура. Я тебя просто бить буду. Вставай, живо! (Поднял его).

Ветровой. И сила же у тебя.

Батура. А ты думал! Она не знает, что я здесь. Спрячусь в камыш, разыграем её.

Ветровой. Не надо.

Батура. Давай, давай. (Схватил пиджак, побежал в камыш.)

Ветровой вытер руки, поправил бескозырку, подходит к берегу.

Голос Надежды: «Можно причалить?»

Ветровой. Просим. (Пошёл.)

Скоро возвращается с Надеждой. На ней спортивная куртка, на голове соломенная шляпа. Ветровой несёт корзинку, поставил её возле лодки

Ветровой. Садитесь, Надежда Ивановна. Устали?

Надежда и Ветровой садятся

Надежда. Нет, я бы целый день плыла. Люблю грести: Не дышишь, а пьёшь воздух... (Сняла шляпу). Что вы готовите?

Ветровой. Уху собираюсь варить.

Надежда. А я знала, что вы меня ухой встретите. Угадайте: что привезла?

Ветровой. Не знаю.

Надежда. Достала вино, которое вы любите. (Вынимает из корзинки, подаёт.)

Ветровой. Спасибо. А я для вас такую уху сделаю, что на всех реках и даже на Чёрном море ни один рыбак не сварит.

Надежда. Отец просил передать вам привет.

Ветровой. Неужели? Что это с ним случилось?

Надежда. Всё меняется, мой хороший Карп Корнеевич.

Ветровой. Как вы сказали?

Надежда. Всё меняется и всё идёт к лучшему. К лучшему, Карп Корнеевич... Ой, я просто опьянела на воде... А у вас солома в чубе. (Сняла бескозырку, вынула из чуба солому, надела бескозырку себе на голову.) К лицу мне бескозырка?

Ветровой (смотрит на Надежду). Вам всё к лицу.

Надежда. Спасибо. (Надела на его голову бескозырку. Ветровой хочет поправить.). Не поправляйте! (Долго смотрит на него.) Карп Корнеевич... да улыбнитесь...

Ветровой (улыбнулся). Раз или два?

Надежда. Сто, тысячу. Я хочу, чтобы сегодня всё улыбалось. Посмотрите, как смеётся река, небо, солнце, этот остров и даже камыш.

Ветровой. Буду стараться.

Надежда. Дорогой Карп Корнеевич, скажите, почему вы со всеми шутите, весёлый, а со мной так сдержанны?

Ветровой. Вам кажется.

Надежда. Нет. Скажу прямо, иногда я так на вас сержусь...

Ветровой. За что?

Надежда. Я всегда подхожу к вам с открытым сердцем, а вы редко когда только чуть-чуть открываете свою душу. Так нельзя. Неужели вы не чувствуете, что теперь такого искреннего друга, как я, у вас нет.

Ветровой. Чувствую, потому и сдерживаю себя...

Надежда. Зачем?

Ветровой. А разве вы не понимаете?

Надежда. Нет...

Ветровой. Жаль.

Надежда. Ну вот, вы снова стали угрюмым. Милый, славный друг мой... (Встала.) Что это возле солнца кружит?

Ветровой (встал). Где?

Надежда (положила руку на его плечо). Вон. (Показывает.)

Ветровой. То орёл так высоко поднялся.

Надежда и Ветровой смотрят вверх

Надежда. Орёл... (Перевела взгляд на Ветрового.) Не сердитесь на меня, я не то ответила вам... Скажите, вы здесь один?

Ветровой. Один.

Надежда. А я думала...

Ветровой. Что?

Надежда. Что ваши рыбаки здесь...

Ветровой. Они скоро будут. Вентери вынимают.

Надежда осматривается. Ветровой следит за ней

Ветровой. Вы будто кого-то ждёте?

Надежда. А кого мне ждать?

Ветровой. Простите, мне показалось... Что это у вас? (Показал на корзинку.)

Надежда. Там одеяло, полотенце, мыло... Приехала на всю ночь рыбачить. Своё обещание наконец исполнила.

Ветровой. На всю ночь?

Надежда. Вы, кажется, недовольны? Так просили меня, обещали показать...

Ветровой. Я очень доволен. Я просто счастлив, Надежда Ивановна. Всё вам покажу, как обещал. И сети будете тянуть, и вентери ставить... Всё, всё, что прикажете... (Крикнул) Сергей Павлович, Сергей Павлович!

Надежда. Сергей Павлович здесь?

Ветровой. Он тоже исполнил своё обещание, приехал рыбачить... Всё покажу вам...

Входит Б а т у р а

Батура. Ну что ты, Карп, не дал разыграть...

Ветровой. Кого?

Батура. Надежду.

Надежда. Вот какой вы, не думала...

Батура. Какой?

Надежда. Мальчик. Так только мои ученики делают.

Ветровой. Простите, я пойду рыбу чистить.

Батура. И мы тебе поможем.

Надежда. Нет. Карп Корнеевич никому не разрешает готовить уху. Такой здесь порядок. Садитесь и ждите, пока не сварится.

Ветровой. Верно. Я скоро. Сейчас вернусь. (Пошёл.)

Пауза

Надежда. Чудной Карп, но хороший. Я люблю его.

Батура. Любите?

Надежда. Люблю, как хорошего, честного товарища. Жаль, что с отцом на ножах, но я, кажется, всё сделала, чтобы их помирить.

Батура. Давно дружите?

Надежда. Два года. А сдружили вы меня с ним.

Батура. Как?

Надежда. Только прочитала вашу книгу, а Карп через месяц вернулся из армии. Я пригласила его в школу, устроила встречу с детьми и учителями. Удивительно, человек он умный, а вашу книгу...

Батура. Что? Говорите прямо.

Надежда. Не любит. Только вы ему...

Батура. Ни слова. Уверяю.

Надежда. Он говорит, что ваш матрос выдуманный, таких не бывает...

Батура. Так и говорит?

Надежда. Вы на него не сердитесь. У вашего матроса широкая душа, отвага, сила, у него светлый ум, народный юмор, а какая внешность! Как я вижу его лицо, глаза! Как хорошо вы описали!

Батура. С внешностью я погрешил, не следовало делать его таким красивым.

Надежда. Не согласна. Человек большой душевной красоты должен быть таким же и внешне. Карп хороший, милый, но...

Батура. Что?

Надежда. Странно, моряк он, а романтики в нём нет...

Батура. Вы ошибаетесь.

Надежда. Но я люблю его и таким.

Входит Ветровой, вносит казан

Ветровой. Готово. Теперь разложим огонь.

Надежда. И будем его поддерживать до утра.

Батура. Как? Разве вы...

Надежда. На всю ночь приехала рыбачить с вами.

Ветровой. И где моя команда пропала? (Отошёл, смотрит вдаль.)

Надежда (к Батуре). Почему вы умолкли?

Батура. Я... Я думаю, как хорошо вы сделали, что приехали... Как хорошо.

Надежда. Правда?

Батура. Правда.

Возвращается Ветровой

Надежда. Пойдёмте собирать хворост. (Схватила Батуру за руку.) Да вставайте...

Батура. Идите, я сейчас.

Надежда. Жду. (Побежала.)

Батура подходит к Ветровому

Батура. Карп!

Ветровой. Слушаю.

Батура. Я должен сейчас покинуть вас.

Ветровой. Почему?

Батура. Я забыл, что мне сегодня (посмотрел на часы) в шесть будут звонить из Киева. Понимаешь, очень важный для меня разговор.

Ветровой. Понимаю.

Батура. Прости, но к сожалению...

Ветровой. Нет. Ты не поедешь.

Батура. Карп, поверь...

Ветровой. Я верю, верю в друга, а он... он не подведёт... Иди собирай хворост. (Слышно, поют рыбаки.) Вот и моя команда возвращается. Скоро за уху сядем.

Голос Надежды: «Сергей Павлович!»

Ветровой. Чего же стоишь, Серёга? Мне подачек не нужно. Это было бы не по-товарищески, и обида навеки. Иди, Надя ждёт. (Пошёл на берег.)

Батура стоит, смотрит ему вслед. Песня всё ближе. Входит Надежда, в руках у неё хворост

Надежда (бросила хворост). Какой он колючий, кровь выступила. (Поднесла руку ко рту.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина третья

В саду дом. На первом плане цветник. Среди цветов узенькие дорожки, посыпанные песком. В центре столик, накрытый вышитой скатертью. Возле столика стоит высокий подрамник, на нём натянут холст. Возле деревьев расставлены эскизы.

В е р б а держит в руках краски, кисть, смотрит на холст, кладёт мазки, отходит, снова кладёт. Он в хорошем настроении. И по тому, как он напевает без слов, мы чувствуем, когда удачный кладёт мазок, а когда нет. Входит Наталья Ковшик. В е р б а её не замечает. Ковшик смотрит на эскиз.

Ковшик. Трактор хорошо нарисовали, а тракториста на нём узнать нельзя.

В е р б а. Это незаконченная работа (Подожёл.)

Ковшик (смотрит на другой эскиз). Как хорошо вы нашего бригадира нарисовали.

В е р б а. Нравится вам?

Ковшик. Как живой... И хорошо, что среди пшеницы стоит. Только что это?

В е р б а. Это васильки. Я их специально нарисовал среди золотой пшеницы. Синие васильки, красиво, правда?

Ковшик. Нет, не красиво.

В е р б а. Почему? Разве я их плохо нарисовал?

Ковшик. Нарисовали хорошо, но не там, где нужно. Пшеница должна быть чистой, без сорняков.

В е р б а. Васильки не сорняк.

Ковшик. В руках васильки — это цветы, а среди пшеницы они сорняк. Если можно, выполите их.

В е р б а. Хорошо, я их выполю.

Ковшик. Вы только усы бригадиру немного пригладьте.

В е р б а. А у него они такие, как у моржа.

Ковшик. Это верно, но если бы вы знали, как он болеет за них. Всё время подкручивает, не виноват человек, что у него такая щетина уродилась под носом. Пригладьте. Сделайте ему приятное. Хороший он человек.

В е р б а. Хорошо, сделаю. Посмотрите, как я нарисовал звеньевую Анну Корж.

Ковшик. Хорошо.

В е р б а. И красивая же она! Прекрасный образ колхозницы.

Ковшик. Только подпишите: колхозница, которая больше спит, нежели работает.

В е р б а. Разве?

Ковшик. Да.

В е р б а. А я спрашивал Вакуленко, и он её так хвалил...

Ковшик. А рядом с ней Вакуленко нарисуйте, один другого стоит.

В е р б а. Жаль, что так вышло.

Ковшик. Ничего, людей у нас много хороших.

В е р б а. Я так жду уборку хлебов, хочу большое полотно написать «Сталинский урожай».

Ковшик. Хорошая мысль, но разве так можно?

В е р б а. Что, дорогая Наталья Никитична?

Ковшик. Целый день стоите. Уже вечерет. Бросайте работу.

В е р б а. Сейчас. Я сегодня в таком творческом настроении, что оторваться не могу.

Ковшик. Это я от вас слышу каждый день.

Верба. А знаете почему?

Ковшик. Нет.

Верба. Скоро скажу.

Ковшик. А почему не сейчас? (Подошла, смотрит на портрет.)

Верба. Просто боюсь...

Ковшик (улыбнулась, смотрит на Вербу). Можете не говорить. Кабы она в жизни такой была...

Верба. Василиса красивее, только никак не могу схватить её глаза. Она их всегда немножко щурит. Правда?

Ковшик. Когда я её на руках носила, так она не щурила, а сейчас кому и как щурит, не знаю.

Верба. Не замечали?

Ковшик. Не приглядывалась. Позвольте вас спросить: почему вы, Николай Александрович, когда Василиса на работе, рисуете на берегу, в поле, тут, а когда она приходит, то больше в доме.

Верба. Василиса приходит усталой, и в доме ей легче позировать, свободней себя чувствует. А что, Наталья Никитична?

Ковшик. Это я так спросила, для общего образования, потому впервые вижу, как художники творят.

Верба (смутился). Творим, как можем...

Ковшик. И долго вы ещё будете рисовать Василису?

Верба. О, ещё долго. Я хочу её портрет послать на Всесоюзную выставку, а вы понимаете, какое это ответственное дело. Я должен показать прекрасную душу передовой колхозницы, всю её красоту, ум, веру в свой труд, благородный порыв...

Ковшик (перебивает). Понимаю. Вы лучше всё это ей скажите, а то она всю ночь не спала и на работу пошла печальная.

Верба. Может быть, заболела?

Ковшик. Нет. Говорила, что вы телеграмму вчера получили. Может, у вас что случилось — и она переживает?

Верба. Ничего особенного. Сестра прислала телеграмму, что выезжает ко мне на два, три дня.

Ковшик. А когда приедет?

Верба. Не разберу. Она у меня немного бестолковая. Никогда точно не напишет. Жаль, что я не смог сказать Василисе. От Сергея вернулся поздно, а на работу она ушла, когда я ещё спал.

Ковшик. Скоро придёт — скажете. У меня к вам есть один серьёзный вопрос, как говорится, по девичьей линии.

Верба (встревоженно). Прошу, прошу...

Ковшик. Только вы мне скажите прямо...

Верба. Скажу, всё скажу.

Ковшик. Садитесь.

Верба (встревожен ещё больше). Ничего, я постою.

Ковшик. Садитесь, садитесь.

В е р б а с е л

Ковшик (смотрит на Вербу). Вы что-то побледнели, не солнцем ли напекло?

Верба. Нет, нет, А... а может быть... да, солнце... Солнце, оно влияет.

Ковшик. Берегитесь... Шляпу надевайте. Дело такое — у нас так заведено, весной или летом молодые влюбляются, а осенью...

Верба. Женятся... У нас тоже так. Вы не думайте, Наталья Никитична... И у нас так... а некоторые и не ждут осени...

Ковшик. Так и у нас, а только большинство осенью.

Верба. Что ж, и осенью можно... Чего ж.. пора прекрасная...

Ковшик. И я так думаю.

Верба. Наталья Никитична... Я как раз и собирался вам сказать...

Ковшик (перебивает). Вы меня простите, я ещё не досказала.

Верба. Извините.

Ковшик. Так вот, приходит осень — и молодые люди идут в сельсовет, в загс расписываться...

Верба. Я понимаю вас... Каждый честный человек должен так сделать.

Ковшик. Верно. И вот когда они приходят, так что же мы им даём в такую торжественную и можно сказать незабываемую в жизни минуту? Вы поняли?

Верба. Нет, нет. Теперь я вас что-то не понимаю...

Ковшик. Мы даём удостоверение о браке, но какое? Маленькую квитанцию, такую же, какую выдаём за поставку свиньи, шкуры, кур, уток... А это документ, в котором записано про любовь и скреплена государством семья... Вот я и прошу вас, не нарисовали бы вы нам большие брачные удостоверения, ну хоть пятьдесят штук. Это для нас на два года хватит. И чтобы на них были цветы и, может, голубки. Как?

Верба. Можно и цветы, и голубков... (Вынул платок, вытирает со лба пот.)

Ковшик. В середине место для записи и для небольшой фотографии — невеста, жених и их родители или родственники, а можно и без родственников. Не все родственники бывают приятными. Правда?

Верба. Можно и без родственников.

Ковшик. А над всем — союзный государственный герб, чтобы крепче было, и от него две красные ленточки, а на них золотом написать хотя бы и так: «Крепкая семья — крепкое государство».

Верба. А... а для чего?

Ковшик. Чтобы каждый читал и знал: разрушаешь семью, сучий сын, — подрываешь и государство. Выходит, таких надо бить...

Верба. Нужно бить, обязательно...

Ковшик. Только у меня на это денег по смете нет, но я вам за это...

Верба. Что вы, Наталья Никитична? Да я вам не пятьдесят, а пятьсот штук таких удостоверений нарисую.

Ковшик. И цветы будут?

Верба. И голубки, и соколы, и колоски...

Ковшик. Соколов на надо, эта птица не подходит, а вот колоски — это хорошо... Что ж (встала), спасибо вам от всех влюблённых (протянула руку).

Верба (взял её руку). Наталья Никитична, позвольте, как матери... (целует её руку.)

Ковшик (взволнованно). Что вы... Что это вы?

Верба. Я скоро, скоро вам всё скажу...

Входит Василиса

Василиса. Мама, к тебе Иван Петрович пришёл.

Ковшик. Иду. Когда же начнёте?

Верба. Хотя бы и сейчас. Только нужно ещё раз обсудить...

Ковшик. А вы с Василисой посоветуйтесь, а то у меня скоро партсобрание. (Ушла.)

Василиса. Вы телеграмму вчера получили. Что-нибудь случилось?

Верба. Нет. Сестра приезжает завтра или послезавтра.

Василиса. Сестра... А как её имя?

Верба. Гафийка.

Василиса. Почему вы мне неправду говорите?

Верба. Как? Что ты, Василиса...

Василиса. Там в телеграмме не так сказано. Я случайно вчера прочитала, вы её забыли здесь на столе.

Верба. Как же там сказано? Погоди (ищет), куда я её девал? Вот несчастье.

Василиса. Не ищите, я помню, там так: «Еду к тебе целую Агá».

Верба. Агá, агá, Ага... (Начинает истерически смеяться).

Василиса. Почему вы смеётесь?

Верба. Это она себе выдумала Агу, а её настоящее имя Агафья, Гафийка...

Василиса. Сколько ей лет?

Верба. Она всем говорит, что тридцать три, а на самом деле добрых сорок.

Василиса. Красивая?

Верба. Да.

Василиса. А зачем она Гафийку на Агу поменяла?

Верба. Сестра вышла замуж за крупного инженера, он начальник одного комбината, и решила, что Гафийка ей уж не подходит. Теперь она Ага Шука. Это фамилия её мужа.

Василиса. А я всю ночь не спала из-за этой Аги...

Верба. Я вижу, у тебя глаза красные.

Василиса. Садись возле меня.

Верба. С радостью. (Смотрят друг на друга.) О, опять глаза щурятся. (Обнимает её, целует.)

Василиса. Довольно, а то сюда сейчас придут.

Верба. Никак не могу схватить выражение твоих глаз. Только начинаю вглядываться — а ты их сперва щуришь, а потом закрываешь.

Василиса (строго). И я не могу разглядеть, какие у тебя глаза, ты то же самое делаешь.

Верба. Василиса. Я хочу поговорить с Натальей Никитичной сегодня.

Василиса. Нет, нет... Не нужно... Ещё успеешь.

Верба. Зачем откладывать? Я об этом даже мужу сестры написал, просил, чтобы он выслал костюм и кое-какие вещи...

Василиса. Потому сестра и едет сюда?

Верба. Возможно. Правда, я предупредил, чтобы он не говорил ей ничего, но видно, не удержался. Чудак. Какой чудак...

Василиса. Боишься её?

Верба. Нет... Как тебе сказать...

Василиса. А если я ей не понравлюсь?

Верба. Милая моя, славная, да я её утоплю, если она хоть слово плохое о тебе скажет. Не беспокойся, придет — а на следующий день я ей куплю билет, и будь здорова, сестричка. Позволь поговорить...

Василиса. Надо подождать. Боюсь я, Николай, люблю тебя — и боюсь...

Верба. Ты опять о том же... А может, ты...

Василиса. Верю, верю тебе (обняла его), но боюсь, мой голубь ясный...

Слышны голоса

Верба. Сюда идут. Помоги мне, Василиса.

Василиса и Верба берут портрет, краски, кисти и идут в дом. Входят Наталья Ковшик и Романюк, подошли к столику, села

Романюк. И зачем ты писателя пригласила? У нас же закрытое собрание.

Ковшик. Он член партии. Напросился, отказать не могла.

Романюк. Ты же знаешь, что он книгу о нас составляет.

Ковшик. Знаю. Лучше пусть выведет нас такими, какие мы есть, а то как начнёт выдумывать — хуже будет.

Романюк. Я не против, чтобы он здесь был, только не сегодня. Мы же собираемся поговорить по душам...

Ковшик. Писатель и должен о душе писать.

Романюк. Я всё-таки категорическим путём против.

Ковшик. Тогда выступи.

Романюк. Ты что, смеёшься? Человек у меня живёт, о нас пишет, прославлять нас хочет, а я буду выступать против. Нет, нет у вас патриотизма к своему колхозу, к своему селу. Вы, как эти... как они к дьяволу называются... что в городах обнаружились... — кос... космапалители... Вот...

Ковшик. Какой же ты патриот? Что ты сделал для села?

Романюк. Мало сделал? После войны людей с землянок в новые дома вывел, всё хозяйство на ноги поставил и даже к среднему уровню довёл. Кто ещё столько, как я, положил труда за идею? Да я из-за неё скоро инвалидом стану. У меня печёнка... Ой... колет... Только разволнуюсь — и колет... Ой, вижу я, что не долго мне осталось. Помру скоро... Помру.

Ковшик. Подожди, у нас кладбище ещё и теперь не огорожено, ни одного дерева не посажено. Давай, кум, приведём его в порядок, помоги, год тебя прошу. А то и в самом деле дашь дуба — что я тогда буду делать? Стыдно будет председателя колхоза на такое запущенное кладбище нести, да ещё без музыки. Оркестра нет. Нас не уважаешь, так хоть себя пожалей, кум...

Романюк. Ладно, кума. Куплю оркестр, куплю. И когда ты дуба дашь — прикажу казачка играть. Танцевать буду от твоего дома до самого кладбища.

Ковшик. Вот видишь, как нам оркестр нужен. Так купишь, или опять подведёшь?

Романюк. Куплю. Даю слово.

Входят Ветровой, Батура, Вакуленко и Крылатая

Ковшик. Садитесь.

Романюк (к Крылатой). Товарищ секретарь, когда думаете начать собрание?

Крылатая. Скоро, подождём секретаря райпарткома.

Вакуленко. Приедет?

Крылатая. Я звонила ему. Обещал.

Романюк. Что ж, это хорошо. Надо бы ужин приготовить. Собрание затянется.

Вакуленко. Так я сейчас организую. (Встал.)

Крылатая. Садись, садись — без тебя обойдётся.

Романюк (к Батуре). Да, Сергей Павлович, вас Надя ждёт. Вы обещали с ней поехать в рошу по грибы.

Батура. Я предупредил, что не смогу.

Романюк. Ага... А если наскучит слушать наши дела, то лошади готовы, и Надя сказала, что будет ждать вас.

Ветровой. Раз условились, то нужно ехать...

Батура. Я хочу здесь побыть.

Романюк. Воля ваша... Эх, дела...

Крылатая. Чего так тяжело вздыхаешь?

Романюк. Я сегодня объездил все наши поля — и окончательно убедился: попали мы в очень неприятную хвазу. Дожди прошли большие,

и сорняки растут, будто их каждую ночь черти сеют. Разволновался я, что даже печёнка заболела. Только на свёкле легче стало. Там чисто.

Ветровой. Потому что Василиса со своим звеном каждый день на поле солнце встречает.

Романюк. Подтянем всех, не об этом я хочу сейчас говорить.

Крылатая. А я думаю, с этого мы сегодня и начнём. Дни идут. Послушайте, Иван Петрович, что на пленуме ЦК говорилось (раскрыла книжечку, читает): «Уход за посевами важнейшее условие увеличения валового сбора всех сельскохозяйственных культур. Это должно быть теперь нашей основной работой».

Ковшик. Ты читал этот доклад?

Крылатая подаёт Романюку книжечку

Романюк (взял книжечку, смотрит). Начал, да не дочитал, нет времени читать, с утра до ночи крутишься в колхозе, как муха в кипятке. Да ещё и очки у меня довоенные, верно уже не подходят. Глаза болят.

Ковшик. Купи новые.

Романюк. Пробовал, да никак не подберу. К старым уши привыкли, а новые очень натирают, вот здесь болит (показывает). А вы что-то записываете, Сергей Павлович?

Батура. Так. Отдельные слова... У вас очень образные выражения.

Романюк. Образные... Может быть. Мы, как думаем, так и говорим.

Ветровой. Не всегда.

Романюк. На реплики не отвечаю. Чтобы было ясно товарищу писателю, почему мы попали в такую неприятную хвазу, я вспомню прошлый год. Я ещё тогда категорическим путём настаивал: не можем мы сеять столько кукурузы, подсолнуха, хлопка, проса... Меня тогда на активе райпарткома Карп Корнеевич обозвал оппортунистом. А что вышло? Весной нам подбросили ещё и чумизу. Вот и попробуй справиться.

Ветровой. Назвал и буду называть, пока вы не научитесь по-большевистски расставлять рабочую силу и требовать от каждого...

Романюк. Призовите его к порядку, а то я в ответ могу такое сказать...

Ковшик. Скажите, обязательно скажите.

Вакуленко. Мы же не для ссоры здесь собрались.

Ковшик. А что же, целоваться, когда под угрозой урожай? Не только ссориться — бить нужно.

Романюк. Кого?

Ветровой. Созывайте, Иван Петрович, общее собрание колхоза и начинайте бить лентяев и тех, кто их покрывает, а если не хотите спорить с ними, то подставляйте свою спину и тогда не обижайтесь — ударим так, что на весь район волна пойдёт. Другого выхода нет.

Романюк. Не пугай, я пуганый.

Батура. Разрешите вопрос, Иван Петрович. Я познакомился с колхозной бухгалтерией. Трудодней у каждого колхозника порядочно...

Романюк. У нас лодырей нет, все на работу выходят.

Ветровой. Выходят, но вы спросите, как работают? Там, где один справиться может, крутятся пятеро.

Романюк. Почему пять? Скажите — двадцать пять, будет цифра круглее. Эх, жаль, что не умею я сочинять, я бы вас, Карп Корнеевич, так показал... Ух. В самую что ни на есть комедию всунул бы...

Батура. Простите, так вот почему у вас трудодней много, а колхоз, как вы говорите, попал в неприятную фазу?

Романюк. Вы видели, какое у нас теперь сложное хозяйство. Это не пшеничку сеять. Сколько культур, и какие. У нас даже кунжут растёт.

Батура. Что это — кунжут?

Романюк. О, слышали, даже товарищ писатель, великой культуры человек, и то не знает, что такое кунжут. А вы требуете, чтобы в моей голове всё вмещалось. (К Батуре) Кунжут — культура пропащная, около неё хорошо работать нужно, а даёт она ценные семена, они идут в кондитерские изделия, халву из них делают и в медицине всякие мази для женщин.

Батура. Благодарю вас.

Романюк. Пожалуйста.

Батура. И всё-таки мне не ясно, в чём ваши трудности? Село большое, людей много...

Ковшик. Вакуленко, не спи.

Вакуленко. Правильно... А?

Романюк. Об этом долго рассказывать. Я вам дома подробно...

Ветровой. Дело простое. Вы видели, две молодухи везли бочку воды для трактористов. Каждая из них может выпить после обеда такую бочку, а за эту работу получают трудовни полностью. В этом корень.

Крылатая. Введите такие нормы, как в нашем звене, тогда не только сорняков не будет на полях, а урожай утроим.

Романюк. У вас же самые высокие нормы. Вы знаете, Сергей Павлович, таких звеньев во всём районе мало. Разве я могу всех равнять по ним? И на заводах есть передовые и есть отсталые. Правда?

Батура. Правда.

Романюк. Вы человек культурный, скажите — могу я в такую хвантазию входить?

Батура. А вы среднее возьмите.

Крылатая (к Батуре). Простите, но вы в этом не понимаете... Нужно всем дать нашу норму, а мы свою завтра удвоим. Такое среднее дайте.

Романюк. Как удвоите?

Крылатая. Василиса нашла способ. Увидите.

Романюк. Не могут все так работать, как вы.

Крылатая. А почему у Дубковецкого, Посмитного все могут? Разве наши люди не такие же, разве наша земля не такая, разве у нашего председателя нет головы... Кажется, есть.

Романюк. Что вы мне Дубковецкого и Посмитного под нос тычете? У меня от них уже насморк хронический. Я девятнадцать лет председательствую. (К Батуре) Если уже записываете, то для точности пишите двадцать. В этом году юбилей. Разве я не хочу таким быть, как Дубковецкий, и во всех центральных президиумах сидеть, и с членами правительства на портретах сниматься? Не могу я каждому колхознику вложить в голову свой мозг. Не доросли наши.

Ветровой. Это верно, чтобы вложить, нужно самому много иметь, а что у вас есть? Дальше своего района нос не показываете, а люди ездят учиться, перенимают опыт...

Романюк. У меня нет времени на экскурсии ездить. Вы лучше скажите, почему — из нашего села четверо на агрономов выучились, а где они? Два в области бумаги переписывают, а два в столице пристроились. Почему нет такого указа: выучился — возвращайся в своё село и отработай хотя бы пять лет за пампушки, какими тебя здесь кормили.

Ветровой. Напишите об этом, Сергей Павлович. Это правда.

Романюк. Не на кого опереться...

Ковшик. А зачем ты Карпа Корнеевича сплавил рыбку ловить, а на его место Вакуленко взял?

Вакуленко (проснулся). Верно, справедливо... А?

Романюк. Двух председателей в колхозе быть не может. Люди из-брали меня.

Ветровой. Давайте ближе к делу. Когда собрание созовёте?

Романюк. Собрания не будет.

Ковшик. Как? Весной ты не созывал, потому что сев...

Романюк. После жнивья. Теперь не время демократию разводить. Сегодня объявлю: каждого, кто к первому обработает гектар пропашных, премирую поросёнком.

Вакуленко. Вот это мысль. Всё прополют, и беды знать не будем.

Ковшик. Из своего сарая?

Романюк. С фермы, а из осеннего опороса пополним.

Ковшик. А кто же разрешит?

Романюк. Я — хозяин. Я отвечаю за урожай, спрашивать никого не буду.

Ковшик. Не заносись, Иван. Ферму разрушишь, и урожай не будет.

Романюк. Будет, как я говорю.

Крылатая. Нет, не будет.

Романюк. А я говорю, будет.

Крылатая. Сейчас придет секретарь райпарткома. Я уверена, он нас поддержит. Нужно людей поднять, а не раздавать поросят, потакать лодырям.

Наталья Ковшик ушла в дом

Ветровой. Я поеду в обком. (Встал).

Романюк. Чего?

Ветровой. Расскажу, как мы перед вами кланяемся, уговариваем, как нас в районе всё мирят, и попрошу разрешения устроить вам, Иван Петрович, юбилей, чтобы вас поблагодарили и попрощались с вами.

Романюк (к Батуре). Видели, Сергей Павлович, какую я помощь имею от бюро нашей партийной организации? Запишите в точности, чтобы все прочитали. Я работаю, день и ночь работаю. Все люди довольны, а им всё мало, мало и мало...

Ветровой. Нам всегда будет мало, на то мы коммунисты.

Романюк. А разве я не состою в партии?

Ветровой. Состоите.

Романюк. Так кто же я такой?

Ветровой. Состоящий в партии.

Романюк. Выходит, и я коммунист.

Ветровой. Как раз и не выходит.

Романюк. Как, не выходит? Отвечай мне, в какой я партии состою?

Ветровой. Вы состоите в коммунистической партии, но вы не настоящий коммунист.

Романюк. А какой же это настоящий коммунист?

Ветровой (спокойно). Тот, кто навсегда в своей душе распрощался с мужиком...

Романюк. А чего мне с ним прощаться, что я, из графов?

Ветровой. Кто борется за то, чтобы наше село не когда-нибудь, а при нашей жизни стало агрогородом, садом...

Романюк. Сад у нас есть, и не плохой, а хочется тебе в город — пожалуйста, хотя бы и в Киев переезжай, плакать не будем.

Ветровой. Чтобы у нас культура труда и культура жизни не отличалась от промышленных рабочих и от интеллигенции...

Романюк. Ну, что ты плетёшь? Да в такую хвантазию даже писатели не залетают. Правда, Сергей Павлович?

Ветровой (резко). Десятки колхозов уже так живут. Раз они могут — выходит, все могут.

Романюк (к Батуре). Сейчас снова начнёт говорить о Дубковецком, Посмитном. Вот увидите...

Ветровой. Буду — каждый день, каждую минуту, потому что им и нам государство даёт лучшие машины, потому что им и нам служит передовая наука, потому что для них и для нас один ЦК и одни указания партии, одна программа, которую они выполняют, а мы ковыляем, как старые клячи. На крейсере сидим, а вёслами гребём. Да разве так можно?

Романюк. Тише едешь — дальше будешь. Пойдём, Сергей Павлович. Пока секретарь райпарткома приедет, я вам кунжут покажу. Интересное растение.

Крылатая. Подожди, в другой раз покажешь.

Вбегает Пурхавка

Пурхавка. Секретарь райкома приехал!

Крылатая. Пошли! Начнём собрание.

Все выходят. Входит Крым, в руках у него чемодан и зонтик. За ним идёт Ага Щука. Она одета претенциозно. На руках большие браслеты, на пальцах кольца, на шее несколько ниток бус, в ушах большие серьги, на голове высокая шляпа

Крым. Сюда, мадам. Это их цветник, а это дом. Художник здесь живут. Позвольте в дом...

Ага. Нет, нет. Я здесь приведу себя в порядок. Поставьте чемодан.

Крым поставил чемодан

Ага. Мерси.

Крым. Пурле франсе, мадам?

Ага. Нет, не говорю, только читаю...

Крым. Шпик англиш, мадам?

Ага. Откуда вы иностранные языки знаете?

Крым. О, мадам. Я моряк, бывший боцман с шхуны «Стрела». Я Чёрное и Средиземное моря знаю, как свои пять пальцев. Во всех больших портах мира бывал.

Ага. Вы были во многих странах, какой вы счастливый, много видели.

Крым. Во всех странах, где был подходящий товар.

Ага (вынула из кармана плаща деньги, подаёт). Пожалуйста, за ваш труд.

Крым. Что вы, не нужно. (Протянул руку, берёт деньги.) Не нужно... Я смотрю на вас, мадам, и вспоминаю испанский порт Кадикс. Только там я встречал таких женщин, как вы. Клянусь головой акулы.

Ага. Неужели я похожа на испанку?

Крым. Как шхуна на крейсер, мадам... В вас есть что-то такое (поднял одну руку вверх, а другую протянул вперёд, напевает). Труля-ля, труля-ля, труля-ля, труля-ля...

Ага. Спасибо за комплимент. Будьте здоровы.

Крым. Адью, мадам. Три румба правый борт. (Уходит напевая) Труля-ля, труля-ля, труля-ля, труля-ля...

Ага садится возле столика, снимает туфель, вытряхивает песок.

Из дома выходит Наталья Ковшик

Ага. У вас такой песок...

Ковшик. Добрый день.

Ага. Добрый день. (Постукивает туфлем по столику. Будьте любезны, подайте мне чемодан.

Ковшик принесла чемодан, поставила на столик

Ага. Благодарю (надевает туфель).

Ковшик. Вы, верно, сестра Николая Александровича?

Ага. Да. Позовите его.

Ковшик. Он пошёл на берег, скоро вернется. Позвольте познакомиться.

Ага. Ага Александровна Шука.

Ковшик. А я Наталья Никитична Ковшик.

Ага. Наталья... У меня домашняя работница Наталья, и знаете, на вас похожа. Тоже из села, малограмотная, но симпатичная, очень симпатичная.

Ковшик. И хорошо вам служит?

Ага. Старается.

Ковшик. Старается... Может, в дом зайдёте?

Ага. Нет. Я здесь подожду Колю. Так душно. Можно у вас воды попросить?

Ковшик. А может, молока холодного?

Ага. Нет, нет. Молоко мне категорически запретил мой врач.

Ковшик. Вам воды принесёт моя дочь, а меня простите — я должна идти.

Ага. Пожалуйста.

Ковшик ушла. **Ага** раскрыла чемодан, достала оттуда большую сумку, раскрыла, поставила зеркало на чемодан и начала пудриться, красить губы и поправлять причёску. Из дому выходит **Василиса**, в руке у неё на блюдечке стакан с водой. Она остановилась, удивлённо смотрит на **Агу**, которая, не замечая её, охорашивается перед зеркалом. Когда **Ага** закончила туалет, **Василиса** подходит

Василиса. Здравствуйте.

Ага кивнула головой, смотрит на неё

Василиса. Прошу вас (подаёт воду).

Ага. Спасибо. (Пьёт, рассматривает **Василису**.) Садись, милочка...

Василиса. Моё имя не Милочка, а **Василиса**, а отчество **Дмитриевна**. (Садится.)

Ага. Так это вы **Василиса**?

Василиса. Я **Василиса**, а что?

Ага. Ничего...

Василиса. А вы **Ага**...

Ага. Я не **Ага**, а **Ага**... **Ага** Александровна.

Василиса. Как вам эхалось?

Ага. Очень плохо, представляешь, моя милочка...

Василиса. **Василиса**.

Ага. **Василиса**.

Василиса. **Дмитриевна**.

Ага. **Дмитриевна**... Международного вагона на этой линии нет, только мягкий. В купе напротив меня сидел какой-то неприятный тип, всё время смотрел на меня и икал. Я так разнервничалась. (Взяла стакан, сделала глоток и икнула. **Василиса** улыбнулась.) Простите, это у меня от волнения.

Василиса. Может, и он был взволнован?

Ага. Нет. Просто некультурный хам.

Василиса. Может быть, перекусите, пока придёт Николай Александрович?

Ага. В это время я не ем. Мой врач категорически запретил.

Василиса. По вас не видно, что вы больны.

Ага. Ах, моя милочка...

Василиса. Василиса.

Ага. Демьяновна.

Василиса. Дмитриевна.

Ага. Дмитриевна... У меня очень плохое состояние здоровья. Мой муж, Кондрат Варфоломеевич, созвал выдающихся профессоров, но наша медицина ещё так бессильна, так бессильна...

Василиса. Разве?

Ага. Факт. Ничего у меня не нашли, а я очень больна. (Взяла стакан, посмотрела на Василису и поставила стакан на стол.)

Василиса. У нас отдохните. Село наше, как сад, а речка...

Ага. Я люблю село, очень люблю. Я ведь родилась на селе, но это было так давно, так давно...

Василиса. Неужели вам так много лет?

Ага. Годы здесь не при чём. Культурный человек, когда что-нибудь приятное вспоминает, всегда говорит: «это было так давно», чтобы подчеркнуть настроение.

Василиса. Ага...

Ага. Не Ага́, а Ага.

Василиса. Простите, я помню... Ага Александровна, поживите у нас.

Ага. К сожалению, не могу. Мой врач требует, чтобы я жила в это время месяц в Сочи, а потом месяц в Кисловодске.

Василиса. Два месяца на курорте?

Ага. Два месяца. Это так утомляет. Кондрат Варфоломеевич просто не узнаёт меня после курорта. Я возвращаюсь такая изнурённая, такая изнурённая... (Выпила воды и снова икнула.) Этот хам в вагоне меня просто заразил каким-то икальным вирусом.

Василиса. А может, вы что-нибудь съели?

Ага. Ничего особенного. Что я съела... котлетку, бутерброд с икрой. два бутерброда с ветчиной и цыплёнка. Я на строгой диете.

Василиса. Видно по вас.

Ага. Что видно?

Василиса. Что вы очень утомлены.

Ага. Да, утомлена. В Сочи отдохну. Забираю Колю и прямо в Сочи.

Василиса. И Николай Александрович?

Ага. Да. Коле нечего терять здесь время. Он портретист. Кого он здесь будет рисовать? Ну, сами скажите.

Василиса. Разве у нас нет людей? Разве нельзя их хорошо нарисовать?

Ага. Люди везде есть, а в Сочи в это время отдыхают известные генералы, народные артисты. А для художника главное не то, как рисуешь, — это формализм, а то, кого рисуешь, — это главное. Это вопрос очень серьёзный. Он к ответственной выставке готовится. Понимаете?

Василиса. А если Николай Александрович не поедет с вами?

Ага. Поедет. У него есть обязательства интимного порядка. В Сочи его ждёт Людмила Аполлоновна, дочь нашего приятеля. Он начал её портрет, но не закончил. Только между нами — она безумно любит его.

Василиса. А он?

Ага. Ужасно. Это будет блестящая пара. Талантливый художник и необыкновенная балерина. Свадьбу отложили на осень, теперь в городе никого нет, все на дачах...

Входит Верба

Верба. Кого вижу? Моя сестричка дорогая.

Ага. Ну, как ты здесь живёшь, мой мальчик? (Обнимает его, целует.)

Верба. Хорошо. А как ты, моя щучка?

Ага. Благодарю. Я тебе письмо от Людочки привезла.

Верба. Из Сочи прислала?

Ага. Она там так скучает...

Верба (улыбнулся). Скучает... бедная, вероятно, ещё не успела...

Василиса ушла

Верба. Василиса!.. Василиса!..

Василиса не вернулась

Верба. Что случилось?

Ага. Не знаю.

Верба. Василиса! (Быстро пошёл за ней.)

Ага. Коля, Коля... (Села, потом встала, осмотрелась, вынула из чемодана огромный бутерброд, ест.)

Вбегают В е р б а, стал перед ней.

Ага. Хочешь бутербродик, мой мальчик?

Верба. Что ты ей сказала? Прекрати жевать. Отвечай.

Входит Наталья К о в ш и к, стала, смотрит. Её не замечают

Ага. Успокойся. Я сказала, что мы едем в Сочи, тебя ждёт Людочка... Она, кроме письма, четыре телеграммы прислала. Вот они... (Открывает чемодан.)

Верба (взмахнул рукой, полетел чемодан, из него высыпались вещи, среди которых кольцо колбасы, две жареные курицы). Вон отсюда, вон сейчас же, не то я тебя утоплю в болоте. Слышишь, утоплю в болоте... (Ушёл.)

Ага всхлипывает. Подходит К о в ш и к

Ковшик. Не плачьте.

Ага. Утопить хочет...

Ковшик. Не волнуйтесь, не утопит. У нас нет болота, а в реке не позволим. (Сложила руки на груди.) Собирайте чемодан и идите за мной.

Ага плача подошла к чемодану, собирает вещи. Наталья

К о в ш и к, улыбаясь, смотрит на неё

Картина четвёртая

Декорация та же, что и в предыдущей картине. Утро. Возле столика сидит В е р б а. Он посмотрел на часы, встал. Входит Б а т у р а.

Верба. Прости, Сергей, что я так рано послал за тобой. У меня большие неприятности. Я на краю пропасти...

Батура. Мы, кажется, ещё не поздоровались? Доброе утро, Николай Александрович.

Верба. Утро доброе, а дела мои, как тёмная ночь...

Батура. Нельзя ли без романтических фраз, они для меня, как муха в кофе, а я ещё не завтракал.

Верба. Не шути, Сергей. Здесь дело моей чести.

Батура. Пропал завтрак. Что ж, я к вашим услугам. Готов быть секундантом.

Верба. Сергей! (Пауза.) Помоги или уходи.

Батура. Прости, друг... Что с тобой? Говори.

Верба. Приплыла.

Батура. Кто?

Верба. Шука.

Батура. А... Ага Александровна. Вслед за телеграммой появилась. Какая энергия. Милая дама. Ну и послал тебе бог сестричку. Одна, или с балериной?

Верба. Одна.

Батура. Тогда полбеда. Поручи мне, старому спиннингисту. Я её так подсеку, что она сегодня очутится в вагоне.

Верба. Сегодня она уезжает.

Батура. Так, так. Уже состоялась лирическая беседа между братцем и сестрицей?

Верба. Да.

Батура. Выходит, всё в порядке.

Верба. Она такое обо мне наговорила, что Василиса перестала со мной разговаривать и даже...

Батура. Что?

Верба. Попросила оставить их дом. Ну, что мне делать? В прошлом году вдову на добрый центнер мне сватала, а весной балерину на меня натравила. И я, дурак, не разобрался, начал её писать...

Батура. Скромную, тихую, талантливую Людочку. Кажется, так ты говорил?

Верба. Идиот.

Батура. Благодарю.

Верба. Не ты, а я.

Батура. Люблю самокритику. Я тебя предупреждал — смотри, шука тигра привела.

Верба. Топить, топить нужно их...

Батура. Выплывет. Эта порода удивительно живучая. Я думал не раз, как могут умные, работяги, достойные уважения мужчины носить на своей шее добровольно такое ярмо и даже гордиться этим...

Верба. Василиса сказала при матери: «Очень прошу вас, оставьте наш дом».

Батура. Добрая душа у неё. Я бы твои вещи ещё вчера выбросил на улицу.

Верба. Что?

Батура. Получил телеграмму? Нужно было поехать на вокзал, нанять двух сильных парней, приветствовать её, а потом — «вместе взяли», и через окно в вагон.

Верба. Дурак.

Батура. Кто?

Верба. Я.

Батура. Трудно возразить.

Верба. Придётся вещи перенести к тебе.

Батура. Не спеши. Я верю в Василису. Она умная, любит тебя — и поймёт. Ну, подними голову... У меня куда худшие дела. (Пауза.) Оставляю «Калиновую Рощу».

Верба. Как?

Батура. Так решил. Нужно.

Верба. У тебя такие широкие планы были. Хотел написать роман...

Батура. Роман я напишу, непременно напишу, но чтобы не стать героем собственного произведения, да ещё в очень плохом свете, я должен как можно скорее отсюда уехать.

Верба. Понимаю. Бежишь от того, что искал годы...

Б а т у р а молчит

Верба. А что если ты больше не встретишь?

Батура. И всё-таки не могу я вырвать из своей души чувство дружбы, солдатской дружбы, которое согрело моё слово... Я написал о нём книгу, в неё поверили. Сколько писем я получил. Сколько молодых читателей хотят быть такими, как мой моряк... Если же я изменю этой дружбе — кто знает, не упадёт ли моё слово, как этот пожелтевший лист. (Поднял лист.) Думаю, что так и будет... (Встал, прошёлся, смотрит на лист, выпустил из рук.)

Верба. А если она его не любит?

Батура. Любит, но ещё не осознала до конца свою любовь.

Верба. Разве так бывает?

Батура. Бывает любовь с первого взгляда, она вспыхивает, как искра, и часто скоро гаснет. Но есть более сложный путь, когда человек осознаёт любовь через мучительные сомнения, идёт не прямой дорогой, и такая любовь высекает огонь... Я случайно попал на их дорогу... Надо уйти...

Верба (подходит к нему). Сергей... (Протянул ему руку.)

Батура (крепко пожал его руку). Пойдём ко мне, Николай.

В е р б а и Б а т у р а идут, навстречу им выходит К а н д ы б а, у него в руках тетрадь.

Кандыба. Какой радостный случай.

Батура. Необычайный.

Кандыба. Доброе утро.

Батура. Доброе утро.

Кандыба. Никак не думал, что здесь вас встречу, глубокоуважаемый Сергей Павлович, какой радостный случай.

Батура. Иди, Николай, я сейчас догоню тебя.

В е р б а ушёл

Кандыба. Я сегодня солнце встречал над рекой. Представьте — туман, словно гигантские крылья...

Батура (перебивает). Давайте (протянул руку).

Кандыба. Позвольте прочитать...

Батура. Давайте. Я вам двадцатый раз говорю — на слух не воспринимаю стихи.

Кандыба. Прошу. (Подаёт). Когда разрешите прийти к вам?

Батура. Когда будет «радостный случай». А он к вам приходит часто... (Улыбнулся, молча перелистывает тетрадь.) Опять то же.

Кандыба. Плохо?

Батура. Нет, но приблизительно... Слушайте, Мартын Гаврилович, у вас огромная энергия, а вы её даром тратите.

Кандыба. Позвольте вопрос — почему?

Батура. Не будете вы поэтом. Стихи пишут все, а настоящих поэтов не так много.

Кандыба. Вы советуете мне бросить писать? Ваш холодный приговор осуждает меня на смерть.

Батура. Наоборот, я хочу, чтобы вы писали, ведь вас всё равно никто не остановит. Даже если бы вам руки и ноги связали — вы будете носом писать. Правда?

Кандыба. Святая правда.

Батура. Дайте мне слово, что выполните мой совет и просьбу.

Кандыба. Как перед родным отцом и матерью...

Батура. Верю, верю. Слушайте внимательно. У вас в селе есть один необычайной красоты человек, душевной красоты. И вы его очень хорошо знаете.

Кандыба. Кто?

Батура. А ну подумайте.

Кандыба. Убейте, не вспомню.

Батура. Живите. Я помогу вам: Наталья Никитична Ковшик.

Кандыба (отступил). Что?

Батура. Не хлопайте глазами и слушайте. Заведите себе дневник и записывайте, как она каждый день принимает людей, с чем к ней приходят и что она им отвечает. Только точно. Ничего не выдумывайте, это самое главное. Точность. Можете это сделать?

Пауза

Кандыба. Так это ерунда:

Батура. Ваши стихи, простите, ерунда, а это чистое золото. Каждый месяц присылайте мне, я отредактирую ваши записки и гарантирую — они будут изданы с моим предисловием.

Кандыба. Вы напишете предисловие?

Батура. Напишу, даю слово. Не буду скрывать — и мне вы поможете ещё глубже почувствовать душу Натальи Никитичны. За это вам всегда буду благодарен. Итак — издаём дневник Мартына Кандыбы.

Кандыба. Позвольте, позвольте вас обнять.

Батура. Что ж, обнимемся, коллега. (Обнял Кандыбу, смотрит на него.) В добрый путь, друг мой. (Поцеловал, ушёл.)

Кандыба смотрит ему вслед, потом перевёл взгляд на свою тетрадь, перелистывает страницы, что-то тихо шепчет, вздохнул, спрятал тетрадь в карман и ушёл с гордо поднятой головой.

Входит Василиса, она в костюме, на груди орден Ленина, с ней её подруги по звену: Екатерина Крылатая, Ольга Косарь, Оксана Давыдюк, Пелагея Грудченко, Варвара Пурхавка. У каждой орден Трудового Красного Знамени.

У них в руках книги и тетради.

Василиса. Садитесь, я сейчас приду. (Ушла в дом.)

Крылатая. И сердитая сегодня наша звеньевая.

Косарь. Такой Василису я ещё не видела. Как огонь.

Пурхавка. Почему она свою злость на мне срыгает?

Давыдюк. Потому что опять не выучила...

Пурхавка. Я о Мичурине хорошо ответила.

Крылатая. А о севооборотах не сказала.

Пурхавка. Такие вечера теперь, что мне никак, ну никак севообороты тсарища Вильямса в голову не идут.

Давыдюк. Бедная наша Пурхавка.

Косарь. Может, Варвара Алексеевна заболела?

Крылатая. Разве не видно?

Давыдюк. Какой же болезнью?

Крылатая. Той, о которой в песне поётся. (Запевает, ей подтягивают Грудченко, Давыдюк и Косарь):

Ніхто ж не винен, тільки я,
Тільки я, тільки я,
Що полюбила Мартина,
Мартина, Мартина.

Личко біленьке, хоч малюй,
 Хоч малюй, хоч малюй.
 Губки рум'яні, хоч цілуй,
 Хоч цілуй, хоч цілуй.

Очі черненькі, хоч дивись;
 Хоч дивись, хоч дивись, —
 Хлопець до серця, хоч тулись,
 Хоч тулись, хоч тулись.

Из дому выходит В а с и л и с а

Василиса. Звонил агроном из МТС, прочитает нам лекцию в субботу, в восемь часов вечера.

Пурхавка. В субботу, да ещё так поздно. Раньше десяти и не кончит...

Крылатая. Один вечерок Кандыба без тебя на реке посидит.

Василиса. Товарищ Пурхавка, ты почему спала вчера на поле?

Пурхавка. У меня голова болела...

Василиса. Неделю ходишь на работе сонная. В кружке не учишься. Тебе ведь только восемнадцать лет. Может, исключим Пурхавку из звена? С нас пример берут, а какой можно с неё пример взять?

П у р х а в к а плачет

Василиса. Не плачь, а скажи, почему на работе спишь?

Пурхавка. Это всё Мартын Кандыба. Он мне в лодке до утра стихи читает... (Плачет.)

Василиса. Какие стихи?

Пурхавка. Про... про любовь...

Все рассмеялись

Василиса. Стихи-то хоть хорошие?

Пурхавка. Чьи?

Василиса. Кандыбы.

Пурхавка. Плохие.

Василиса. Так зачем же слушаешь?

Пурхавка. Он не только свои читает, а Лермонтова и Леси Украинки...

Василиса. А... Лермонтова, Леси...

Пурхавка (перебивает). Даю слово, больше не буду слушать.

Василиса. Слушай, только не до утра, а хотя бы до одиннадцати...

Пурхавка. Хорошо.

Василиса. Вы, Екатерина Ивановна, будете выступать в конце собрания?

Крылатая. Первой возьму слово.

Василиса. А вы, Ольга Анисимовна?

Косарь. И я выступлю.

Василиса. А Оксана Сергеевна?

Давыдюк. Я не умею говорить. Больше двух слов не свяжу.

Василиса. А больше не нужно. Скажите только — этот лентяй, этот пьяница Вакуленко родственникам трудовни приписывает.

Косарь. Так можно.

Василиса. А я навалюсь на председателя. Пока не оборву ему весь чуб — не сойду с трибуны. (Смеётся.)

Крылатая. Боюсь, после моего выступления у него и волос на голове не останется. Вот, целую тетрадь исписала. Я на цифрах покажу, как кто работает. Карпа Корнеевича надо поддержать.

Василиса. Вот бы его председателем поставить.

Грудченко. Так он не женатый.

Крылатая. Ну так что?

Грудченко. Ничего, но я считаю, председатель обязательно должен быть женатый, иначе упадёт дисциплина.

Крылатая. Не упадёт. У него крепкий характер. А ты, Пелагея Ивановна, выступишь?

Грудченко. Если настроение будет, выступлю.

Крылатая. Какое ж тебе настроение нужно?

Грудченко. Василиса, скажи, художник надолго приехал?

Василиса. Не знаю.

Грудченко. Женат он?

Василиса. Нет, а что?

Грудченко. Сегодня встретил меня, говорит: разрешите портрет с вас нарисовать. Удивительный человек.

Крылатая. Почему? Он затем сюда и приехал, чтобы нас рисовать.

Пурхавка. И ты согласилась?

Грудченко. Нет.

Пурхавка. Почему?

Грудченко. Я ему сказала: приходите вечером, а он говорит: вечером не могу рисовать, только утром. А какое же утром рисование, когда на работу спешишь...

Из дома выходит Ага Шук а с чемоданом и зонтиком в руках.

Крылатая. Кто это?

Василиса. Сестра художника, вчера приехала, а сегодня уезжает.

Ага подходит

Ага. Доброе утро.

Все. Доброе утро.

Василиса. Садитесь, Ага Александровна. Сейчас за вами подъедут.

Ага. Мерси. (Садится. К Василисе) А я не знала, что у вас орден, да ещё и Ленина...

Василиса. Не только у меня орден. Знакомьтесь, это мои подружки по звену.

Ага. Очень приятно. Ага Александровна Шука.

Все знакомятся

Ага. (Смотрит, — у всех на груди ордена). Как легко получать на селе ордена, а в городе теперь очень трудно.

Крылатая. Разве? А вы где работаете?

Ага. Я? Нигде.

Крылатая. А делаете что?

Ага. Я? Ничего. Муж мой работает.

Крылатая. У вас, верно, маленькие дети?

Ага. Нет. У меня нет детей.

Крылатая. Нет? А дозволейте спросить, что же вы — лежите целый день или как?

Ага. Наоборот, я очень много хожу.

Крылатая. Не пойму...

Ага. Работает мой муж. Он хорошо зарабатывает. Что здесь непонятного?

Крылатая. А у нас, простите, тех, кто совсем не хочет работать, вызывают на общее собрание и, если они не каются, вон из села выгоняют, чтобы не портили колхозную семью.

Ага. И власти разрешают такое самоуправство?

Василиса. Представьте себе, даже идут нам навстречу.

Ага. У нас такого не может быть. Никто не разрешит.

Василиса. Попросят—так разрешат (улыбнулась). Да и время выручать бедных батраков, что работают на таких, как вы.

Ага. Что?

Крылатая. Кто не работает, не должен есть.

Слышно — подъехала подвода

Василиса. За вами приехали. Может, вам помочь?

Ага. Нет, нет, благодарю.

Слышна песня: «Труля-ля, труля-ля, труля-ля, труля-ля». Входит Крым.

Крым. Случайно узнал, что вы, мадам, отдаёте концы.

Ага. Что такое?

Крым. Отчаливаете на вокзал. Позвольте помочь вам.

Ага. Возьмите чемодан.

Крым. Как жаль, мадам, что вы так скоро отчаливаете. Я бы вам показал наши воды, посадил бы вас в мою гондолу и в камыши повёз... Какая там красота...

Ага. Но, но, меня не интересует ваш камыш... Отнесите вещи.

Крым. Есть! (Берёт чемодан и зонтик.)

Входит В е р б а

Ага. Я так и знала, что ты придёшь.

Верба (подошёл к Василисе). Василиса Дмитриевна, можно вас попросить на несколько минут...

Василиса. Нет. Сейчас не могу.

Верба. А позже?

Василиса. И позже не могу.

Ага (улыбнулась). Николай, может ты меня хоть к подводе проводишь?

Верба. Только в могилу. (Ушёл в дом.)

Ага. Что такое?

Крым. Мадам, они высказались, как моряк, — коротко и точно. Советую вам поскорей отчаливать, будет шторм.

Ага. Хам.

Василиса. Будьте здоровы.

Ага. Прощайте.

Крым. Попутный ветер, мадам.

Ага идёт. За ней Крым, он раскрывает зонтик, несёт чемодан и старается зонтик держать над головой Аги. Из дома выходит Наталья Ковшик

Ковшик (издали). Василиса!

Василиса. Сейчас, мама. (К своим подругам) До вечера.

Все. До вечера.

Все уходят. Василиса подошла к матери

Ковшик (обняла её). Я хотела тебе сказать...

Василиса. Что, мама?

Ковшик. Он вещи складывает...

Василиса. И хорошо делает.

Ковшик. Просит, чтобы ты разрешила ему дорисовать...

Василиса. Нет, этого не будет. Не будет. Пусть дорисовывает свою артистку, а мы обойдёмся...

Ковшик. Не расстраивайся. Я ведь тебя не уговариваю.

Василиса. Я не волнуюсь.

Ковшик. Ты вся дрожишь.

Василиса. Это от злости, а не от волнения. И как я могла поверить... Дура, убила бы себя.

Ковшик. А может, его сестрица и лишнее наговорила?

Василиса. Она мне целую ночь рассказывала... Даже фотографию показала.

Ковшик. Какую?

Василиса. Говорить стыдно...

Ковшик. Скажи.

Василиса. Стоит он, а возле него голая артистка.

Ковшик. Голая?

Василиса. Вот такая только (показывает) юбочка на ней, и всё. Артистка ему руку на плечо положила, улыбаются оба и смотрят на её большой портрет, а на портрете она ещё и ногу подняла.

Ковшик. А может, она кого-нибудь изображает?

Василиса. Голая? Изображает, только не кого-нибудь, а просто...

Ковшик. И всё-таки попрощаться нужно.

Василиса. Мама, я не могу с ним говорить... Не могу.

Ковшик. Не говори, так хотя бы руку подай, а то выйдет, что ты...

Василиса. Неужели вы не понимаете?

Ковшик. Понимаю, дочка, и хорошо понимаю, а ты держись, вот он идёт...

Из дома выходит Верб а, в руках у него чемодан, кисти, ящик с красками, на спине подрамники, холсты. Он подошёл ближе, выпрямился — и всё полетело с его спины

Ковшик. Подождите, я вам помогу.

Верба. Ничего, не беспокойтесь, я сам... (собирает вещи). Я хочу несколько слов вам, Василиса Дмитриевна, вам, Наталья Никитична, сказать... если разрешите...

Ковшик. А чего ж, говорите, только лучше сядем. Садитесь.

К о в ш и к села, напротив неё сел В е р б а

Ковшик. Садись, Василиса.

Василиса. Я отсюда услышу. (Села на пенёк).

Верба. Я хочу сказать вам, дело в том...

Пауза

Ковшик. В чём?

Верба. Дело в том, что я от вас никуда не поеду. Я остаюсь здесь навсегда.

Василиса. Как?

Верба. Простите, я не так выразился. Я остаюсь в вашем селе.

Ковшик. А что вы думаете делать у нас?

Верба. Писать портреты.

Ковшик. Чьи?

Верба. Звеньевых и бригадиров, трактористов и комбайнеров, агрономов и учителей. Покажу новые обычаи и новый быт колхозного села. Буду не только портреты писать.

Ковшик. И всю жизнь хотите рисовать колхозников? Не надоест вам?

Верба. Вы удивлены? Позвольте объяснить. Художники мира создали тысячи портретов, и знаете, кого они рисовали, кому отдавали свой талант?

Ковшик. Нет. Скажите.

Верба. Не тем, кто кормил и кормит всех, не тем, кто строил и строит города и все памятники культуры, а тем, кто угнетал крестьян и рабочих. Только великие художники России первые пришли к народу — Суриков, Репин, Крамской, украинцы — Шевченко, потом Пимоненко...

Ковшик. Я видела картину, называется «Бурлаки». Чья это картина?
Верба. Репина.

Ковшик. Хорошая. Видно, хорошо знал их. Как живые на картине.

Верба. Мне стыдно признаться, но наши классики глубже и больше знали то, о чём они писали, нежели мы. Глубже знали жизнь.

Ковшик. А разве вам кто мешаёт так знать жизнь, как они?

Пауза

Верба. Мешаем сами себе. Тратим время на всякие мелочи. Поэтому я решил глубоко изучить тех, кто при помощи труда собирает солнечную энергию, — колхозному крестьянству хочу отдать свои способности.

Ковшик. Это потому у вас моя Василиса такой солнечной вышла на портрете.

Верба. Вы заметили?

Ковшик. А как же?

Верба. Вы даже не представляете, Наталья Никитична, какую радость вы мне...

Ковшик. Э, да вы совсем разволновались.

Верба. Нет, нет... Я сейчас пойду... Единственная просьба у меня... (К Василисе) Разрешите, Василиса Дмитриевна, закончить ваш портрет.

Василиса молчит

Ковшик. Я думаю, Василиса не откажет. Сейчас, дочка, дело не в тебе. Широкое и доброе намерение у Николая Александровича... Как, Василиса?

Верба. Ну хотя бы два дня — и я закончу.

Василиса. Приходите завтра.

Верба. Спасибо! (Начинает собирать вещи).

Ковшик. А чего им носиться с холстами, красками. Пусть уж доживут у нас, а как закончат рисовать — тогда выведут. Как, Василиса?

Василиса встала, посмотрела на мать, на Вербу и быстро ушла в дом.

Верба растерянно смотрит ей вслед, потом на Наталью Ковшик

Ковшик. И чего вы смотрите на меня? (Встала.) Вот уж эта мне интеллигенция... (Схватила чемодан, подрамник.) Идите к ней...

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Картина пятая

Декорация та же, что и в первом действии, только весну сменило лето. Под каменной стоит кровать, на ней лежит Романюк. Возле кровати столик, на котором бутылочка с лекарством и стакан. На траве сидит Надежда, она вышивает. Входит с удочками и ведёрком в руках Батура. Надежда свернула холст и отложила в сторону.

Надежда. Клевало?

Батура. Здорово.

Надежда. Тише (показывает на отца). Только что заснул.

Батура. Простите. (Поставил удочки и ведёрко возле дома, подходит к Надежде.) Врач был?

Надежда. Был.

Батура. Что сказал?

Надежда. Легче, но несколько дней нужно полежать. Мне приказал никого не пускать к отцу, чтобы не волновался.

Батура. На всю жизнь запомнит собрание...

Надежда. Жаль мне отца, но сам виноват.

Батура. Я впервые был на колхозном собрании.

Надежда. И как вам?

Батура. Если бы писатели хотя бы наполовину так говорили правду друг другу, как бы выиграли от этого читатели.

Надежда. А разве у вас не любят критику?

Батура. Больше клянутся, что любят.

Надежда. И вы тоже?

Батура (кашлянул). К сожалению, в меру сил не отстаю от коллег... Что это? (Показывает на холст).

Надежда. Посмотрите.

Батура (развернул). О, какая будет сорочка. Красиво. Не знал, что вы такая художница.

Надежда. Нравится вам?

Батура. Очень. Тонкая работа. Кому это вы?

Надежда. Скажу через два дня, только закончу — и узнаете.

Батура. Через два дня...

Пауза

Надежда. Что вы так грустно смотрите?

Батура. Вам показалось.

Надежда. Ну хорошо, скажу сейчас, хотя знаю — вы назовёте меня провинциалкой. Сорочку я вам вышиваю.

Батура. Спасибо, от всего сердца! (Взял её руку). Милая, славная Надя.

Надежда (тихо). Сергей...

Смотрят друг другу в глаза

Батура (взволнованно). **Надежда**, кажется, отец проснулся. (Встал). **Надежда** Ивановна...

Пауза

Надежда. Что? Говорите...

Батура. Поверьте, мне не легко, но я должен сказать вам правду.

Надежда. Правду?.. Не надо... Я поняла.. Ничего не говорите...

Батура. Выслушайте. Вас увлёл образ моей книги. Для вас я — это моряк Горовой, моё сердце — это его большое сердце, моя душа — это его большой внутренний свет, который зажжёт вас тогда, когда вы меня ещё не знали. А настоящей любви вы не видите. Она около вас, ждёт вас, и этот человек больше меня и больше, чем образ моей книги.

Надежда. Вы снова о Карпе?

Батура. Да... О моём друге.

Надежда. Чем же он заслужил такую дружбу?

Батура. Я об этом написал.

Надежда. Где?

Батура. В книге.

Надежда. Карп... Это правда?

Батура. Правда, **Надежда**... Матрос Горовой — это Карп.

Надежда ушла в сад

Батура (тихо). Друг мой... друг. (Сел, закрыл лицо рукой).

Пауза. Входит Ветровой

Ветровой (издали). Сергей Павлович!

Батура не отвечает. Ветровой подошёл, поднял сорочку, смотрит на неё

Батура, Что, Карп?

Ветровой. Задремал?

Батура. Да...

Ветровой. Как красиво вышила! Серёга... Серёга, что с тобой, дружище?

Батура. Ничего. Плохо себя чувствую.

Ветровой. Вот беда. Может, врача вызвать?

Батура. Мне нужно ехать в Киев.

Ветровой. Неужели так уж плохо?

Батура. Я должен немедленно лечь в больницу. У меня открылась рана. Я поеду сегодня же.

Ветровой. Что ты говоришь? Открылась...

Батура. Ничего, друг мой. Вылечусь. Только нужно как можно скорее ехать.

Ветровой. А успеешь ли на поезд? (Смотрит на часы.) Успеешь, если за час соберёшься.

Батура. Вызови мне подводу. Только о ране не говори никому. Заболел, и всё.

Ветровой. Понимаю. Пойдём в дом, я позвоню в контору... Эх, Серёга, Серёга... (Обнял рукой за плечи, идут в дом).

Входит Вакуленко, подошёл к кровати, на которой спит Романюк, смотрит, потом отломил ветку, стал, машет ею над лицом Романюка.

Романюк проснулся, смотрит на Вакуленко, тот машет веткой

Романюк. Кто это?

Вакуленко. Ваш бывший заместитель.

Романюк. Ты что, взбесился? Что ты меня по носу хлещешь?

Вакуленко. Очень мухи вас обсели, сгоняю.

Романюк. Иди ты ко всем чертям. Что я тебе, мертвец? (Спрыгнул с кровати, схватил Вакуленко за грудь.)

Вакуленко. Не волнуйтесь. Ой, пустите...

Романюк. Я из тебя мертвеца сделаю. Вон с моих глаз! (Толкнул, Вакуленко побежал). Подхалим проклятый. (Крикнул) Надя!

Из сада выходит Надежда

Надежда. Отец, зачем ты встал? Врач же запретил.

Романюк. Да разве здесь улежишь? Только что Вакуленко принимал.

Надежда. Зачем он тебе? Мало тебя из-за него на собрании люди срамили?

Романюк. Хотел было поблагодарить его, да он удрал, вот только две пуговицы остались. На, пригодятся.

Надежда (резко). Ложись. Слышишь?

Романюк. Доченька, не кричи на меня. Я и так закричанный. Весь закричанный. Правду говорю — очень твоего отца... (Обнял её, сели на кровать).

Надежда. Ничего, отец, это пройдёт... Пройдёт...

Романюк. Так думаешь? Нет, дочка, если глубоко в сердце вошло, не пройдёт никогда... Не пройдёт... Э, да ты плачешь? Не нужно. Не бойся. Твой отец не из тех, кто голову теряет... Я ещё покажу, кто

такой Иван Романюк. Увидишь. За эти дни, что лежал, я много передумал...

Из дома выходит Ветровой, подошёл

Ветровой. Добрый день.

Романюк. Здоров.

Ветровой. Добрый день, Надежда Ивановна.

Надежда (долго смотрит на него). Добрый день, Карп...

Большая пауза

Ветровой (к Романюку). Как себя чувствуете?

Романюк. Как жених.

Ветровой. Шутите?

Романюк. Какие шутки? Свадьба-то была? Ты был главным шафером, а я женихом, погуляли добре...

Ветровой. А как похмелье?

Романюк. Похмелье... Эх Карп, Карп... Если бы ты знал—это уже третья подушка. Веришь — ночью встану, схвачу подушку в руки, (взял подушку) думаю, думаю, думаю — и не замечаю, как подушка в руках разлазится, разлазится... Только перья по саду, как снег летят...

Ветровой. Подождите, уже и эта разлазится. (Взял подушку, положил). Сергей Павлович сейчас выезжает на вокзал — и в Киев. Я позвонил, чтобы лошадей подали.

Надежда. Едет...

Романюк. С чего это вдруг?

Ветровой. Заболел. Нужно немедленно к врачам обратиться.

Романюк. Вот оно что. И когда же это случилось?

Ветровой. Говорит, сегодня.

Романюк (Надежде). Почему ты мне не сказала?

Надежда молчит

Романюк. Слышишь, Надя?

Надежда молчит

Ветровой. Жаль, очень жаль. Думал, хоть до осени поживёт у нас.

Надежда встала и ушла в сад

Романюк (смотрит ей вслед). Плохо дело... Карп, пойди, голубчик, посмотри, куда пошла Надя. Между нами, я замечаю, она вроде в Сергея Павловича... Понимаешь?

Ветровой молчит

Романюк. Пойди, голубчик, поговори с ней... Успокой.

Ветровой. Может, ей лучше побыть...

Романюк. Нет, нет... Когда у человека горе — одному тяжело. Пойди, голубчик...

Ветровой. Хорошо. (Встал, ушёл в сад.)

Из дома выходит Батура, выносит чемодан, плащ, поставил чемодан возле дома, подходит к Романюку

Батура. Дорогой Иван Петрович. Очень мне неприятно, но я должен попрощаться с вами.

Романюк. Карп говорил мне. Жалко.

Батура. И очень.

Романюк. Лечиться нужно. Здоровье — это большое дело... Как вылечитесь, приезжайте...

Батура. Спасибо. Спасибо за вашу ласку, за всё...

Романюк. Ну что вы... Жаль, очень жаль... А книгу будете писать? Верно, нет... Здоровье не разрешит...

Батура. Когда вылечусь, непременно напишу. У меня столько теперь материала. Много мне дала эта поездка. Я увидел то, что нигде не вычитаешь. Ведь люди у вас очень интересные... сложные...

Романюк. Да, хитрые, очень хитрые. Это вы правильно подметили. Лечитесь, главное лечитесь, а писать ещё будет время.

Батура. Вероятно, только зимой начну.

Романюк. А как назовёте вашу книгу?

Батура (улыбнулся). «В Калиновой Роще».

Романюк. Да... Тогда я очень вас прошу, не заканчивайте вашу книгу до будущей осени.

Батура. Почему?

Романюк. Приезжайте ещё к нам. Очень вас прошу, такой конец напишете...

Батура. Вы думаете, будут какие-нибудь изменения?

Романюк. Будут! Категорическим путём будут!

Батура. Постараюсь приехать. А как ваше здоровье? (Поднял бутылочку.) Лекарство помогает?

Романюк (взял бутылочку). А ну его. (Швырнул в сад.) Сейчас оденусь — и с вами на вокзал... А в воскресенье и я поеду. Сдам дела Ветровому...

Батура. Так... А куда?

Романюк. Культуры набираться. Звонил секретарю вчера в райпартком, просился, а он говорит: давно пора, жаль, что раньше отказывались. А я ему: за это меня и били, что не хотел учиться.

Батура. А он что?

Романюк. Ответил хладнокровно, я бы сказал, очень хладнокровно: «отсталых всегда бьют».

Батура. А вы?

Романюк. А что я ему скажу? Помычал, помычал в телефон, как бык, с позволения сказать, вот и всё.

Батура. На курсы едете?

Романюк. Берите выше. Попросился, чтобы в академию на несколько месяцев послали учиться.

Батура. В какую академию?

Романюк. К тому (кашлянул), к Дубковецкому в колхоз, поступаю в рядовые. В рядовые, даже не в сержанты. Вот в какую я хвазу попал.

Батура. Желаю вам успеха.

Романюк. Спасибо.

Батура. А потом что думаете делать?

Романюк. Помогать Карпу, там где он меня поставит.

Батура. А может, вас снова изберут председателем?

Романюк. Нет, сейчас не изберут.

Батура. Почему?

Романюк. Моя хваза кончилась, новая началась. Есть такой закон, читали нам в политкружке, так я тогда никак не мог понять, а теперь, хотя и вспомнить не могу, как он называется, а хорошо его чувствую на себе. Слово такое, когда всё изменяется...

Батура. Эволюция?

Романюк. Нет, нет. Вот например, у нас в колхозе большинству казалось, что всё идёт хорошо, все были очень довольны. Только передовики говорили — нет. А потом никто не заметил, как большинство перешло на сторону передовиков, и на собрании получился взрыв. Товарищ Сталин этот закон часто вспоминает.

Батура. Закон диалектики?

Романюк. Он. Такая диалектика у нас вышла, что всё моё правление полетело вверх ногами ко всем чертям. Ух и сильный же это закон. Что вы записываете?

Батура. Записываю, как Иван Петрович Романюк с диалектикой встретился.

Романюк. Лучше бы с ней так никто не встречался. Пойдёмте, я вам кое-что на дорогу хочу дать.

Романюк и Батура идут в дом. Из сада выходят Ветровой и Надежда

Надежда. Спасибо, Карп... Спасибо за тёплое слово... Садитесь...

Ветровой сел

Ветровой. Чего вы так смотрите на меня?.. Что с вами?

Надежда. Ничего...

Ветровой. Я понимаю, вам тяжело... Я лучше уйду...

Надежда. Нет, нет... было... Карп, у вас опять солома в чубе (вынимает)... А знаете, Карп Корнеевич, я очень ошиблась...

Ветровой. В чём?

Надежда. Вы больше, вы сильнее, чем образ моряка, который создал Батура в своей книге.

Ветровой. Что вы, Надежда...

Надежда. Да, это правда. Карп Корнеевич, простите меня... Я...

Ветровой. Надежда... Нельзя так.

С улицы слышны голоса

Ветровой. Сюда идут... Вытрите глаза... Слышите, идут... Увидят...

Надежда. Ничего. Пусть смотрят. Я ничего не боюсь... Мне так хорошо... Так светло на душе... Скажи, Карп... Что-нибудь скажи...

Ветровой. Я скажу, Надя, всё скажу, но не сейчас...

Входят Верба, Наталья Ковшик, Василиса

Ковшик. Надя, что это с Сергеем Павловичем? Позвонил — говорит, едет. Это правда?

Надежда. Да...

Ветровой. Он заболел, лечиться едет.

Ковшик. Это ты, Надя, виновата, недосмотрела...

Василиса. Мама! (Схватила её руку, подошла к Надежде, обняла её.) Надя, Николай Александрович хочет тебя с ребятами нарисовать.

Верба. Не отстану от вас, соглашайтесь.

Из дома выходит Романюк. Он в шляпе, в руках у него пакет

Ковшик. Здоров, кум.

Романюк. Здорова, кума.

Ковшик. Как твоё здоровье?

Романюк. Твоими молитвами живу.

Ковшик. Оно и видно. За эти дни ты похудел и, я бы сказала, помолодел.

Романюк. Правда?

Ковшик. Правда.

Романюк. И ты изменилась, кума. (Взял её под руку, отводит в сторону.)

Ковшик. Изменилась?

Романюк. Да... Постарела, даже удивительно, как постарела...

Ковшик. Что же делать... Жаль... А я думала тебя, кум, сегодня вечером в гости позвать. Целый день стряпала, так старалась...

Романюк. Спасибо, приду обязательно.

Ковшик. Нет, не стоит. Скучно тебе будет у старой бабы. (Поправляет платок, улыбается.) Поищем кого-нибудь постарше...

Романюк. Жаль, что молодёжь здесь, а то я тебе сказал бы такое...

Ковшик. А ты тихо скажи... ну... (Снимает платок).

Романюк. Не могу же я тебя при всех назвать киевской ведьмой с Лысой горы, чёртом в юбке, дочкой дьявола, свахой самого люцифера.

Ковшик (перебивает). Ой, как хорошо ты говоришь, кум...

Романюк. Не перебивай, я не кончил.

Ковшик. Приходи в гости, закончишь... Придешь?

Романюк. Приду. Категорическим путём приду.

Выходит Батура

Ковшик. Так едете, Сергей Павлович?

Батура. Да, Наталья Никитична. Нужно...

Ковшик. Как жаль.

Батура. Лечиться надо...

Ковшик. Мой Кандыба тоже заболел. Свихнулся, бедняга. Как только я с кем-нибудь начну говорить—он всё записывает. Думаю я его в Киев на исследование послать.

Батура. Не беспокойтесь, он здоров.

Слышно — подъехала подвода

Романюк. Подвода пришла. (Посмотрел на часы.) Надо спешить.

Батура. Будьте здоровы, Наталья Никитична, и вы, Василиса Дмитриевна. (Подает руку.)

Ковшик и Василиса. Счастливой дороги! Приезжайте ещё к нам.

Верба обнял Батуру

Верба (тихо). Приедешь на мою свадьбу?

Батура. На свадьбу? Постараюсь... (Подожёл к Надежде). Прощайте, Надежда Ивановна.

Надежда (подала руку). Прощайте, Сергей Павлович...

Батура. Желаю вам счастья...

Надежда. И вам желаю... от всей души...

Батура. Спасибо... (К Ветровому) Будь здоров, друг мой... Не думал, что встречу тебя живым, это для меня большое счастье...

Ветровой. Серёга, не надо...

Батура. Не буду. (Обнялись, целуются.)

Романюк. Так книгу не будете кончать?

Батура. Нет.
Романюк. Слово?
Батура. Слово.

Романюк обнял Батуру, целует. Батура ушёл, за ним Романюк,
Ковшик, Василиса, Верба, последним Ветровой

Надежда (тихо). Карп...

Ветровой повернулся. К нему идёт Надежда. Слышны с улицы голоса:
«Будьте здоровы», «Приезжайте ещё к нам», «Желаем вам счастья...»

Надежда. Почему, почему не сказал мне, что ты...

Ветровой. Хотел, не раз хотел, только боялся, чтобы не подумали
вы, будто хочу выставиться таким, каким меня Сергей Павлович рас-
писал. (Опустил голову.) Я человек простой — и делал только то, что
нужно было...

Надежда. Друг мой... друг...

Ветровой поднял голову. Они смотрят друг другу в глаза. Слышно —
отъехала подвода



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Юр. КОРОЛЬКОВ

★

В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

(Записки корреспондента)

Начало „холодной войны“.

Когда в Нюрнберге ещё продолжался суд над главными военными преступниками и главарями немецкого фашизма, в Западной Германии произошло событие, которое иностранные журналисты в Берлине назвали объявлением «холодной войны». В начале сентября 1946 года многие корреспонденты в Берлине получили от американской военной администрации пригласительные билеты, на которых значилось:

«Речь distinguished Джеймса Ф. Бирнса — государственного секретаря США, состоится в пятницу 6 сентября 1946 года в 13.00 в Витенбергском государственном театре города Штутгарта.

Вход только по билетам.

Военная администрация США».

Накануне этого дня специальный поезд с иностранными корреспондентами вышел из Берлина в Штутгарт. На площадке вагона, в котором ехала группа советских журналистов, всю дорогу стояли американские «МП» — военные полицейские в белых касках и защитной одежде. На коротких остановках советским журналистам не разрешали выходить на платформу. «МП» зорко следили за каждым их шагом.

В Штутгарте сотрудник американского «паблик релейшен» — управления информацией, роздал журналистам полный текст речи, которую через несколько часов собирався произнести Джеймс Бирнс.

Печатный текст речи изобилует фразами о послевоенном сотрудничестве, о стремлении к миру, о высоких целях, об ответственности за благосостояние народов Европы и пр. и пр. Но среди этих заверений в бескорыстии и любви к ближнему проскальзывали и такие фразы:

«Мы намерены сохранить наш интерес к делам Европы».

«Центральное германское правительство не должно быть создано до тех пор, пока демократия не пустит глубокие корни в душе Германии»...

«Всё, что союзные правительства могут и должны сделать, — это установить правила, на основе которых Германия может управлять собой».

В речи говорилось о согласии передать Саар французам, о создании Бизонии — объединения англо-американских зон, о самостоятельном контроле над Руром в рамках Бизонии. Обращала на себя внимание также фраза о подготовке «федеральной конституции Соединённых Штатов Германии, которая должна будет обеспечить демократический характер новой Германии». Фраза эта вызвала большое недоумение, и журналисты обратились к официальному американскому представителю с вопросом — не допущена ли опечатка в речи distinguished Бирнса.

Нет, это не было опечаткой. Бирнс действительно — впервые — употребил в своей подготовленной речи термин «Соединённые Штаты Германии».

На штутгартском вокзале происходила помпезная встреча Бирнса. Прибыл он в бывшем поезде Гитлера, долго позировал перед фотографами, после чего направился к зданию театра. От вокзала до самого театра по обе стороны улицы шпалерами стояли американские солдаты. Откуда-то из-за угла вырвались вдруг два «виллиса» и танки. Шествие замыкали также «виллисы» и танки, которые под оглушительный рёв сирен неслись по улицам Штутгарта.

Бирнс говорил около часа, но в его речи нигде не употреблялся термин «Соединённые Штаты Германии». Очевидно, в самый последний момент было решено не говорить прямо об уже разработанном плане раскола Германии.

Вечером, на обратном пути в Берлин, в купе к советским журналистам зашёл американский корреспондент Джон Скотт, отлично говоривший по-русски. Корреспондент завёл разговор о выступлении Бирнса.

— Будем говорить откровенно, — сказал он. — Выступление нашего государственного секретаря означает, что англо-американские зоны Германии будут объединены. Это раз. Открыто поставлен вопрос о пересмотре потсдамских решений. Они уже устарели. Это два. Промышленный уровень в Западной Германии будет повышен. Репараций вы получать не будете. Нам невыгодно помогать укреплению советской экономики. Это три. К контролю над Руром вас не допустят...

Корреспондент реакционнейшего американского журнала «Тайм», загибая пальцы на руке, обнажал истинный смысл речи Бирнса, хвастая своей осведомлённостью в политике американских деятелей. Конечно, в своей статье, опубликованной вскоре в «Тайме», Джон Скотт не высказывал мыслей, которые он излагал в поезде по дороге в Берлин.

Истинный смысл выступления Бирнса отражал бредовую идею о «мировом господстве» теперь уже не германских, а заокеанских империалистов. Был в завуалированной форме, но всё же достаточно ясно поставлен вопрос о восстановлении военного потенциала Западной Германии, о превращении её в военно-стратегический плацдарм для борьбы с Советским Союзом и странами народной демократии. А что касается «правил, на основе которых Германия может управлять собой», то это был намёк на оккупационный статут, введённый позже американскими властями в Западной Германии.

То, что Бирнс называл «демократией», которая должна «пустить корни в душе Германии», на деле означало восстановление подорванных корней фашизма в западногерманских зонах.

Снова „Чёрный рейхсвер“.

Среди решений Потсдамской конференции руководителей трёх держав есть один раздел, звучащий как священная клятва на могилах миллионов людей, погибших во время второй мировой войны. Там сказано:

«Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всём мире».

Представители западных держав нарушили эту клятву сразу же после того, как покинули потсдамский дворец, где происходила конференция.

Летом 1947 года группа советских журналистов посетила американскую оккупационную зону Германии. Мы побывали во многих городах, встречались с немецкими и американскими деятелями, интересовались политической жизнью зоны, настроениями людей.

В Мюнхене нам пришлось беседовать с начальником американского управления по денацификации Баварии мистером Гриффитц. Капитан американской армии с длинной лесенкой золотых нашивок на рукаве, свидетельствовавший о длительном пребывании офицера в Европе, пытался ошеломить нас серией астрономических цифр, масштабами, в которых проводится денацификация Баварии—крупнейшей земли американской зоны.

— Я должен вам сказать, — мило улыбаясь, говорил Гриффитц, — что денацификацию мы проводим с присущим нам американским размахом. Из девяти миллионов жителей Баварии проверке подлежат шесть миллионов человек, то есть всё взрослое население. Правда, четыре с половиной миллиона получили справки о том, что денацификация их не касается. Восемьсот тысяч было амнистировано к рождеству приказом генерала Клея. Таким образом, денацификацию проходят у нас примерно семьсот тысяч человек. Для этого создано 450 шпрук-камер! Представляете, какая это сложная и кропотливая работа!

Даже по официальным данным, приведённым нам мистером Гриффитц, было видно, что из ста тысяч разобранных дел в Баварии была рассмотрена только тысяча дел, отнесённых к первой категории. Обращало на себя внимание то, что судили почему-то в первую очередь людей, не имеющих отношения к фашизму, а крупные фашистские акулы под шумок уходили от всякой ответственности.

Известен юмористический лозунг: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». В Западной Германии нашлись люди, которые далеко не из юмористических побуждений перефразировали этот лозунг: «Наказание военных преступников — дело самих преступников». Выполнялся этот лозунг со всей серьёзностью. В Бремене, например, где в течение двух лет денацификация проводилась так же, как и в Баварии, решили экстренно осуществить её... с помощью самих нацистов. Главный бременский денацификатор адвокат Люфтшюц с ведома и одобрения американских властей опубликовал в местных газетах обращение ко всем бывшим и настоящим фашистам с призывом «добровольно себя покарать». Отныне каждый гитлеровец мог сам назначить себе размер штрафа или выбрать другое наказание за нацистские преступления. Все эти тысячи гитлеровцев, превращённые в кающихся унтер-офицерских вдов, должны были только письменно сообщить адвокату о добровольно принятой ими каре. Адвокат Люфтшюц не только призывал нацистов к выполнению своего «гражданского долга», но и обещал им определённые выгоды. Он предупреждал, что скоро предстоит проведение финансовой реформы. Нужно торопиться штрафовать себя — всё равно скоро придётся выбросить старые марки в мусорный ящик!

Для многих находчивых и предприимчивых дельцов денацификация стала выгодным занятием. В том же Мюнхене можно было прочесть объявления такого содержания:

«Вы хотите денацифицироваться? Обращайтесь с доверием ко мне! Гарантирую успех, имею много письменных благодарностей от своих клиентов. Располагаю хорошими связями.

От вас требуются только краткие ответы на следующие вопросы:

1. Назовите людей (достаточно двух), которые видели вас в церкви между 1933 и 1945 годами.

2. Напишите кратко, какие вы имели конфликты со своей совестью при вступлении в партию.

3. Назовите свидетелей (достаточно двух), которые слышали, как вы говорили, что война проиграна».

Вот и всё, что требовалось для денацификации в Западной Германии.

Самообслуживание в вопросах денацификации проводилось не только в Бремене. В городе Ротенбурге денацификацию населения возглавил местный бургомистр, имеющий солидный стаж пребывания в гитлеровской партии — с 1934 года. Для большего веса он ввёл в состав комиссии двух своих сыновей, активно работавших в «Гитлерюгенд». Денацификация в Ротенбурге закончилась досрочно, и в городе фашистов обнаружено не было...

Курьёзное событие произошло также и в Гамбурге. Здесь вскоре после окончания войны английские власти создали пропагандистско-информационный центр в виде телеграфного агентства — «Дейчер прессединст» или сокращённо ДПД, которое снабжает информацией все газеты, выходящие в Западной Германии. По чьему-то недосмотру всем сотрудникам телеграфного агентства предложили заполнить соот-

¹ Комиссии по денацификации.

ветствующие анкеты и пройти денацификацию. В результате выяснилось, что большинство «журналистов» англоязычного телеграфного агентства оказалось офицерами германского военно-морского штаба гросадмирала Деница. Они прибыли на работу в агентство даже со своей аппаратурой — с телетайпами, телефонами и другими средствами связи. После того как анкеты «журналистов», имеющих высокие военно-морские звания, передали в шпрух-камеру, один из английских работников спохватился, и проверка была запрещена. Морские пираты из штаба Деница остались на литературной ниве, готовые по первому зову вернуться к старому, более знакомому им ремеслу.

Во время нашей поездки по американской зоне, ещё во Франкфурте-на-Майне, кто-то из американских корреспондентов рассказал нам, что несколько дней тому назад он посетил концентрационный лагерь в Дармштате, где содержались заключённые эсэсовцы и другие военные преступники. Проник он туда не совсем обычным путём. Он заключил пари, что без документов и разрешения попадёт в лагерь. Действительно, подъехав к лагерю, он оставил в стороне машину, свободно прошёл в ворота мимо вооружённой охраны, провёл целый день среди заключённых фашистов, переночевал у них, а на утро так же свободно покинул лагерь. Журналист рассказывал об этом эпизоде, как о забавной шутке. Но лагерные порядки нас заинтересовали, и мы обратились с просьбой разрешить нам побывать в этом лагере.

В знойный июньский полдень мы подъехали к лагерю, обнесённому высоким забором из колючей проволоки. На огромной территории здесь жили двенадцать тысяч наиболее опасных, как нас предупредили, военных преступников. Жили они здесь своей обособленной жизнью, похожей больше на жизнь в закрытом санатории или курорте, чем в концентрационном лагере. Колючая проволока имела здесь скорее символическое, чем какое-либо практическое значение.

Хотя это был разгар рабочего дня, всюду слонялись толпы праздношатающихся людей. В воротах стоял вахтёр в коротких трусиках, который изысканно-вежливо проверял пропуск. В его осанке и манерах чувствовалось аристократическое воспитание.

— Кто вы? — спросил я его.

— Фон Вальдов — камердинер его величества кронпринца Гогенцоллерна, третьего сына кайзера Вильгельма второго, — залпом выпалил вахтёр и церемонно раскланялся с таким видом, словно на нём были не трусики, а парадная дворцовая ливрея.

Нас окружили загорелые, упитанные люди.

Мы спросили, почему не работают заключённые. Представитель американской лагерной администрации ответил, что работают только те, кто желает.

Около лагерной канцелярии мы остановились перед группой заключённых. Они уже знали, что в лагерь приехали журналисты. Один из заключённых, с фигурой спортсмена и вытатуированной фашистской свастикой на бицепсах, сказал:

— Вам кажется странным, что мы не работаем? Но разве можно при таком питании работать! Вы бы написали об этом в газетах...

Начальник лагеря услужливо сообщил, что каждый заключённый получает 1 600 калорий в день, а те, кто работает четыре часа, получают 2 500 калорий. Это было в то время, когда немецкие жители в среднем получали 800—900 калорий!

Мы обошли весь лагерь, и я мог увидеть, как фашисты, сидящие в «заточении», проводят своё время. На огромной территории рядами стояли палатки военного образца. Около палаток на скамейках сидели заключённые. Слово «заключённые» никак не подходило к этим людям, наслаждавшимся послеобеденным отдыхом. Одни читали романы, другие курили, непринуждённо беседуя, третьи бесцельно расхаживали по дорожкам, посыпанным песком, или копались в своих цветниках, разбитых здесь же около палаток. Пожалуй, это был единственный труд, который мы видели в лагере. Некоторые загорали на солнце, расстелив пледы позади палаток.

Для жителей лагеря оборудовано четыре театра, спортивная площадка с фут-

больным полем. Есть даже лагерный университет. В день нашего приезда должна была состояться лекция «Впечатления об Италии», а на следующий день — лекция профессора Эдельмана «Союз Европы». С лекциями приезжали сюда обербургомистры Франкфурта и Дармштата. Судя по доске объявлений, приезжал даже из Швейцарии профессор Циммерман.

На доске объявлений, среди предложений об обмене брюк и другого военного обмундирования, висело извещение общества «Объединённая Европа», общества, которое, оказывается, существовало в лагере. Члены общества проповедают идею Соединённых Штатов Европы так, как представляет её Уинстон Черчилль... В обществе есть славянская секция. Кто-то из заключённых, вероятно на основе личных впечатлений, прочитал недавно лекцию «География восточной Европы».

Нам показали просторный зимний театр. Предложили даже послушать концерт лагерной самодеятельности. Музыканты уже настраивали виолончели и скрипки. Мы отказались. Сопровождавший американец удивился: «Разве русские не любят музыку? Все наши иностранные гости обычно с удовольствием слушают концерт в лагере»...

В дармштатском лагере я разговаривал с местным обербургомистром (существует и такая должность!) — капитаном СС Паулем Диц. Он рассказал, что в лагере существует своё самоуправление, члены которого выбираются на широкой демократической основе и только путём тайного голосования. Для последних выборов сделали даже избирательные урны. В лагере совершенно явно существовала более широкая демократия, чем за его пределами.

О своём прошлом капитан СС говорил неохотно. Он сказал только, что раньше служил в полиции и во время войны долго находился в России. Он тоже пытался жаловаться на плохое питание, хотя, кроме двойного пайка немецкого рабочего, гитлеровцы в лагере получают ещё ежемесячно около 20 тысяч продовольственных посылок весом до пяти килограммов.

В лагере есть своё почтовое отделение и при нём телеграф. В нашем присутствии была получена пачка телеграмм. Я взял первую попавшуюся. В ней было несколько слов: «Следствие начинается четверг. Надеемся твёрдо на вашу помощь». Преступники находились в лагере в таких условиях, что имели возможность оказывать помощь своим единомышленникам за пределами лагеря.

Здесь я привожу только факты, которые наблюдал лично в дармштатском лагере интернированных военных преступников. Но таких лагерей в американской зоне было не мало, и порядки в них одинаковы. За несколько дней до нашего приезда из лагеря бежал шеф дармштатского гестапо Роберт Мор, которого обвиняли в убийстве сотен людей. Собственно говоря, даже не убежал. После того, как Мора предупредили, что его направляют в Нюрнберг и там будут судить, гестаповец просто собрал свои пожитки и ушёл из лагеря.

Такие же порядки существовали и в лагере Моосбурга, где заключён был личный адъютант Гимmlера СС штурмбанфюрер Лоренс Амзельгрубер. Адъютант Гимmlера вёл себя совершенно независимо. Он даже выезжал на легковой машине в соседние деревни и конфисковывал там у крестьян продукты для себя и своих коллег.

Через несколько месяцев после нашего посещения дармштатского лагеря откуда бежал ещё один военный преступник — СС гауптштурмбанфюрер Отто Скорцони — организатор побега Муссолини и виновник истребления сотен советских граждан. Как было установлено позже, побег Скорцони организовал бывший гитлеровский дипломат Раушенбах вместе с сотрудниками американской разведки. После войны Раушенбах принял испанское подданство и по заданию Франко открыл свою главную квартиру в Швейцарии. Скорцони был доставлен из дармштатского лагеря на эту квартиру, и оттуда его переправили в Америку. Теперь он работает там авиационным инструктором американского военно-воздушного флота и занимается подготовкой парашютных войск. Недавно его мемуары стали печатать в западных газетах.

Процесс реабилитации фашистов в Западной Германии происходил в течение

всех первых послевоенных лет. Это был первый этап осуществления американских планов в Германии. Международная реакция отжигивала, приводила в чувство, сохраняла фашистские кадры, чтобы иметь надёжную опору в осуществлении своей агрессивной политики.

Были оправданы и выпущены на свободу десятки магнатов тяжёлой промышленности, виновники и подстрекатели фашистской агрессии. Их не обманула интуиция, когда в конце войны они бросились на запад навстречу англо-американским войскам. В лице генералов Клея и Робертсона они обрели надёжных покровителей и верных защитников.

Создавая военно-стратегический плацдарм в Западной Германии, англо-американские власти уделяли большое внимание и сколачиванию немецких воинских соединений. Уже в 1947 году по всей территории Западной Германии, в широких масштабах, под видом «рабочих команд» создавались немецкие военные формирования различных родов войск.

Начало возникновения «рабочих команд» относится ещё к 1945 году. По приказу тогдашнего главнокомандующего британскими оккупационными войсками в Германии фельдмаршала Монтгомери часть капитулировавших немецких войск превратили в подсобные и вспомогательные части оккупационной армии. Назвали их «Динструппен» — служебные или рабочие команды. В 1947 году из этих команд создали немецкую гражданскую трудовую организацию — «Держман сивиллейбор организейшн». Созданию этой организации предшествовала коренная чистка всех команд от антифашистских, демократических элементов. Командный состав пополнили эсэсовцами, офицерами сухопутных, морских, технических и авиационных войск гитлеровской армии.

Подготовку сухопутных войск начали проводить в так называемых отрядах индустриальной полиции, в специальных закрытых лагерях. Во время поездки по английской зоне мы неоднократно просили дать нам возможность побывать в Мюнстере и его окрестностях, но каждый раз получали категорический отказ. Как я узнал позже, у представителей английской администрации были свои основания не допускать советских журналистов в окрестности Мюнстера. Только в одном из лагерей, расположенном около самого города, обучалось пятнадцать тысяч немецких солдат. Руководил ими эсэсовский полковник Хинц. Туда вербовали безработных немцев в возрасте от 22 до 35 лет. Предпочтение отдавалось лицам, ранее служившим в войсках СС или в парашютных и танковых частях. В привилегированном положении были также и бывшие солдаты гитлеровской армии с боевыми наградами или справками о том, что они являлись «примерными солдатами».

Не только в Мюнстере, но и в Брауншвейге, Гандерсхейме, Оснабрюке были восстановлены и приведены в порядок десятки казарм, в которых обучались тысячи солдат.

Что касается отрядов «индустриальной полиции», то по своей структуре и целям они мало чем отличаются от гитлеровских отрядов СС, родоначальником которых был Герман Геринг. Подобные отряды вновь приобрели право гражданства в Западной Германии. В городе Аугсбурге (Бавария) мне представилась возможность прочитать закрытую инструкцию для местных сотрудников индустриальной полиции. В инструкции, изданной американскими властями, совершенно ясно были видны цели создания этих нео-эсэсовских формирований. Американские инструкторы поучали своих подопечных погромщиков, как нужно разгонять рабочие демонстрации. В предвидении того, что немецкие трудящиеся без особого восторга будут принимать американские порядки, разведчики из «Снайси» заранее обучали своих наёмников методам внедрения «демскратии».

Инструкция с грифом «Секретно» была издана в форме памятки для индустриальной полиции города Аугсбурга. Она так и называется: «Памятка для индустриальной полиции. Поведение при беспорядках».

Уже первые вопросы и ответы этой памятки, тщательно разработанные американо-американскими урядниками-педагогами, вводили читателя в курс дела:

«1. В каких случаях вступает в действие индустриальная полиция?»

Ответ: Она вводится в действие при волнениях, то есть восстаниях, демонстрациях и нападениях бандитов.

2. Кто приказывает индустриальной полиции приступать к действиям?

Ответ: Военная администрация.

Термин «волнение» в инструкции имеет вполне определённый смысл. Он разъясняется так: «Волнение — это выражение недовольства и нервозности народа, вызванное голодом, безработицей, социальными недостатками».

Опытные авторы инструкции обстоятельно поучали, как должны вести себя полицейские при разгоне демонстрантов:

«Если они (демонстранты) не пожелают разойтись, то применять лёгкое насилие, как-то брандспойты, слезоточивые газы и т. д. Если это не действует, то давать устрашающие выстрелы, применять резиновые дубинки».

Слезоточивые газы, пожарные брандспойты и удары дубинкой—это только «лёгкое насилие»! Для более сложной обстановки инструкция давала особые указания: как индустриальная полиция должна взаимодействовать с танками и авиацией. Полицейским давались советы: как и из каких материалов строить баррикады для уличных боёв и борьбы с забастовщиками и демонстрантами.

Крупных военных преступников до поры до времени держали в резерве, помещая в лагерях-санаториях англо-американской зоны. В Нейштадте — небольшом городке между Нюрнбергом и Мюнхеном — около полутора лет жили сто двадцать генералов и высших офицеров гитлеровской армии, которые занимались составлением «истории войны на востоке». Они обобщали «боевой» опыт германской армии на восточном фронте. Историческими изысканиями занимались немецкие генералы и в альпийских горах. В их распоряжение был предоставлен курорт Гармиш-Партенкирхен.

Когда мы выразили желание побывать в Нейштадте, нам не только не разрешили посетить генеральский лагерь, но даже запретили ехать через Нейштадт, хотя дорога в Нюрнберг, куда мы направлялись, вела через этот городок. Маршрут изменили так, что мы вообще миновали Нейштадт — правда, для этого пришлось сделать полсотни лишних километров. И всё же американцы всю дорогу нервно следили за тем, чтобы кто-нибудь из советских журналистов не завернул в запретный город.

Вскоре в американской прессе промелькнуло сообщение о том, что в Гармиш-Партенкирхене освобождён немецкий генерал Гудериан и вместе с ним ещё девять других генералов и десять полковников, занимавшихся там составлением военных мемуаров. Освобождение такой большой группы работников германского генерального штаба объясняли благодарностью американских властей за «услугу», оказанную им штабистами. Однако этот своеобразный гонорар был выплачен не за военно-литературные труды. Как информировал свою газету один из видных американских корреспондентов в Берлине, генерал Клей — военный губернатор американской зоны — переслал Маршаллу и военному министру Форрестолу детально разработанный план вооружения будущего западно-германского государства. Документ был передан с пометкой «Чрезвычайно важно». Вслед за этим и состоялось освобождение немецких генералов из Гармиш-Партенкирхена и Нейштадта.

Генерал-полковнику Гудериану, «специалисту по русскому вопросу», вместе с немецким контрразведчиком Лахузенем поручили создание новой армии. Гудериан составил список на 10 тысяч нацистских офицеров, освобождённых или ещё находящихся в лагерях. Они и должны были образовать костяк будущей армии.

Корреспондент сообщил, что Гудериану одновременно поручено восстановление германской разведки. В Гармиш-Партенкирхене он изучал документы, захваченные американцами во время войны, и выяснял возможность восстановления сети немецкой разведки в Германии и за границей.

В американскую инструкцию для Гудериана было включено задание сотрудничать с подпольными фашистскими организациями, проникать в рабочее движение и восстанавливать старую сеть немецкой разведки. Автором этой инструкции являлся Аллен Даллес — бывший начальник ОСС (американской стратегической разведки в Европе).

Корреспонденция обычно хорошо осведомлённого американского журналиста, о которой мы рассказывали, не увидела света, но она заслуживает доверия и подтверждается другими фактами.

В предгорьях Альп, в районе Гармиш есть глухая деревушка Обераммергау. Она знаменита тем, что здесь раз в десять лет происходят религиозные представления, в которых принимают участие все жители этой деревни. Лет триста тому назад, во время нашествия чумы, жители Обераммергау дали обет проводить религиозные мистерии на темы новозаветной жизни, если чума минует их деревню. Священный обет стал неплохим источником заработка. Каждый раз на такие представления со всего света съезжались сотни тысяч туристов.

В один из воскресных дней нам предложили совершить поездку из Мюнхена в Гармиш Партенкирхен. По канатной дороге мы поднялись на вершину горы, где была расположена лыжная станция. Гору американцы сделали своим Олимпом — вход немцам был запрещён. Снежным настом могли пользоваться только американцы, которые проводили здесь свой уикэнд — воскресный отдых.

Лыжников я почти не видел, но ресторан был переполнен. Американцы развалились в мягких креслах, закинув ноги на обеденные столы. Бесшумно скользили кельнеры, разнося спиртные напитки. Недалеко от нас сидел мрачного вида человек в офицерской форме и развлекал свою даму тем, что время от времени с невозмутимым видом бросал на пол стаканы. Его спутница кокетливо взвизгивала, ахала, потом всё начиналось сначала. Мы пробыли в ресторане недолго. За это время сосед разбил восемь стаканов...

Сопровождавший нас американский контрразведчик мистер Снайдерс, представленный нам как «любитель русской литературы», рассказал между прочим, что очередные мистерии в Обераммергау задерживаются, так как до сих пор ещё не денацифицированы Иисус Христос, дева Мария и два апостола, которые играют свои роли без грима. Снайдерс не преминул обратить наше внимание на то, как тщательно проводится денацификация в американской зоне. Но когда мы выразили желание побывать в деревеньке, он под всякими предлогами начал отговаривать нас от этой поездки. Убеждал нас отказаться от посещения этой деревни и другой офицер — Боб Грей, ехавший с нами из Берлина. Но убедительных доводов они привести не смогли, деревня находилась всего в пятнадцать километрах, и им пришлось согласиться с нами.

Американские машины шли спереди и сзади наших. К своему несчастью, мистер Снайдерс, ехавший впереди, остановился, чтобы сделать несколько снимков горных видов. Я проехал мимо и, оглянувшись через несколько минут назад, увидел, что обе американские машины гонятся следом, неистово сигнала. Остановились мы у самой околицы деревни, и здесь обнаружилась причина нервозности американцев. На перекрёстке дороги стоял указатель с надписью «Европейская школа американской разведки».

Это нас заинтересовало. Фотограф достал аппарат и только приготовился зафиксировать любопытную вывеску, как вперёд стремительно вырвался Боб Грей. Он распахнул полы своего макинтоша и, прикрывая ими указатель, взволнованно воскликнул:

— Господа, этого снимать нельзя...

Мы поехали дальше в деревню, но спутники наши были так расстроены, что не знали, что с нами делать. Снайдерс забежал в полицию. Вскоре появились полицейские джипы, отряд шпиков, которые стали следить за каждым нашим шагом.

В конечном счёте выяснилось, что Обераммергау интересно не только своими религиозными мистериями, но и школой разведки, в которой готовят провокаторов,

шпионов и диверсантов для засылки их в страны народной демократии. Лекции там читают фашистские генералы и несколько военных преступников различных национальностей, бежавших из стран восточной Европы.

О деятельности этой школы я услышал ещё раз несколько времени спустя. Перед февральскими событиями в Чехословакии, когда чешские реакционеры пытались организовать вооружённый переворот, в Регенсбург проследовали эшелоны с запломбированными товарными вагонами. Наименование груза на вагонах не указывалось, а станция отправления значилась «Париж». Эшелоны переадресовали на пограничные с Чехословакией станции. Немецкие железнодорожники, случайно раскрывшие несколько вагонов, обнаружили там автоматы, пистолеты, боеприпасы американского происхождения. Оружие предназначалось для чехословацких контрреволюционных подпольных групп, а нелегальной доставкой его занимались «в порядке практики» «курсанты» американской разведывательной школы из Обераммергау. Это была организация, подведомственная генералу Гудериану.

Наглядным примером того, как англо-американские оккупационные власти восстанавливают гитлеровскую военную машину, может служить нашумевшая история с одним из главных военных преступников генерал-полковником Гальдером. Бывший начальник штаба сухопутных войск также выпущен на свободу. Освободили его тихо, используя для этого немецкую комиссию по денацификации. Об этом, с позволения сказать, «процессе» в западной печати сообщалось очень и очень скупо. Слишком уж однозвонной стала фигура этого преступника, одного из организаторов второй мировой войны, автора плана «Барбаросса» — плана нападения на Советский Союз, чтобы открыто говорить о его освобождении.

Американские военные органы приняли все меры, чтобы при разборе дела Гальдера ничего не говорилось о его преступлениях. Сотрудникам Клея не мало для этого пришлось потрудиться.

По странной «случайности» председателем комиссии по денацификации в Мюнхене, где разбиралось дело Гальдера, оказался его личный друг офицер Оскар фон Дефиц. По такому же принципу подобрали и свидетелей. Среди них были немецкие генералы, престарелый кронпринц Рупрехт, претендующий на баварский престол, и банкир Шахт. Все участники этого «процесса» — сам Гальдер, свидетели, судьи, американские консультанты действовали в полном единодушии, пытаясь превратить матёрого преступника в непорочного ангела. Правда, главный виновник этого юридического доведения — генерал Гальдер несколько переусердствовал и сболтнул кое-что лишнее. Он во всеуслышанье заявил, что после разгрома Польши фашистскими войсками германская армия по случаю победы получила официальное поздравление от американских военных кругов. Поздравление передал ему лично американский военный атташе в Берлине Паттон.

Это заявление, лишний раз подтвердившее симпатии американских милитаристов к их германским собратьям, вызвало замешательство, но оно скоро рассеялось. Процесс продолжался по заранее разработанному плану и закончился полным оправданием Гальдера. Генерал принял поздравления по поводу своего освобождения. Ему пожимали руки сами судьи, а немецкие штабные офицеры, бывшие сотрудники Гальдера, преподнесли своему шефу букет цветов. Это было открытой демонстрацией представителей возрождающегося, точнее, возрождаемого германского милитаризма.

Сразу же из шпрук-камеры Гальдер отправился в свой кабинет в качестве начальника индустриальной полиции Бизонии, совмещая эту работу с деятельностью по восстановлению германской разведки. Правда, в интервью с американскими корреспондентами Гальдер заявил, что отныне его «единственное занятие — игра с внуками», что он-де навсегда оставил военную карьеру и предпочитает проводить время дома во фланелевом халате.

Но преступник не выдержал долго роли добродетельного дедушки. Вскоре появились другие интервью с генерал-полковником Гальдером. В беседе с корреспондентом французского Телеграфного агентства он заявил:

«Ссылаясь на свой опыт ведения войны от Волги до Атлантического океана, могу сказать, что военные соединения, ведущие войну к востоку от Рейна, были бы потеряны при наступлении русских. Для сохранения людей и военного снаряжения восточное предполье Рейна придётся оставить, хотя это и горько для немцев. Исход будущей войны будет решаться в Центральной России. Со стороны Ирана и Чёрного моря легче развигать военные действия, чем в тесноте западной Европы».

Для этого фашистского генерала, побитого на территории Советской России, Германия к востоку от Рейна — только предполье, он хочет превратить её в мёртвое пространство, разрушить и уничтожить.

Гальдер вскоре получил «повышение» от американского штаба: вместе с Гудерианом ему поручили сформировать засекреченный штаб немецкой армии. В разведку на место Гудериана назначили другого немецкого генерала — фон Мантейфеля, который стал выступать в роли консультанта на манёврах английской оккупационной армии под Гамбургом и Любеком. В этих манёврах, кстати сказать, принимали участие остатки немецких дивизий «Буш» и «Великая Германия». Последней дивизией Мантейфель командовал во время войны.

Это — не одиночки-генералы. Кессельринг, фон Брандт, Гюнтер и многие другие фашистские генералы сотрудничают в англо-американских военных штабах.

Для того чтобы сохранить в тайне масштабы подготовки личного состава будущей армии, разработан план подготовки солдат и офицеров за границей. Один из руководителей так называемой организации «Фриденсбюро» («Бюро мира»), доктор Фогель, писал в газете «Швабише Пост»:

«Германская молодёжь сможет проходить военное обучение не в Германии, а в Канаде, Франции, Англии или США. Вопрос о проведении этого мероприятия на добровольной или принудительной основе решат западные оккупационные власти. В этих странах можно обучать новые кадры инструкторов и офицеров».

«Бюро мира», организованное по инициативе генерала Клея как прообраз будущего министерства иностранных дел, официально занималось подготовкой «мирного договора». Однако структура бюро, с которой нас познакомил доктор Фогель, говорила сама за себя. Там был отдел по пересмотру границ, отдел по возмещению убытков, понесённых фашистской Германией. Приведённое выступление дополняет характер этого «Бюро мира», в котором собраны гитлеровские дипломаты.

Не следует обращать внимания на то, что доктор Фогель пишет в будущем времени. Подготовка инструкторов и офицеров германской армии за границей, вербовка их уже проводятся в широких масштабах. Я оказался случайным свидетелем такой вербовки.

В Ганновере, на Егерштрассе 4, в самом центре города помещается учреждение с мирным наименованием: «Колониальный институт Тиман и Грег». Правда, непосредственно на месте указанного адреса сохранились лишь руины. Непосвящённый в институтские тайны человек пройдёт мимо этой груды развалин. Но деревянная табличка, водружённая на фундаменте, предупредительно указывает дорогу освещённым посетителям: «Ход на Егерштрассе 4 за углом с Фишерштрассе».

В сей колониальный институт мы явились в качестве рядовых посетителей. Следуя указаниям дощечки, мы направились в глухой, безлюдный переулок, вдоль которого тянется серая высокая стена с ободранной штукатуркой. В проломе стены калитка с надписью «Егерштрассе 4». Эта надпись заменяет вывеску «научного» института.

Запущенный дворик, в который вошли мы, мало чем напоминал учреждение, занятное изучением колониальных и тропических проблем. Заурядный немецкий дворик с грядками недозревших помидоров и чахлыми стеблями табака-самосада. Над крыльцом рога оленей и диких коз — обитателей немецких лесов. Никакого намёка на южную экзотику.

В первом этаже здания, стоящего в глубине двора, приёмная института. Когда мы вошли, чиновник, говоривший по-немецки с сильным английским акцентом, беседовал с другими посетителями.

— Условия? Да, вы будете довольны. Мы не допустим, чтобы белые люди жили в плохих условиях среди туземцев. Выехать, к сожалению, можно не сразу, вероятно после Нового года. Сейчас пока заполните анкету.

Вместо научного института мы оказались в пункте, который занимался вербовкой солдат в Южную Африку. Нас никто не спросил, кто мы и зачем пришли. Вербовщиков не интересует вопрос, кто приходит сюда, а зачем приходят люди — само собой разумеется. В ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы поехать в Южную Африку, чиновник протянул нам анкеты. На столе их лежала целая куча. Десятки разбухших папок с заполненными анкетами лежали на полках. Видимо, вербовка была в полном разгаре.

Чиновник нам сказал, что с отъездом придётся повременить. Он намекнул, что справка может начаться через месяц-полтора — после лондонской сессии Совета Министров Иностраных Дел. Вербовщик, как и его шефы, с нетерпением ждал прерывала лондонской конференции, чтобы развязать себе руки.

Анкета, которую нам предложили в колониальном институте, начиналась стандартным текстом заявления: «Прошу включить меня в список для получения разрешения на выезд в Южно-Африканский Союз». Далее следовало несколько вопросов: фамилия, служба в армии, профессия. Это всё, что требовалось для отъезда в Южную Африку. Куда меньше формальностей, чем для выезда из Бизонии в другую часть Германии!

Заявление-анкета заканчивалось обязательством пробыть определённый срок в Южно-Африканском Союзе, а сверху, венчая всю анкету, стояла предупреждающая надпись: «Фертраулих!» («Секретно!»).

Наша беседа длилась всего несколько минут. Пришли другие посетители. Чиновник, узнав, что мы из Берлина, кроме анкеты дал нам ещё адрес. Он разборчиво написал на клочке бумаги: «Берлин. Шмаргендорф, Йоганнесбергштрассе 40». Там у капитана Грея можно точнее узнать, когда состоится отъезд в Африку или другую страну...

Как выяснилось, в Берлине на Йоганнесбергштрассе 40 находится военное управление английских оккупационных войск...

Через несколько месяцев, как и предполагал английский чиновник из «колониального института» в Ганновере, началась отправка завербованных в Южно-Африканский Союз. Корреспондент «Телепресс» сообщал:

«Эшелон из 250 бывших офицеров германской армии, который формируется в Ганновере, отправляется в Южно-Африканский Союз. Офицеры будут обучать солдат Южно-Африканского Союза, подчинённых командованию генерального штаба Британской империи под начальством фельдмаршала Монтгомери. Ранее было уже отправлено туда 300 немецких офицеров».

Это происходило уже после срыва лондонской конференции.

Вербовка ландскнехтов проводилась также и в Грецию, Турцию, Индонезию, Вьетнам, Аравию.

Из достоверных источников я мог узнать некоторые подробности о тайном сговоре реакции против Индонезийской республики, о мрачной роли американской военщины в подавлении освободительного движения в Индонезии. Дело здесь не только в голландских колонизаторах. Без американской помощи едва ли могли они добиться каких-либо успехов в борьбе с индонезийским народом.

Вербовка немецких солдат и офицеров в Индонезию началась при поддержке американских властей ещё в 1946 году. Проводилась она сначала в Амстердаме и других городах Голландии под видом формирования военного легиона для охраны военных объектов. Кадры нацистов поставлялись из Западной Германии. Но очень скоро выяснилось, что все эти «сторожа» предназначались отнюдь не для того, чтобы ходить с колотушками вокруг портовых складов и пугать воров. Сформированные немецкие батальоны вскоре появились уже на Яве. Туда же на англо-американских кораблях доставляли вооружение, амуницию, боеприпасы, ехали тайные американские контролёры, инспекторы, контрразведчики.

Из прибывших батальонов на Яве стала формироваться так называемая вторая мотомеханизированная иностранная дивизия, состоящая в подавляющем большинстве из немцев. Разношёрстное вооружение этой дивизии демонстрировало трогательное единство реакционеров различных стран. Рядом с немецкими пушками Круппа в парках стояли новые, модернизированные американские танки «Шерман», а в ангарах лётной группы, приданной второй дивизии, находились американские истребители «аэрокобры», английские «спитфайеры», французские «девуатины».

Вторая дивизия была сформирована из шести полков, в том числе двух пехотных и одного полка жандармерии. Отдел контрразведки состоял из «голландцев», прибывших из Америки. Все они могли говорить по-голландски только с помощью переводчиков.

Характеристика дивизии была бы не полной, если не сказать о том, что первым её командиром назначили беглого военного преступника — немецкого полковника Гейнца Мюллера — в прошлом оберштурмбанфюрера войск СА. В Чехословакии он известен как один из организаторов кровавой расправы над пражскими студентами в 1943 году.

Гитлеровцы прибыли в Индонезию, сохранив даже старое название своих частей. Например, батальоны №№ 415 и 712 сохранили наименование «Тотенкопф» — «Мёртвая голова». Здесь дело не только в названии. Эсэсовцы хранят свои кровавые традиции восточного похода. В дивизии есть не только полк полевой жандармерии для проведения карательных экспедиций, — специально для расстрелов местных партизан были созданы особые «эйнзацгруппы».

Формирование второй мотомеханизированной дивизии было закончено в начале 1947 года, и вскоре её ввели в действие. Эта дивизия принимала участие в первых боях против индонезийской армии. Солдатам дивизии в связи с началом боевых действий прибавили жалование — на три гульдена в месяц.

Человек, долгое время пробывший в этой дивизии, в подтверждение своего рассказа показал мне серию фотографий, рисующих быт фашистских солдат в Индонезии.

Я видел и фотографию, которая впоследствии была напечатана в немецких газетах. На этом снимке солдаты в форме гитлеровской армии стояли у трупов солдат, погибших в последнем бою. Эта фотография относилась не к периоду войны. Нет, снимок был сделан уже в середине 1947 года. Фотографию прислали из Вьетнама, где немецкие солдаты из иностранного легиона сражались на стороне французских колониальных войск.

Вербовка молодёжи в иностранный легион достигла таких масштабов, что гамбургский сенат опубликовал обращение к молодёжи, предостерегая заключать договоры на работу во Францию. Как правило, молодёжь, завербованная на полевые работы, попадала в руки вербовщиков французского иностранного легиона.

В проведении вербовки принимают участие не только французские власти. В немецких газетах, выходящих по англо-американским лицензиям, нередко можно увидеть рекламные статьи, зазывающие немцев вступать в иностранный легион. Так газета «Джувель» в порядке «информации» писала:

«Иностранный легион — единственное соединение французской армии, на трёхцветном знамени которого отсутствует слово «Родина». Бюро по вербовке добровольцев открыто в Келе. Обучение их происходит в алжирском местечке Сидди бель Аббес. Кроме того, в течение 35 дней завербованные проходят политическое обучение. Их хорошо кормят, они бесплатно получают одежду и живут на всём готовом. В легионе существует старая традиция — неприкосновенность личности. Можно служить под вымышленной фамилией и представлять ложные документы, не опасаясь расспросов. Иностранный легион — это содружество людей, которые желают, чтобы их забыли, хотя, если не навсегда, то на несколько лет скрыться во мраке неизвестности».

Газета без зазрения совести подсказывала всем нацистским преступникам, где они могут «на несколько лет скрыться во мраке неизвестности», сообщала им адреса вербовочных пунктов.

Так выглядит деятельность англо-американских реакционеров, которые хотят использовать Западную Германию не только как военно-стратегический плацдарм, но и как базу для вербовки ландскнехтов—костяка будущей немецкой армии, предназначенной для осуществления их агрессивных намерений в Европе.

Правда, формирование в Европе наёмной армии, которая стала бы воевать за американские интересы, проходит не так гладко, как этого хотелось бы заморским торговцам пушечным мясом.

Как-то во Франкфурте-на-Майне в американском пресс-центре мы разговаривали с корреспондентом «Нью-Йорк таймс» Дельбертом Кларком. О себе он сказал:

— Я знаю, вы, русские, вероятно считаете меня фашистом. В Америке меня называют красным. На самом деле я розовый. Я независимый журналист.

Этот «розовый» корреспондент высказывал свою точку зрения на американскую политику в Европе.

— В чём смысл вашей политики здесь? — спросил я его.

Кларк задумался и сказал:

— Мы ищем солдат.

— Ну и что же?

— Пока я не вижу больших успехов, да и не знаю, будут ли они в дальнейшем. И Дельберт Кларк стал подводить неутешительный итог американской политики: — Французы? Они хорошо могут воевать, но, получив оружие, поднимают его против своего правительства. Итальянцы, испанцы сделают то же. Англичане сами любят воевать чужими руками. Остаётся Бизония. Но можно ли здесь набрать солдат для большой войны?! Немцы тоже стали не те, они многому научились. — Он привёл пример: половина состава пресловутых «рабочих команд» разбежалась из лагерей.

Неподалёку от курортного баварского городка Берхтесгадена, на стыке австрийской и итальянской границ, находилась тайная резиденция Гитлера. Три тысячи невольников два года строили полублиндаж, полузамок на вершине неприступной скалистой горы, высотой в тысячу семьсот метров. В одну из поездок по американской зоне мне представилась возможность увидеть Берхтесгаден. Из этого штаба в глуши альпийских гор Гитлер намеревался руководить войной и управлять покорённым миром. Одержимый идеей мирового господства, он стремился окружить себя ореолом таинственности и детективной романтики. Постройка уродливого здания на вершине скалы, законченная перед самой войной, отражала эту навязчивую идею.

Остановившись в гостинице, переполненной американскими офицерами, мы после обеда отправились в горы.

У подножья скалы были расположены виллы Геринга, Бормана, Риббентропа, Гесса. Особняк Гитлера стоял поодаль. Кажется, не было ни одной международной авантюры, ни одного преступного плана, который не разрабатывался бы в этом особняке. Теперь здесь кругом только руины. В полной неприкосновенности сохранилось лишь убежище Гитлера, которое стало местом паломничества американцев. Среди развалин приоткрылся магазинчик сувениров, где можно купить различные безделушки, открытки и... портреты Гитлера. К услугам посетителей мощные джипы, на которых только и возможно подняться по крутой асфальтированной дороге на вершину горы.

Развалины испещрены знаками свастики, фашистскими лозунгами. По этим надписям можно судить о посетителях, об их политических убеждениях.

Мы поднялись на джипах почти до самой вершины. Дорога, вьющаяся спиралью вокруг горы, так узка, что невозможно разъехаться двум машинам. Подъём продолжался минут двадцать. Машины остановились на тесной площадке, окружённой скалами. Дальше проезжей дороги не было. Широким туннелем мы проникли в искусственный грот в центре утёса. Мрачное средневековое всюду сочталось с новейшей техникой. Грот, облицованный серым гранитом, был ярко освещён электричеством. Отсюда на вершину скалы можно было подняться только с помощью лифта. Двухэтажный лифт — нижний этаж для охраны и верхний для Гитлера — был в

полной исправности. На это с каким-то восторженным упоением обратил наше внимание сопровождающий нас американец. Подъём продолжался довольно долго — глубина шахты достигает 125 метров. Американец, как диковинку, показал нам лифтера, стоящего у пульта управления. Это был эсэсовец из личной охраны «фюрера» — Ганс Фойтнер. Он неплохо устроился на том же месте, где оберегал Гитлера.

Бегло осмотрев приземистое, сараеобразное здание, мы вышли на площадку, откуда в хорошую погоду можно видеть Австрию и Италию.

Во всём — начиная от сувениров и фашистских надписей на стенах и кончая лифтером — чувствовалась атмосфера преклонения перед прошлым, стремление новых хозяев сохранить всё в полной неприкосновенности. Казалось, что вот-вот нам предложат, как в музеях, надеть войлочные туфли, чтобы не затоптать каменные полы, по которым хаживал международный преступник.

Мы возвращались обратно с тяжёлым чувством. По дороге я спросил американца: — Зачем вы сохраняете эту берлогу?

Он сначала даже не понял вопроса, потом ответил:

— Для нас это имеет историческое значение.

Очевидно, такое же «историческое значение» имеют подземные военные заводы и мощные огневые точки, сохранившиеся на территории Западной Германии. В Мюнхене, например, на окраине города один из многоэтажных железобетонных фортов превращён... в отель под названием «Сити».

Под Мюнхеном мы посетили один из военных заводов, подлежащих уничтожению. Это завод «Даймлер Бенц», изготовлявший танки. Сначала американцы пытались нас обмануть. Под видом интересующего нас завода они показали нам другой, одноимённый, но малозначущий заводик. Действительно, на вывеске значилось: «Даймлер Бенц», но находился он в Мюнхене, а не в Аллахе, куда мы просили нас повезти. Когда обман раскрылся, нас очень неохотно повезли в Аллаха. Оказалось, что танкостроительный завод и по сей день работал на полную мощность. Пять тысяч рабочих выполняли американские заказы.

Нам запретили разговаривать с рабочими завода и очень быстро, — под предлогом того, что пора ехать на какой-то очередной приём, — постарались выпроводить с завода.

В Западной Германии попрежнему сохранялись базовые аэродромы, стратегические нефтехранилища, а под видом «демонтажа» военных предприятий проводилась лишь очистка заводских дворов от ненужного хлама.

Как происходит «демилитаризация» германской промышленности в Бизонии, я смог наглядно убедиться в одном из городов Рура — в Дортмунде. Там расположен один из крупнейших металлургических заводов «Дортмунд Херде Хюттенферейн», производивший до войны более миллиона тонн стали в год. Завод этот даже по новому, сокращённому, списку подлежал полному демонтажу. Но странные дела творятся в Бизонии! При заводе до последнего времени существовал подсобный ремонтный цех. Сюда же входили и два асфальтовых цеха. По мановению пера один этот цех превратился в два самостоятельных завода. Электроплавильный цех с четырьмя маленькими печами тоже стал именоваться отдельным заводом. Превратили в завод и кузнечный цех. Короче говоря, из одного военного предприятия англо-американские власти сделали пять заводов и включили их в список демонтированных предприятий. Но любопытней всего то, что основной, прокатный, цех с уникальным прокатным станом, который может катать броневые плиты до пяти метров ширины, не попал в демонтажный список. Англо-американские эксперты, таким образом, одним ударом убили двух зайцев. Для того чтобы увеличить число «демонтированных» заводов и отчитаться в этом перед четырёхсторонней комиссией, они из одного завода сделали пять. А вместо действительной ликвидации военно-промышленного потенциала они занялись демонтажем котлов для варки асфальта и подсобных ремонтных мастерских.

Ещё более анекдотично звучит то, что произошло в Аугсбурге на авиационном заводе Мессершмидта. Мощные прессы, рассчитанные на изготовление крупных дета-

лей под давлением в пять тысяч тонн, здесь сохранили под видом того, что эти прессы понадобятся для производства мирной продукции — при помощи их решили делать... бидоны для молока.

Вообще, даже куцый и самовольно урезанный план демонтажа военных предприятий был разработан так, что заводы, в которые вложен иностранный капитал, не подлежали демонтажу. Что касается остальных предприятий, то их владельцам — военным преступникам, германским монополистам — решено было выплатить денежную компенсацию за причинённый им ущерб. В общей сложности эта компенсация выражалась в колоссальной сумме — в один миллиард марок, которая ложилась дополнительным тяжёлым бременем на плечи немецкого населения. Сердобольный американский дядюшка очень заботился о том, чтобы не причинить ущерба рурским магнатам.

Зарождение Бизонии.

Когда подъезжаешь к Франкфурту, раскинувшемуся по берегам полноводного Майна, со стороны автострады открывается панорама большого, просторного и, кажется, благоустроенного города. Издали видны широкие улицы, невысокие здания. Красные черепичные кровли перемежаются с густой зеленью парков, садов, которые закрывают город. Но когда через четверть часа въезжаешь в черту города, первое радужное впечатление сменяется гнетущим чувством, которое охватывает человека при виде жестоких и бессмысленных разрушений. То, что издали выглядело обширными площадями, широкими улицами и жилыми зданиями, вблизи представляет собой только груды развалин, обгоревшие стены с зияющими проломами или кварталы, начисто снесённые фугасными бомбами. Улицы, покрытые грудями щебня, давно поросли травой, и только в уцелевших кварталах кипит внешне деловая, суетливая жизнь — снуют пешеходы, воздух наполнен гулом автомобильных сирен. Среди прохожих много американских солдат, офицеров, полевой жандармерии, так называемых «перемещённых лиц», одетых в чёрную военную форму.

Стены домов залеплены ширококешательными объявлениями. Людской поток течёт по тротуарам, мимо витрин магазинов, кафе, ресторанов, многочисленных бюро и деловых контор. Но при ближайшем знакомстве с городом постепенно создаётся и усиливается впечатление какой-то бутафории, как у зрителя, неожиданно попавшего за кулисы театра. Транспаранты рекламируют несуществующие товары, магазины ничего не продают, а в ресторанах невозможно выпить даже чашки кофе. Такое чувство сохраняется до конца пребывания в этом городе.

Мы приехали во Франкфурт-на-Майне накануне создания там бizonального экономического совета. В то время страна «Бизония» фактически уже существовала, существовала, как Нигерия в Африке или Малайя в Азии. Не стоит вдаваться в лингвистический анализ происхождения этого слова. Бизонией всё чаще стали называть объединённые англо-американские зоны оккупации Германии. Нам, советским журналистам, пришлось стать свидетелями зарождения этого «государства».

Американский военный губернатор провинции Гросс Гессен полковник Ньюмен принял нас в своей резиденции — в небольшом городке Висбадене, расположенном километрах в сорока от Франкфурта.

Встреча у Ньюмена, или, как принято называть, пресс-конференция, происходила за день до открытия бizonального совета, и, естественно, разговоры шли преимущественно вокруг этой «модной» темы. Полковник довольно откровенно высказался о некоторых целях создания этого совета.

— Конечно, — сказал он, — Америка располагает большими запасами излишнего продовольствия, и было бы неразумным уничтожать его полностью, но если мы отправляем продовольствие в Германию, то кто-то должен нам за это платить; должна существовать какая-то немецкая организация.

По мнению губернатора, пока это якобы делали американские налогоплательщики. Но он надеется, что скоро положение изменится и расходы американцев сторицею окупятся. Для этого и создаётся экономический совет.

Полковник, доктор экономических наук, говорил как деловой человек. Германию он рассматривал только с точки зрения большого рынка, куда можно сбывать товары, не находящие спроса в других местах.

В конце беседы Ньюмен сказал:

— Сейчас задача состоит в том, чтобы обеспечение западных зон Германии производить независимо от Центрального правительства. И в конце концов, для единства Германии не имеет значения, где будет её столица — в Берлине или во Франкфурте...

Таким образом, при создании бizonального совета, который преподносился общественному мнению только как сугубо «экономический орган», уже предполагалась самостоятельная роль Франкфурта, независимая от центрального германского правительства.

Более откровенно высказала тогда ту же самую мысль газета «Дер тагешпи-гель», выходящая в Берлине по американской лицензии. Она прямо писала: «Нельзя отрицать, что Франкфурт станет как бы столицей Западной Германии. Таким образом создание экономического совета является этапом на пути к созданию федеральной республики».

С другой стороны, все официальные выступления английских и американских представителей изобиловали декларативными заявлениями о верности духу Потсдамского соглашения и отсутствии каких бы то ни было намерений расчленить Германию. Но факты говорили другое.

В дни нашего пребывания во Франкфурте шла усиленная подготовка помещений для заседаний бizonального совета. Организаторы ломали головы, где разместить всевозможные и многочисленные службы, куда девать сотрудников и их семьи, которые должны приехать в этот опустошённый и разрушенный город. Только для расселения десяти—двенадцати тысяч сотрудников с их семьями нужно было оборудовать и построить заново более двух тысяч квартир.

Американская администрация не скупилась на затраты. Чрезвычайный уполномоченный возглавил специальную строительную организацию, которая должна была закончить оборудование помещений к... ноябрю месяцу. Уже одно это с головой выдавало организаторов «временной» затеи с бizonальным советом. В ноябре предстояло открытие лондонской конференции. Заранее готовя срыв конференции, англо-американские власти хотели поставить лондонскую конференцию перед совершившимся фактом расчленения Германии.

Тайные планы западных держав разболтал тогда один из немецких квислингов — премьер-министр земли Вюртемберг—Баден Рейнгольд Мейер. В одном из публичных выступлений он заявил: «Нынешняя форма бizonальных инстанций окажется несостоятельной, ибо экономическое единство неотделимо от политического. Бizonальный контроль станет более эффективным в случае краха лондонской конференции. До этого времени экономический совет не будет играть значительной роли».

Уже тогда, на заре своего зарождения, западногерманское «государство» мыслилось его американскими организаторами, как антидемократическое, полицейское формирование. Этот политический орган был создан не путём выборов, а посредством назначения его членов. В экономическом управлении совета среди 44 министеральных советников насчитывалось 34 бывших активных нациста и четыре офицера гитлеровской армии. Сельскохозяйственными вопросами должен был заниматься нацист и крупный помещик Шланге-Шеннинген, вопросами промышленности — бывший директор «Стального треста» Динкельбах. Среди руководящих деятелей бizonального совета были также Беркмейстер и Шааф, занесённые в списки главных военных преступников, бывший имперский уполномоченный Геринга Вернер Хагельман и многие другие.

Одновременно с организацией бizonального совета во Франкфурте-на-Майне создавался и самостоятельный двухзональный контрольный совет, который по замыслу англо-американских раскольников должен был подменить собой деятельность четырёхстороннего Контрольного Совета в Берлине, являвшегося по решению Потсдамской конференции единственно законным органом, осуществляющим верховную власть в Германии. Мы посетили и этих самозванных «контролёров», которые разместились

со своим аппаратом в просторном особняке в центре Франкфурта. Они нарисовали перед нами идиллическую картину процветания Западной Германии под англо-американской эгидой. Но то, что представилось нашим глазам, достаточно ярко характеризовало колониальные нравы, методы беззастенчивого грабежа и экономического развала хозяйства Бизонии.

Первое, что мы увидели на дорогах и автостадах, это великое переселение американских чиновников и их домочадцев. Громоздкие машины, гружённые домашним скарбом и канцелярским имуществом, тянулись из Гейдельберга в Штутгарт, из Франкфурта в Гейдельберг. Франкфурт очищали от второстепенных организаций, чтобы расселить там чиновников и конторы бизонального совета.

Прежде всего мы посетили Вецлар, знаменитый развалинами какой-то древнеримской башни и модернизированным заводом оптических всемирноизвестных приборов Лейца. Хозяин фирмы Эрнст Лейц-младший с группой американских офицеров уже ждал нас, когда мы подъехали к серому девятиэтажному зданию — главному корпусу оптического завода. Вокруг нельзя было обнаружить каких-либо разрушений. Во время войны на территорию завода упала только одна бомба, хотя это предприятие являлось немаловажным военным объектом. Завод снабжал оптикой всю гитлеровскую армию. Бомба взорвалась во дворе, не повредив ни одного цеха. И если подсчитать убытки, которые господин Лейц потерял во время войны, они не превысят того, что стоят оконные стёкла, разбитые воздушной волной. Зато война принесла Лейцу немалые прибыли. Завод работал с предельной нагрузкой. Он изготовлял фотоаппараты, полевые бинокли, оптические прицелы, стереотрубы, перископы для подводных лодок. Здесь применялся рабский труд иностранных рабочих. На заводе Лейца работали русские и украинские женщины, бельгийцы и французы. Зброшенное кладбище неподалёку от развалин римской башни свидетельствовало, сколько невольников погибло здесь по вине хозяина оптического завода.

Когда заканчивалась война и в городок вступили союзные войска, завод в полной сохранности, со всем оборудованием и запасами сырья перешёл под американский контроль. Контролёры проявили сразу же большой интерес к фирме Лейца. Предприятие оставили Лейцу, забыв его связи с нацистами, а всю продукцию обязали сдавать им якобы для немецкого экспорта. Но то, что официально в американских кругах называлось «экспортом», фактически было не чем иным, как скрытыми репарациями из текущей продукции.

Осматривать завод и говорить с немецкими сотрудниками мы могли только в присутствии бравых молодых, одетых в военную американскую форму. Они как из-под земли вырастали всюду, где бы мы ни останавливались. На заводе нам показали только производство «Леек». Но даже и при таких условиях ознакомления выяснились очень любопытные детали. Так, 65 процентов всех аппаратов, изготовляемых на заводе, поступало в распоряжение американской администрации с огромной скидкой в цене. Тридцать процентов выделялось на «экспорт», то есть также американцам. И только пять процентов продукции поступало на внутренний рынок, но где продавались эти аппараты в Германии, так и не удалось выяснить.

Цехи, в которые нас не допустили, как и в военные годы выпускали оптические приборы для нужд армии. На этот раз — для американской армии.

Побывали мы и на предприятиях кожевенной промышленности, в частности — в центре кожевенного производства Германии — в Оффенбахе, где расположено девятьсот кожевенных заводиков и крупных фирм. Наиболее крупной из них считается фирма Людвиг Кrumma — «Золотая стрела». Фабрику, разрушенную во время войны, очень быстро восстановили по прямому указанию американских властей. Она также работала на «экспорт».

Представитель фирмы рассказал, что работают они исключительно на немецком сырье, но заказы даёт американское экспортно-импортное общество, которое и распоряжается всей продукцией.

На выставке готовых образцов продукции, предназначенной для экспорта, я попросил перевести на конкретный язык расчёты с американцами. Я спросил,

сколько получает фирма вот, предположим, за эту сумочку из очередной партии товара, подготовленного к отправке.

— Двенадцать долларов.

— Долларов? — переспросил я.

— О нет, конечно! Доллары эти условные. Мы получаем 36 марок — по три марки за доллар. (Курс доллара тогда составлял 10 марок).

Такая система завуалированного грабежа существовала повсюду. Это в одинаковой степени относилось и к английской зоне. Для иллюстрации можно привести в пример положение на крупнейшем автомобильном заводе «Фольксвагенверке», расположенном в Фаллерслебене близ Брауншвейга. Английские гиды решили ошеломить нас размахом производства, которое они восстановили.

Английский контрольный офицер майор Герст во время нашей беседы пережил довольно неприятные минуты. Вопросы, которые мы ставили, явно выводили его из равновесия. Он подтвердил, что ежемесячно здесь выпускают до тысячи легковых машин. Делают их из немецкого сырья, руками немецких рабочих. Завод вступил в строй только в начале войны, частично был разрушен налётами, но его очень быстро восстановили, и уже в конце 1945 года он стал давать готовую продукцию. Англичане проявили усиленный интерес к восстановлению завода — нашлись и дефицитные строительные материалы, и рабочая сила.

По утверждению мистера Герста, завод уже выпустил восемнадцать тысяч машин. Но даже из этого, явно приуменьшённого, числа машин только тысячу автомобилей передали в немецкое хозяйство. А остальная продукция? Её безвозмездно забрали себе оккупационные власти. В этом, собственно говоря, мы могли убедиться и сами. На дорогах Бизонии курсируют табуны «фольксвагенов» с американскими и английскими опознавательными знаками.

Из восемнадцати тысяч машин три тысячи переданы на экспорт для оплаты американской продовольственной помощи.

Мы спросили у мистера Герста, сколько долларов записывается на счёт немецкого экспорта от продажи одного автомобиля. Контрольный офицер охотно ответил, что стоимость «фольксвагена» составляет теперь 750 долларов. Однако офицера обескуражил следующий наш вопрос:

— Почему по официальным данным за все экспортированные с завода машины на немецкий счёт было записано только 23 тысячи долларов, то есть стоимость тридцати машин?

Майор только невнятно что-то пробормотал.

Нам было понятно смущение контрольного офицера. Действительно, цифра—23 тысячи долларов—говорила, что восемь тысяч рабочих передового немецкого завода заработали в год меньше двухсот тонн американского хлеба! Получалось, что немецкий квалифицированный рабочий зарабатывает два килограмма американского хлеба в месяц.

Правда, кроме скудной зарплаты, получаемой за счёт немецких налогоплательщиков, рабочие «Фольксвагенверке» были облагодетельствованы старой обувью. Военные власти незадолго перед нашим приездом передали рабочим полторы тысячи пар изношенных солдатских ботинок. Ботинки были настолько ветхи, что сваливались с ног. Пришлось сделать капитальный ремонт обуви, прежде чем раздать её рабочим. Но оделяя рабочих старой обувью, «благодетели» остались верны себе — за негодные ботинки они взяли почти такую же цену, что и за новые.

Полторы тысячи пар солдатских ботинок, списанные как негодные военным интендантством, были единственным вложением английских материальных ценностей в завод «Фольксвагенверке». Всё остальное принадлежало немцам: металл поступал из Рура, текстиль и краски из Вестфалии, стекло из Аахена, резина из Ганновера, электроприборы из Штутгарта, а шарикоподшипники из Вуперталя. Алюминий брали из старых запасов. Не трата ни одного пенса, британцы присваивали себе всю готовую продукцию завода.

Сколько бы товаров при таких условиях ни вывозилось из Западной Германии,

долг её за продовольственную «помощь» рос непрерывно. К концу 1947 года задолженность Бизонии уже превышала один миллиард долларов.

«Экспорт» в Бизонии является только одним из многих видов колониального грабежа немецкого народа. Другой метод колониального ограбления выражается в политике демонтажа. Сохраняя в неприкосновенности военные заводы, англичане и американцы в широких масштабах проводят демонтаж предприятий своих конкурентов.

Ярким примером такого демонтажа может служить галантерейная фабрика «Коллибриверке» в Шутмар ин Лииден. В течение шестидесяти пяти лет эта фабрика делала пуговицы и гребешки. Её демонтировали в угоду английской фирме, монополизировавшей в Европе производство пуговиц.

Неблаговидная афера заморских колонизаторов вскрылась на заседании гамбургского городского парламента. Депутаты выступили с протестом по поводу массового демонтажа крупорушек и мукомольных машин, который проводился по указанию английской военной администрации. Происходило это под давлением иностранных фирм, заинтересованных в ликвидации или хотя бы сокращении германской мукомольной промышленности. Подоплёка этого дела весьма проста. Американским хлеботорговцам выгоднее поставлять не зерно, а муку. Поэтому и были предприняты меры к тому, чтобы в самой Бизонии невозможно было перерабатывать зерно в муку.

Другой пример. Одеколон «Кельнишесвассер» многие десятилетия успешно конкурировал с парфюмерными изделиями английского производства. Способ изготовления одеколona составлял производственную тайну владельца немецкой фирмы. Так было во всяком случае до войны. Разыскав в Кельне среди городских руин улицу Певчих птиц, мы зашли в парфюмерную фабрику, где нам и рассказали, что произошло здесь после войны.

После того как британские войска оккупировали Кельн, к хозяину парфюмерной фабрики явилась группа офицеров и потребовала исмедленно передать им рецепт производства одеколona. Велико было удивление владельца «Кельнишесвассер», когда в одном из офицеров он узнал... своего старого лондонского конкурента. Дело принимало скандальный оборот. Его постарались замять, но рецепт всё же перешёл в английские руки.

В Кельне мы побывали также на автомобильном заводе «Форд». Мы не вели официальных бесед с его руководителями, а остановились в рабочем посёлке около ближайшего к дороге барака, более похожего на шалаш или ветхую сторожку. Был воскресный день, и рабочие посёлка сидели дома. Мне хотелось выяснить один интересовавший меня вопрос, и я задал его подошедшим рабочим: почему среди руин, в которые превращён город, так хорошо сохранился их завод. Рабочие переглянулись и указали мне на огромную надпись, выложенную белым кирпичём на заводской трубе: «Форд». Это магическое слово спасало завод от американских налётов. На его территорию за всю войну не упало ни одной бомбы. Рабочие, пережившие ужасы бомбардировок, вспомнили, что во время налётов жители ближайших кварталов бежали на территорию завода, уверенные, что здесь они будут в безопасности. Американские и английские лётчики имели строжайший приказ не бросать сюда бомб — это была американская собственность. То, что завод выполнял заказы германской армии, не меняло положения. Собственность Форда должна быть неприкосновенной! И теперь завод работает на полную мощность. Не только работает, но и расширяется. Было заключено секретное соглашение, по которому Форд купил у городского магистрата участок земли в 324 тысячи квадратных метров. Заплатил он за это по три с половиной обесцененных марки за квадратный метр...

Американцы окончательно прибрали к рукам известные автомобильные заводы Опеля в Рюссельхейме. Этот город всегда называли «немецким Детройтом». На заводах Опеля было занято до тридцати тысяч рабочих. До войны половина всех автомашин, экспортируемых из Германии, выходила из заводов Опеля в Рюссельхейме. После войны заводы Опеля целиком перешли в собственность американской автомобильной фирмы «Дженерал Моторс». Теперь Рюссельхейм уже нельзя называть «немецким Детройтом», он стал американским...

Колониальный грабёж, экономический хаос, искусственно созданный в Западной Германии политикой англо-американских властей, всё более губительно отражался на положении немецких трудящихся.

Из районов Западной Германии непрерывно шли тревожные вести. Продовольственный кризис захватывал всё новые районы, приобретал катастрофические размеры. Летом 1947 года я лично смог убедиться в справедливости этих сообщений. Происходило весьма странное на первый взгляд явление. Продовольственный кризис, вызванный грабительской политикой англо-американских колонизаторов, ещё больше раздувался в американской печати. Газеты, не жалея тёмных красок, рисовали мрачные перспективы на ближайшие недели, если не придёт помощь из-за океана. Появлялись справки: сколько теряет в весе средний немец в результате продовольственных затруднений. На стенах обгоревших домов и в иллюстрированных журналах появились рекламные плакаты: буханка хлеба, разрезанная на три части. Под рисунком подпись: «Две трети хлеба, который едят немцы, доставлены из Америки».

Как акт величайшего благодеяния преподносилось сообщение о том, что предстоит выдача ста граммов повидла на месяц. Немцы за всё это должны были благодарить своих «спасителей».

Было ясно, что цена продовольственной помощи, которая должна прийти из-за океана, искусственно набивается. Американские ростовщики использовали нужду и голод в своих корыстных целях. Даже один из немецких сотрудников бизонального совета—Землер—отважился заявить на закрытом совещании в Эрлангене: «Нам посылают кукурузу и корм для домашней птицы, а мы дорого должны за это платить. Мы должны платить в долларах, которые зарабатываем немецким трудом и экспортом. За всё это мы должны говорить: «Большое спасибо».

Военные губернаторы Клей и Робертсон за эти слова прогнали Землера с работы и заявили, что он должен быть им благодарен — могло бы быть хуже.

Возникал естественный вопрос: каковы же истинные причины разразившегося в Бизонии продовольственного кризиса? Действительно, дневные рационы в крупнейших промышленных городах были сокращены до 800—900 калорий. В Гамбурге, Эссене, Дюссельдорфе—повсюду прокатилась волна голодных демонстраций и забастовок, в которых приняли участие сотни тысяч трудящихся. Запасы продовольствия катастрофически снижались с каждым днём. В то же самое время вскрывались акты массового саботажа в организации продовольственного снабжения. После создания Бизонии продовольственные органы пополнились новыми фашистами, которые всячески поддерживали саботаж крупных землевладельцев. Раскрылась, например, скандальная история о «пропаже» скота. Только в течение 1947 года неизвестно куда «исчезло» более 700 тысяч голов крупного рогатого скота, около двух миллионов свиней и один миллион овец. Весь этот скот был в своё время зарегистрирован главным образом в хозяйствах помещиков и крупных фермеров. Через полгода, при сдаче поставок, этого скота не оказалось. А его хватило бы для годового снабжения мясом всего населения Западной Германии по существующим нормам и без американской «помощи».

Только в земле Северный Рейн—Вестфалия оказались неучтёнными 900 тысяч гектаров зерновых посевов. Это также были помещичьи посевы. Скрытые посевы могли бы дать для снабжения населения минимум один миллион тонн зерна.

Однако вместо того чтобы ликвидировать саботаж помещиков и организовать продовольственную базу в Бизонии, американские дельцы предпочитали рекламировать свою «помощь».

Срыв лондонской конференции.

Вилла «Хюгель» близ Эссена — бывшая резиденция династии пушечных королей Круппов — после войны стала резиденцией британского управления угольной промышленности Рура. Перед самой ликвидацией этого управления, точнее перед тем, как вилла «Хюгель» была довольно бесцеремонно занята новыми—американскими—хозяевами, мы приехали в Эссен для встречи с руководителем британского угольно-

го контроля мистером Коллинсом, досиживавшим последние дни в крупновском кабинете. В этом кабинете, похожем на антикварный магазин, он и принял нас, пытаясь представиться полноправным хозяином виллы и угольных шахт Рура. Но даже из официальной беседы, которую Коллинс вёл в крайне осторожных тонах, создавалось впечатление, что мы скорее имеем дело только с управляющим европейским поместьем заокеанских владельцев. Я спросил Коллинса, кто управляет Руром.

— Конечно, английская администрация, — ответил он. — Американцы участвуют только в распределении угля.

Но это «только» оказалось очень весомым и многозначным. В той же беседе Коллинс сказал:

— Ни одно важное решение по контролю над распределением угля не принимается без одобрения американцев.

В вилле «Хюгель», в том же кабинете, незадолго перед тем происходила пресс-конференция, посвящённая получению трёхсотмиллионного американского займа для Рура. Кто-то из журналистов спросил, как будет израсходован заём. Ответ он получил совершенно неожиданный. Шахты получают в счёт займа из-за границы рудничные паровозы, транспортёры, трубы и другое оборудование, которое всегда до сего времени изготовлялось здесь же в Руре. Под заграницей подразумевались Соединённые Штаты Америки.

Один немецкий экономист сказал мне по этому поводу:

— Американцы хотят возить в наш лес свои дрова...

Действительно, в Руре всегда производилось всё шахтное оборудование, которое успешно конкурировало с американским. С помощью займа американские промышленники устраняли теперь своего немецкого конкурента.

Что же касается условий погашения займа, то в вилле «Хюгель» выяснилась ещё одна подробность. Заимодавцы потребовали компенсировать свои доллары акциями немецких предприятий. Заём таким образом превращался в основной капитал, владельцами которого становились американские промышленники.

После беседы мы обедали в крупновской столовой, длинной, как палуба океанского парохода. За столом, рассчитанным на полтора десятка персон, мы сидели рядом с английским сотрудником угольного управления. Он говорил об отношении среднего англичанина к германским событиям и сказал между прочим:

— Здесь, в Германии, мы хотим проводить самостоятельную политику. Но американцы также имеют свою точку зрения и тоже хотят проводить свою политику. Вот Робертсон и спорит с генералом Клеем.

— Кто же, по-вашему, победит? — спросил я.

— Пожалуй, нашему Робертсону придётся уступить. У американцев доллары, а мы их не имеем...

Не прошло и месяца после этого разговора, как в вилле «Хюгель» поселились новые хозяева. Английские газеты сообщали об этом событии, но обошли молчанием один чрезвычайно характерный факт. Когда к вилле «Хюгель» подъехали американцы, британский флаг, развевавшийся над зданием, был спущен, и на флагштоке взвился звёздно-полосатый государственный флаг США. Это был финал двусторонних англо-американских переговоров в Вашингтоне. На конференции американцы выторговали по сходной цене право «совместно» управлять Руром. За чечевично-долларовую похлёбку англичане согласились на незавидную роль бедных родственников, послушных управляющих европейской вотчиной Уолл-стрита.

Американский флаг стал повсюду господствовать в Бизонии. Правда, кое-где виднелись ещё британские флаги, но вывешивались они больше из вежливости. Нового человека поражало обилие американских флагов в Западной Германии. Они развевались над официальными учреждениями и магазинами, над бензоколонками и гостиницами. Даже на объявлениях, расклеенных в изобилии по улицам, с лаконичными надписями «Американец ищет бриллиант выше одного карата» или «Иностранец купит старинный перстень» — рядом с адресом изображался

американский флаг, свидетельствующий о национальной принадлежности охотников за драгоценностями.

Бывший комендант американского сектора Берлина и член союзного Координационного Комитета генерал Франк Китинг, возвратившись в Америку, грубо и открыто высказал мысли своих единомышленников. В Бостоне, в своём кругу — на офицерском обеде 94 американской дивизии Китинг сказал: «Британские оккупационные власти в Германии являются хомутом на нашей шее. Нам и так слишком долго приходится платить за англичан. Я уверен, что в скором времени мы приберём к рукам всю британскую зону».

Всё больше оживлялась и внутригерманская реакция. В кармелитском монастыре Шенеберг близ Эльзвигена состоялась секретная конференция, на которой присутствовали баварский кардинал Фаульгабер, министры Пфейфер и Фромкнехт, статс-секретарь Зедельмейер и другие. На конференции обсуждался вопрос о создании так называемой Дунайской федерации — католического, антикоммунистического государства с включением в него Баварии и западных областей Австрии.

В планах расчленения Германии баварским сепаратистам отводилась не малая роль. Баварский сепаратист премьер-министр Эрхард выступил с докладом, носящим весьма претенциозное название — «Бавария и Германия». Он сказал: «Будущая федеральная Германия должна получить свой импульс с Юга», то есть из Баварии. А когда премьера спросили, что он думает о возможности объединения Бизонии с западными областями Австрии, Эрхард ответил: «Германия никогда не оставит надежды на своё единство». Премьер разболтал тайные намерения международной реакции. В то время, когда шли четырёхсторонние переговоры о заключении мирного договора с Австрией, снова возрождалась гитлеровская навязчивая идея о присоединении австрийских земель к Германии.

Идея, высказанная Бирнсом, о создании Соединённых Штатов Германии уже претворялась в жизнь. Американские власти даже подготовили и утвердили «государственные» флаги для своих европейских княжеств. Бавария получила бело-синий флаг, Гросс Гессен — красно-белый. Заранее хоронилась даже сама идея национального единства Германии.

Западные реакционеры настолько были уверены в успехе своих подрывных планов, что почти открыто стали высказываться о разделе Германии. В конце октября из Вашингтона прилетел генерал Клей с новыми инструкциями. Чуть ли не прямо с аэродрома он отправился на пресс-конференцию, где объявил журналистам, что начинается широко задуманный антикоммунистический поход. Этот «бравый» генерал, который всю войну провёл в обозе американской армии, занимая интендантские должности вдали от фронта, теперь вышел на передовую линию и принял на себя верховное командование антикоммунистическим походом. Клей заявил, что в борьбе с коммунизмом пора сбросить лайковые перчатки. Впрочем, он давно уже работал без перчаток, не гнушаясь самой грязной провокаторской работы.

На той же конференции Клей связал свой антикоммунистический поход с планом срыва лондонской конференции. Он говорил: «Если провалится лондонская конференция, было бы крайне желательно объединить возможно большую часть Германии в экономическом и политическом отношении. При условии такого объединения было бы вполне возможно создать временное правительство, основой которого могут послужить существующие сейчас бизональные власти».

Генерал Клей сделал вид, будто он забыл, о чём говорил всего несколько месяцев тому назад в том же зале тем же журналистам. А говорил он тогда, что бизональный совет будет иметь только узко экономические цели.

В то время подручный американских монополистов Курт Шумахер, также только что возвратившийся из Америки, выступил на закрытом совещании берлинского правления правых социал-демократов. Он излагал новые инструкции, которые дали ему вашингтонские хозяева. Шумахер высказался за расчленение Германии и заключение сепаратного мира с Бизонией.

Об этом секретном заседании сообщил в «Нью-Йорк таймс» её берлинский кор-

респондент Дельберт Кларк. Только через месяц решился Шумахер выступить с опровержением, но единственно что мог сделать припёртый к стене провокатор, это обвинить корреспондента в «коммунистических настроениях», в том, что Кларк действует «в антиамериканском духе». Фактов Шумахер не опроверг. Больше того, впоследствии выяснилось, что на одном из совещаний в Америке присутствующие банкиры организовали подписку в пользу правых социал-демократов Германии и торжественно вручили чек Курту Шумахеру.

Ещё до открытия лондонской сессии Совета Министров Иностранных Дел в берлинских журналистских кругах стал известен предварительный план срыва конференции. История этого такова.

В первых числах ноября 1947 года в Целлендорфе (американский сектор Берлина) в вилле корреспондентки «Нью-Йорк Геральд Трибюн» Маргариты Хиггинс произошла встреча небольшой группы американских корреспондентов с заместителем начальника управления американской гражданской администрации (ОМГУС) мистером Скеммоном. Скеммон являлся одним из ближайших сотрудников генерала Клея и был отлично информирован об американской политике в Германии. Официальным поводом этой встречи послужил приезд в Берлин политического комментатора газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн» Джозефа Олсоп, в честь которого Хиггинс и устроила обед.

За обедом Дик Скеммон посвятил собравшихся в секретный план расчленения Германии, разработанный Гувером вместе с военной кликой, пришедшей к руководству внешней политикой. Скеммон конфиденциально сообщил, что он является членом особого секретариата, который разрабатывает линию поведения американской делегации на лондонской конференции. По поручению Клея Скеммон должен был подготовить наиболее надёжных журналистов, а также лидеров немецких социал-демократов к предстоящим событиям. Смысл его информации сводился к тому, что на московской конференции Совета Министров Иностранных Дел руководители западных держав допустили большую ошибку, не сумев добиться срыва конференции. На предстоящей лондонской сессии эту ошибку нужно исправить и во что бы то ни стало добиться разрыва с Советским Союзом. Это даст возможность приступить открыто и немедленно к созданию западногерманского государства.

Как заявил Скеммон, разрыв на конференции должен произойти во время обсуждения вопроса о репарациях. В случае надобности перед советской делегацией должны быть выставлены заведомо неприемлемые для неё требования.

— Мы не можем соглашаться ни с какими компромиссными предложениями русских, — сказал Скеммон, — которые могут нарушить наш план немедленного и окончательного разрыва.

Кроме того Скеммон сообщил, что военный департамент уже разрабатывает проект мирного договора с Западной Германией, который будет иметь необычную форму, а именно — форму оккупационного статута.

На вопрос присутствовавшего на обеде английского журналиста Питера Берчетта, не явится ли окончательный разрыв приближением войны, заместитель Клея ответил:

— Вам, англичанам, нечего беспокоиться. Разрыв с Россией для того и нужен, чтобы создать западногерманское государство, которое станет нашим союзником в предстоящей войне.

План Вашингтона, изложенный Скеммоном, предусматривал созыв совещания премьер-министров Бизонии, на котором бизональному совету будут даны более широкие государственные функции. На первое время решено ни в коем случае не называть новый государственный орган правительством.

Присоединение французской оккупационной зоны к Бизонии намечалось сразу же после прихода де Голля к власти во Франции. Приход этот, по словам Скеммона, ожидался в самом недалёком будущем.

В отношении мирного договора Скеммон развил пропагандистский тезис, оправдывающий перед общественным мнением отдельные действия западных держав.

Он сказал, что если допустимо заключение договора с Австрией, которая во время войны являлась частью Германии, то вполне закономерно и допустимо заключение самостоятельного мирного договора с другой частью Германии — Тризонией.

Скеммон довольно прозрачно намекнул также на то, что предстоит активизация борьбы с левыми элементами в Бизонии, которые могут тормозить осуществление намеченных планов.

Таков был план дипломатической диверсии, направленной на срыв лондонской конференции. Для поджигателей войны провал конференции являлся только началом, исходной точкой для осуществления далеко идущего заговора против мира.

Срыв лондонской конференции явился тем выстрелом из ракетницы на старте американских дельцов, которого они ждали с таким нетерпением. В Бизонию, как саранча, ринулись представители международных картелей, трестов, финансовые дельцы и такие же наглые и беззастенчивые авантюристы. Они ехали группами в специальных поездах и в одиночку. Для коммерсантов, промышленников и всевозможных делегаций открывались специальные гостиницы. Вышли в свет подробные путеводители по Западной Германии, открылись особые справочные бюро. В американской печати появились ликующие сообщения о том, что правительство США предоставило союзу американских промышленников в Бизонии полную свободу действий. Заокеанские бизнесмены потирали руки в предвидении новых сверхбарышей. Они не хотели размениваться на мелочи — для эксплуатации европейской колонии создавался особый частный фонд в три с половиной миллиарда долларов. То, что происходило до сих пор в Западной Германии, было только вступлением к начавшейся вакханалии.

В начале января, то есть вскоре после срыва лондонской конференции, состоялось заранее намеченное совещание премьер-министров земель Бизонии. На конференции встал вопрос о расширении государственных функций бизонального совета. Началось открытое оформление раскола Германии. По этому поводу американская газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» писала:

«Принятие предложения Клея и Робертсона политическими лидерами Западной Германии означает фактически создание правительства для англо-американской зоны, хотя формально оно носит другое название. Создание нового правительства по времени предусмотрено таким образом, что оно развернёт свою деятельность до того, как план Маршалла будет приведён в действие. Это важно, ибо США считают объединённую зону неперемённым семнадцатым членом объединения стран Европы».

Создавая «независимое» правительство, американцы в то же время сохраняли за собой все ключевые позиции. Когда на франкфуртском совещании кто-то из премьер-министров робко попросил допустить их в экспортно-импортное управление, Клей категорически отверг эту просьбу.

Банкир Шахт, снова арестованный под давлением немецкой демократической общественности после нюрнбергского процесса, предложил свой вариант участия Бизонии в плане Маршалла. Он начал с того, что обратился к коменданту лагеря с просьбой дать ему отдельную комнату и бумагу, на которой он мог бы изложить свои идеи. Скоро план Шахта был передан американским властям. Этот план, одобренный Даллесом и экономическим советником Клея Дрейпером, вкратце сводился к тому, чтобы в течение тридцати месяцев с помощью американских фирм обновить на 80 процентов оборудование немецких заводов. Устаревшее же оборудование следует использовать для поставок шестнадцати европейским странам, поддерживающим план Маршалла. Старёе это должно поставляться под видом «оборудования, демонтированного в счёт уплаты репараций».

Таким образом, страны, уповавшие на план Маршалла, получили бы старое оборудование, а немецкая промышленность за их счёт восстановилась бы заново. Барыши, извлечённые в результате этой хитроумной авантюристической сделки, по плану Шахта должны были поделить между собой американские кредиторы и немецкие владельцы обновлённых заводов.

Идеи Шахта, его дополнения к плану Маршалла так прилипли по душе аме-

риканским властям, что они предложили ему немедленно подать ходатайство об освобождении из концентрационного лагеря. Действительно, вскоре Шахт был вторично освобождён из заключения. Состоялась его встреча с американскими промышленниками. Инициатором этой встречи был известный поджигатель новой войны Джон Фостер Даллес.

Вскоре в комитет главного американского администратора по выполнению плана Маршалла в Европе Поля Гофмана был введён некий Гельмут Вольтат. В гитлеровские времена он являлся ближайшим сотрудником Шахта и советником Германа Геринга, осуществлял четырёхлетний план перевооружения фашистской Германии.

Известно, что борьба с германскими монополиями, ликвидация немецких картелей и трестов на основе Потсдамских решений являлась одним из решающих факторов выкорчёвывания фашизма в Германии. Были созданы специальные комитеты по декартелизации. Но её проведение затрагивало интересы американских монополистов, тесно связанных с немецкими магнатами. Во главе американского комитета по декартелизации долгое время находился Джемс Мартин. Под давлением Клея Мартин вынужден был уйти со своего поста. В своём заявлении, опубликованном в печати, Джемс Мартин мотивировал свой уход в отставку тем, что он не в силах больше противодействовать натиску американских картелей и трестов в их стремлении захватить монопольные позиции в Германии. В качестве примера он сослался на деятельность нефтяной американской компании «Стандарт Ойл», «Дженерал Электрик», «Дженерал Моторс»; он называл фирмы Зингера, «Пньюматик Тьюб Компани» и другие.

С уходом Мартина работа по декартелизации фактически остановилась. Клей приказал прекратить какую бы то ни было работу по разукрупнению немецких промышленных монополий. Как сообщал Дельберт Кларк (и это явилось его последним сообщением из Германии), Клей отдал устный приказ новому начальнику отдела декартелизации Бронсону не изменять структуры немецкой тяжёлой промышленности.

Бронсон предупредил своих сотрудников, что полученную директиву о прекращении декартелизации нужно держать в тайне. Отдел сокращался со 150 человек до 25. Оставшиеся сотрудники должны были закончить ликвидацию отдела.

Отменялись и все старые приказы, связанные с декартелизацией. Приостанавливалась и отменялась декартелизация в шарикоподшипниковой промышленности. Картель, связанный со шведским шарикоподшипниковым концерном, уже заключил соглашение на поставку фирме «Кугель Фишер» двух тысяч станков для восстановления заводов, имеющих непосредственное военное значение. Прекращена была работа по декартелизации фирмы «Геншель и сын», производившей паровозы и штурмовые самолёты.

Таково было положение в Западной Германии после лондонской конференции, когда мы снова отправились туда в очередную поездку.

Когда мы приехали в Штутгарт, трамваи стояли. Работники городского транспорта в знак протеста против очередного сокращения пайков прекратили работу. На совещании представителей производственных советов решался вопрос о всеобщей забастовке. Газеты уже сообщили, что норма жиров сокращается вдвое — со 150 до 75 граммов на человека в месяц.

Нам сказали, что остановиться можно в центральной гостинице «Бункер-отель», на поиски которой мы и отправились. Мы долго и тщетно колесили по тёмным улицам города, блуждали среди развалин, пока, наконец, не встретили где-то на площади запоздалого пешехода. На наш вопрос прохожий с усмешкой ответил:

— Вам не нужно далеко ходить — вы стоите на самой гостинице...

Наше недоумение скоро рассеялось. «Бункер-отель» действительно находился под площадью в старом бомбоубежище, превращённом в гостиницу.

В тесном холле, ожидая, пока оформят наши документы, я познакомился с пожилым немецким инженером из Кельна. Он приехал сюда искать работу. Общий разговор о тесноте номеров и затхлом воздухе гостиницы перешёл на тему, которая, видимо, больше всего интересовала моего собеседника. Уже несколько месяцев —

с тех пор как обанкротилась его фирма — дипломированный инженер с двадцатипятилетним стажем не мог найти себе работы.

— Я помню ужасный кризис 1929 года, — сказал он. — Тогда нам казалось, что мы теряем под собой почву. Теперь мы действительно её потеряли — мы летим в пропасть. За один только месяц в Кельне обанкротилось около сорока фирм. Столько банкротств происходило только двадцать лет назад во время мирового кризиса.

Даже по сравнению с прошлым, очень тяжёлым, годом положение ухудшилось.

Продовольственные нормы среднего немецкого потребителя оказались самыми низкими после окончания войны. Год назад в Эссене, в период наиболее бурных голодных забастовок, дневной рацион составлял 750 калорий. Теперь жители Рура получали не больше пятисот. Тогда забастовки охватывали главным образом промышленные центры Рура. Сейчас они вспыхивали всюду — от границ Швейцарии до побережья. Всеобщая забастовка в Баварии охватила два миллиона человек. Вскоре вспыхнула новая забастовка, в которой приняли участие три с половиной миллиона рабочих и служащих.

Во время нашего пребывания в Штутгарте — здесь, в земле Вюртемберг—Баден, забастовало 750 тысяч рабочих. Забастовка совпала с приездом в Штутгарт генерала Клея. Любитель публичных выступлений, он и здесь не преминул выразить... «радость по поводу того, что рабочие решили демонстрировать и засвидетельствовать свою озабоченность вопросом распределения продовольствия». Этот Гапон в генеральской форме готов был, казалось, сам идти во главе колонны забастовщиков и протестовать против голода, им же самим организованного.

Ханжество генерала Клея было не случайным. Американские зубатовы всячески старались подчинить своему влиянию вспыхнувшую забастовку, ввести её в тихое русло. Для того и сидели там, в Штутгарте, представители американских жёлтых профсоюзов во главе с опытным провокатором Рутцем. Но вопреки их желаниям, голодные демонстрации и забастовки всё чаще стали приобретать политическую окраску. Трудящиеся Западной Германии всё активнее начали протестовать и возмущаться гибельной политикой американских монополистов. В Мюнхене демонстранты вышли на улицу с лозунгами: «Только единство Германии обеспечит страну продовольствием». А в Золингене забастовщики вывесили плакат с надписью: «Только единая Германия положит конец голоду». Это был голос масс, выступающих против политики немецких и американских реакционеров.

В Штутгарте мы узнали из газет, что американские оккупационные власти объявили о продаже с аукциона восьми немецких оптовых фирм по торговле углём. В открытом аукционе могли принимать участие только коренные жители Штутгарта и иностранцы, потерпевшие в Германии ущерб во время войны. Мы отправились в Совет земель, чтобы выяснить подробности этих торгов. Долго и тщетно мы пытались узнать хотя бы фамилии участников этого открытого аукциона. Под разными предложениями нам отказались назвать имена наиболее вероятных претендентов, желающих приобрести в собственность угольные предприятия. Были засекречены даже имена американских представителей военной администрации, продающих с молотка немецкие фирмы. Причина этой таинственности была в том, что основным участником торгов, пожелавшим купить все восемь предприятий, оказался представитель нью-йоркского отделения известной фирмы Стиннеса, которая давно уже перешла в собственность американцев.

Сразу же после лондонской конференции американские власти начали возвращать предприятия их старым немецким владельцам. Во Франкфурте-на-Майне я посетил фабрику «Декузо», единственную в Западной Европе по изготовлению огнеупорных эмалевых красок. Мы посетили эту фирму в знаменательный для неё день — американские власти восстановили в правах собственности её владельца. Правда, восстановление это имело только символическое значение. В гитлеровские времена председателем правления был некий доктор Бернау. После войны американцы назначили опекуном фирмы того же Бернау. В день нашего посещения фирмы опекуном док-

тор Бернау передал дела старому председателю правления — тому же доктору Бернау, то есть самому себе...

На другом предприятии «Декузо» — в Дюссельдорфе — опекуном числился со-владелец фирмы Шульц. Теперь его восстановили в правах владельца. Американцы больше двух лет блокировали капиталы фирмы «Декузо». Они блокировали и контрольный пакет акций, принадлежавший немецкому промышленнику Хенкелю. С сего дня, как в старое и доброе для монополистов время, семья Хенкеля стала свободно распоряжаться своими акциями. А в знак благодарности Хенкель и другие акционеры поделились частью своих акций с милостивыми американцами...

На фирме «Декузо» я разговаривал с членом правления доктором Бервиндом. Он рассказал, что после войны на их заводе перебивало более ста двадцати различных комиссий по сбору патентов и производственных секретов. Среди посетителей он узнавал представителей конкурирующих с «Декузо» американских фирм: «Харбон Кооль», «Колумбия», «Биней энд Смит» и других. Военную форму они надевали только для того, чтобы посетить фабрику. К явному неудовольствию присутствовавшего при беседе американского офицера, Бервинд признался, что их фирма понесла больший ущерб от изъятия патентов, чем от бомбардировок во время войны.

В Штутгарте и Франкфурте мы были немало удивлены, когда в магазинах, торгующих нормированным продовольствием, увидели финики. Это выглядело настоящим издевательством над голодающими жителями. Немцы мрачно острили по этому поводу: «живём, как в Африке — ходим голые и едим финики»...

Выяснилось, что финики доставлены из Ирака и, как утверждали американизированные газеты, они импортируются на основе программы помощи детям. Потом обнаружилась настоящая подоплёка этой «детской помощи». В своё время США предложили Ираку большую партию трофейного оружия, за которое Ирак не мог расплатиться долларами. Тогда кому-то из американских деятелей пришла в голову идея получить за оружие финики и отправить их в Западную Германию. Ирак получил немецкое оружие, а Соединённые Штаты — доллары, которые взыскали с немцев за доставленные им финики.

Под видом помощи в Бизонию отправлялись и залежавшиеся или негодные товары. Через бременский порт, например, поступила большая партия текстильных товаров. Пароходы с текстилем прибыли из Западной Африки. Там эти ткани не нашли спроса среди туземцев, и тогда негодный товар послали в Бизонию. Поставили сюда и партию сушёного китового мяса, предназначавшегося для корма собакам где-то на дальнем севере. Из китового мяса стали делать колбасы. Санитарное управление города Пиннеберг заявило протест, утверждая, что мясо не годно к употреблению, но всё же партию собачьего корма израсходовали до конца.

Американские военные власти сумели всучить немцам старое, бывшее в употреблении армейское имущество, начиная от противогазов и кончая разбитыми камуфлированными автомобилями. Автомобили даже продавались не поштучно, а на вес. За весь этот хлам американские интенданты записали на немецкий счёт 740 миллионов долларов.

Характерно, что иностранные финансисты не стали даже утруждать себя тем, чтобы изменить название своих колониальных банков, филиалы которых открылись в Бизонии. В Гамбурге начали свою деятельность филиалы двух английских колониальных банков — «Бритиш бэнк оф Вест Африка» и «Стандарт бэнк оф Зюд Африка». Немецкие остряки были не далеки от истины, утверждая, что живут, как в Африке.

Во Франкфурте-на-Майне открылся «Чейз нэйшнл бэнк», который ещё до войны финансировал германскую тяжёлую промышленность. Вице-президентом «Чейз нэйшнл бэнк» после войны стал работать Томас Маккитрик. Прежде он управлял Банком международных расчётов в Швейцарии, скупал у гестапо золотые зубы, кольца, перстни и другие ценности, снятые эсэсовскими палачами с замученных ими людей. Немецкие военные преступники, виновные в скупке золота, обогрётного кровью, были повешены в Нюрнберге, американский же преступник, ску-

павший те же награбленные ценности, получил повышение. Он снова стал финансировать немецких магнатов, взрастивших Гитлера и поставивших у власти немецких фашистов.

Процесс сращивания, объединения германских и американских монополистов стал происходить всё более быстрыми темпами. Реваншистские идеи немецких империалистов и агрессивные планы американских носителей идей «мирового господства» объединяли и тех и других в единый блок поджигателей новой войны. Нарушив обязательства о совместном четырёхстороннем контроле над Руром, американская военщина целиком подчинила себе этот важнейший промышленный район Германии. Закрепление американского влияния было осуществлено введением так называемой директивы № 75 о правах собственности.

За год до опубликования директивы мне пришлось встретиться в Дюссельдорфе с представителем германских монополистов — с бывшим директором гигантского «Стального треста» («Ферейнигте штальверкс») Динкельбахом. Активного нациста, бывшего военнохозяйственного руководителя при Гитлере, англичане представили нам, как главного инициатора «декартелизации» немецкой тяжёлой промышленности. Международный Военный Трибунал должен был судить Динкельбаха, но англо-американские покровители избавили его от этой участи. Вместо скамьи подсудимых он получил кресло руководителя по декартелизации.

Старик с дряблыми, обвисшими щеками сидел, откинувшись в кресле, Полузакрыв глаза, он изрекал нам основы своего плана. Динкельбах говорил медленно, тщательно подбирая слова, был осторожен в ответах и делал вид, что не слышит наиболее щекотливых вопросов. В затруднительном положении на помощь ему приходил британский представитель «Стил контрол» — контроля над стальной промышленностью — мистер Бурленд. Смысл всего разговора сводился к тому, что оба они пытались заверить советских журналистов в одном: декартелизация, проводимая Динкельбахом, послужит в дальнейшем прекрасной и широкой базой для выполнения планов лейбористского правительства в области социализации рурских шахт, заводов и фабрик.

Спустя год я ещё раз слышал Динкельбаха. Он выступал по радио на следующий день после издания директивы о Руре. Старый зубр перестал маскироваться под «социализатора». Без обиняков он заявил: «Я всегда говорил о том, что старые владельцы не пострадают. Теперь немецкие предприниматели будут не только руководить промышленностью, но и защищать интересы собственников».

Недаром англо-американская директива вызвала такое бурное оживление в кругах немецких предпринимателей. Союз немецких промышленников в Дюссельдорфе откликнулся на директиву боевым кличем: «Настал час наших действий!»

У рурских магнатов оказалось не мало своих людей среди американской военной администрации. Ещё до опубликования директивы американский экономический консультант Уилкинсон предварительно изложил план создания новых германских трестов на собрании членов «Хозяйственно-политического общества 1947 года». Он весьма одобрительно отозвался о заслугах гитлеровских военно-хозяйственных руководителей (вервиртшафтсфюреров), которые будут поставлены во главе новых американизированных объединений. Это заявление вызвало самодовольные улыбки на лицах присутствующих. Как должное, восприняли они и заявление Уилкинсона о том, что акции новых обществ будут распределяться среди бывших владельцев предприятий рурской промышленности. Правда, основной пакет акций «для контроля» будет принадлежать американцам, но зато отменяется четырёхсторонний закон о секвестре — аресте, наложенном на предприятия военных преступников.

Когда-то Гитлер выступал в дюссельдорфском «Клубе господ». Возгласами одобрения, аплодисментами поддержали члены клуба его выступление. Магнаты делали тогда свою ставку на Гитлера. Шестнадцать лет спустя те же самые господа, переименовав свой клуб в «Хозяйственно-политическое общество 1947 года», слушали представителя американской реакции, одобряя и приветствуя его выступление: Уилкинсон ведь высказывал действительное мнение военно-промышленных американских кругов!

Свои высокие полномочия он получил от Джона Фостера Даллеса по рекомендации бывшего министра по делам армии Говарда Патерсона. А немецким предпринимателям Патерсон хорошо известен, как юридический представитель и защитник интересов «ИГ Фарбениндустри» в Соединённых Штатах.

В 1948 году на политической арене стала всё чаще появляться фигура Филиппа Хоукинса. Он управлял вопросами имущественных отношений в Бизонии.

Филипп Хоукинс привлёк к себе в помощники немецких монополистов. Его экспертами стали Рудольф Мюллер — совладелец химического треста и председатель «Хозяйственно-политического общества 1947 года», банкир Абс, присоединивший к «Немецкому банку» сотни банков оккупированных Гитлером стран. Джон Фостер Даллес освободил Абса от судебной ответственности в Нюрнберге. Среди экспертов оказались бывший руководитель военной экономики фашистской Германии Витс, он же директор «ИГ Фарбен», Герман Бюхер — бывший член военно-промышленного совета при Гитлере и директор АЭГ, и целый ряд других. Американские поджигатели заботливо отбирали себе помощников: всё это «специалисты», накопившие преступный опыт в подготовке и проведении агрессивных войн.

Германские предприниматели недаром пошли в услужение к американским империалистам, недаром отдают им свой опыт: американцы обещали вернуть барыши. Дело дошло до того, что уже в 1948 году «Стальной трест», директором которого был Динкельбах, по разрешению американских властей начал выплачивать дивиденды своим акционерам за военный период с 1940 по 1944 гг. — прибыли, полученные на убийстве солдат различной национальности, в том числе и американской. Трест получил также право брать проценты по займам, которые он давал немецким фирмам для расширения военного производства при Гитлере. Такое же право получили концерны Круппа и Геша. А в феврале того же года в здании «Стального треста» в Дюссельдорфе — в «Шталхаузе», где английские чиновники военной администрации представляли нам Динкельбаха, как главного «социализатора» и «декартелизатора» германской промышленности, состоялось закрытое совещание двухсот крупнейших акционеров металлургической промышленности. Они приняли решение создать объединение промышленников «Виртшафтсфербанд эйзен унд шталь» для восстановления старых монополистических позиций германских промышленных магнатов.

Всё это стало возможным только после срыва лондонской конференции. Это было частью плана, изложенного Скеммоном.

Не остались в накладе и сами благодетели фашистских преступников. По директиве № 75 о правах собственности в Руре все предприятия, имеющие больше половины иностранного (читай — американского) капитала, освободились от всякого контроля и получали полную свободу действий.

Американские колонизаторы располагались в Руре всерьёз и надолго. В этот период ими была запроектирована постройка пяти мощных шахт, которые будут давать ещё 10—12 процентов рурского угля. Началось обсуждение плана тридцатилетнего строительства шахт. В первые двадцать лет было намечено строительство двадцати двойных шахт с общей производительностью в 100 тысяч тонн в сутки. Для этой цели, в частности, и создан был фонд американского союза промышленников. И в области кредитования повторялась старая история. Как известно, немецкий угольный король Гуго Стиннес получил в своё время заём в 25 миллионов долларов, — с кредиторами он расплатился натурой: предприятия Стиннеса перешли к американским капиталистам.

Город затяжных процессов.

После окончания работы Международного Военного Трибунала мне ещё не раз приходилось бывать в Нюрнберге, который стали называть городом затяжных процессов. Действительно, там одновременно происходило с полдюжины разных судов, а в общей сложности в нюрнбергском «Дворце юстиции» состоялось что-то около шестидесяти процессов над различными группами фашистских преступников.

В Нюрнберге поражало и возмущало то, что американские военные трибуналы рабобатали... под охраной фашистов. Охрану здания «Дворца юстиции» несли беглые военные преступники различных национальностей, завербованные американскими военными властями в специальные отряды из среды так называемых «перемещённых лиц».

Хотя перед началом заседаний герихтсмаршал — распорядитель суда и произносил традиционную фразу «Боже, защити Соединённые Штаты Америки и честь этого высокого суда», но высокому американскому трибуналу не делало чести то, что он заседал под охраной преступников.

Каждый день, ровно в половине пятого и ни минутой позже, главные судьи многочисленных американских трибуналов объявляли перерыв до следующего утра. В чёрных средневековых мантиях степенно поднимались члены трибуналов со своих, месяцами насиженных, мест, выходили из залов заседаний и сливались в коридорах с толпой защитников, одетых в такие же чёрные мантии.

Во всех процессах функции Международного Военного Трибунала самоуправно присвоили себе американские судьи. Они выступали в роли беспристрастных жрецов богини Фемиды, но под видом правосудия фальсифицировали минувшие события, выгораживали подсудимых, оправдывали фашистские преступления.

В Нюрнберге я бывал почти на всех происходивших там процессах, знакомился с материалами обвинения и защиты, читал решения уже законченных дел. И невольно напрашивался вывод: американские трибуналы превратились в ревностных защитников германской агрессии. Они послушно выполняли указания международных реакционеров.

Одним из первых в Нюрнберге закончился процесс крупнейшего германского монополиста Фридриха Флика и пяти его сообщников. Концерн Флика объединял десятки угольных шахт, рудников, чугунолитейных, сталепрокатных, авиационных, машиностроительных и других заводов, был главным арсеналом, который вооружал фашистских заговорщиков. В этом отношении, по масштабам его деятельности, Флика можно сравнить только с династией Крупнов или с химическим концерном «ИГ Фарбен-индустри».

Флик был активным членом штаба заговорщиков по координации действий германских промышленников и эсэсовцев. Штаб этот назывался «Кружком друзей Гиммлера», Флик состоял руководящим членом правлений многих акционерных обществ. Он входил в состав правления «Берг унд Хюттенверке Ост» — общества, созданного специально для эксплуатации недр и металлургических заводов Советского Союза. Одновременно с грабежом оккупированных территорий это общество занималось насильственным угонем советских людей в фашистское рабство. Десятки тысяч их погибли на заводах и шахтах Флика от непосильного труда, голода и жестоких побоев.

Флик не забывал себя при дележке захваченной добычи. Он присвоил себе вагоностроительный завод в Риге, семь заводов-гигантов на Украине, объединив их под одной немецкой вывеской «Днепр-Шталь». Все эти заводы были разграблены и уничтожены перед отступлением германской армии.

Много месяцев длился процесс Флика. Его прерывали, начинали вновь. И вот американские судьи изрекли наконец свой приговор. Трудно даже было понять, в чём же они в конце концов признали виновным Флика. Американский трибунал отверг все главные обвинения. Отпало обвинение в использовании рабского труда. «По давности лет» судьи простили ему присвоение еврейского имущества во время так называемой «аризации» германской промышленности.

Совершенно невероятно прозвучало утверждение американских судей, которые «не нашли» состава преступления в том, что Флик грабил оккупированную территорию Советской России. Американский трибунал в Нюрнберге фактически одобрил действия немецких захватчиков в Советском Союзе.

Во время войны я был на заводе «Вайрогс» («Знамя») через несколько часов после изгнания немецко-фашистских войск из Риги. Я видел следы грабежа и опустошений, которые произвели здесь фликовские инженеры. Я видел после войны разбитые и мёртвые заводы на Днестре. Поваленные домны, взорванные мартены, прокатные

цехи были превращены в сплошное нагромождение металла, в железный лом. Я вспомнил об этих разрушениях, когда читал возмутительный приговор американских судей по делу Флика. Да и нельзя было без негодования читать эти строки, написанные фальсификаторами в чёрных мантиях.

«Когда немецкие гражданские власти ушли,—говорилось в приговоре по делу Флика,—все эти заводы остались не разрушенными. Ввиду отсутствия доказательств обратного, мы полагаем, что они оставались в таком же хорошем состоянии, когда вернулись русские».

Американские поджигатели не только себя называют благодетелями Европы. Гитлеровских захватчиков они также объявляют благодетелями... В приговоре указывалось, что гитлеровцы не только не разрушали советскую промышленность, но даже якобы сами вкладывали туда свои капиталы.

Чёрным по белому написали американские судьи в своём приговоре: «Из всего вышеизложенного мы выводим тот принцип, что имущество, принадлежащее государству, может быть захвачено и может эксплуатироваться в пользу оккупанта, находящегося в состоянии войны в течение всего периода оккупации. Оккупант имеет привилегию узуфрактора (право эксплуатации без ущерба для имущества. — Ю. К.). Имущество, которое могло эксплуатироваться самим правительством в свою пользу, могло так же законно эксплуатироваться опекуном. Мы считаем несущественным стремление приобрести право собственности. Пожелать — это грех по заповеди, но не военное преступление. Поэтому мы заключаем, что здесь не имели места криминальные действия, за которые кто-либо из обвиняемых может быть наказан в связи с заводами «Вайрогс» и «Днепросталь».

Судьи, приплывшие из-за океана, где суд Линча стал основой правопорядка, решили возвести в принцип ограбление миролюбивых стран. Поджигатель Даллес в Америке и главный судья в Нюрнберге Сирс преследовали одну цель. Один призывал к войне, другой заранее подводил юридическую базу, оправдывал грядущие преступления. Жрецы правосудия, превратившиеся в апостолов беззакония, подстрекали новых преступников на международные авантюры, обещая им полную безнаказанность.

Я читал и другой приговор — по делу карателей-генералов, палачей-фельдмаршалов во главе с Листом, Гойтнером и Вейксом, которые разбойничали на Балканах. Вместо того чтобы их повесить, как того требовало соглашение о наказании военных преступников, американский суд узаконил их преступления. Генералы были виновны в убийстве ста тысяч мирных людей, в расстрелах заложников, в казнях югославских и греческих патриотов, боровшихся за освобождение своей родины. Фельдмаршал Лист истреблял по сто невинных заложников за каждого убитого немецкого солдата. Американский трибунал оправдал эти убийства.

Во время процесса произошёл любопытный эпизод. Защитники, перестаравшись, заявили суду, что их подзащитные вели себя в Греции так же, как ведут себя там американцы. Защитники предложили высокому суду выехать в Грецию и самим убедиться в этом. В суде произошло замешательство.

Трибунал отказал адвокатам в ходатайстве о поездке в Грецию, но... оправдал действия палачей.

Американские судьи в своём приговоре заимствовали у гитлеровцев даже терминологию. И те, и другие называют участников сопротивления «партизанскими бандами», которые «воевали не по правилам». В приговоре по делу генералов-карателей можно было прочитать такие фразы: «Немецкие солдаты подвергались нападениям со стороны партизанских банд Греции. Партизаны сами поставили себя вне закона и не могли рассматриваться, как обычные военнопленные. Обвиняемым нельзя вменить в вину убийство таких пленных, принадлежащих к группам сопротивления».

В одну из поездок в Нюрнберг я побывал на процессе директоров «ИГ Фарбен-индустри». Директоров судили в том же зале, где происходили заседания Международного Военного Трибунала. Карл Краух, Герман Шмиц, Амброс, фон Шницлер и другие — всего двадцать четыре директора — сидели на местах главных военных преступников.

Крупнейший международный концерн, владевший девятьюстами химическими предприятиями в Германии и за границей, был наиболее типичным представителем капиталистических монополий. Он зародился сорок лет тому назад в Людвигсгафене, как объединение по изготовлению анилиновых красок. Его организаторы дважды заливали мир кровью. Химический концерн был монопольным поставщиком удушливых газов для армии кайзера, был главным поставщиком взрывчатых веществ. После военного разгрома концерн не только уцелел, но, с помощью иностранного капитала, поглотил почти всю немецкую химическую промышленность. Спрут продолжал жить, он готовился к новой международной войне. Документально подтверждено, что «ИГ Фарбен» ещё до прихода Гитлера к власти готовился к новой войне. Установление фашистского режима было только частью этой подготовки.

В наиболее критический для гитлеровцев момент, когда в 1932 году они потеряли на выборах два миллиона голосов, Геббельс писал в своём дневнике: «Царит тяжёлая депрессия, финансовые затруднения делают всякую организационную работу невозможной. Существует опасность развала всей партии». Но промышленные магнаты не допустили развала фашистской партии. В те дни к Гитлеру в Мюнхен явились два представителя «ИГ Фарбениндурии» Шницлер и Гаттенау. Они вели деловой разговор. Шницлер спросил — согласна ли гитлеровская партия в случае прихода её к власти поддержать дорогостоящие опыты по производству синтетического бензина. Бензин нужен для войны, война нужна монополиям. Гитлер дал согласие, торг был заключён.

За неделю до поджога рейхстага в доме Геринга состоялась встреча Гитлера с группой немецких промышленников. От «ИГ Фарбен» на совещании присутствовал тот же Шницлер, который оказался впоследствии на скамье подсудимых в Нюрнберге. Были там и Крупп и другие немецкие магнаты. Гитлер сообщил о своём намерении силой захватить власть, просил у своих хозяев совета. Геринг просил денег на эту операцию. Промышленники-монополисты дали и совет и деньги.

Тогда «ИГ Фарбен» передал в кассу гитлеровской партии 400 тысяч марок. Это был самый большой куш, который внесли немецкие промышленники для непосредственного обеспечения захвата власти Гитлером. Всего химический концерн передал в распоряжение фашистской партии более сорока миллионов марок. Деньги эти были затрачены не даром. За десятилетие гитлеровской власти доходы химического концерна возросли с 48 до 822 миллионов марок в 1943 году. «ИГ Фарбениндурия» получил неограниченную, монопольную возможность развития химической военной промышленности в Германии. Концерн производил 84 процента всех взрывчатых веществ, 95 процентов удушливых газов, сто процентов синтетического каучука, все технические масла. Под его контролем целиком находилось производство искусственного бензина. «ИГ Фарбен» стал главным арсеналом фашистской армии, основным поставщиком стратегического сырья. Без его продукции не мог бы сдвинуться с места ни один немецкий танк, ни один немецкий самолёт не поднялся бы в воздух, ни одна немецкая пушка не сделала бы ни одного выстрела.

Пользуясь личными связями с Гиммлером, «ИГ Фарбен» построил специальный завод синтетического каучука в концлагере Освенцим. На работу в заводских цехах отбирали только здоровых людей. Непригодных к работе душили газом, сжигали в печах крематориев. Документально подтверждается, что текучесть рабочей силы на заводе ежегодно достигала трёхсот процентов. Если расшифровать эту цифру, то она означает, что каждый заключённый мог выжить здесь не более четырёх месяцев. Потом обессиленных рабов гнали в газовые камеры. На этом заводе работало 25 тысяч заключённых. Управлял заводом подсудимый Амброс.

Из лабораторий «ИГ Фарбен» вышел смертоносный газ «Циклон Б», которым пользовались гитлеровцы при массовом истреблении людей в концентрационных лагерях. Опыты с газом производились под руководством Гер-Меера, Амброса и Горлейна. Первыми при испытании «Циклона Б» погибли сто пятьдесят советских офицеров. Умертвили их в блоке № 11 в Освенциме. Одного килограмма «Циклона Б» достаточно для

уничтожения 1 500 человек. Заводы химического концерна только в 1943 году выпустили четыреста тонн этого газа.

Мы узнали и о других преступлениях. Была обнаружена переписка «ИГ Фарбен» с командованием СС. Советскими властями найдено пять страшных писем о покупке фирмой двухсот наших женщин для медицинских экспериментов. Советских женщин продавали поштучно. Эсссовцы запросили по 200 марок за человека. Химикам показала цена слишком высокой. Предложили по 150. Сторговались на ста семидесяти марках. А в последнем письме дирекция «ИГ Фарбен» сообщила, что транспорт с женщинами получен, опыты прошли — все женщины умерли. Начались переговоры о поставке новой партии.

Агенты «ИГ Фарбен» шли в Россию следом за гитлеровскими войсками. У них задолго до войны был разработан план захвата советских заводов химической промышленности. Краух — председатель наблюдательного совета концерна — даже назначил своих директоров на наши заводы. В Ярославле должен был появиться доктор Георг Эберт, в Казани — Ганс Келен, в Воронеже — Гуидо Розенберг. Даже в Ереван назначили директором химического завода Артура Вольфрама. Во всех этих городах они готовились создавать новые Освенцимы.

То, что изложено здесь, в значительной части взято из обвинительного заключения по делу директоров «ИГ Фарбен» и других документов, находившихся в распоряжении трибунала. И судьям, и обвинителям отлично были известны все эти факты. Дело в том, что подготовка к процессу над директорами-убийцами началась ещё в тот период, когда в Нюрнберге среди американских обвинителей было не мало прогрессивно настроенных американцев. При участии советских представителей все изобличающие документы были тщательно подобраны, и их уже невозможно было скрыть от международного общественного мнения. Многие демократически настроенные американские юристы, искренне стремившиеся разоблачить и наказать военных немецких преступников, впоследствии были высланы из Нюрнберга. Ставленники реакционных американских кругов, присланные на их места в трибунал, в ходе процесса всячески пытались отвести все ранее выдвинутые обвинения.

Представители американских монополий, тесно связанные с преступной деятельностью «ИГ Фарбен», мобилизовали свои силы для того, чтобы добиться оправдания директоров и скрыть свои связи с ними. Американский суд превратился в трибуну антисоветских выступлений. Дело дошло до того, что трибунал под председательством Сирса по требованию защиты запретил обвинителям предъявлять документы, изобличающие подсудимых в грабеже Советского Союза. А защитник Ашенауэр, при благосклонном попустительстве членов трибунала, заявил, что вообще следует прекратить дело «ИГ Фарбен», так как лондонский статут, на основе которого происходит разбор дела, теперь не действителен — статут был подписан... Советским Союзом.

Правда, с этим защитником вскоре произошёл неприятный казус. Выяснилось, что сам Ашенауэр является военным преступником, который нашёл, что безопаснее всего скрываться в здании нюрнбергского трибунала. Ашенауэр принимал участие в зверствах над французскими патриотами в Париже. После того как это раскрылось, адвокат-преступник предпочёл исчезнуть из Нюрнберга.

Другой защитник на этом процессе — Гирлих, оказалось, в своё время сам редактировал и составлял документы, которые фигурировали на суде, как улики и доказательства преступлений «ИГ Фарбен».

Примерно такого же пошиба были и остальные защитники «ИГ Фарбен». Всего их насчитывалось человек пятьдесят. Пятнадцать из них — бывшие адвокаты, юристы концерна «ИГ Фарбен», связанные с подсудимыми в своей прошлой деятельности.

Нравы и обстановку, царившую на этом процессе, можно проиллюстрировать и таким примером. Несколько сотрудников группы обвинения как-то выехали в Людвигсгафен, находящийся во французской зоне, чтобы там, в архивах «ИГ Фарбен», отобрать для процесса некоторые дополнительные документы. Обнаружилось, что по распоряжению адвоката Альте, защищавшего подсудимого Амброса, все материалы, компрометирующие преступников, были уничтожены. Выяснилась и ещё одна деталь. Этот

защитник по совместительству работал в составе французской администрации и руководил бюро на заводах «ИГ Фарбен» в Людвигсгафене. Выступал он там под другой фамилией — Бергман. Поступил он на эту работу по рекомендации каких-то высокопоставленных лиц из американской военной администрации.

Снаряжая своих подсудимых на процесс (Амброс и Вурстер были арестованы во французской зоне), французские власти снабдили их своими защитниками. Кроме того в Людвигсгафене под руководством Альте-Бергмана работал целый сонм юристов, секретарей и машинисток. Предоставляя к услугам защиты все архивы, французские, так же как и англо-американские, власти препятствовали тому, чтобы работники обвинения знакомились с документами, компрометирующими подсудимых. Так же вели себя и швейцарские правительственные круги. В Швейцарии существует фирма «Шутцен ИГ». Большая часть капитала этой фирмы принадлежала «ИГ Фарбениндустри» и финансировалась через фарбеновский «Дейче лендербанк». Чтобы раскрыть эти связи, потребовались некоторые документы, но швейцарские власти наотрез отказались познакомиться обвинителей с какими бы то ни было документами. Монополисты всех стран поднялись на защиту своих немецких коллег.

В Нюрнберге я снова встретился с одним из американцев — сотрудником группы обвинения, которого знал ещё по процессу главных военных преступников. Мы сидели за столиком в «Гранд-отеле», и мой собеседник во время разговора то и дело беспокойно оглядывался. Я осведомился у него, чем вызвана такая нервозность. Тогда он сказал:

— Вы не представляете себе, что здесь происходит. Я уже знаю, что мне придётся завтра писать объяснение по поводу нашей встречи. С русскими теперь опасно встречаться: федеральное бюро немедленно обвинит в «опасных связях». Теперь модно дружить с фашистами. Это считается проявлением американской лояльности.

Собеседник горько усмехнулся и начал вспоминать о совместной работе с русскими обвинителями на первом процессе.

— Тогда, — сказал он, — по каждому поводу мы могли обратиться к нашим советским коллегам. В трудных случаях мы могли действовать через советских обвинителей. Советская делегация была тараном, который разбивал все выпадывающие защитников. Теперь мы изолированы и с беспокойством думаем, что будет с нами в Америке.

Собеседник задумался и внезапно обратился ко мне с несколько странной просьбой.

— Вы знаете, о чём мне хотелось бы попросить вас, — сказал он. — Напишите против нас, обвинителей, резкую статью в советской печати. Это поможет нам — вскрыется то, что здесь происходит.

Разговор перешёл на другую тему. Начали говорить о международных связях «ИГ Фарбен». Я спросил, почему они не пригласят на процесс, хотя бы в качестве свидетелей, представителей американских фирм — к примеру «Дюпон» или «Стандарт Ойл». Американец проницательно улыбнулся и на вопрос ответил вопросом.

— Вы хотите, чтобы мы выиграли или проиграли этот процесс?

Демократически настроенный обвинитель, один из очень немногих оставшихся в Нюрнберге, знал, что представители американских фирм будут выступать только в защиту подсудимых. Он рассказал, что уже во время процесса фирмы «Стандарт Ойл» и «Дюпон» прислали своих агентов для организации и финансирования защиты директоров-преступников. Эта скандальная история хранилась в глубокой тайне. Американские монополисты замечали следы своих преступлений.

Однако мне удалось собрать некоторые из тех материалов, что разоблачали международных сообщников директоров-душегубов и, конечно, не фигурировали на самом процессе.

Химический концерн «ИГ Фарбен» не один совершал преступления против человечества. В этом помогали ему и американские монополии. Такие американские фирмы, как «Дюпон», «Стандарт Ойл», «Международная телеграфно-телефонная корпорация», «Дженерал Моторс» и другие принимали непосредственное участие в вооружении фашистской Германии. Но когда на процессе, хотя бы косвенно, возникал вопрос о меж-

дународных связях «ИГ Фарбениндустри», голос американских обвинителей переходил в робкий, застенчивый шёпот. А главный прокурор Тэйлор в своей вступительной речи, вопреки даже оглашённому обвинительному заключению, неожиданно заявил: «Корпоративное объединение, то есть юридическое лицо «ИГ Фарбен», не совершало преступлений. Оно было только инструментом в руках лиц, которые руководили его деятельностью». Главный прокурор превратился на процессе в защитника германских монополий. Таким вступлением он задал тон всему ходу процесса. Оправдывая «ИГ Фарбен», как юридическое лицо, Тэйлор пытался оправдать, в первую очередь, американские монополии.

Но исторические факты опровергают американского прокурора-защитника.

Известно, что в период мюнхенского соглашения, открывшего путь первым агрессивным германского фашизма, между американской фирмой «Стандарт Ойл» и «ИГ Фарбен» был заключён картельный договор, по которому немецкие промышленники обязались не выступать на международном рынке со своим синтетическим бензином. Собственно говоря, они сами были кровно заинтересованы в этом. Производство синтетического бензина только начинало развиваться в Германии и не могло удовлетворить даже потребностей внутреннего рынка. Но за такую «жертву» «ИГ Фарбен» выторговал себе право участвовать в прибылях американской фирмы, производящей нефтяные продукты, в том числе и авиационный бензин. Этот договор оставался в силе и во время войны. Создалось парадоксальное, дикое положение: «Стандарт Ойл» посылала в Европу бензин для союзной авиации, а немецкая фирма получала за это прибыль. Чем больше налётов совершала англо-американская авиация на немецкие города, тем больше прибылей получал «ИГ Фарбен». В счёт этих прибылей «Стандарт Ойл» во время войны обязалась поставлять Германии бензин и минеральные масла.

По картельному соглашению «Стандарт Ойл» обязалась обмениваться с «ИГ Фарбен» технической информацией и передавать ему новейшие открытия. Уже во время войны американская фирма пыталась тайно передать немцам совершенно секретный способ изготовления синтетического бензина. С этой целью все материалы отправили во Францию, которая к тому времени была оккупирована германской армией.

Такое же преступное соглашение было заключено и в области производства синтетического каучука. «Стандарт Ойл» обязался снабжать германских химиков всеми известными ей рецептами изготовления искусственного каучука. Даже после разлившейся катастрофы в Пирл Харбор, когда американцы потеряли почти все источники сырья и Америка уже вступила в войну, «Стандарт Ойл», в угоду своему германскому союзнику, всячески тормозила развитие синтетической промышленности в своей стране. Фирма упорно отказывалась передать правительству Рузвельта новейшие патенты по выработке искусственного каучука, в то время как все эти рецепты давно уже были переданы немцам.

Помощь воюющей Германии не ограничивалась только бензином и каучуком. В начале войны «Стандарт Ойл» отказалась передать американским военным заводам способ изготовления толуола, имеющего решающее значение при изготовлении взрывчатых веществ. Этот патент также ещё раньше был отправлен в фашистскую Германию.

Другой американский концерн «Дюпон» во время войны категорически отказался продавать боеприпасы странам, воюющим с Германией, на том основании, что при их изготовлении пользовались дитросеном, запатентованным заводами «ИГ Фарбен». За продажу дитросена, как и авиационного бензина, «ИГ Фарбен» получал свою долю прибыли, которая выплачивалась... из американской казны.

Фирма «Дюпон» начала вооружать Германию сразу же после прихода Гитлера к власти. Установлено, что ещё в 1933 году «Дюпон» заключила договор с немецким шпионом и диверсантом — неким Гиера о снабжении Германии контрабандным оружием и боеприпасами. Сотрудники «Дюпон» — полковник Тэйлор и Кэсси вели секретные переговоры о поставке оружия в Германию.

В начале войны «Дюпон» и «Стандарт Ойл» заключили с дирекцией «ИГ Фарбен» секретное соглашение, по которому они на некоторое время прекращали обмен техни-

ческой информацией, но в соглашении было оговорено, что «все другие договорные обязательства сохраняют силу и в дальнейшем». Таким образом, американские монополисты не порывали деловых связей с «ИГ Фарбен» в продолжение всей войны.

Американские монополии финансировали не только военную промышленность, но даже и эсэсовские организации. Они отлично знали, кто финансирует Гитлера, и сами принимали в этом участие.

В обвинительном заключении против директоров «ИГ Фарбен» указывалось, что в кружок «Друзей Гиммлера», наряду с начальником концлагерей эсэсовцем Полем, руководителем эсэсовских медицинских экспериментов Зиверсом, входил представитель «ИГ Фарбен» подсудимый Бутефиш. Но в обвинении обходилось молчаньем то, что в этот кружок входил также и представитель фирмы «Лоренц», в которой 99 процентов всего капитала принадлежало американскому Телефонному тресту. Члены кружка «Друзей Гиммлера» финансировали преступления СС. Ежегодные взносы жертвователей выражались в один миллион марок. Сюда входили и пожертвования американского Телефонного треста, производившиеся через фирму «Лоренц».

Связи американских монополий с германским фашизмом раскрываются и дальше. В начале войны журнал «Ин фэкт» опубликовал содержание секретных переговоров германских нацистов с группой американских промышленников и членов конгресса, происходивших в конце 1937 года.

Фашистские эмиссары информировали собравшихся американских промышленников и конгрессменов о тех благоприятных условиях, в которых оказались немецкие промышленники после установления фашистского режима. Они призывали своих американских единомышленников к совместной работе и, в частности, к захвату огромных рынков Советского Союза и Китая. Немецкий консул в Бостоне Типпельскирх так закончил своё выступление: «Мы, немцы, всегда стремимся к сотрудничеству со всеми американскими националистами».

Американские предприниматели весьма благосклонно отнеслись к выдвинутым предложениям. Председатель «Дженерал Моторс» Слоун прямо заявил: «Мы все убеждены в том, что поддержка националистических организаций представляет собой хорошую возможность для капиталовложений. Мы будем признательны нашим немецким друзьям за каждую услугу, которую они смогут нам при этом оказать. Надо стремиться к объединению под руководством какого-нибудь выдающегося фюрера».

Совладелец концерна «Дюпон» на этом совещании пошёл ещё дальше. Он заявил: «Внешняя политика Америки должна быть прежде всего направлена против опасности советизации Дальнего Востока. Крайне важно проинформировать об этой конференции руководящих и влиятельных хозяйственных и политических деятелей обеих партий и убедить их в необходимости обсудить вопрос о сотрудничестве на этой основе».

Уже после того, как началась война и фашистские армии вторглись в Польшу, вице-президент фирмы «Дженерал Моторс» Д. Муни публично призывал к содружеству с Гитлером на базе признания его господства в Европе. В свете этих фактов становятся ясными мотивы, по которым американские монополистические фирмы так активно помогали фашистской Германии, почему они превратились в военно-политических союзников директоров «ИГ Фарбен». Стали также понятны и финальные события, которые произошли на процессе «ИГ Фарбен» в Нюрнберге.

Незадолго до окончания процесса стало известно, что многие предприятия химического концерна «ИГ Фарбен» переходят в иностранную собственность. По решению американских оккупационных властей пятьдесят крупнейших заводов «ИГ Фарбен» продавались немецким промышленникам, список которых выдвинула сама же американская администрация. Эти подставные лица получали в собственность все основные химические заводы. Деньги на приобретение этих предприятий предоставляли иностранные, главным образом американские финансисты. Решение о продаже содержалось в глубокой тайне.

Генерал Клей обратился с письмом к бывшему тогда министру обороны Форреголу, в котором просил содействовать оправданию военных преступников — директо-

ров «ИГ Фарбен». Он мотивировал это тем, что, по его мнению, заключение в тюрьму директоров препятствовало бы дальнейшему плодотворному сотрудничеству американских деловых кругов с германскими промышленниками.

Не дожидаясь решения суда, Клей направил в Нюрнберг своего первого адъютанта и начальника экономического управления американской администрации для переговоров с подсудимыми. После этой беседы защитники уверенно сообщили семьям преступников о том, что большинство обвиняемых будет оправдано. Происходило это за неделю до конца процесса. Выступление американского военного губернатора в роли адвоката немецких военных преступников увенчалось полным успехом. Часть директоров была оправдана и выпущена на свободу, остальные отсиделись незначительными сроками тюремного заключения.

Примерно то же произошло и на процессе Круппа. Ещё на первом процессе в числе главных военных преступников фашистской Германии на скамью подсудимых должен был сесть владелец крупповских военных заводов Густав Крупп фон Болен унд Гольдбах. Но перед самым началом заседаний Международного Военного Трибунала его разбил паралич. На скамью подсудимых в нюрнбергском «Дворце юстиции» сел младший Крупп и группа его директоров. Как ни пытались американские судьи, защитники и «прокуроры» полностью избавить Круппа от наказания, сделать это всё же не удалось. Уж слишком сильны были обвинения, предъявленные преступникам. Трибунал приговорил Круппа к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества в пользу союзников, боровшихся против Германии.

Согласно приговору, всё имущество Круппа должно было быть конфисковано и разделено в пользу четырёх союзных стран — Англии, Америки, Франции и Советского Союза. Последнее особенно тревожило генерала Клея. Для отмены приговора юристы не смогли найти повода — тогда Клей сам взялся за дело. Он утвердил приговор, но исключил ту его часть, где говорилось о разделе конфискованного имущества. В новой формулировке значилось, что всё имущество конфискуется в пользу тех оккупационных властей, на чьей территории оно находится. Таким образом 90 заводов и шахт Круппа, расположенных в Руре, были самоуправно и незаконно присвоены англичанами и американцами.

Американские хищники, нарушив святость международных соглашений, без зазрения совести начали присваивать себе чужое имущество. Одной из форм такого грабежа и явились многочисленные суды в городе затяжных процессов — Нюрнберге.

Марки генерала Клея.

Во время заседаний лондонской сессии Совета Министров Иностранных Дел, когда Бевин и Маршалл клялись, что они ведают не ведают о сепаратной денежной реформе в Западной Германии, в Бремергафен было доставлено тридцать вагонов новых денег, отпечатанных где-то в Америке. (Впоследствии при обмене денег в Ганновере были обнаружены бандероли с новыми денежными знаками, на которых стояла дата изготовления — «май 1947 года»). Правда, если верить распространяемой тогда полуофициальной версии, эти деньги были не американскими марками, а оккупационными долларами, присланными для нужд американских солдат. Получалось, что для каждого солдата к рождеству доставили по несколько килограммов бумажных денег.

Однако оказалось, что выполнить раскольнические планы не так-то легко. Товарищ Молотов разоблачил на лондонской конференции тайные планы блока западных держав. Провозгласить сразу же после срыва лондонской конференции «самостоятельную» Бизонию и начать проведение сепаратной денежной реформы — значило бы подтвердить перед миром справедливость заявлений советского министра иностранных дел. Тогда решено было выждать некоторое время. Смысл этой выжидательной политики раскрыла американская газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн», которая писала, что «все ожидавшие быстрого создания западногерманского правительства теперь разочарованы. Стало ясным, что лучше быть осторожным и продвигаться к цели постепенно». Далее газета сообщала, что англо-американские и французские чиновники, возвратившиеся с лондонской конференции, заявили, что на создание правительства

потребуется несколько больше времени, чем предполагалось. К тому же ещё не закончился торг с Францией.

Наиболее удобным моментом для осуществления следующего этапа раскола Германии было лето 1948 года. В июне Клей и Робертсон открыто сообщили, что в Западной Германии проводится сепаратная денежная реформа. С присущим им лицемерием они известили советские органы о том, что реформа не коснётся западных секторов Берлина, но за три дня до этого заявления в Берлин на самолётах были доставлены новые денежные знаки.

Сразу же после проведения сепаратной денежной реформы началось резкое сокращение рабочих на предприятиях Западной Германии. В Гамбурге в течение первых трёх дней на улице с предприятий были выброшены две тысячи рабочих. Прекратились все строительные работы. В Бизонии закрылось более трёхсот театров. В Баварии все предприятия перешли на сокращённую рабочую неделю. Начался массовый рост безработицы.

Население Бизонии с первых же дней после проведения сепаратной реформы начало ощущать катастрофические результаты бесконтрольных действий американских колонизаторов. Даже сами организаторы колониального ограбления, наехавшие из-за океана в Европу, в секретных донесениях информировали своих соратников о развале всего хозяйства и экономическом хаосе, царящем в Западной Германии.

Во время поездки по американской зоне Германии я имел возможность познакомиться с одним из таких документов. Он представляет несомненный интерес с точки зрения того, как сами американские банкиры оценивают создавшуюся обстановку в Западной Германии. У себя дома, за закрытой дверью, они становятся куда более откровенными, чем на всевозможных конференциях и в своих официальных декларациях.

Документ, о котором идёт речь, вышел из-под пера некоего профессора Мельхио Палий. По заданию американских банкиров он совершил поездку в Западную Германию, чтобы на месте ознакомиться с финансовым положением после денежной реформы. Когда-то до войны Палий являлся консультантом «Немецкого банка», был связан с немецкими промышленниками и считается в Америке специалистом в области германской экономики. Послали его в Западную Германию для того, чтобы установить возможности дальнейших вложений американского капитала в немецкую экономику.

Вернувшись в Соединённые Штаты, профессор изложил свои впечатления в странном закрытом меморандуме. Этот меморандум был разослан ограниченному кругу руководящих американских чиновников, некоторым членам конгресса, а также отдельным германским монополистам-предпринимателям, от которых у американских дельцов нет особых секретов.

Уже в самом начале своего меморандума американский финансист берёт, что называется, быка за рога. Он пишет своим коллегам, пославшим его в Германию:

«Мне кажется необходимым ознакомиться с административными методами оккупационных властей в Западной Германии, которые душат экономические права страны, разорённой войной».

«Кто отвечает здесь за катастрофическую бесхозяйственность? — спрашивает далее американский профессор, и сам даёт ответ на этот вопрос.—Формально, конечно, генерал Клей. Но он имеет очень мало или вообще не имеет никакого влияния на хозяйство и финансы Бизонии. Всё зависит только от произвола независимых английских и американских обществ. Парни Моргентау пасутся на пастбищах Бизонии, съедают всё, что там имеется, и причиняют огромный ущерб не только самой Германии, но и Европе и США».

Одним из официальных тезисов американской пропаганды является утверждение, что эксплуатация Германии ложится тяжёлым бременем на плечи американских налогоплательщиков, что только во имя любви к ближнему несут американские власти эту «тяжёлую» обузу. За закрытыми дверями финансовые тузы говорят иначе о своих благодеяниях. Палий пишет по поводу этой легенды буквально следующее: «На словах все мы высказываемся за объединение и восстановление Тризонии, фактически же, однако,

она попрежнему и по сей день эксплуатируется союзниками, которые извлекают из разорённой страны прямо или косвенно гораздо больше того, что дают ей американские налогоплательщики».

Профессор Палий в своём меморандуме, предназначенном только для «внутреннего употребления», даёт откровенную характеристику политики своего правительства в отношении Германии. Палий пишет:

«В Германии, точно так же, как и в Японии, мы начали с разрушения валюты. Три года Германию держали в состоянии валютного хаоса, который довёл население городов до грани голода. Попытки экономического восстановления были подорваны в своей основе. Только спекулянты различных национальностей получили возможность извлекать беспримерные прибыли. Валютная неразбериха была лишь одной стороной дела... Отсутствие единого правительства оказалось столь же действенным средством для потрясения хозяйства, как и нехватка продовольствия».

Таким образом, устами американского эксперта-финансиста подтверждается то, что расчленение Германии, разрушение её политического и экономического единства, искусственно созданный финансовый хаос, организация голода — являлись тайными средствами для усиленной эксплуатации страны и получения сверхприбылей. Потому-то международная реакция и подняла такой истошный вой, когда в Берлине было создано Центральное правительство, когда была провозглашена Германская демократическая республика. У заморских колонизаторов был выбит из рук их наиболее крупный козырь.

Профессор Палий немало внимания уделяет в своём меморандуме проведению сепаратной денежной реформы. Он и здесь не стесняется в выражениях — ведь меморандум предназначен только для узкого круга «деловых людей». Говоря о пресловутой «марке генерала Клея», он подвергает резкой критике всю эту затею с проведением односторонней денежной реформы. «20 июня, — пишет он, — была проведена денежная реформа в Западной Германии... Немцы ухватились за обещание, что новая валюта будет устойчивой, ухватились так, как утопающий хватается за соломинку. Это сравнение очень метко — «соломенная валюта» будет самым правильным наименованием новой марки. Эти деньги являются своего рода единственным экземпляром среди других незаконных фальсификаций. Они не имеют никакой экономической базы. Вообще неизвестно — кто выпустил их? Банки немецких земель не несут никакой ответственности и являются просто куклой в руках оккупационных властей. Этот замечательный образец денежного суррогата объявлен генералом Клеем твёрдой валютой. В лучшем случае эти деньги представляют собой временную меру. Они являются символом фундаментального беспорядка и неустойчивости Германии».

Палий рисует чрезвычайно мрачные перспективы хозяйничания западных держав в Западной Германии. Он говорит о «бездеятельном и развращённом бюрократизме оккупационных властей», сравнивает сложившуюся обстановку с катастрофическим положением в кризисном 1929 году, говорит о капиталистах, нажившихся на всевозможных спекуляциях, о безработице, явившейся следствием финансового произвола. Палий приводит цифры оккупационных расходов, ухудшающих ещё больше финансовое и экономическое положение Западной Германии. Оккупационные расходы западных держав, которые в 1948 году превысили уже 5,5 миллиарда марок, он называет одной из причин создавшегося там кризиса. Эти расходы, по его утверждениям, поглощают более сорока процентов бюджета немецких земель, а во французской зоне составляют даже шестьдесят процентов.

«Западная Германия, — говорит он, — испытывает нужду во всём, кроме развалин. Денежная масса всё возрастает, а выпуск товаров происходит замедленно, не говоря уж о катастрофическом состоянии экспорта. Печатание сотен миллионов новых немецких марок для нужд оккупационных властей и немецких учреждений стало причиной инфляции».

Свой пространственный меморандум профессор Палий заключает следующим мрачно-ироническим выводом:

«Если нашим намерением служит стремление задушить в зародыше всякие капи-

таловложения в Германии, воспрепятствовать немцам в достижении хотя бы мало-мальски сносного жизненного уровня, то мы в этом отношении проделали почти великолепную работу. Если когда-либо существовала финансовая система, имевшая целью парализовать инициативу народа, его силы, подорвать налоговую мораль, довести до банкротства организацию его управления, и всё это в побеждённой, невероятно обедневшей стране, — мы можем претендовать на честь, что этого добились. Всё это выглядит ещё более отвратительно потому, что руководящие лица всё время прикрываются заявлениями, будто бы их целью является стремление восстановить, оживить и демократизировать Германию западнее Эльбы».

«Намеренная бесхозяйственность оккупационных властей, произвольное установление высокого курса обмена валюты, ограничение производства и экспорта — всё это дополняет картину наших репрессий по отношению к Западной Германии».

Сам Палий не против эксплуатации Западной Германии, но он стоит за «образцовую», «законную», а главное длительную её эксплуатацию. Он возражает только против того, что международные дельцы, нахлынувшие в Бизонию, рубят сук, на котором сами же сидят. Посланец американских банкиров затем и приехал, чтобы выяснить возможности вложений американского капитала. Вот он и протестует против того, что его коллеги эксплуатируют Бизонию до полного истощения. Однако картина авантюристического хозяйничанья собратьев Палия, которую он нарисовал, показывает действительное положение — хаос и развал хозяйства в Западной Германии. Его выводы и наблюдения, какие бы они ни ставили цели, находятся в полном противоречии с благонамеренными заявлениями англо-американских реакционеров о «процветании» Западной Германии под эгидой американских колонизаторов.

С финансовым хаосом, созданным в Западной Германии, непосредственно связано бесконтрольное изъятие огромных средств под видом оплаты оккупационных расходов. В 1948 году, как отмечал в меморандуме профессор Палий, оккупационные расходы составили пять с половиной миллиардов марок. Организация лоскутного западногерманского государства послужила поводом для повышения этих расходов. Генерал Клей заявил тогда: «Перед западногерманским государством стоят большие задачи. Поэтому не может быть и речи о снижении оккупационных расходов».

Это заявление американского генерала было своеобразным новогодним подарком к 1949 году. Что из себя представляет финансовая политика западных оккупационных властей, можно судить даже по отдельным примерам и фактам.

Вскоре после проведения сепаратной денежной реформы французская военная администрация вдруг ни с того ни с сего заявила, что теперь, помимо обычных поставок натурой, она будет ежемесячно взимать на оккупационные расходы не 20, а 30 миллионов марок. Очередной взнос немцам предложили сделать в течение 24 часов.

В немецкой печати Бизонии появились робкие критические замечания по поводу такого грубого произвола. Тогда генерал Хэпп — начальник французской информационной службы в Германии — выступил с разъяснением принципов взимания средств на оккупационные расходы. Смысл его заявления сводился к тому, что французские власти, если и берут, то берут значительно меньше, чем английские и американские власти. Генерал Хэпп привёл цифры: на одного француза в Германии расходуется 6 тысяч марок ежегодно, на англичанина — 12 тысяч, а на содержание одного американца, живущего в Бизонии, немцы платят в год 20 тысяч марок — почти десятилетний заработок среднего германского рабочего.

В отдельных западногерманских землях на оккупационные расходы уходит больше половины всех налогов. А в западных секторах Берлина, например в октябре 1948 года, доходы от налогов составили 37 миллионов марок, на оккупационные же расходы было изъято 32 миллиона. Под видом оккупационных расходов происходят самые фантастические затраты. Американцы, к примеру, передали заказ на изготовление большой партии хслодильных шкафов. Стоимость этого заказа — пять миллионов марок — отнесли на счёт оккупационных расходов. Почти одновременно было уплачено 320 тысяч марок — и также в счёт оккупационных расходов — за сооружение водного бассейна в восточном стиле для какого-то американского генерала.

В среднем, каждого англичанина и американца обслуживают три немца, это не считая шофёров — речь идёт только о домашней прислуге, поварах и прочей челяди. Все они получают зарплату в городском и районных магистратах из немецкого бюджета.

Берлинский корреспондент «Чикаго Дейли Трибюн» сообщал своей газете: «По требованию союзников один миллион немцев вынужден заниматься не чем иным, как обеспечением и обслуживанием английской и американской оккупационных армий». Гигантская армия в миллион человек оплачивается за счёт оккупационных расходов и фактически ничего не даёт германскому хозяйству.

Варшавское совещание Министров Иностранных Дел восьми государств выдвинуло предложение о подготовке и заключении мирного договора с единой Германией, о выводе оккупационных войск не позже чем через год после заключения мирного договора. Вывод оккупационных войск ликвидировал бы и все оккупационные расходы. Но это предложение отвергли западные державы — оно нарушило бы их реакционные планы колонизации Бизонии, превращения её в военно-стратегический плацдарм американского империализма.

Кабинет предателей.

В первой половине 1948 года в Лондоне закончился тайный сговор трёх западных держав о расчленении Германии. Как и следовало ожидать, французы и англичане пошли на безоговорочную капитуляцию перед Уолл-стритом. Собственно говоря, они и не особенно сопротивлялись. Западная Германия превращалась в американскую колонию, вместо мирного договора немецкому народу навязывался оккупационный статут, Рур переходил в собственность иностранного капитала и начинал управляться на основе рурского статута, в Бизонии вводилась «соломенная валюта» или марки Клея, на карте Европы вычерчивались границы убудочного федерального западногерманского «государства».

На лондонское совещание для большего эффекта позвали и представителей Бенилюкса. Получилось совещание не трёх, а шести «держав». Странам Бенилюкса за их участие в конференции хозяева бросили подачку — часть территории Западной Германии. В пользу Голландии отрезали районы городов Бентхейм, Венло, а также Боркум и бухту Долларг в устье реки Эмс.

Бельгия в результате лондонского сговора получала район города Монхау и часть района Шлейден.

Не остался в накладе и Люксембург. Этой «державе» прирезали полосу земли в восемь километров глубиной вдоль границы по реке Мозель.

Так, без мирного договора, самоуправно участники лондонских заседаний не только расчленили Германию, но и отторгли от Западной Германии исконные немецкие земли. Подоплёка такой щедрости за счёт немецких территорий будет более понятна, если учесть, что вся экономика Бенилюксов уже находится в подчинении английских и американских монополий. Под видом расширения территории Бенилюксов эти монополии приобретали себе новые источники сырья.

Вскоре после сепаратной денежной реформы — в августе 1948 года — в Западной Германии почти одновременно произошли два «знаменательных» события. Первому событию — на озере Химзее — предшествовала громкая шумиха в западной печатной и невероятная суматоха, поднявшаяся в старинном замке Людовика XI, расположенном на этом озере. Слуги выколачивали многолетнюю пыль из потёртых портьер, перетаскивали мебель, изъеденную червями, чистили позеленевшие от времени мурты, из которых когда-то стреляли в честь сановных посетителей замка.

Список ожидаемых гостей был тщательно проверен и утверждён в штабе американских оккупационных войск. Здесь на островке Херрен, посреди озера Химзее, немецким квислингам поручили разработать под американскую лживую пресловутую «конституцию», на основе которой должны были жить 45 миллионов немцев, населяющих Бизонию. Но торжество уже в самом начале омрачилось одним непредвиденным обстоятельством. Владелец замка вдруг почему-то заупрямился и не пустил гостей в «княжеский зал», где должна была засесть «конституционная комиссия». Пришлось

перестраиваться на ходу и занять прихожую спальни для приезжающих, которую хозяин замка соблаговолил выделить членам комиссии. Здесь в прихожей и состоялся первый акт боннской комедии, именуемой разработкой западногерманской «конституции». Состряпали её в течение двух недель — приказано было торопиться.

В те дни жители Брауншвейга могли с изумлением наблюдать весьма странные полицейские учения. По замыслу их организаторов часть полицейских изображала толпу голодных рабочих, перед которыми выступал «безответственный оратор» — такой же полицейский. Возбравшись на импровизированную трибуну, он время от времени кричал:

— Что имеют рабочие?!

Толпа горластых полицейских отвечала недружным хором:

— Голод! Голод!

— Чего не хватает рабочим? — снова вопрошал «оратор».

— Хлеба! Хлеба! — голосили полицейские, изображавшие демонстрантов.

Потом участники учений по разработанному сценарию нестройной толпой направились к ратуше. Вот здесь и выступила на сцену вторая часть брауншвейгской полиции, усиленная городской пожарной командой. С резиновыми дубинками, брандспойтами они накинулись на «демонстрантов». В азарте кого-то побили, всех облили водой и закончили учения арестом «безответственного оратора» и его сообщников.

Эти полицейские учения по разгону голодных демонстраций в Западной Германии проводились под руководством английского чиновника Гринга, действовавшего по американской инструкции. Группа депутатов городского собрания Брауншвейга выступила с протестом против подобных «учений», против натравливания полиции на трудящихся. Депутатам ответил руководящий чиновник магистрата правый социал-демократ Летц. Он сказал:

— Такие занятия нам необходимы. Полиция должна вооружиться против врагов будущего государства и бунтовщиков...

Когда одни предатели германского народа строчили под диктовку американских советников проект «конституции государства», другие предатели — правые социал-демократы, шумахеровцы уже сами объявляли немецких трудящихся врагами этого эрзац-государства.

Можно только диву даваться, как бесцеремонно навязывали американские власти свои реакционные планы. На первом совещании в Кобленце премьеры ещё пытались для сохранения престижа создать хоть некоторую видимость своей независимости. При обсуждении проекта конституции они внесли какие-то малозначащие контрпредложения. Но вскоре всех премьер-марionеток позвали в военный штаб во Франкфурте, и три губернатора в ультимативной форме потребовали от них безоговорочно присоединиться к лондонским решениям. Председательствующий генерал Робертсон заявил премьерам: «По нашим инструкциям запрещается отступать от лондонских постановлений. Эти решения составляют одно целое, изменять которое невозможно».

Тогда бременский представитель Кайзон робко спросил о кобленцских предложениях. «Мы просим, — сказал он, — чтобы военные губернаторы поняли, что для премьер-министров имеет особую ценность получить недвусмысленную справку — какие пункты из принятых в Кобленце решений они принимают и какие отклоняют».

Генералы уважили просьбу премьеров, они дали недвусмысленный ответ: отклоняются все немецкие контрпредложения. После этого объявили краткий перерыв, достаточный только для того, чтобы премьеры успели написать заявление. Оно гласило: «Мы воздерживаемся от критики переданных нам документов и от дальнейших замечаний по поводу кобленцских предложений. Мы полностью соглашаемся с военными губернаторами в том, что желательно создать политическую организацию в рамках лондонских постановлений, которая одновременно образует солидную базу для Западной Германии на основе федерализма».

Ещё несколько раньше, на первом инструктивном совещании губернаторов с немецкими премьер-министрами, Кляй, Робертсон и Кениг сделали свои заявления, предназначенные отнюдь не для обсуждения премьер-министрами земель, а для неуклонного исполнения содержащихся в них указаний.

Все три генерала, распределив роли, изрекали свои «демократические» установки. Клей предупредил, что до первого сентября нужно обсудить конституцию и выбрать делегатов в учредительное собрание или парламентский совет. Причём, выяснилось, что жители Саарской области могут не утруждать себя выборами. Эта область в политическом и хозяйственном отношении больше не является германской территорией.

Робертсон дополнил Клея тем, что теперь границы земель будут изменены согласно существовавшим традициям. Английский генерал говорил, конечно, не о германских традициях.

Генерал Кениг, выступавший «по старшинству» последним, осветил вопрос о подготовке оккупационного статута, который разрабатывался одновременно с конституцией. Он заявил, что статут даёт новому правительству «почти все полномочия, которые может иметь независимая нация». Однако это «почти» имело большее значение, чем всё другое. Оккупационные власти оставляли за собой право управлять внешней торговлей, внутренней хозяйственной деятельностью, политикой, забирали себе Рур. Оккупационные власти принимали на себя «гарантии и охрану конституции». В случае непредвиденных обстоятельств, добавил Кениг, главнокомандующие в зонах слова получают свои полномочия.

Генералы предложили высказаться собравшимся по поводу лондонских рекомендаций, но даже премьеры-квислинги были ошеломлены известием и сказали, что им нужно об этом подумать. А один из премьеров, набравшись храбрости, сказал: «После того, что нам объявлено, зачем нужно правительство?»...

В Кобленце премьеры «продумывали» инструкции губернаторов, сделали свои замечания и торопливо отказались от них, как только премьеров вызвали в военный штаб.

Для утверждения химзеевской конституции был создан особый «парламентский совет». Одновременно с обсуждением «конституции» по всей Западной Германии усиленно проходила «демократизация» всей жизни по американскому образцу. Она проводилась не только в форме предварительных полицейских учений, как это было в Брауншвейге. Генерал Клей отменил закон о производственных советах в земле Гессен. Этот закон, изданный на основе гессенской конституции, предусматривал хотя и ограниченное, но какое-то участие рабочих в контроле над производством. Закон пришёлся не по вкусу американским администраторам. Отменил Клей и закон о частичной социализации крупной промышленности, также принятой на основе гессенской конституции. Массовые протесты, заявления о том, что гессенская конституция была утверждена народным голосованием, не дали никаких результатов. Генеральский приказ остался в силе.

Примерно то же самое произошло и в Ганновере. Три раза ландтаг отклонял реакционный английский проект закона о земельной реформе. Тогда Робертсон пригрозил разогнать депутатов и для острастки показал заготовленный приказ о роспуске ландтага. Угроза возымела своё действие.

Началось ещё более широкое наступление на демократические организации. В районе Гоф запретили компартию. В Висбадене подожгли здание правления коммунистической организации. Поджигателями оказались два американских солдата, действовавших по приказу своего начальства. Под разными предлогами закрывались демократические газеты.

После «утверждения конституции» начался предвыборный террор. На помощь англо-американским реакционерам пришли реакционеры немецкие. Открыто возобновили свою деятельность фашистские организации. Незадолго до выборов боннского «парламента» была легализована так называемая «немецкая партия». В своём большинстве она состояла из бывших активных гитлеровцев. В городе Вольфбурге члены «немецкой партии» явились на избирательные участки с фашистскими знамёнами и пением фашистских песен.

В Гамбурге за две недели до выборов в боннский «парламент» местная организация этой неофашистской партии арендовала казармы, в которых разместились «ударные отряды», сформированные по типу старых эсэсовских отрядов. Перед самими выборами фашистские банды перешли на казарменное положение. Вооружённые писто-

летами, кастетами, дубинками, эти отряды занимались тем, что терроризовали демократически настроенных немцев, разгоняли митинги, проводимые коммунистами, избивали их участников. Но самое характерное в этой истории было то, что «арендованные» казармы оборудовали для погромщиков... английские оккупационные власти. Английский офицер комендантской службы в Гамбурге лично давал указания, какие из казарм нужно предоставить эсэсовским отрядам из «немецкой партии». Руководители отрядов, также отбравшиеся с ведома оккупационных органов, все в прошлом являлись членами фашистских организаций. Каждая кандидатура руководителя отряда предварительно утверждалась британским офицером.

Немецких антифашистов, представителей демократических организаций подвергали террору, преследованиям. Даже английская газета «Дейли экспресс» писала, что «на выборах царил атмосфера, напоминавшая гитлеровские времена».

В Руре на митинге в Рекменгаузене, где выступал руководитель компартии Макс Рейман, фашисты бросили слезоточивую бомбу. Митинг был сорван. Фашисты разогнали демократический митинг и в Нюрнберге. Близ Ганновера были жестоко избиты два антифашиста, выступившие на митинге против фашистского разгула.

Демократическим организациям оккупационные власти запретили предвыборную агитацию, конфисковали предвыборную литературу. В Южном Бадене накануне самых выборов французские жандармы арестовали многих коммунистов, распространявших листовки и плакаты.

Одновременно для участия в выборах были мобилизованы все реакционные силы. В католических церквях распространялось послание римского папы, который грозил отлучить от церкви всех, кто будет голосовать за демократических кандидатов. Отцы церкви предупреждали, что голосование хотя и является тайным, но в избирательной кабине незримо будет присутствовать святой дух, который жестоко покарает всех, кто ослушается приказа папы.

Английские и американские радиостанции непрерывно передавали призывы к избирателям, распространяли гнусную антисоветскую клевету, выступали против демократических элементов и, в первую очередь, против коммунистов. Вопреки «невмешательству» в немецкие выборы, англо-американские самолёты летали над городами и разбрасывали листовки с призывом голосовать за квислингов.

Так были организованы «свободные выборы» в боннский «парламент». Верховный комиссар США Макклой, сменивший Кляя, в своём докладе спешил сообщить в Вашингтон: «В результате выборов социализация западногерманской промышленности отклонена в пользу свободного предпринимательства».

После «выборов» был поставлен следующий, заключительный акт боннской комедии — создание «правительства».

С главой этого кабинета претателей — Конрадом Аденауэром — мне довелось встретиться в обстановке, весьма примечательной и характерной для этого квислинга.

Во время одной из поездок в Западную Германию мы должны были беседовать с руководителями различных политических партий английской и американской оккупационной зоны. Среди партийных лидеров был и доктор Аденауэр — председатель Христианско-демократического союза, крупнейшей реакционной партии в Бизонии. В то время уже шла возня по созданию сепаратного западногерманского «правительства», и повсюду, особенно среди работников англо-американской администрации, Аденауэра называли наиболее вероятным претендентом на роль «главы государства».

В день, назначенный для беседы, мы находились в Леверкузене на химических заводах и, не желая опаздывать, торопились в Дюссельдорф, где предстояла встреча. Было время нерушимого английского «файф-о-клока» — вечернего чая. Развязный и не в меру любопытный офицер, приставленный к нам от разведки, потащил всех в столовую. На наши замечания он небрежно махнул рукой и ответил:

— Доктор может подождать! Я уже его вызвал. Сначала напьёмся чаю...

Офицер был всего только в чине лейтенанта, но говорил о руководителе политической партии, о будущем премьере, как о своём подчинённом мальчишке на побегушках.

В конечном счёте в Дюссельдорф мы приехали с двухчасовым опозданием. В прихожей около какого-то кабинета на краешке стула сидел высокий, худощавый пожилой человек с хитроватым лицом иезуита. Ему даже не предложили раздеться, и он сидел в пальто, держа в руках свою шляпу. Это и был Аденауэр. По вызову английского лейтенанта он безропотно приехал на попутных машинах за полсотни километров из Кельна и терпеливо ждал в прихожей. Он и не знал, зачем его вызвали.

После пятиминутной беседы Аденауэр робко спросил, может ли он быть свободным. Получив разрешение лейтенанта, будущий «канцлер» отправился «голосовать» на автостраду — искать попутную машину, чтобы добраться до Кельна. Во всей его фигуре, в угодническом поведении было что-то неприятное, унижающее человеческое достоинство. И вот этот человек из английской прихожей менее чем через год стал туземным князьком американской колонии Бизонии.

Немецкий народ в Западной Германии стонет под двойным ярмом своих и иностранных монополистов, он справедливо требует заключения мирного договора, вывода оккупационных войск, предоставления самостоятельности, а Конрад Аденауэр в беседе с американским репортёром, стараясь выслужиться, заявляет: «Оккупация Германии чрезвычайно необходима в течение длительного периода. Германия не способна сама управлять своей судьбой». Нужно полностью лишиться элементарного чувства порядочности, чтобы в закабалении своей страны иностранными хищниками видеть укрепление «дружественных международных связей». Вот что утверждает Аденауэр: «В результате оккупации, наличия рурского статута и плана Маршалла, Германия теснее, чем до этого, связана с границей».

Сформированное Макклоем «правительство» с первых своих шагов всячески стремилось зарекомендовать себя заокеанским хозяевам. Ещё во время подписания агрессивного Атлантического пакта Аденауэр заявил, что «первой и главной задачей нового правительства будет стремление добиться полноправного участия в Атлантическом пакте». Он добавил также, что «Западная Германия будет способна принять на себя и выполнить все обязательства, возлагаемые на полноправного участника пакта».

Газета американской армии в Европе «Старс энд Страйпс» услужливо расшифровала тогда обязательства будущего «правительства» и его «канцлера». «Чтобы их выполнить, — писала газета, — Западная Германия должна провести ремилитаризацию. Ей должно быть разрешено производство вооружения, а также ввоз оружия и военных материалов».

Таким образом, газета раскрыла планы американской военщины. Создание боннского «правительства», так же как и организация западногерманского «государства», по замыслам американских милитаристов должно было облегчить их усилия в создании военно-стратегического плацдарма в Европе.

Когда «правительство» было сформировано, Аденауэр явился в резиденцию верховного американского комиссара Макклоя — в Петербург и доложил, что кабинет готов приступить к работе. В ответ три военных губернатора, переименованные в верховных комиссаров, сообщили, что отныне оккупационный статут также входит в силу. Оккупационный статут вступил в действие одновременно с кабинетом предателей, стал настольной книгой боннских квислингов.

Первые заседания кабинета ознаменовались и первыми провокациями. Во время выступления Макса Реймана, критиковавшего предательскую политику нового правительства, в зал ворвались два «военнопленных», только что «прибывших из Советского Союза». Они пытались сорвать выступление Реймана. Заседание было прервано. Потом выяснилось, что оба «пленных» никогда и не были в Советском Союзе. Их нашли где-то в ночлежке, выдали пропуска для входа в парламент и подговорили организовать эту провокацию. Пропуска провокаторам подписал... Конрад Аденауэр.

Дальше произошли события, от которых стало не по себе даже выдавшим виды квислингам. Чуть ли не на первом заседании многие депутаты стали всерьёз возражать против предстоявшей девальвации западной марки. Депутат Лорц, расхрипевшись, сказал по этому поводу: «Мы не должны подобно пуделю прыгать в любой

обруч, который нам подставляют». На следующий день Аденауэра вызвали в Петербург, кто-то из комиссаров сделал внушение «канцлеру», и декрет о девальвации марки был принят без обсуждения.

Спустя ещё несколько дней «правительство» независимого «государства» неожиданно узнало, что без его ведома часть германской территории, о которой в своё время шли разговоры, по приказу американских властей передали Бенилюксам. После этого известия правительственного кризиса не наступило. Боннские пуделы послушно прыгали в тот обруч, который им подставлял американский дрессировщик.

Выступая в Бонне, Макс Рейман привёл в своей речи следующую цитату из американской газеты: «Запланированное западногерманское правительство сводится на положение колониального административного органа, которое будет действовать под руководством не одного, а трёх вице-королей — французского, английского и американского военных губернаторов».

Резиденция этих вице-королей находится в Петербурге, неподалёку от Бонна. Собственно говоря, здесь только один король — американский банкир Макклой. Он управляет Западной Германией. Что же касается кабинета предателей, то вряд ли кто считается с ним всерьёз. Он служит только ширмой, фиговым листком для американских империалистов.

Янки в Германии.

Однажды, заехав по делам к советскому коменданту Берлина генералу Котикову, я встретил в его кабинете на Луизенштрассе двух американских офицеров, которые явились сюда по необычному поводу. Американский полковник привёз от генерала Клея частное письмо с просьбой помочь обнаружить похитителей, которые у него, Клея, среди бела дня украли легковую машину. Переводчик американского полковника представился под фамилией Шэрбин. Он прекрасно говорил по-русски, и я спросил его, где он так хорошо научился русскому языку.

— Видите ли, — ответил он, — моя настоящая фамилия Щербина. Я жил когда-то в России.

Американизированный Щербина в числе многих русских белогвардейцев работал в американской разведке и прибыл к генералу Котикову в качестве переводчика. Он рассказал, что Трумэн только недавно подарил Клею какую-то необычайную машину. Клей оставил её у ворот американского штаба, а через несколько минут она исчезла. На ноги поставили всю военную полицию, сыщики обшарили все берлинские трущобы, но машина как в воду канула. Клей даже дал публикацию в газетах, обещал по-царски наградить любого, кто наведёт на след пропавшей машины. В награду он предложил... сто пятьдесят пачек американских сигарет «Кэмел» или «Честерфилд». Это также не дало результатов, и теперь генерал Клей обращался за помощью к советской комендатуре, чтобы провести совместную акцию по розыску трумэновского подарка.

Впоследствии выяснилось, что машину Клея украли шайка жуликов, имевших отношение к югославской миссии в Берлине, разместившейся в английском секторе города. Это был не единичный случай торговой и дипломатической «деятельности» приверженцев Тито. Похищенные в Берлине машины снабжали югославскими документами и перегоняли в Белград. В советском секторе, в районе Панков, сотрудники югославской торговой миссии организовали для немецкого населения подпольный магазин, где бойко торговали американским продовольствием. В конце концов комендатура вынуждена была выселить югославских чернорыночников из советского сектора. Свою деятельность после этого они продолжали в западной части города.

Но вернёмся к похищению машины Клея. То, что в американском секторе города воровали машины, грабили прохожих, квартиры, было не ново. Приход американских войск в Германию ознаменовался не только реакционной деятельностью в больших, международных масштабах, но и ростом уголовных преступлений, хищений, спекуляций, в которых принимали участие и видные представители оккупационных властей. В

Берлине, в западной части города, согласно статистическим данным, каждые пять минут совершается одно серьёзное преступление. Торгаши, спекулянты, гангстеры, наводнившие Европу, принесли с собой американские порядки, заокеанские нравы, которые раскрывали моральный облик носителей американской «демократии». Даже тот факт, что американский генерал-губернатор Клей открыто заявил в печати, что он готов расплачиваться за услуги американскими сигаретами, показывал, что американцы превратили свои сигареты в твёрдую валюту для Германии.

Сигареты превратились в разменную монету, их давали на чай швейцарам и кельнерам, на сигареты скупали немецкое золото, бриллианты, выменивали на них у немцев ковры, хрусталь, антикварные вещи. За американскими спекулянтами укрепилась кличка «торговцы дымом». Табачный дым стал отличным способом лёгкого заработка. Делалось это совершенно открыто. Военная газета «Старс энд Страйпс», захлёбываясь от восторга, рассказывала своим читателям — американским солдатам, как один проворный солдат нажил целое состояние, начав с нескольких пачек сигарет. Он заплатил семьдесят центов за пакет в десять пачек «Честерфильда» и продал их на чёрном рынке за тысячу марок. Это было до денежной реформы. Тысячу марок он обменял по официальному курсу на сто долларов и снова купил на них сигареты. Вскоре предприимчивый солдат уехал в Америку, имея солидный капитал в несколько тысяч долларов. Так было в начале оккупации. Потом американские власти внесли свои коррективы, запретили кустарничать и спекуляцию табачным дымом поставили на солидную ногу. Сигаретная афера достигла таких масштабов, что Клей вынужден был несколько умерить разгоревшиеся аппетиты своих подчинённых. Но сделал он это после того, как американцы выкачали у немцев огромные ценности. Клей запретил свободную доставку сигарет из Америки. На каком-то офицерском собрании мелкие спекулянты бросили упрёк своему генералу: хорошо, мол, вам издавать такие приказы после того, как личный самолёт военного губернатора совершил несколько табачных рейсов через океан.

Но бизнесмены не унывали. С сигарет они переключились на кофе. Запах жареного кофе и клубы табачного дыма попрежнему висели над Бизонией. Американцы вели себя в центре Европы так же, как поступали их предки-колонизаторы на берегах Конго, которые за куски медной проволоки и стеклянные бусы выменивали у туземцев слоנוвые бивни и золотой песок. Принцип колониального грабежа остался прежний, изменился только ассортимент грошовых товаров.

Во Франкфурте-на-Майне я посетил так называемый «Таушцентральный» — обменный пункт на Кайзерштрассе, в самом центре города.

В магазине, точно на военном объекте, нам запретили фотографировать. После долгих переговоров заместитель директора магазина мистер Гольдборн согласился познакомить нас с его торговым предприятием. Вдоль прилавков и полок, уставленных тончайшим фарфором, фотоаппаратами, заваленных коврами, одеждой, золотыми вещами, мы прошли через весь магазин на второй этаж в контору, где происходил приём вещей и продовольствия. Продовольствие здесь принималось только американского происхождения и только от американцев. Это их монополия. Наибольшим спросом пользовались сигареты, кофе, сахар, консервы и масло. Мистер Гольдборн показал нам преёскурант на продукты. Расчёты происходили на пункты, отпечатанные вашингтонским казначейством. Пачка сигарет в 7—10 центов котировалась здесь в пять пунктов, кофе — 18 пунктов за фунт. Американские дамы сдавали продукты и получали купоны.

В соседнем отделении за прилавками стояли оценщики. Было трудно протиснуться среди сгрудившихся здесь посетителей. Принимали только золото, серебро и ювелирные вещи. Одна женщина предлагала старые часы.

— Не принимаем. Берём только новые вещи. Следующий.

Бракуют вещи и других клиентов — потёртый браслет, разрозненный серебряный сервиз, перстень. Внимание оценщика привлекают гранатовые серьги.

— Тридцать пунктов, — безапелляционно произносит он и выписывает чек в кассу. Потом он долго и внимательно рассматривает перстень с большим, в два с половиной

карата, алмазом, любит его сиянием и откладывает в сторону — надо посоветоваться с шефом.

— Теперь мы воспитали немцев,— говорит мистер Гольдборн. — Они приносят то, что нам нужно. Остальное мы бракуем.

У «воспитателя» немцев на рукаве форменной куртки виднелась эмблема американских войск безопасности — пылающий меч. Такая же эмблема была и на вывеске магазина. «Таушцентральный» находился в ведении американской военной администрации.

В другой комнате принимали фарфор и антикварные вещи. Я спросил у оценщицы, на сколько пунктов приняла она сегодня фарфора. Было три часа дня. С двенадцати часов, когда открылся магазин, она выдала чеки на три с половиной тысячи пунктов. В отделе работало ещё пять оценщиц. До конца рабочего дня оставалось ещё три часа.

Потом мы осмотрели отдел ковров, фотоаппаратов, радиоприёмников, электроприборов. Американцы забирали всё, выкачивали у населения любые ценные вещи. Так, фотоаппарат стоимостью в 400 долларов переходил к американцам за двести пачек сигарет, стоящих 15 долларов. Это был организованный грабёж немецкого населения.

Спекуляция, мародёрство, процветавшие среди американских солдат и сотрудников военной администрации, не только не преследовались, но служили методом поощрения американизированных военно-фашистских кадров, пригодных для будущих авантюров.

Перед пасхальными днями 1948 года полковник Хаули на заседании берлинской Союзной комендатуры предложил организовать богослужение для населения германской столицы совместно с гарнизонами оккупационных войск. По замыслу Хаули это должно было лучше всего продемонстрировать единство германского народа под совместным руководством оккупационных властей. Генерал Котиков резонно возразил, что заботу о единстве Германии нужно проявлять каждодневно, а не только по праздникам. Он предложил подумать о дополнительном питании для берлинцев. На это Хаули раздражённо ответил, что русские больше заботятся о немецких желудках, чем о спасении человеческих душ.

Спасение заблудших душ представители американской «демократии» понимали весьма своеобразно. Только на предыдущем заседании Союзной комендатуры тот же Хаули предложил открыть в Берлине... публичные дома для солдат оккупационных войск.

Американский военный комендант в роли фельдкурата из книжки о бравом солдате Швейке выглядел бы только смешным, если за его предложением не скрывалось бы другое — политика растления немецкого населения и собственных солдат. Эти методы физического и морального разложения во многом были похожи на гитлеровские методы воспитания бездумных исполнителей преступной воли гитлеров.

Американские власти вскоре после окончания войны отправили из Германии домой ветеранов — участников мировой войны, познавших на собственном опыте, что такое германский фашизм, какова была роль Советского Союза в борьбе с нацизмом. На смену ветеранам пришли восемнадцати-двадцатилетние юнцы, которых легче было обрабатывать, калечить нравственно, превращать в послушных роботов. Джином и виски, пьяным разгулом и реакционной пропагандой у молодых солдат гасится малейший проблеск сознательного отношения к окружающей жизни, их отвлекают от всего, что может вызвать раздумье. На «просветительную» работу в оккупационной армии военное министерство затрачивает колоссальные средства. На службу массового оболванивания американских солдат в Германии поставлено радио, кино, бульварная литература, солдатские клубы.

А. А. Жданов сказал: «Мечтая о подготовке новой, третьей мировой войны, американские экспансионистские круги кровно заинтересованы в том, чтобы... отравить ядом шовинизма и милитаризма политически отсталые и малокультурные массы рядовых американцев, чтобы «оболванить» американского обывателя при помощи разнообразных средств антисоветской, антикоммунистической пропаганды посредством кино, радио, церкви и печати»¹.

¹ «Информационное совещание представиелей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года». Госполитиздат, 1948, стр. 29—30.

В Германии я имел возможность наблюдать, как практически осуществляется это оболванивание средних американцев. В Гейдельберге — старинном университетском немецком городе мы посетили одно из «просветительных» учреждений американской армии, которое почему-то называется солдатским клубом. Такие клубы были организованы во всех американских гарнизонах. В клуб под названием «Аист» мы заехали поздно вечером. Огромный прокуренный зал походил больше на какой-то грязный притон. Более сотни молодых совершенно пьяных солдат, почти подростков, сидело за столами с такими же пьяными немецкими женщинами. Офицер, сопровождавший нас, рассказал, что немецких женщин и девушек специально отбирают для солдатских клубов. Для этой работы существует особый отдел при штабе. Немецкие женщины могут посещать клубы только по особым пропускам. Эти круглосуточные пропуска, а проще сказать — жёлтые билеты, выдавались в американских комендатурах по предъявлении двух документов — справки о денацификации и отсутствии венерических заболеваний.

В такой обстановке молодые солдаты проводили свободное время. Потомков Авраама Линкольна реакционеры превращали в фашистских головорезов, дебоширов и пьяниц. Я мог наблюдать, как ведут себя американские солдаты и в других местах. Во Франкфурте мы зашли в немецкий кабачок. Хозяин торговал пивом из двух бочонков. В одном был свековичный раствор, эрзац-пиво для немцев, в другом — янтарное ячменное пиво для американских посетителей. За столиками сидели несколько немцев и пили своё пиво. Через несколько минут в подвальчик спустилась группа подвыпивших американских солдат с молодыми немками. Один из солдат, остановившись посреди зала, громко сказал только два слова: «Хэлло, веги!». С унижительной торопливостью допивали немцы содержимое кружек и безропотно выходили на улицу.

Там же во Франкфурте в букинистическом магазине я разговорился с немецким профессором, который искал нужную ему книгу. С книг разговор перешёл на другую тему. Мой собеседник — коллекционер уникальных книг и офортов — рассказал о событиях, которые произошли в городе спустя много месяцев после войны. Жил он в районе, наименее пострадавшем от бомбардировок. Однажды днём здесь появились американские сапёры и начали возводить проволочные заграждения вокруг всего района. Через несколько дней, когда заборы из колючей проволоки уже окружали сохранившиеся кварталы, в проходах поставили вооружённых солдат и всем жителям оцепленных кварталов приказали в течение нескольких часов покинуть свои квартиры. Было запрещено брать с собой мебель, ковры, картины, ценную утварь. Девять тысяч жителей были разорены и выброшены на улицу. Профессор, который рассказывал мне это, ушёл с женой из квартиры налегке, так, словно он ехал на дачу. В его квартире осталась библиотека редких книг в пять тысяч томов и ценнейшая коллекция офортов. В «сеттльменте», образованном по типу запретных зон в колониальных странах, поселились американцы. Всю лишнюю мебель они вывезли на «студебеккерах» за город, облили бензином и сожгли. Отношение американцев к простым людям Германии было прямо противоположным отношению к военным преступникам и промышленным магнатам.

Пьяные дебоши, насилия, грабежи стали обычным явлением в Бизонии. Передо мной лежит копия секретного отчёта франкфуртского полиции-президиума за февраль 1949 года. Вот сухая протокольная запись из дневника происшествий за первый день месяца:

«1 февраля. 3 часа 40 минут. Три американских солдата пытались украсть автомашину на Эйшенхеймерштрассе. Потом они выбили стёкла в здании почтамта на Шиллерштрассе.

20 часов 35 минут. Два американских солдата ворвались в главную клинику городской больницы. Угрожая пистолетами, они схватили шестнадцатилетнюю девушку Терезу Виль и увезли её. Девушка была изнасилована.

21 час 00 минут. Два пьяных американских солдата напали на прохожих на Музыкантенвег.

21 час 40 минут. Два пьяных американских солдата бросали камнями в прохожих перед рестораном Биллер на Бронхольмштрассе. Ранена одна проходившая женщина.

22 часа 00 минут. Пьяный американский солдат разбил стёкла в карточном бюро на Мауэрвег, влез через окно и избил там полицейского Бема.

22 часа 45 минут. Группа американских солдат на Шванхеймштрассе пыталась затаскать двух проходивших девушек в свою машину. Карл Штатлер, пытавшийся заступиться за девушек, был жестоко избит».

Это — происшествия только одного дня в центре американской зоны.

В Мюнхене и Нюрнберге шофёры такси были вынуждены объявить забастовку в знак протеста против непрекращающегося произвола американских военнослужащих, которые, как правило, не платили за проезд и избивали шофёров, требовавших оплаты.

Летом 1949 года была раскрыта международная шайка, похищавшая немецких девушек для публичных домов за океаном. Торговцы живым товаром вывозили женщин и девушек на пароходах, предназначенных для перемещённых лиц.

Ещё раньше в Гармиш-Партенкирхене в Баварии произошло зверское убийство «королевы Нэлли», о котором много писали в газетах. Корреспонденту «Интернэйшнл Ньюс Сервис», получившему разоблачительные материалы о подоплёке убийства, запретили печатать эти материалы. Убитая поддерживала связи с международной бандой, которая доставляла в Баварию наркотики и занималась вербовкой белых рабынь. В деятельности международной банды и убийстве замешаны были офицеры американской администрации. Покровительствовал банде один из видных американских чиновников в Баварии. Военный министр Кэнед Роял назначил судью Ирла Райварса специальным следователем по этому делу. Но разоблачения были так скандальны, замешаны были такие высокие американские чины, что результатов расследования не сообщили. Стало известно только, что одиннадцать американских офицеров, связанных с этой бандой, выслали в Америку. Они участвовали в хищении обнаруженного ими фашистскогоклада, стоимостью в три миллиона долларов. «Королева Нэлли», входившая в состав шайки, была убита с целью скрыть преступления американских офицеров.

Когда начинаются манёвры американской армии, это становится настоящим бедствием для жителей окрестных районов. Грабежи и насилия принимают огромные размеры. Во время манёвров в районе Графенвер весной 1949 года местный ландрат вынужден был обратиться с особой петицией к американским властям. Ландрат просил навести хоть элементарный порядок. По всей округе во избежание дебошей закрылись все немецкие рестораны, жители закрывали ставни и не появлялись на улицах. Венерические заболевания приняли катастрофические размеры. Район наводнили тысячи проституток. На станции Вайден ежедневно продавалось до семисот билетов до Зондерхофена, где происходили манёвры. Покупательницы билетов были главным образом проститутки, которых прозвали здесь «амицонками» (от слова «амицонэ» — американская зона).

Развлечения новых представителей «высшей расы», твердящих по примеру германских фашистов о своём превосходстве, приобретают часто совершенно дикий характер. В Германию эти «представители» приносят свой американский «новый порядок», насаждая свою растлевающую «культуру».

В Мюнхене, закрыв театр, американцы открыли «Шпиль-казино» для немецкого населения. Я побывал в нём. При входе посетителей встречает лакей в зелёной ливрее. Рядом администратор в чёрной тройке продаёт билеты, проверяет документы и записывает адрес посетителей. В казино нередко бывают самоубийства, и записи облегчают расследование...

Мы вошли в полутёмный зал, где только над столами горели лампы, прикрытые плотными абажурами. За столом, вокруг рулетки, сидели игроки, окружённые толпой зрителей. Иные сидели с карандашами и разграфлёнными листами бумаги. Они старательно записывали номера выигрышей, пытались разгадать тайну рулетки, математически установить закономерность счастья. Иногда они судорожно бросали на стол марки, проигрывали и снова погружались в вычисления.

В тот же вечер мы побывали в американизированном эстрадном театре. В про-

должене почти всей программы на сцене демонстрировался рыжий металлический робот. И артисты, обслуживавшие его, играли под робота. Сам робот мигал электрическими глазами, лязгал челюстью и выполнял томительно длинные акробатические комера. Американский робот проник в искусство, заменил человека, актёра, оставив вместо творчества голую технику в буквальном смысле слова. Каким убогим становится эмоциональный мир жителей центральной Европы, расстрелеваемых таким «искусством»...

По дороге в гостиницу нам показали ещё один вид развлечений. Мы заехали в американский офицерский клуб. Там шло соревнование на продолжительность танца. В центре зала, огороженного, как ринг, толстыми канатами, танцевали четыре пары. Было далеко от полночи, а марафонский фокстрот начался с пяти часов вечера. Пары уже восьмой час танцевали без отдыха. С застывшими, точно закованными лицами, они механически выделявали замысловатые па. Как все они походили на робота, только что виденного нами!

Через полчаса мы покинули клуб. Ещё одна пара сошла с ринга. Американцы продолжали «веселиться»...

Но есть у американцев и другие виды развлечения в Германии.

В Берлине до сих пор сохранился обычай: ровно в полдень полицейские регулировщики снимают свои белые нарукавники, выключают светофоры и уходят обедать. В этот час шофёрам такси, грузовых машин, велосипедистам и пешеходам предоставляется право самим заниматься регулированием уличного движения. Отдыхают регулировщики и в воскресные дни. Если кто-то разобьётся, врежется в трамвай или упадёт под машину, считается, что это его сугубо частное дело. Вот в такие воскресные дни берлинцы стали объектом очередного американского развлечения. С раннего утра крыши домов, заборы, ещё не срубленные деревья усеяли оравы немецких ребятшек. Они толпились на тротуарах, на улицах, нетерпеливо глядявываясь в туманное небо. С вожделением и надеждой глядели вверх и группы взрослых. Потом в легковых автомобилях появились американские дамы, офицеры. Возбуждение нарастало. Но вот на большой высоте появляется американский самолёт, и от него отделяются маленькие белые комочки-парашюты. Они медленно плывут к земле. Навстречу им через пустыри, руины, через заборы по улицам бросаются тысячи людей. Они отталкивают друг друга, падают, тянутся к парашютикам. Начинается дикая свалка, всеобщая драка. Американцы выскакивают из «паккардов», бегут следом, щёлкают на ходу затворами фотоаппаратов.

Что же происходит здесь? Это «шмоосы» — волшебные звери, которые приносят счастье. «Шмоос» — персонаж из американских детских сказок, он помогает бедным. Вот и привезли этих «шмоосов» в западную часть германской столицы. На каждом парашютике болтался такой уродливый картонный зверёк, а к нему — это главное — была подвязана квитанция на получение продовольственного наместика. Ради заветной квитанции люди рвали друг на друге одежду, дрались в кровь, теряли человеческий облик, сами превращались в зверей. Счастливые обладатели «шмооса» тотчас же отправлялись за скудным пайком. Ради него, на потеху американцам, тысячи берлинцев простаивали часами на улицах. Иные в азарте попадали под автомобили, но за это отвечали они сами — по воскресеньям на улицах нет регулировщиков.

Но «шмоосы» были не просто воскресным развлечением американцев. Здесь также осуществляется их политика. «Шмоосы» были маршалл-планом в миниатюре. Они сулили призрачное счастье немецкому обывателю, отвлекали его от нищей действительности. Выходит, что может же счастье упасть с неба! Можно также неожиданно подхватить на лету дешёвую шоколадку, которую потехи ради бросят из машины веселящиеся американские солдаты. Они нередко развлекаются так, бросая прохожим трёхцентовые плитки и наблюдая за свалкой на тротуаре.

Но счастье может прийти и другое, солидное, фундаментальное, как Урсуле Бауэр. Нужно только надеяться и не думать о реальной жизни. Так хотят американцы.

О счастье берлинской девушки Урсулы Бауэр писали много в газетах. Об этом стоит рассказать подробнее.

Где-то в Филадельфии лет пятнадцать тому назад умерла богатая одинокая американка немецкого происхождения Генриетта Гаррет. После неё осталось наследство в восемнадцать миллионов долларов. Прямых наследников у старухи не было, но за все эти годы в Америке объявилось двадцать шесть тысяч (!) дальних родственников Генриетты Гаррет, претендовавших на её миллионы. Несколько лет подряд федеральный суд отвергал претензии самозванных «родственников». Потом началась война, дело о наследстве немного забылось, и только после войны оно возникло снова. Выяснилось, что когда-то, ещё во времена Бисмарка, жила в Берлине кузина миллионерши. Вот она, эта кузина, и доводилась прабабушкой бедной немецкой девушке Урсуле Бауэр, оказавшейся, таким образом, наследницей миллионов. Но чтобы получить наследство, необходимо быть американской подданной. Для этого по меньшей мере нужно выйти замуж за американца. А девушке не хотелось выходить замуж за американца. Был у неё жених—бедный студент, с которым она уже решила связать свою судьбу. Так во всяком случае сообщали немецкие газеты под сенсационным заголовком «Девушка отказывается от миллионов».

Но это было только вначале. В течение недели девушка получила более ста предложений руки и сердца от заморских женихов, пронюхавших о наследнице. Но всех конкурентов обскакал сержант с темпельгофского аэродрома Аксель Онгстэд. Не надеясь на письменные излияния в любви, он прихватил с собой несколько банок свиной тушёнки, пакет с калифорнийскими апельсинами и пару туфель (узнав предварительно размер ноги невесты) и, нагруженный подарками, самолично отправился к Урсуле Бауэр.

Что произошло дальше, можно судить по тем же газетным заголовкам: «Любовь с первого взгляда», «Урсула предпочитает сержанта», «Богатая наследница нашла своё счастье». Потом газеты сообщили о помолвке влюблённых, об их отъезде в Америку, и лишь несколько позже выяснилось, что на решение Урсулы повлияли не только свиная тушёнка и туфли. Чтобы действовать наверняка, сержант Онгстэд связался с бывшим государственным секретарём Джеймсом Бирсом—частным адвокатом, ушедшим с дипломатической службы вскоре после своей штутгартской речи,—который согласился за сходный гонорар вести дело о наследстве Генриетты Гаррет. Вот после этой сделки и состоялась помолвка расторопного сержанта с наследницей миллионов.

Берлинские обыватели долго переживали всю эту историю. Ведь у каждого может найтись американская прабабушка! Или можно, например, выйти замуж хотя бы за американского рядового солдата и уехать с ним за океан в обетованную землю. Правда, за последнее время заморских охотников жениться на немецких девушках стало значительно меньше. Прозошло это после официального распоряжения американских оккупационных властей взимать с женихов известную сумму долларов для оплаты расходов на возвращение брошенной невесты. Деньги эти жених обязывался внести американским властям по делам эмиграции до выезда невесты в Америку.

Так и живут иные обыватели в ожидании американских благодеяний. В надежде на счастье они зашивают оторванные в драке рукава, залечивают синяки и отвлекают себя от мысли, что немецкие заводы один за другим переходят в собственность американских «благотетелей». Но не так уж много людей в Германии надеются на американское счастье. Немцы начинают создавать его сами.

Дорогу к счастью показало немецкому народу провозглашение Германской демократической республики,— оно раскрыло перед ним перспективу свободной, миролюбивой жизни. За счастливое будущее борется немецкий народ, поддерживаемый демократическим лагерем мира во главе с великим Советским Союзом.



Б. БЫХОВСКИЙ

★

СОВРЕМЕННЫЙ ФИДЕИЗМ

Современный империализм, выступающий под фальшивым знаменем поборника культуры и цивилизации — «западноевропейской культуры», «христианской культуры», «атлантической цивилизации», — является на самом деле злейшим врагом культуры. В жестокой борьбе против всех передовых, прогрессивных явлений культуры, науки, просвещения идеологи англо-американского империализма реставрируют самые дикие и отсталые суеверия, поощряют ретроградные, реакционные, давно изжившие себя предрассудки и заблуждения. Десятки и сотни тысяч отравителей общественного сознания всех родов духовного оружия усердствуют на службе империалистических хищников: от «бессмертных» академиков до непотребных девиц из мюзик-холлов, от проповедников «царства божия» до авторов порнографических романов, от расистских погромщиков до елейных «маршалл-социалистов».

1. Теологи.

В одном только 1947 году в США напечатано 630 различных религиозных книг — больше, чем о науке, технике, медицине, искусстве, больше даже, чем о торговле и промышленности.

По официальной статистике в США насчитывается 256 различных вероисповеданий, сект, религиозных течений, со своими молитвенными собраниями, культурами, проповедями, изданиями, — 256 религиозных корпораций, конкурирующих между собой в общем деле затемнения сознания американцев — от незначительных групп, объединяющих лишь десятки и сотни приверженцев, до мощных церковных организаций, одурманивающих десятки миллионов верующих.

Из многочисленных корпораций, сеющих и поддерживающих религиозный обскурантизм, католическая церковь является самым упорным, злобным и ожесточённым врагом культурного и социального прогресса. Опирающаяся на строго централизованную, подчинённую жёсткой дисциплине международную организацию, накопившая многовековой опыт борьбы против передовых идей, не гнушающаяся в этой борьбе никакими средствами, католическая церковь является главным оплотом воинствующего мракобесия во всём мире. По статистическим данным, опубликованным во время войны (1943 г.), в подчинении римского папы находится не менее 2 тысяч архиепископов и епископов и 300 тысяч священников во всех углах земного шара. Таков командный состав этого чёрного воинства. К этому надо прибавить многочисленных, не имеющих сана, светских служителей Ватикана: журналистов, профессоров, учителей и т. д., обслуживающих широко разветвлённую сеть католических учебных заведений, периодических изданий, радиовещательных компаний. Вся идеологическая деятельность католических клерикалов находится под строжайшей централизованной цензурой Ватикана. Каждое католическое литературное произведение обязательно должно иметь грифы «Non obstat» («нет возражений») и «Imprimatur» («печатать»), наложенные высшестоящим иерархом. До сих пор в Риме функционирует высшая католическая цензура, осуществляемая «Верховной священной конгрегацией священной канцелярии». Конгрега-

ция эта состоит из одиннадцати кардиналов, носящих, как и в средние века, зловещий титул «генеральных инквизиторов». По сей день труды Бэкона, Гоббса, Локка, Декарта, Лейбница, Спинозы, Вольтера, Руссо, а также произведения Дюма, Флобера, Стендаля, Гюго, Золя, Генриха Гейне, Анатоля Франса числятся в папском «Индексе запрещённых книг». Как сотни лет назад, продолжают своё существование католические ордена: доминиканцев, францисканцев, иезуитов. У них свои учебные заведения, своя пресса. Орден иезуитов имеет в Нью-Йорке свой особый университет (Фордхемский), издающий специальный черносотенный «философский» орган. Католические издательства наводняют мир потоками мракобесия. Достаточно сказать, что за 20 лет (1920—1940) библиографы насчитали 5 667 работ об официальном философе католицизма, средневековом богослове Фоме Аквинском.

Католическая церковь открыто проповедует возврат к средневековью. Особый «Папский институт», организованный в Торонто (Канада), присваивает окончившим его «учёные» звания лиценциатов и докторов «средневековых наук». Своей целью этот институт прямо объявляет: «Воскресить цивилизацию и культуру, которая в большей части утеряна... понять средневековый дух и уяснить его современному миру». Назад к средневековью! — написано на знамени, под которым католицизм ведёт свой крестовый поход против исторического прогресса, против передовых идей, против научного миропонимания.

Зов «Назад к средневековью!» — один из явных симптомов фашизации буржуазии. В 30-х годах в фашизирующейся Германии яростно звучал призыв: «К новому феодализму!» Мы знаем сейчас, что предвещала эта империалистическая тоска по средневековью, по инквизиции, по крепостному праву и к чему она привела. Теперь о возврате к феодализму заскулили американские ретрограды: им снятся «рыцари» Майданека и Бабьего Яра и «иерархия» фюреров маршаллизованных стран.

Уже шестьдесят лет назад папа Лев XIII в своей энциклике ясно сформулировал идеологические цели католического крестового похода: «Ядовитые доктрины разрушили как общественную, так и личную жизнь: рационализм, материализм, коммунизм и нигилизм — фатальные и тлетворные наваждения».

Убеждение в силе и могуществе человеческого разума, в достоверности научного знания; обоснованная всей историей развития науки и философии, всем историческим опытом человечества уверенность в существовании объективного мира и его материальном единстве; доказанная законами общественного развития и подтверждённая практикой революционной борьбы трудящихся уверенность в неизбежной гибели эксплуататорского строя и возможности создания бесклассового трудового общества — таковы те устои социального и культурного прогресса, которые стремятся сокрушить церковные изуверы. Ненависть к коммунизму идёт рука об руку с ненавистью к материализму и рационализму — к науке, к разумному, логическому мышлению.

Папа Пий XII в интервью, данном католическим философам в ноябре 1946 года, лишь повторил формулу Льва XIII: «Чисто детерминистическое и материалистическое объяснение бытия и истории... не может ни удовлетворить человека, ни дать ему счастье и покой». Это — откровенное признание врага в том, что не только материализм, но и детерминизм, то есть всякое вообще научное, основанное на познании естественной закономерности и причинной обусловленности, объяснение бытия для него нетерпимо, не даёт ему «счастья и покоя».

Католические стервятники — старейшие, но вовсе не единственные враги научной мысли. Протестантские фанатики, так называемые «фундаменталисты», не отстают от своих католических конкурентов в пропаганде невежества.

Приведём по этому поводу неоспоримое свидетельство влиятельного американского протестантского теолога Рейнгольда Нибура, недовольного топорностью протестантских ортодоксов, несовершенством их методов затемнения умов. «Фундаментализм, — по словам Нибура, — стремится сохранить христианское наследие, отрицая значение всех приобретений науки, достигнутых современной культурой, и превращая все существенные истины христианской веры в обскурантизм. Фанатическая приверженность к библии ортодоксального протестантизма, вопреки ходячим представле-

ниям, является гораздо более обскурантистской в культурном отношении, чем католицизм...» И протестантский мракобес призывает своих соратников не отставать от католицизма, быть более гибкими, манёвренными в приспособлении религиозных догм к требованиям современности, не брезговать фальсификациями там, где не помогают анафемы.

Борьба против научной теории неизменно идёт рука об руку с борьбой против революционной общественной практики. Фултон Шин, известный в США неосхоластический мракобес, ещё раз напомнил об этом своим приверженцам в клеветнической книжонке «Коммунизм и западное сознание». Издание этого грязного пасквиля сопровождалось широкой рекламой, возвещавшей, что «новая книга монсиньора Шина даёт людям любой веры оружие для борьбы против коммунизма» — оружие для борьбы против веры в разум, в науку, в свободный труд, в земное счастье.

Фашистский профессор американского католического университета фон Гильдебранд, открыто высказывает на страницах фордхемского журнала хищные, воинственные планы его собратьев по ордену иезуитов. «Угроза коммунизма,— проповедует этот рясофорный поджигатель войны,— может быть преодолена только посредством силы и, пожалуй, только посредством войны. В этот решительный час бог призывает к героической христианской жизни».

Одержимые маниакальным стремлением к мировому господству, англо-американские агрессоры используют церковь, как одно из средств идеологической подготовки империалистической войны. Недаром глава американских католиков кардинал Спеллман является одним из главных поджигателей новой мировой войны, а матёрый империалист Джон Фостер Даллес одновременно с военным «Атлантическим союзом» организовал атлантический «Церковный собор».

Основной метод религиозной борьбы против революционных идей — пропаганда неверия в действительное, жизненное, разумное и веры в фантастическое, мёртвое, неразумное. Основной метод религиозного отравления сознания — принижение человека, презрение к его подлинным жизненным интересам и нуждам, а главное, стремление удержать его от активной социальной борьбы, от революционной деятельности. Проповедь социального пессимизма, отрицание возможности исторического прогресса — важнейшие средства реакционной пропаганды клерикалов всех мастей. «Библейская вера, — заявляет упоминавшийся нами Рейнгольд Нибур, — должна быть отличной от какой бы то ни было мирской, земной веры, которая всегда ведёт к утопическим надеждам на осуществление какого-либо совершенного блага в истории». Надежда трудящихся на завоевание справедливого социального строя, на социалистическое преобразование общества объявляется церковниками утопической, а мифическое царство божие в загробном мире — единственным надёжным разрешением земных бедствий. «Вследствие этого, — читаем мы в одной из статей сборника, изданного «Институтом религиозных и социальных исследований» (есть и такой в США!), — мы должны воспитать в себе способность больше заботиться о духовных благах людей, чем об их физических благах». Что и говорить, отличный рецепт при безработице, снижении заработной платы, повышении цен, росте налогообложения!.. «План Маршалла», несомненно, следует этому наставлению, считая антикоммунистическую пропаганду высшим «духовным благом».

Религиозные проповедники прекрасно понимают социальную роль религии как средства обуздания масс, как орудия идеологической борьбы против революционного самосознания трудящихся. Они говорят об этом с цинизмом, превосходящим «классические образцы» религиозного лицемерия аристократии XVII—XVIII веков. Если мы с вами, говорят они в своём узком кругу, понимаем беспочвенность и несостоятельность религиозной веры, в этом нет ничего дурного, но беда, если это поймут народные массы. Буквально так пишет в журнале, рассчитанном на «своих людей», Фриц Хейнemann, в прошлом франкфуртский, а ныне оксфордский профессор философии: «Нигилистический взгляд, что бога не существует, может быть безвредным в узком кругу рационалистов, но этот взгляд становится катастрофическим в буквальном смысле, то есть ведёт к катастрофам, когда он распространяется в массах».

Фриц Хейнеман часто выступает по лондонскому радио в немецких передачах «Бибиси». Приведённые нами его слова также написаны как предостережение радиовещателям. У себя, мол, высмеивай религиозные бредни как тебе угодно, но, взявши в руки микрофон, преисполняясь благочестием, помни, что тебя слушают миллионы! Помни, что научное миропонимание, овладевая массами, становится великой революционной силой и «ведёт к катастрофам»! Вот они, велеречивые проповедники из «Бибиси», растленные лакеи поповщины, во всём своём подлом ханжестве и двуличии!

Прожжённые правосоциалистические политиканы неотступно следуют по пятам своих хозяев, катясь вслед за ними по наклонной плоскости. Некогда они твердили за буржуазными реакционными профессорами зады неокантианства и махизма, теперь они являются разносчиками открытого и явного фидеизма. Писания Блюма, Коула, подручных Шумахера полны елейных разглагольствований о христианской морали и акафистов христианской добродетели банкиров Уолл-стрита. Никакой своей философии у правых социалистов нет, кроме «философии»: «чего изволите!»

В нынешнюю эпоху разложения капитализма процесс его идейного распада и гниения зашёл так далеко, что простая реставрация феодальных христианских догм уже кажется империалистическим мракобесам недостаточной. Даже христианство оказывается на этой стадии недостаточно сильно действующим идеологическим наркотом. Из глубины веков извлекаются более острые наркотические средства, сильнее одурманивающие и обезволивающие, чем привычные, притупившиеся догматы христианства. Реакционный немецкий философ, злейший враг материализма и атеизма, Отто Фейт следующим образом характеризует идеологическую атмосферу в современном капиталистическом мире: «Своеобразная волна модернизированной мистики заливают потрясённую войной Западную Европу. В англо-саксонских странах она выражается в различных христианских сектах («Оксфордская группа», «Христианская наука» и т. п.). На континенте она обнаруживается в сенсационном интересе к азиатским религиям и мировоззрениям. Жители больших европейских городов находят истину и утешение в буддизме или в культе игогов дзобуддистского Санкья. Модернизированное учение последователей Зороастра распространяется в мистической космологии приверженцев маздеизма... Одновременно заново возрождается теософия, эта смесь азиатской и христианской мистики. От теософии отделяется антропософия Рудольфа Штейнера... Опять воскрешается старинная мудрость — астрология, почти совершенно забытая со времени Возрождения. Наряду с нею и отчасти в связи с нею возрос интерес к всяческим разновидностям оккультизма, спиритизма, медиумизма, магнетизма, гипнотизма...»

Автор этой картины идейной деградации империализма нисколько не сгущает красок. Он воспроизводит окружающую его действительность, пишет о своей собственной духовной среде.

По поводу модного увлечения буржуазных дегенератов самыми архаическими формами азиатской мистики один ревнитель христианской ортодоксии метко заметил: «Если современная музыка заимствована в Африке, почему нельзя перенять и религию у зулусов?» Это ли не вершина «атлантической цивилизации», якобы спасаемой от коммунизма!

Сотни и тысячи лет богословы всех стран воспевали божественный разум. «Бессилию» и «ограниченности» человеческого ума они противопоставляли бесконечную мудрость божественного провидения, «неразумию» бренной земной жизни — безграничный разум всемогущего божества. Когда у теологов спрашивали объяснения злу и несправедливости, царящим в мире, разделённом на богатых и бедных, они ссылались на непостижимость для человеческого ума бесконечного разума, руководящего божественным промыслом. Ныне империалистический мир стал настолько самоочевидно неразумен, что «разумный бог» ему явно не подстать. В разнузданной идеологической вакханалии современных империалистических мракобесов раздаются голоса, твердящие, что пора заменить устарелого «разумного бога» более соответствующим современным требованиям неразумным богом, наделённым «иррациональным всемогуществом» (Джон Ненс в «Хибберт Джорнэл»). А некий Александр Краппе из Озонского кол-

леджа в Пенсильвании вещает: «Весьма, конечно, далеко от истины, что боги по самой своей природе должны быть разумными существами». «Deus Irrationalis» — бог, несовместимый с разумом, неразумный бог — таково последнее слово религиозного сумасбродства империалистической реакции. Как не согласиться после этого, что люди создадут богов по своему образу и подобию!

2. „Философы“.

В эпоху империалистической деградации буржуазные философы, триста лет назад составившие против богословского засилья, снова впряглись в религиозную упряжку. Зарубежные учебники философии (например, вышедший в США учебник Гленна) прямо и открыто воскрешают средневековую максиму, объявляя философию «добровольной и беззаветно преданной служанкой теологии». Самый отъявленный, оголтелый фидеизм захлестнул современную реакционную философию.

По определению товарища Сталина, фидеизм есть «реакционная теория, дающая предпочтение вере перед наукой».¹ «Фидеистами (от латинского слова *fides*, вера), — пояснял В. И. Ленин, — называют... тех, кто ставит веру над разумом»². В своём бессмертном творении «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин неопровержимо доказал, что идеализм «есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли»³. Ленин доказал, что роль идеализма всецело сводится к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма. Фидеизм есть отрицание или ограничение разума, принижение разума в пользу слепой религиозной веры. Логическое мышление, научное познание фидеизм заменяет церковными догмами и мистическим откровением. Фидеизм — крайняя, безудержная форма иррационализма, отрицающего закономерность явлений природы и событий истории и возможность их рационального познания. Отказ от рационального познания действительности, от научного объяснения мира и возврат к мифологическому антинаучному мировоззрению — такова сущность фидеистической псевдофилософии.

Господство фидеизма в современной буржуазной философии является идеологическим выражением того непреложного исторического факта, что существование капиталистического строя сделалось историческим анахронизмом, что буржуазный мир стал тормозом на пути развития человеческого общества. Притязания капитализма на вечность не поддаются теоретическому обоснованию и оправданию. Поэтому для их поддержки приходится разрушать логический строй мышления, отвергать разум, поносить науку. Это и делают фидеисты и их подголоски — иррационалисты всех мастей.

Окутать густым, непроницаемым туманом сознание людей — такова основная функция фидеистов. Сквозь этот густой туман плохо различимы очертания реальных вещей. Действительность расплывается и теряет отчётливость своих контуров. Кругозор предельно суживается, отдалённое, грядущее, теряющее опору в научном предвидении, становится тёмным, непроницаемым. Это именно и нужно империалистическим пифиям, стремящимся подорвать идею исторического прогресса, научное обоснование неизбежной гибели капитализма и победы коммунизма, дезориентировать людей, посеять в их умах неуверенность и страх перед будущим.

«Иррациональность является отличительной характеристикой реальности или фактичности, то есть существования как существования» (Бек). «Существование — таинственная вещь, возможно — это тайна тайн» (Гренье). «Нам приходится говорить рационально, — жалуется председатель западного отделения Американской философской ассоциации Корнелиус Бенджамин, — несмотря на то, что самый факт нашей рациональности иррационален; нам приходится быть осмысленными по отношению к вещам, которые по самой природе своей бессмысленны; нам приходится быть логич

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 543—544.

² В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 14, стр. 243.

³ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 14, стр. 343.

ными в отношении вещей, недоступных логике». И так далее и так далее. Дымовая завеса мракобесия застилает глаза, ослепляет. И так—страница за страницей, глава за главой, книга за книгой. И так—день за днём, год за годом. Упорное, непрестанное, злонамеренное отравление общественного сознания.

Первую заповедь всего современного философского идеализма ярко и лаконично выразил уже сорок лет назад главарь американского прагматизма Уильям Джемс: «Я отрицаю право за какой бы то ни было логикой налагать вето на мою веру». Отрицание логического «права вето», отказ от логического контроля над убеждениями, оправдание воззрений, несовместимых с разумным мышлением,— это и есть фидеизм, символ веры буржуазной философии эпохи империализма. Престарелый трубадур американской реакции Джон Дьюи, комментируя фидеистическую формулу Джемса, пояснил, что речь идёт о «праве человека выбирать свои убеждения не только при наличии доказательства или достоверных фактов, но также и при отсутствии всякой очевидности этого рода». Словом, прагматическая формула есть не что иное, как перенос изречения: «Если мои взгляды противоречат логике— тем хуже для логики, если они несовместимы с фактами— тем хуже для фактов». Таков рациональный смысл формулы иррационализма.

Она не далеко ушла, эта заповедь фидеизма, от сумасбродной формулы злейшего врага разумного мышления, какого когда-либо знал мир, от пресловутой формулы Тертуллиана: «Credo, quia absurdum» («Я верю этому, ибо это нелепо»). Этот сдержимый бешеной ненавистью к науке и философии «отец церкви», мрачный религиозный фанатик II века, сделался вдохновителем философствующих мракобесов XX века. Сотни лет формула Тертуллиана приводилась в школьных учебниках как чудовищный образец интеллектуального помрачения. Ныне она стала нормой реакционной философии, открыто, беззастенчиво провозглашённой идеалистами наших дней.

Вот как «обосновывает» один из столпов современного философского идеализма Н. Гартман понятие свободы воли, то есть изъятие воли из подчинения закономерности природы и общества: «Религиозная свобода, свобода человека утверждается вопреки всякому разуму и всякому рассудку, даже наперекор самому богу. Разумеется, она лишь утверждается, ибо о доказательстве здесь нечего и думать. Её нельзя принять без принесения в жертву разума («Sacrificium intellectus»).

«Принесение в жертву разума»— это настоящие слова, характеризующие дело современной идеалистической философии: принесение разума в жертву империалистической реакции. «Вопреки всякому разуму и всякому рассудку»— это неприкрытое мракобесие, совершенно равнозначное формуле Тертуллиана, провозглашённое одним из лидеров современного философского идеализма. Следует напомнить, что «принесение в жертву разума» основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола (XVI век) называл «третьей и высочайшей степенью послушания, угодного богу».

Рабски следует Гартману и «аргументация» Отто Фейта, немецкого философа милостью американских скупационных властей: «Все когда-либо выдвинутые доказательства свободы воли ложны... Но такая бездоказательность вовсе не означает не только опровержения свободы... но даже и ослабления её позиции... Точно так же было и с «бытием божия» в рациональной теологии; доказательства бога оказались ложными, но смешно было бы на этом основании считать бытие бога опровергнутым. Так же обстоит дело и со свободой... Для того, кто верит в свободу воли, для того эта свобода существует— независимо от каких бы то ни было доказательств противоположного».

«Credo, quia absurdum!» Тень Тертуллиана простёрлась над вырождающейся философией издыхающего буржуазного мира. Перед нами уже не только гнилые выводы— гнилые разъяло самые логические корни, основы мышления, подход к вопросам, метод защиты выводов и теорий.

В поисках дурмана философы империализма обращаются к самым мутным источникам самых сумрачных исторических эпох. Всё чаще черпают они своё «вдохнове-

ние» из мистических произведений времён гибели Римской империи и увядания эллинистической культуры.

Весьма типичен в этом отношении Уильям Ральф Индж, первый философ современной англиканской церкви, один из столпов протестантской теологии, признанный лидер фидеизма.

Бывший настоятель лондонского кафедрального собора св. Павла, профессор Индж — заслуженный деятель реакции и мракобесия. Его «заслуги» в борьбе против передовых, прогрессивных идей и научного миропонимания бесспорны и общепризнаны. Недаром его короткая фамилия сопровождается длинным хвостом титулов. Недаром он является почётным доктором Оксфордского, Эбердинского, Шеффилдского, Эдинбургского и других университетов.

В философии Индж является ревностным приверженцем Плотина, египетского философа эпохи упадка Римской империи, мистика из мистиков, виднейшего представителя неоплатонизма, этого конечного продукта разложения античной идеалистической философии. Как известно, реакционные философы эпохи упадка и разложения капиталистического мира имеют обыкновение присоединять к названию своих философских систем частицу «нео»: неокантианство, неогегельянство, неюмизм, неотомизм, и т. п. Эта частица «нео», разумеется, отнюдь не говорит с новизне учения, а как раз напротив, свидетельствует о его регрессивности, эпингостве, движении вспять к тому или другому изжившему себя идеалистическому воззрению, воскрешаемому из мёртвых. Индж примечателен тем, что реставрируемая им философская догма настолько ветха, что одного «нео» для неё недостаточно. Она почти две тысячи лет назад была «неоплатонизмом», так что Инджу не остаётся ничего другого, как назвать свою философию «нео-неоплатонизмом». И этот философский анахронизм печатают и даже глубокомысленно изучают! Это ли не рекорд «прогресса» философской мысли!

Впрочем, о прогрессе Индж слушать не хочет и говорит о нём не иначе, как с нескрываемами злобой и раздражением. Никакого прогресса не было, нет и не будет — таково глубочайшее убеждение его преосвященства, пропагандируемое им с неустойчивым усердием. Какой может быть прогресс после грехопадения Адама и Евы!

Вполне понятно, что «теоретическое» отрицание прогресса сопровождается у Инджа борьбой против всякого социального прогресса на практике, злопахотельством по отношению ко всем передовым культурным и политическим течениям современности. Проповедник «христианского неоплатонизма» является открытым и злым врагом социализма, демократии, рабочего класса. Даже профсоюзное движение он расценивает как одно из величайших зол нашего времени. Его преосвященство не скрывает своих симпатий к фашизму и его английским прислужникам. Мистический экстаз, позаимствованный им у Плотина, сливается у Инджа с человеконенавистничеством, заимствованным у Гитлера и Мосли.

Свою ультрамистическую «философию» Индж выдаёт за... рационализм, ибо мистика, по его мнению, есть не что иное, как... разум, применённый к сфере, лежащей по ту сторону рационального. Это равносильно тому, что сказать: лёгкие, применённые в безвоздушном пространстве!

Для того чтобы выдать фидеизм за рационализм, Индж проделывает над понятием «разум» соответствующую операцию: «разум» он отличает от «интеллекта» («нус» от «дианойа», по античной идеалистической терминологии), то есть «освобождает» разум от норм логики и фундамента эмпирии. Нет ничего удивительного, что этот подвергнутой «стерилизации» разум, отделённый от мира материальных вещей и закономерностей природы, уносится в «сферу, лежащую по ту сторону рационального».

Фидеистов Индж возводит в ранг «оптиков души», так как они, по его словам, помогают своим пациентам узреть невидимое. «Мы,—заверяет преосвященный «оптик»,— являемся амфибиями, живущими отчасти в мире весомых вещей, а отчасти в мире безвременных ценностей... Туманные опосредствующие формы мифа и культа служат своего рода мостом, по которому мы можем перейти из мира вещей в мир ценностей, от времени к вечности, от явления к реальности...»

Уильям Индж — не амфибия, а рептилия, ядовитое пресмыкающееся. Он ползает на брюхе перед фашистскими головорезами. Он готов им простить и богохульство, и неуважение к неоплатонизму за то, что они — настоящие враги прогресса и демократии. И не нужно никакой «оптики», чтобы «узреть», что перед нами гад, брызжащий ядовитой слюной в страхе перед неудержимо прокладывающим себе путь историческим прогрессом, социалистическим обществом, научным миропониманием.

Виднейший представитель старшего поколения английских мракобесов находят себе достойную смену. Пятидесятилетний Олдос Гексли в своём обскурантистском рвении старается не только не отстать от девяностолетнего Инджа, но и переплюнуть его. А это задача нелёгкая.

Неоплатоническая мистика не удовлетворяет Гексли. Давно достигнув своей исторической вершины, буржуазная мысль безудержно катится вниз по склону истории. В лице Гексли она докатилась до буддизма. Гексли повторяет вслед за Шопенгауэром попытку перенести буддистскую нирвану в атмосферу классовых боёв нашего времени. Традиционным наименованием католического богословия — «*philosophia regepñis*» («вековечная философия») — Гексли обозначает модернизированную индуистскую мистику, проповедующую бегство от всех стремлений, подавление всех жизненных влечений как источника зла и страданий. Из ненависти к новому, революционному, из боязни социального прогресса он обращается к мистике.

С большой наглядностью обнаруживается у Гексли характерная черта реакционной, идеалистической философии — её вражда к науке и разуму. Для Гексли наука — источник зла в мире. Свою книгу «Наука, свобода и мир» он начинает с программного заявления о том, что «прогрессирующая наука является одним из факторов, обуславливающих растущий упадок свободы и возросшую централизацию власти, имевших место на протяжении XX столетия». Характеризуя экономический хаос, царящий в капиталистическом обществе, Гексли заключает: «Причиной этого печального положения вещей является возросшее применение выводов чистой науки в экономике — применение их к массовому производству и распределению. Уродливый социальный строй империализма обращает достижения науки на службу эксплуатации масс и превращает их в орудия истребления людей. Источник величайшего благоденствия империализм превращает в причину нищеты, гнёта и социальных бедствий. А адвокат буржуазии Олдос Гексли сваливает вину со злодеев, управляющих этим строем, на прогресс научной мысли, используемый в преступных интересах империалистов. Современная наука и техника, будучи поставлены на службу интересам трудящегося народа, являются могущественным средством подъёма благосостояния людей. Источником бедствий и несчастий они становятся лишь вследствие того, что собственность на средства производства узурпирована врагами народа. Эту хорошо известную истину Гексли стремится скрыть. Он обвиняет науку, чтобы выгородить капитализм. Он проклинает науку, чтобы освятить мерзость калечащего её буржуазного мира.

В центре мракобесия Гексли — борьба против идеи прогресса. Подобно Инджу, Гексли отрицает реальность и возможность прогресса. Его писания пестрят бранными эпитетами, когда речь заходит о прогрессе. «Миф о прогрессе», «культ прогресса», «догма прогресса», «идолопоклонники прогресса» явно не дают Гексли обрести безмятежность, достойную поклонника нирваны.

Отрицание исторического прогресса имеет у Гексли совершенно определённое назначение — отвлечь трудящихся от борьбы за лучшее будущее. Идея исторического прогресса, научно обоснованная марксизмом, служит теоретической базой борьбы революционных партий за общественное переустройство, она вселяет в сердца трудящихся уверенность в осуществимость их социальных чаяний. Это именно и делает идею прогресса ненавистной для всех реакционеров. Подрывая доверие к научной мысли, Гексли и ему подобные подкапывают под возможность научного предвидения, освещающего путь революционным борцам. Гексли обращается к тем, кто прокладывает дорогу в грядущее, с мрачными увещаниями: «Единственная вещь, которую все мы знаем о будущем, — это то, что мы ровно ничего не знаем о том, что может случиться... Следовательно, всякая вера, основанная на гипотетиче-

ских предположениях о событиях, предстоящих в отдалённом будущем, всегда, по самому существу своему, неизбежно является безнадежно нереалистической... Вера в лучшее будущее, — заклинает Гексли, — один из самых сильных врагов настоящей свободы».

Отрицание исторического прогресса, как и отказ от научного предвидения — методы идеологического разоружения революционных борцов. Пропагандируя исторический пессимизм, Гексли стремится погасить волю трудящихся к борьбе за общественное переустройство. Лозунг Гексли «Вера в лучшее будущее — враг настоящей свободы» — это клич воинствующего реакционера, оберегающего настоящее рабство, увековечивающего подлость сегодняшнего дня во имя беспросветности завтрашнего дня.

Когда Гексли ратует против веры в будущее, он борется против того будущего, которое коренится в настоящем, определяется им; он воюет против того завтра, за которое надо бороться сегодня. Пропаганда Гексли против будущего — это пропаганда против революционной борьбы, которая идёт сегодня, против передовых социальных сил и тенденций современности, против революционных политических борцов наших дней.

Вся философия Гексли — это призыв отказаться от политической борьбы, от революционной деятельности, призыв к пассивности, покорности, смирению, непротивлению злу. Философия Гексли — неосценимая услуга реакции.

Будущему, которое Гексли рассматривает, как функцию преходящего, эфемерного времени, он противопоставляет «неизменную», «непреходящую», «безвременную вечность Внутреннего Света, которого каждое человеческое существо способно достигнуть здесь и теперь, если оно этого хочет».

Если к этому добавить, что вечное «теперь», царящее в сознании, Гексли противопоставляет изменчивому времени, царящему в сфере материального мира, то перед нами под видом модной философии окажется во всей её неприглядности старая-престарая поповщина, с её «царством божим внутри нас», с блаженством «внутреннего света», с мистическим самозабвением — вопреки всей окружающей мерзости капиталистической действительности, в угоду этой действительности, в помощь ей.

Мракобесие Гексли типично для философского декаданса эпохи империализма. Прямая борьба против социального прогресса нераздельно слита в нём с самым оголтелым фидеизмом. Немногим более полувека назад дарвинист Томас Гексли отстаивал идеи научного прогресса против обскурантов и фидеистов. Теперь его внук оправдывает самые дикие суеверия — телепатию, ясновидение, воскрешение мёртвых — в борьбе против научного миропонимания. И его не презирает, не осмеивает «общественное мнение» буржуазных «просветителей», напротив, они приветствуют и превозносят новоявленного пророка нирваны. Быстро, стремительно идёт процесс разложения буржуазной культуры. Буржуазной мысли понадобилось лишь два поколения, чтобы от стыдливого материализма Томаса Гексли докатиться до бесстыдного фидеизма Олдоса Гексли.

В 1947 году американская культура обогатилась новым философским журналом под многообещающим названием «Главные течения в современном мире». Журнал этот любопытен не столько усердием, которое проявляет его редактор в борьбе с научным материализмом (в этом он не отличается от большинства американских журналов), сколько тем, что усердие редактора явно не по разуму; незадачливый мистер Кунц выбалтывает то, что стараются скрыть его более хитрые коллеги.

Задача, которую ставит журнал, — «исцелить» человечество от непрерывно возрастающего тяготения к научному материализму. Кунц называет вещи своими именами: речь идёт о тяготении к учению Маркса, к диалектическому материализму. Идеологи американского империализма желают спасти буржуазную цивилизацию от революционных идей. «Дело спасения американской нации и всего мира, — провозглашает журнал, — находится в прямой зависимости от ведущей роли (leadership) американских воспитателей». Как они «воспитывают» мир, это видно на примере хотя бы Греции.

В обосновании притязаний американского империализма философия должна сыграть, по мнению Кунца, большую роль. Марксистской философии, дающей научное обоснование революционной борьбе трудящихся всего мира против эксплуататоров, Кунц хочет противопоставить «философию», оправдывающую существующий строй насилия и порабощения. «Новая социальная философия,—заранее предсказывает Кунц,—окажется не чем иным, как привычным американским идеалом,— но этот идеал будет подкреплён тщательно разработанным обоснованием, которого он ещё лишён в настоящее время». Таким образом, речь идёт о том, чтобы подвести под старые политические лозунги американского империализма «теоретическое обоснование», чтобы расцвечить «философией» фасад долларовой демократии. Журнал «Главные течения в современном мире» пытается убедить американцев в полезности этой затеи. Научное обоснование, мол, необходимо; без науки сейчас далеко не уйдёшь: «престиж науки сейчас во всём мире выше, чем в США», и с этим приходится считаться «воспитателям» мира. Если американцы послушаются советов Кунца — «у нас будет, таким образом, научная идеология, далеко превосходящая русскую теорию». И, не теряя времени, Кунц и его подручные начинают мастерить новую философию, приспособляющую «американский идеал» к «престижу науки». Вот как это делается: «Необходимо,— читаем мы,— исследовать множество новых научных фактов и принципов, ставших известными со времени Маркса и Энгельса, фактов и принципов, которых эти мыслители не могли знать». «Исследовать» на языке Кунца — значит «фальсифицировать». Это «исследование» должно «доказать», что «по существу своему новые открытия подтверждают важнейшие положения религии и находятся в прямой противоположности к грубому материализму середины XIX века». Итак, учитывая престиж науки, нужно... укреплять религию. «Наука наших дней,— раскрывает карты Кунц,—должным образом организованная (properly organized), оправдывает религию». «Должным образом организованная!» — в этом суть дела. Термин «организовать» Кунц употребляет применительно к духовным ценностям, примерно в том смысле, в каком гитлеровцы употребляли его применительно к материальным ценностям. Только ограбив науку, совершив насилие над новыми научными фактами и принципами, можно поставить её на службу «религиозной традиции».

Физический мир — лишь тонкое покрывало более глубокой духовной реальности,— таково основоположение «трансцендентального реализма», проповедуемого журналом Кунца. Этот «реализм», по словам журнала, возвращает нас к платоновской позиции, но основываясь на новых авторитетах. Мало того: «новая философия» вполне соответствует древнеиндусским Упанишадам и Веданте. Она «возвращает нас обратно на позицию Платона, Будды, Иисуса и Шанкарашарья» (проповедника браманизма в VIII веке до нашей эры). Такова самая главная из «главных мыслей в современном мире». Такова та самая новейшая «научная» идеология, которой американские «воспитатели мира» готовы облагодетельствовать человечество, идеология, дающая «тщательно разработанное обоснование» идеалам американской реакции и мракобесия.

«Нам необходимо теперь,— откровенничает нью-йоркский ног,— с помощью разума сделать то, чего мы долго стремились достичь главным образом с помощью неразумия». Читаешь этот тупоумный журнал, призывающий разум в помощь неразумию, и думаешь: «Поистине, бодливой корове бог рог не даёт!»

3. „Учёные“.

Фидеизм — злейший враг науки. Развитие научной мысли на протяжении всей её истории совершалось в жестокой и непримиримой борьбе с поповщиной и её приказчиками — философами-фидеистами, поборниками тьмы и невежества. Пядь за пядью освещала в своём победном шествии научная мысль безграничные просторы материального мира, проливая свет разумного познания в тайники мироздания. С тех пор, как Галилей, Декарт, Кеплер заложили основы современного естествознания, религия и её философские оруженосцы — фидеисты, оказывая бешеное сопротивление

каждому научному открытию, вынуждены были шаг за шагом отступать перед сокрушительными победами научного знания. Религия жила неудавшимися научными опытами, она жила трудностями науки, паразитировала на пробелах познания. Успехи науки были её неудачами, поражения науки — её достижениями. Религия, по признанию Хокинга, одного из лидеров современного американского фидеизма, все эти триста лет «вела отступательную войну, всячески используя каждую ещё не познанную область природы». Но по мере дальнейшего развития науки религия изгонялась и из этих прибежищ. Одно за другим непознанные явления природы находили своё рациональное объяснение, лишались таинственности, переставали быть убежищем для невежественных измышлений поповщины.

Какие выводы должны были бы сделать отсюда честные непредубеждённые учёные? Что вся предшествующая история культуры доказала силу и мощь человеческого разума и его безграничную способность к познанию объективного мира; что развитие научной мысли совершалось в борьбе против религиозных предрассудков, отгеснявшихся с каждым новым шагом в развитии науки; что наука и религия — идеологические антиподы. Религия является преградой, препятствием для развития знания, убежищем косности и суеверий. Честному учёному нечего делать с религиозной верой. Его миссия — изгонять веру из её последних убежищ.

Но современные буржуазные профессора в большинстве своём не являются честными и непредубеждёнными учёными и не делают этих естественных выводов. Напротив, учёные-фидеисты принимают все меры к тому, чтобы спасти для мракобесия то, что ещё можно спасти. Таков, например, американский биолог Артур Линдсей, выступивший со статьёй о знании и вере на страницах журнала «Сайентифик мансли» («Научный ежемесячник»). Журнал этот является органом объединения научных организаций США, горделиво именующего себя «Американской ассоциацией содействия развитию науки» («AAAS») и без всяких на то оснований бахвалящегося своей прогрессивностью. Статьёй Линдсея редакция этого журнала заключила поднятое на его страницах обсуждение вопроса о науке и религии. Содержание этой статьи достаточно ясно показывает, развитию чего содействует эта ассоциация.

Выступая в среде учёных, профессор Линдсей не может не признать огромных успехов естествознания, величественных достижений научной мысли. Он не может отрицать и того, что успехи научной мысли дают человеку непоколебимую уверенность в способности человеческого разума раскрывать тайны природы. Линдсей вынужден согласиться, что современный учёный не может уже позволить себе «комфорта веры в любящего бога, который облегчает верующим тяготы земной жизни и принимает их в раззолоченный загробный мир... так как учёный слишком хорошо знает бренность человека». Словом, Линдсей не может не признать, что развитие науки очень стеснило и ограничило область веры.

Но всё это нужно Линдсею лишь для камуфляжа, чтобы продемонстрировать свою научную респектабельность и тем самым придать больше цены... своим выпадом против науки. Ибо цель Линдсея — во что бы то ни стало спасти остаток веры, подыскать для неё укромный угол в умах буржуазных учёных. «Наука, — пишет он, — должна иметь веру». Хотя познано и очень много, но ещё не всё познано, есть ещё кое-что не познано. И это «ещё не познанное» служит для учёного-фидеиста не стимулом для дальнейших научных исканий на испытанном и проверенном пути опыта и разума, а предлогом для протаскивания веры. «Если для учёного расширение его познания ведёт к ограничению области его веры, для него всё же остаётся великое неведомое, необъятное для его интеллекта». «Мир современной науки оставляет достаточно места для веры». Так фидеизм вползает в науку. «Вера, — заявляет Линдсей, — служит для всех людей прибежищем ума, когда он достигает пределов достоверного понимания... Вера есть величие Неведомого».

Для подлинного учёного, в отличие от фидеиста, неведомое, ещё не познано, есть задача, перспектива, объект исследования, то, что должно быть познанным и стать ведомым. Величие достигнутого, познанного вселяет в него уверенность в своих силах и в силах науки, стремление проникнуть во всё новые и новые тайники миро-

здания, разгоняя летучих мышей фидеизма. Как жалок, как ничтожен этот американский биолог, последыш обскурантизма, цепляющийся за утлые обломки религии и призывающий на страницах журнала «Ассоциации содействия развитию науки» к «вере», простирающейся «по ту сторону разума»; к «гармонии с Великим Неведомым»!

В борьбе против неодолимого напора прогрессивных научных идей мракобесы применяют различную тактику. Одни из них выступают под лозунгом воинствующего обскурантизма. «Мы не хотим добиваться мира с наукой путём её умиротворения», — заявляет фидеист Хокинг. Они остервенело чернят науку, как причину всех зол, и открыто призывают назад, к средневековью. Другие делают умильное лицо и, сознавая своё бессилие задуть науку, стараются приручить и обкарнать её. Одни доклинают ничтожество и бессилие разума, другие лицемерно восхваляют силу разума для того, чтобы восславить даровавшего его людям «творца». Одни проклинают науку, другие фальсифицируют её: для них в борьбе против врага все средства хороши.

В среде буржуазных учёных идеологи империалистической реакции находят верных холопов, услужливую агентуру — своего рода «пятую колонну» мракобесия в научном мире. Эти учёные холопы реакции преподносят самую чудовищную чертовщину под видом учёных трудов, обволакивая несусветную дичь варварских суеверий в мишуру псевдонаучной терминологии, «экспериментального обоснования» и математических формул.

«Современная буржуазная наука снабжает поповщину, фидеизм новой аргументацией, которую необходимо беспощадно разоблачать», — говорил А. А. Жданов в своём выступлении на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова¹.

Широкое распространение получили попытки реакционного истолкования достижений современной физики. Это та область, где особенно шумно режутся идеалистические зубры.

Революция, совершающаяся в современной физике, ломка отживших свой век механистических представлений и замена их новыми физическими понятиями является величайшим торжеством материалистической диалектики. Марксистско-ленинская философия создала и обосновала метод научного познания, без которого невозможно понять и осмыслить переворот, происходящий в современной физике. Учёные прислужники фидеизма делают всё возможное, чтобы исказить, извратить истинный смысл и действительное содержание этого переворота. Они спекулируют на трудностях, связанных с пониманием новых физических теорий. Они стараются использовать каждое новое научное открытие для реабилитации старых суеверий. Кризис механистической физики, обновление и углубление нашего понимания физических закономерностей, незавершённость этого процесса они пытаются использовать в интересах поповщины, пролезая во все щели недостроенного здания новой физики.

Теория относительности, сложная и изменчивая структура атома, квантовая физика — каждая новая научная теория, гипотеза или постулат немедленно обыгрываются философствующими шулерами идеализма. В теории относительности они усматривают оправдание инквизиторов, осудивших Галилея, и реабилитацию геоцентрической системы Птолемея. Из теории Эйнштейна они делают вывод о конечности вселенной и о её божественном сотворении. Из введения квантовой механикой прерывности в физику они заключают, что «природа, энергия которой движется квантами... является природой, рациональное объяснение которой предполагает наличие в ней разума или контролирующей божественной личности» (Флюеллинг). На том основании, что сложная ткань микромира не поддаётся наглядному, чувственному представлению, они утверждают, будто всякие философские суждения, «относящиеся к существованию природы, материи, пространства, времени или силы, подлежат устранению» (Иордан). Но физик, отвергающий объективную реальность природы, совершает противонаучную диверсию — он подрывает фундамент, на котором покоится всё здание научной физики.

Перед нами лекции, прочитанные эдинбургским профессором математики Эдмундом Уайттекером. Учёный мракобес не скрывает своей цели — использовать кризис

¹ А. А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г. Госполитиздат, 1947, стр. 42.

современного естествознания для укрепления христианской веры. Новейшими физическими открытиями он манипулирует для того, чтобы убедить читателей в несостоятельности важнейших устоев научного миропонимания — законов сохранения материи и энергии. Согласно Уайттекеру, мир сотворён богом из ничего, вселенная есть порождение божественной воли. Из изменчивости внутриатомных элементов и превращения одних элементарных форм материи в другие Уайттекер делает софистический вывод о возможности возникновения и уничтожения материи, а отсюда — о начале и конце мира. Если начало мира понадобилось эдинбургскому мракобесу для воскрешения библейского мифа, то конец мира понадобился ему для борьбы против стремления народов к общественному прогрессу. «Центральная идея гуманистической философии — это, — по словам Уайттекера, — движение общества вперёд, к лучшему будущему». Но если впереди «конец мира», то стоит ли стремиться к общественному прогрессу, стоит ли бороться за лучшее будущее?

Фидеистическая фальсификация науки неизбежно оказывается оборотной стороной реакционной идеологии врагов социального прогресса.

Широкое распространение среди проповедников фидеизма получили писания Бернгарда Бавинка, прямо поставившего своей целью снабжать попов «научными» аргументами.

Свою книжонку «Естествознание на пути к религии» Бавинк открыто посвящает теологам и призывает не только богословов-«теоретиков», но и попов-«практиков» использовать его рассуждения в своих проповедях. Отрицая материальность мира, целиком отвергая естественную закономерность и заменяя её всеобщим господством случайности, этот воинствующий мракобес провозглашает в качестве основного принципа миропонимания фидеистическую формулу: «Не существует в буквальном смысле ни единого кванта действия в мире, который не исходил бы прямо и непосредственно от бога». «Заниматься физикой, — заявляет Бавинк, — это, по существу, не что иное, как подсчитывать простейшие действия бога».

Можно сказать словами В. И. Ленина, что философия этих естествоиспытателей относится к естествознанию, как поцелуй христианина Иуды относился к Христу. Они предают естествознание его злейшему врагу — фидеизму.

Бавинк призывает попов перейти от обороны к нападению. Он зовёт на смертный бой против материализма, против миропонимания, непримиримого ни с каким обскурантизмом, ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, — против «небывалого напора большевистского неверия».

Вокруг новейших достижений физической науки, проронившей во внутриатомный микрокосм, разыгралась подлинная вакханалия империалистических мракобесов.

Они стараются заглушить тот главный, решающий факт, что открытия новейшей физики знаменуют огромный прогресс в научном понимании самых сокровенных закономерностей движений материи. Вместо этого физические идеалисты, всячески раздувая неполноту, незавершённость нашего знания микромира, подняли вой о том, что наука достигла своего предела и неспособна к дальнейшему развитию.

Самое содержание новых физических открытий идеалисты искажают и мистифицируют настолько, что вполне реальные физические явления теряют всякий физический, и вообще рациональный, смысл.

В этом состоит одна из главных функций современной идеалистической философии. Редактор итальянского «Журнала метафизики» профессор Шиакка очень прозрачно сформулировал эту фальсификаторскую функцию философского идеализма: «Философия есть качественное преобразование опытов и фактов, какими бы они ни были, их перенесение в иной план, в сферу высшего порядка», то есть извращение в интересах поповщины научных опытов и фактов, доказывающих истину материализма.

Вуржужазные обскуранты хотят обратить успехи науки против научного миропонимания. Мало того, они стараются запугать людей развитием научной мысли, они страшатся прогрессом познания. За идеалистическим лозунгом: «Материя исчезла!» следует черносотенный лозунг: «Наука погубит человечество!»

Характерна в этом отношении поповская стряпня Дэвиса «Богословие и атомный век». Открытие современной физикой атомной энергии, вопит Дэвис, величайшее бедствие человечества. Это открытие принесло в мир атомную бомбу. Оно грозит гибелью Земли и уничтожением человеческого рода. Вот, мол, до чего довела людей наука! Дэвис не договаривает до конца. Он ещё прямо не выдвигает требования сжечь на кострах все научные книги, разрушить лаборатории и линчевать учёных. Но от всей его книжонки веет смрадным духом инквизиции и фашистского варварства.

Поход против науки имеет целью не только подорвать уверенность в могуществе научной мысли и проложить дорогу поповщине. Идейные оруженосцы империализма стремятся таким путём отвести негодование народных масс от империалистических членовеноневистников, замышляющих использовать достижения науки в своих преступных целях, обратив их в средства истребления людей. Они стараются свалить на науку ответственность за кровавые преступления,готавливаемые врагами человечества.

От физиков-фиденстов стараются не отставать фиденсты-биологи. Перед нами изданный в Нью-Йорке «учёный труд» Леконта дю Нуи, недавно умершего профессора Рокфеллеровского института, ранее руководившего биофизическим отделом Пастеровского института в Париже. Все внешние атрибуты учёности в этой книге, озаглавленной «Человеческая судьба», налицо, и реакционная американская пресса всячески их подчёркивает, бурно рекламируя произведение дю Нуи. Благодаря этой неустанной рекламе реакционных газет, журналов, книжных клубов «Человеческая судьба» дю Нуи распродается огромными тиражами, оттесняя на второй план даже порнографические романы и детективно-патологические повести, и заняла прочное место в списках «бестселлеров» (ходких многотиражных изданий). Американцев заставили читать книгу дю Нуи, говорить о ней. Книга дю Нуи «Человеческая судьба» служит невежеству, суеверию и реакции, это вопиющий документ идейного маразма эпохи разложения буржуазной цивилизации.

Леконт дю Нуи — правоверный католик, агент Ватикана, выступающий под прикрытием Пастеровского института. Он и не скрывает того, что вся наукообразная бутафория его книги преследует определённые клерикальные цели: «Наукой пользовались для подрыва основ религии. Науку следует использовать для укрепления религии». Таков девиз, под которым выступает дю Нуи. Что за «наука» при этом получается, мы сейчас увидим.

Философские предпосылки, используемые дю Нуи, встхи и убоги; это старый агностический хлам, противопоставляющий отражению сознанием объективного мира, отражению, основанному на чувственном опыте и разумном познании, — мистический, непостижимый мир. «Нам следует помнить, — пишет дю Нуи, — что мы ничего не знаем и, вероятно, никогда ничего не узнаем об отношении между таинственной и гипотетической вселенной, созданной нашей логикой и гением с помощью элементов, доставляемых кривым зеркалом наших ощущений, и реальной, молчаливой и бесцветной вселенной». Старая, нудная песня обскурантов: «Не знаем и не узнаем!» («Ignoramus et ignorabimus!»). Мир, каким он дан в ощущениях, каким он познаётся в результате анализа нашего опыта логикой и разумом, объявляется «таинственным и гипотетическим», а «непознаваемый» мир, недоступный опыту и разуму, — «реальным». Отсюда один шаг от научного познания к «сверхразумной интуиции», то есть к не ограниченному опытом и разумом разгулу мракобесия. Сделав этот шаг, дю Нуи чувствует себя в своей родной стихии.

Вознёсшись над твёрдой почвой ощущений и логики, дю Нуи «сокрушает» научную теорию эволюции. Дю Нуи предаёт анафеме учение Дарвина. Он отвергает всякое естественное объяснение эволюции. Он проклинает всякий детерминизм, всякое научное понимание закономерности и причинной обусловленности вообще. Поставив своей задачей укрепление основ религии, он открыто выступает под знаменем телеологии — признания сверхестественного целепологающего начала, лежащего в основе всякой эволюции. Из закономерного процесса, совершающегося с естественной необходимостью, эволюция снова, как в прадедовские времена, превращается обскурантом

нашего времени в противоестественный процесс осуществления целей, предназначенных природе богом. Жестоко осмеянная просветителями XVIII века, телеология ныне снова стала последним словом буржуазной биологической «науки».

Дю Нуи не довольствуется тем, что называет своё, с позволения сказать, «учение» телеологией. Этого для него мало. Во Франции для обозначения телеологии (от греческого telos — цель) часто употребляется термин «финализм» от латинского «finis», в смысле — конечная цель, предназначение. И вот дю Нуи называет свою антинаучную страпню «телефинализмом», чтобы было похлеще: мракобесие в квадрате.

«Конечная цель» и «предназначение» всего этого телефиналистического бреда — новая теория происхождения человека. Именно в этой теории — последнее «достижение» буржуазной мысли XX столетия. Что же предлагает дю Нуи вместо дарвиновского учения о происхождении человека? Коль скоро, утверждает дю Нуи, естественная эволюция невозможна и биологический процесс не поддается рациональному объяснению — невозможно и естественное возникновение нового биологического вида, обладающего совершенно новой способностью — сознанием. Отсюда «профессор» Леконт дю Нуи заключает: «Наши выводы тождественны с выводами, изложенными в библии во второй главе книги «Бытия», где, как известно, сказано: «И создал господь бог человека из праха земного, и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Американским читателям остаётся лишь сказать: «Аминь!» — и облегчённо вздохнуть по поводу того, что материализм «посрамлён», а религия торжествует.

Нью-йоркские иезуиты из Фордхемского университета скажут и играют: вот это наука так наука! Иезуитский «профессор» Джозеф Келли посвятил книге Леконта дю Нуи восторженную статью под заглавием «Революция в эволюции». «Материалистические эволюционисты, — негодует Келли, — требуют, чтобы мы приняли недоказанную гипотезу эволюции», но явился пророк дю Нуи и возвестил новую эру в биологической науке. Он доказал, что «величайший момент в истории эволюции» исчерпывающе описан во второй главе книги «Бытия». Дю Нуи понял всё великое значение слов: «...и вдохнул в лицо его дыхание жизни». Эти слова объясняют, как «паступила новая фаза эволюции». Теперь, после открытия Леконта дю Нуи, окончательно «отброшена материалистическая интерпретация человека, низводящая его на уровень животных и даже ещё ниже — на уровень атомов и молекул. Родственные узы даже с высшими антропоидами порваны».

Иезуиты не нахвалятся книгой дю Нуи. От них не отстают протестанты. Протестантский мракобес Флюеллинг пришёл в восторг от откровений католического мракобеса и приветствует его в специальной передовой статье своего журнала «Персоналист», озаглавленной «От Дарвина к дю Нуи». Этот заголовок неплохо подытоживает процесс вырождения буржуазной биологии за последние сто лет: от великого Дарвина до ничтожного дю Нуи.

Этот характерный эпизод из «культурной жизни» Соединённых Штатов Америки особенно поучителен в свете той свистопляски, которую подняла там реакционная пресса по поводу успехов научной биологической мысли в СССР. Представители херстовского направления в биологии, столь рьяно выступающие «в защиту» биологической науки от «притеснений» и «преследований», которым она якобы подвергается со стороны биологов-мичуринцев, — это те же самые борзолисы, которые рекомендуют поповскую оправу дю Нуи, как единственную книгу по биологии, достойную внимания американского читателя, которые сеют дурман, пропагандируют темноту и невежество.

Леконт дю Нуи не останавливается на ветхозаветной мудрости. Он дополняет её «новыми» заветами фашизма. Человек — не последнее звено в эволюции; цель телефиналистической эволюции — сверхчеловек, попирающий народные массы. Мракобесие дю Нуи ведёт к восхвалению иерархического авторитарного режима фашистской диктатуры. Снова и снова повторяется одна и та же картина: борьба против науки, против материализма, против культуры идёт рука об руку с борьбой против демократии, против народа, против социализма. Мракобесие и фидеизм неизменно оказываются знаменем империалистической реакции и фашизма.

4. Просто шарлатаны.

«...наступил такой исторический момент, — писал В. И. Ленин в газете «Правда» в статье «Отсталая Европа и передовая Азия», — когда командующая буржуазия, из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддерживает всё отсталое, отмирающее, средневековое. Отживающая буржуазия соединяется со всеми отжившими и отживающими силами, чтобы сохранить колеблющееся наёмное рабство¹. С тех пор как написаны эти слова, прошло более трети века, в продолжение которой процесс вырождения и одичания буржуазии зашёл гораздо дальше. Всё отсталое, отмирающее, средневековое не только поддерживается теперь буржуазией, но является знаменем, под которым она отчаянно борется за сохранение разваливающегося строя наёмного рабства.

Нет такой дикости, такого суеверия, такого сумасбродства, которое бы идеологи империализма не старались использовать для одурманивания народа. Нет такого мошенничества и шарлатанства, которое эти пробокопатели не поставили бы на службу чёрной реакции.

В США, претендующих на «воспитание мира», насчитывается не менее 85 тысяч астрологов, хиромантов и предсказателей судьбы, выкачивающих у одуреченных американцев не менее четырёх миллионов долларов еженедельно. Наиболее распространённые американские газеты и журналы регулярно помещают астрологические гороскопы, культивируя самое тёмное суеверие, отброшенное всем культурным миром сотни лет назад. В 1945 году в конгрессе США был поднят вопрос об утверждении на государственной службе должности федерального астролога.

Трудно поверить, но бесспорным фактом является распространение в американской печати в 1947 году такой чудовищной нелепости, как сообщение об обнаружении русским лётчиком на вершине горы Арарат остатков Ноэва ковчега. Нашли даже «профессора» Смит и Флетчел, которые «обосновывали» достоверность этих данных, уверяя, что большевики сознательно утаили это открытие... в интересах антирелигиозной пропаганды. Каким болваном надо быть, чтобы печатать этот вздор, и на каких болванов-читателей надо рассчитывать при этом! Какие дебри невежества и темноты предполагает такая «информация»!

В 1948 году отмечалось пятидесятилетие «деятельности» «Сведенборговской научной (!) ассоциации». Ассоциация эта регулярно организует собрания, издаёт свой журнальчик под весьма иронически звучащим названием «Новая философия» и множество брошюр с произведениями своего кумира — Эмануэля Сведенборга, шведского мистика XVIII века. Названная «научная ассоциация» на протяжении пятидесяти лет усердно пропагандирует мистическую ахинею Сведенборга. На собраниях и в печатных изданиях «профессора» из этой ассоциации с учёным видом ведут бесконечную дискуссию на столь поучительные темы, как, например, о том, каков облик человека в загробном мире. Кант в своё время дельно советовал интересующимся этим вопросом терпеливо дожидаться, пока они попадут туда. Доктор философии Чарльз Пендлтон глубокомысленно рассуждает на страницах журнала «Новая философия» о том, «как любовь и мудрость, составляющие сущность духовного мира, могут превратиться в материальные вещества — железо и сталь».

Незачем воспроизводить невероятную чушь, заполняющую «Новую философию», но на одной восхваляемой в этом журнальчике книге следует остановиться — на книге норвежской сведенборгианки Сигрид Хейде. Книга посвящена описанию жизни её автора в гитлеровском концлагере. Норвежский народ героически боролся против немецко-фашистских поработителей. Он страстно их ненавидел и мужественно сопротивлялся захватчикам. Что же делала в это время последовательница Сведенборга, невольная свидетельница ужасов гитлеровского концлагера? Она призывала жертвы нацистского террора к покорности и любви к своим палачам. «Вот что делает эту книгу уникальной, — восторгается рецензент, — её клич: «Не ненавидь!» Она страдала со страдальцами... но она не ненавидела». Так раскрывается социальная сущность этих

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 19, стр. 77.

мракобесов. За пропагандой диких суеверий кроется проповедь рабьей покорности злейшим врагам человечества.

В 70-х годах прошлого века Энгельс в блестящем памфлете «Естествознание в мире духов» осмелел легковверных английских учёных, ставших жертвами шарлатанов и уверовавших в духов. Энгельс называл современный спиритизм самым диким из всех суеверий. В настоящее время это самое дикое из всех суеверий принято на идеологическое вооружение американской и западноевропейской буржуазии. Духи поставлены охранять породивший их старый мир.

«Британское общество психических исследований» — организация английских спиритов, существовавшая во времена Энгельса, — существует и поныне. В «Трудах» этого общества «доказывается», что человек связан со сверхестественным миром, существующим вне времени и пространства, и этот мир служит для него источником сверхчувственной и сверхразумной информации. В своих книгах и статьях спириты пропагандируют «сверхнормальное постижение истины». Насколько широки пропагандистские возможности английских спиритов, можно видеть из того, что радиостанции лондонского «Бибиси» передают лекции, популяризирующие спиритическую белиберду (например, лекции профессора Прайса). Не допуская антирелигиозного радиовещания, господа из «Бибиси» с охотой предоставляют слово спиритическим шарлатанам.

К услугам английских спиритов существует специальный журнал «Enquiry» — «журнал паранормальной психологии», среди сотрудников которого мы находим, наряду с «профессорами»-спиритами, и Олдоса Гексли, а также некоего полковника Белла, президента «Общества рабдомантов», то есть искателей кладов с помощью «волшебного» жезла.

В знаменитом Кембриджском университете, в Trinity College, существует специальная аспирантура по спиритизму, «изучающая»: а) существование у человеческих существ сверхестественных способностей познания или действия в их нынешней жизни; б) сохранение человеческого духа после телесной смерти. Общее идейное руководство этой аспирантурой осуществляет лидер английского «неореализма», вице-президент Королевского института философии профессор Чарли Броуд.

От английских духовидцев стараются не отставать и французские мракобесы. В Париже находится «Международный метапсихический институт», издающий свой журнал, посвящённый таким жгучим научным проблемам, как телепатия (чтение мыслей на расстоянии), ясновидение, материализация духов. Студенты Сорбонны имели удовольствие слушать на эту тему лекции некоего Рене Варсолье, инженера-химика, который решил, что вызывать духов — более прибыльная профессия. И он не ошибся. Американцы поспешили издать его книгу, предпослав ей рекомендацию бывшего председателя Американской психологической ассоциации, профессора Колумбийского университета Мэрфи.

Стараются не отставать от других и итальянские мракобесы. Особенно усердствует в этом отношении последователь Кроче — Эрнесто де Мартини, автор «Сверхчувственного восприятия» и «Магического мира». Синьор де Мартини рекомендует современным спиритам поучиться мастерству у шаманов. А его соотечественник Эвола проповедует «магический идеализм», в котором «опыт дикаря, нога и таоиста получает права гражданства наряду с лучшими западными традициями», хранимыми, как известно, изуверами из Ватикана.

Но в авангарде спиритизма шествует, конечно, «наука» Соединённых Штатов Америки — «просветителя вселенной». Там и с духами обращаются по-деловому. Так например, годичное собрание Национальной ассоциации спиритуалистов в Кливленде (штат Огайо) вынесло постановление, запрещающее медиумам выпрашивать военные тайны у духов умерших или погибших военнослужащих.

Чрезвычайным послом и полномочным министром США в царстве духов является «профессор» Райн, директор специальной «парапсихологической лаборатории», организованной для него в Дьюкском университете в Дерхеме (штат Северная Каролина). Как видите, чревоушатели не ютятся в США в базарных балаганах, а комфортабель-

по обставляются в «храмах науки». Это ли не свидетельство научного «процветания»? Райн поднял американскую чертовщину на высокий «идейный» уровень. Он приглашает богатых янки раскошелиться, уверяя их, что «телепатия даёт наиболее серьёзный отпор материалистическому мировоззрению, господствующему во всех науках», а «ясновидение — наш второй шаг по пути опровержения материалистических догматиков ортодоксальной науки». «Лаборатория» профессора Райна широко снабжает потребителей «экспериментальными доказательствами» возможности приобретения знаний без помощи органов чувств и возможности духовного воздействия на материальный мир без помощи физических средств.

В 1947 году в Нью-Йорке вышла книжка Льюиса «Чудеса». Книжка эта спокойна, деловито (таким тоном, каким аферист убеждает купить акции несуществующих золотых россыпей) уверяет в достоверности чудес, то есть «вмешательства в природу сверхъестественных сил». Подобных книг, статей, лекций и проповедей печатается и произносится в США великое множество. Самые дикие из всех суеверий, самые тёмные предрассудки нескончаемым мутным потоком захлёстывают общественное сознание, питая невежество, бескультурье, отсталость и идейное убожество — необходимых спутников социального рабства и бесправия.



Идеологи реакции мобилизуют все силы для противодействия непреодолимо растущему влиянию ленинско-сталинских идей среди трудящихся и передовой интеллигенции всего мира. Понимая огромное значение революционных идей и теорий в деле сплочения трудящихся на борьбу за прочный мир и народную демократию, апологеты англо-американского империализма не щадят усилий, чтобы заглушить голос правды, разума и совести.

Не дать проникнуть в умы людей свету научной марксистской мысли — такова первая задача философского идеализма. Увести народные массы от актуальных политических задач, отравить сознание трудящихся любым ядом, ослепить, деморализовать их, воспитать предателей своего класса и своего народа, подготовить для осуществления бредовых планов мирового господства США кадры фашистских авантюристов и головорезов, людей без чести и совести — такова её вторая задача.

«Известно уже из опыта нашей победы над фашизмом, — говорил А. А. Жданов, — в какой тупик привела целые народы идеалистическая философия. Теперь она предстаёт в своём новом отвратительно грязном естестве, отражающем всю глубину, низость и мерзость падения буржуазии»¹.

В своей бешеной злобе и творческом бессилии идеологи империализма извлекли из мусорной ямы истории и приняли на вооружение самые сумасбродные идеи, которые когда-либо были вымышлены реакционерами прошлого в борьбе против передового научного миропонимания. Они не брезгуют ничем, чтобы одурманить людей, сделать их неспособными понимать мир так, как он есть, и сделать его таким, каким он должен быть.

Фидеизм, поповщина, суеверие — старинный, веками испытанный дурман. Именно поэтому, что ныне с небывалой мощью и глубиной совершается процесс приобщения миллионов трудящихся к передовым революционным идеям и научным теориям, идеологи реакции сделали своим духовным оружием самое оголтелое, изуверское мракобесие.

Фидеисты противопоставляют научному мировоззрению тёмную, слепую веру. Они хотят преградить путь к основанному на опыте и разуме пониманию действительности, её закономерностей и движущих сил. Своих жертв они превращают в приверженцев безрассудного фанатизма. Темнота и невежество — пособники реакции. Культура и просвещение — орудия социального прогресса.

¹ А. А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г. Госполитиздат, 1947, стр. 42.

Фидеисты стремятся отвлечь трудящихся от борьбы против их классовых врагов, от действенной борьбы за переустройство общественных отношений, от создания реальных предпосылок свободной и счастливой жизни. Отуманивая сознание химерами блаженства в потустороннем мире и призраками божественной благодати, современные фидеисты воспитывают покорных, безропотных рабов империализма.

Распространением веры в небылицы, в нелепые порождения архаической фантазии фидеисты хотят поколебать основанную на общественной практике и выводах научной мысли уверенность в безграничном могуществе народных масс, вооружённых передовой революционной теорией.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. ЛЕНОБЛЬ

★

СОВЕТСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1

Перед нами лежит книжка, вышедшая в прошлом, 1949 году в Профиздате. Озаглавлена она скромно — «Массовая работа профсоюзных библиотек», — и возможно, многие читатели пройдут мимо неё. Между тем в этой книжке есть поистине волнующие страницы. Это прежде всего страницы статьи Галины Владимировны Бакутиной, заведующей библиотекой Сталинградского тракторного завода.

Осенью 1942 года Г. В. Бакутина была эвакуирована на левый берег Волги. В Сталинград она вернулась 23 апреля 1943 года. «Я, — пишет товарищ Бакутина, — надеялась на то, что, может быть, хоть кое-что сохранилось от заводской библиотеки. Но на месте библиотеки я нашла только вздыбленные груды железобетонных балок... Погибло 100 тысяч книг. В развалины было превращено прекрасное здание со всем библиотечным оборудованием, с вместительным книгохранилищем, с удобным читальным залом на сто читателей и всеми подсобными помещениями...

Горькие мысли приходили в голову. Кому нужна здесь я со своей профессией библиотекаря?

Вдруг я услышала знакомый голос:

— Галина Владимировна! Вы уже здесь?

Я подняла голову и увидела Александра Ивановича Глазова.

Я его знала как инженера, заместителя начальника цеха запасных частей, большого любителя книг, нашего постоянного читателя.

— Сама судьба посылает вас, — сказал он, с чувством пожимая мне руку. — Книги, книги нужны! Книг дайте...

Я с удивлением, но и с надеждой взглянула на него: здесь, среди развалин, нужны книги!

— Ну, что вы так смотрите? — спросил он и, упрекая в непонимании, добавил: — Мы же восстанавливаем завод...»

Потребность в повседневном общении с книгой — это одна из самых характерных черт современного советского человека, которой он остаётся верен даже в самые тяжёлые моменты своей жизни. Всем известно, что тиражи книг классиков и лучших советских писателей у нас колоссальны, и тем не менее их нехватает, расходятся они с исключительной быстротой. Страна наша покрыта густой сетью библиотек, число их неуклонно и непрерывно возрастает. Но всё же мы порой недостаточно ясно, недостаточно конкретно представляем себе, как много стало в нашей стране людей, которые попросту не мыслят жизни без книги.

Возьмём некоторые данные, характеризующие читателей Москвы. В 1949 году только в массовых библиотеках столицы, находящихся в непосредственном ведении соответствующих органов Мосгорисполкома, насчитывалось 1 148 333 читателя. В течение года им было выдано 25 970 390 книг. Выходит, что каждый из обслуживаемых этими библиотеками москвичей в среднем берёт в месяц по две книги. Но это не всё. Библиотек системы Моссовета в столице 182. А помимо них имеются библиотеки профсоюзные, школьные, ведомственные, научные и т. д. и т. п. Всего в Москве (по переписи 1947 года) 1 734 библиотеки, среди которых находятся такие гиганты, как Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина, Государственная Историче-

ская библиотека и другие. И ни в одной из них книги, разумеется, не лежат без движения.

Ясно, что большинство и, надо полагать, подавляющее большинство населения Москвы должно быть причислено к активным читателям.

Но Москва — это крупнейший политический и культурный центр Советского Союза. Что же делается в других местах?

В конце прошлого года «Правда» посвятила специальную полосу колхозу имени Сталина Будённовского района, Воронежской области — одному из многих тысяч колхозов нашей страны. В библиотеке этого колхоза, сообщает «Правда», насчитывается до полутысячи постоянных читателей, которым каждую неделю выдаётся на руки около двухсот книг. Не трудно подсчитать, руководствуясь этими данными, что каждый читатель артельной библиотеки в год прочитывает в среднем двадцать книг. Это почти московская цифра. Однако многие из колхозников читают значительно больше; в частности, колхозник Т. А. Яценко прочитал за год семьдесят книг (отдельные работы Ленина и Сталина, тридцать два художественных произведения, две книги по биологии, семь — по истории, четырнадцать — по пчеловодству и т. д.), а колхозник И. Т. Левченко за тот же срок прочитал шестьдесят четыре книги.

Колхоз этот не является исключением.

Всюду в нашей стране наблюдается огромный интерес к литературе, и с каждым годом он всё лучше удовлетворяется, с каждым годом библиотечное строительство принимает всё больший и больший размах. Следует вспомнить о замечательном начинании колхозников Украины, решивших организовать библиотеки в каждом селе. Уже сейчас колхозные библиотеки на Украине располагают книжным фондом в три миллиона томов. В Черновицкой, Измаильской, Каменец-Подольской областях УССР нет больше ни одного села, где бы не было своей библиотеки. Благородный почин украинцев широко подхвачен в самых различных концах нашей Родины. «Литературная газета» недавно писала о том, что в Омской области, где имеется 2397 колхозов, каждый колхоз имеет теперь свою библиотеку.

Показателен рост библиотечного дела и числа читателей в Таджикистане. До Октября Таджикистан был бесправной колонией царской России. Здесь было всего полпроцента грамотных мужчин, а женщины были все поголовно неграмотными. В настоящее же время в Таджикской Советской Социалистической Республике, где неграмотность среди населения почти полностью ликвидирована, одних лишь массовых библиотек насчитывается свыше 540.

«В I квартале 1950 года в СССР, — по сообщению Центрального Статистического Управления, — имелось свыше 300 тысяч библиотек всех видов, находящихся в ведении государственных и общественных организаций, с числом книг более 600 миллионов экземпляров, не считая большого количества личных библиотек, имеющихся у городской и сельской интеллигенции, у рабочих и колхозников».

В целом по Советскому Союзу одна библиотека приходится менее чем на тысячу жителей. А в Соединённых Штатах Америки, кичащихся своей высокой «культурой», одна библиотека приходится на 20 331 человек. Как признаёт американская библиотечная ассоциация, в «Соединённых Штатах имеется 35 миллионов людей, вблизи жилищ которых нет публичных библиотек». Да и что за «литературу» может отыскать в библиотеках (там, где они есть) американский читатель? Всякие реакционные измышления, расистские бредни, уголовщина, мистика и порнография — такова в основном та «духовная пища», которой его усердно потчуют.

В нашей стране, где книга играет такую выдающуюся роль, где так много активных читателей, по-настоящему любящих литературу, повседневно к ней обращающихся, особенно важно знать, чем живёт читатель и как он относится к книге. Нужно знать читателя, нужно его изучать. Однако, как это ни странно, изучением советского читателя, изучением того, каковы запросы, интересы, требования различных слоёв и категорий советских читателей, никто сейчас всерьёз не занимается. Правда, в своё время в Московском библиотечном институте имени В. М. Молотова была защищена диссертация о читателях-колхозниках, но было это десять

с лишним лет назад, в 1939 году. А затем на целый десяток лет наступил перерыв. Не ведётся работы по изучению современного советского читателя, его взглядов, интересов и потребностей и в Союзе советских писателей.

Следует отметить инициативу, проявленную в этом направлении библиотекарями. Среди библиотечных работников, составляющих значительный отряд тружеников советской культуры, о которых мало говорят, мало пишут, но которые скромно, без шумихи делают большое, нужное дело, имеются тысячи подлинных энтузиастов книги, неутомимых её пропагандистов, неустанно и заинтересованно следящих за тем, как она воспринимается читателями и какое воздействие она на них оказывает. Постоянно общаясь с читателями, непрерывно помогая им в организации чтения, проводя регулярно читательские конференции и ряд других мероприятий, библиотечные работники, естественно, накапливают богатый материал, в ценности которого не приходится сомневаться. Но, к сожалению, материал, получаемый таким образом, остаётся чаще всего необработанным. «Руки не доходят», — жалуются библиотекари.

Вряд ли нужно доказывать, что в изучении читателя заинтересованы не только библиотекари, но и самые различные группы работников. Потребность в этом ощущают и педагоги, и книгоиздатели, и книгопродавцы, и партийные и комсомольские работники.

Изучение читателя необходимо литературной критике. Мы частенько цитируем замечательные слова Чернышевского о том, что назначение критики — «служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе». Но для того, чтобы выражать мнение лучшей части публики, надо знать, в чём это мнение состоит.

Изучение читателя необходимо писателям. Ведь советский писатель пишет не для немногих избранных; он пишет для миллионов, и то, как воспринимают и оценивают его труд миллионы, имеет для него первостепенное значение.

В этой статье сделана попытка отметить некоторые черты, характеризующие современного советского читателя художественной литературы.

Использованные мною читательские высказывания, конечно, не являются исчерпывающим материалом относительно названных в статье писателей. Здесь взяты лишь некоторые высказывания, представляющие интерес с той или иной точки зрения.

2

Говоря об отношении нашего читателя к литературе, прежде всего следует сказать о колоссально возросшем интересе к советской художественной книге. Об этом единодушно свидетельствуют и библиотекари, и педагоги, и работники КОГИЗ'а, об этом свидетельствуют и библиотечная статистика. Ещё сравнительно недавно советская художественная литература не преобладала в читательском спросе — наоборот, очень многие читатели отдавали явное предпочтение классике. Немало, впрочем, было и таких, что — по старинной, ещё от дореволюционных времён унаследованной привычке — гнались за развлекательной переводной беллетристикой. Теперь же «пропорции» в читательском спросе изменились, и то, что изменились они в пользу советских писателей — показатель роста и нашей литературы, и нашего читателя.

Но, понятно, того отношения к советской художественной литературе, какое существует у нас сегодня, не было бы и не могло быть, если бы не два решающих обстоятельства. Это, во-первых, создание нашими писателями большого количества произведений, стоящих на высоком идейно-художественном уровне; это, во-вторых, социалистическая глубоко сознательная устремлённость интересов наших читателей.

Известно, как высоко оценил А. А. Жданов роль и значение советской литературы в довоенные и военные годы: «Именно потому, что советское государство и наша партия с помощью советской литературы воспитали нашу молодёжь в духе бодрости, уверенности в своих силах, именно поэтому мы преодолели величайшие трудности в строительстве социализма и добились победы над немцами и японцами»¹. В послевоенных же условиях, в условиях мирного развития задачи идеологического фронта, и в первую голову ли-

¹ «Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, М., 1946, стр. 17.

ратуры, вырастают. «Литература,— говорил А. А. Жданов, обращаясь к писателям,— это родное для народа дело. Вот почему каждый ваш успех, каждое значительное произведение народ рассматривает, как свою победу... Наоборот, каждая неудача в советской литературе глубоко обидна и горька народу, партии, государству»¹.

Тот подъём, который переживает советская художественная литература в последние годы, после исторических решений партии по идеологическим вопросам, нашёл исключительно горячий отклик у самых широких слоёв наших читателей. И означает он не просто рост мастерства писателей, но и рост действительности художественного слова, повышение активной роли литературы в социалистическом строительстве и коммунистическом воспитании народа.

Разумеется, что при этом ни в коем случае нельзя говорить о каком-то противопоставлении классической и советской литературы нашими читателями; как правило, в удовлетворении потребностей читателей классика и советская литература дополняют друг друга.

При анализе спроса на книги нужно непременно учитывать тот культурный общеобразовательный багаж, которым обладает сегодняшний читатель. Когда-то, говоря о массовом читателе, под ним подразумевали рабочих и крестьян в отличие от людей из интеллигентской среды. Но сейчас, когда у нас существует многомилионная интеллигенция из народа, когда на наших глазах стирается противоположность между трудом физическим и трудом умственным,— неверным было бы пренебрегать прежними представлениями о «массовом читателе». В настоящее время активные читатели и городских и деревенских библиотек являются в большинстве своём культурными людьми с богатым запасом прочитанного; основные образы и мотивы русской, а отчасти и западной классики освоены ими, вошли в их сознание, как неотъемлемая часть их собственного духовного достояния. А затем, обращаясь к данным библиотечного спроса, надо иметь в виду, что для своих личных библиотек многие читатели стараются прежде всего приобрести именно классиков.

¹ «Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, М. 1946, стр. 34.

Что же выделяет современный советский читатель из общего литературного потока, какие книги советских авторов в первую очередь приковывают к себе его внимание?

Хочется прежде всего отметить, что имеется немало книг, которые смело могут быть названы нашей советской классикой и которые на протяжении уже многих лет не выходят из читательского обихода. Из книг довоенного времени, наряду с бессмертными творениями Горького и Маяковского, следует назвать здесь такие произведения, как «Разгром» А. Фадеева, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова, «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей» Н. Островского, «Пётр Первый» А. Толстого, «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Педагогическая поэма» А. Макаренки и некоторые другие. О многих книгах военных и послевоенных лет также можно с уверенностью сказать, что они выдержат испытание временем не менее успешно, чем лучшие наши довоенные книги.

Характерной особенностью большинства современных читателей является то, что они следят за развитием литературы, стараются быть в курсе всего того нового, что даёт наша советская литература.

Всё то, что действительно удачно, что действительно заслуживает внимания читателей масс, обычно сразу получает самое широкое распространение, лимитируемое главным образом нехваткой книг.

Суммируя имеющиеся данные, следует прийти к выводу, что в центре читательского внимания сейчас находятся произведения лауреатов Сталинской премии. И это вполне закономерное явление.

Вместе с тем нередки случаи, когда читатели сами участвуют в выдвижении на Сталинскую премию лучших книг, созданных нашими писателями. Это происходит в самых различных формах.

Интересное письмо было получено в Союзе советских писателей на имя А. А. Фадеева вскоре после опубликования романа В. Ажаева «Далеко от Москвы». Читательница Е. Г. Мнацаканова (г. Ташкент) писала товарищу Фадееву: «Если это в Вашей власти, мы, многие читавшие эту книгу, просим Вас представить В. Ажаева к званию «Лауреата Сталинской премии» (первой)».

Прочитав в журнале «Знамя» роман Эм. Казакевича «Весна на Одере», участник Отечественной войны А. П. Звонков (г. Елец) поспешил поделиться с редакцией журнала своими впечатлениями о книге: «Роман «Весна на Одере» не может не понравиться советскому читателю... Не сомневаюсь, что этот роман не будет залёживаться на книжных полках библиотек и магазинов, так же как и не сомневаюсь, что это произведение достойно Сталинской премии».

«Ещё задолго до присуждения Сталинских премий за лучшие литературные произведения 1947 года, — пишет Г. В. Бакутина в статье, которая уже упоминалась, — мы получили в числе других книг роман М. Бубеннова «Белая берёза». По нашему обычаю, мы положили один экземпляр книги на стол выдачи абонемента. И вдруг неизвестная в то время широким читателям книга стала любимым произведением. Спрос на книгу «Белая берёза» рос с каждым днём, на неё устанавливалась очередь, её запрашивали по телефону, при каждой встрече со мной читатели самых разнообразных групп просили обязательно оставить её, словом, успех необычайный. Популярность «Белой берёзы» создали сами читатели».

За последнее время в печати несколько раз приводились списки книг, прочитанных теми или иными читателями — рабочими и колхозниками. Эти списки иллюстрируют широту и разносторонность интересов простых советских людей, богатство их запросов, подлинную интеллигентность работников физического труда, проявляющуюся в их отношении к книге. Более показательным является, однако, другое. Массовый просмотр библиотечных формуляров приводит к заключению, что как раз в той части их, которая относится к советской художественной литературе, вообще преобладают черты сходства, а не различия у самых разнообразных групп и категорий современных читателей (несколько иначе, по понятным причинам, дело обстоит в других разделах, особенно научной и общественно-политической литературы). Сколько-нибудь заметных различий между отдельными категориями читателей (в частности, рабочими и интеллигенцией), различий, которые носили бы принципиальный характер, в общем

отношении читателей к советской художественной литературе и её основным, ведущим произведениям сейчас не наблюдается.

Само собой разумеется, что у наших читателей обнаруживается большое разнообразие в оттенках мнений, выявляются споры и несогласия по многим частным, хотя порой и довольно существенным вопросам. Такое разнообразие оттенков обусловлено многообразием духовной жизни советского человека, оно объясняется в ряде случаев и возрастными особенностями, и разницей в накопленном жизненном опыте, и неодинаковой подготовленностью наших людей, и многими другими обстоятельствами. Но в то же время можно говорить о складывающемся единстве в основном, в решающем — о единстве вкусов и единстве критериев оценки литературных произведений. Если взглянуть внимательно, то мы ясно увидим, что в этом сказывается ценнейшее качество нашего великого народа — его морально-политическое единство.

3

Многообразны формы, в которых советский читатель высказывает своё отношение к книге. Тут и предназначенная только для себя запись в дневнике или записной книжке; и непосредственный, горячий отклик в непринуждённой, случайно завязавшейся беседе; и заранее продуманное, подготовленное выступление на читательской конференции; и сочинение, написанное на выпускном экзамене в школе или при поступлении в вуз; и письмо к писателю, с которым захотелось поделиться теми мыслями, чувствами, настроениями, которые пробудила его книга... Форм много. Но дело, конечно, не в форме, а в том, насколько точно и полно читатель умеет передать то воздействие, которое произвело на него слово художника. Опыт подсказывает, что, пожалуй, наиболее ценным материалом для исследователя являются письма читателей к писателям.

Передо мной находится письмо читателя В. А. Германова (г. Куйбышев). Оно адресовано Вере Пановой и посвящено её «Спутникам» я — частично — «Кружилых».

«Я, — пишет товарищ Германов, — сам врач, и мне было просто хорошо, когда я нашёл на страницах Вашей книги суровую

и строгую, спокойную повесть о людях нашей профессии...

Так много о нас написано, и так, зачистую, плохо. Всем нам памяты многочисленные пьесы с многочисленными переливаниями крови (дань моде?)...

Вы же сумели найти в нас простоту и обыденность, это спокойное самоотвержение, которое воспитывают в нас Сталин, партия и лучшие люди нашей науки. Подвиг врачей в эту войну был чаще всего простым и будничным. Вы сумели о нём мастерски рассказать. И не просто — рассказать. Эта книга — хорошая школа для нас, молодёжи...

Ваша «Кружилиха»... Люди у Вас и любят, и ругаются, и дерзают, и ошибаются, они любят и умеют жить, они не только носят «мысли», но и самоотверженно, без усталости, умеют работать. Все самоотверженно — и все по-разному...

Хочется после Ваших книг, — пишет в заключение читатель, — работать и работать — как Данилову, как Беляеву, как Листопаду, как Нонне».

В этом письме молодого советского интеллигента явственно различаются индивидуальные интонации его автора, угадывается своеобразие его подхода к литературе. Но вместе с тем есть в этом письме черты, типичные для очень многих, для широчайших кругов советских читателей.

И прежде всего типичным является настойчивое требование правды в литературном произведении — правды художественной и правды жизненной. Это одна из характернейших особенностей, отличающих нашего современного советского читателя.

Требование правды в искусстве соответствует всему моральному облику советского человека, всему его мировоззрению и мироощущению. Оно, это требование, гармонирует с тем здоровым чувством исторического оптимизма, которое в высшей степени свойственно советскому человеку и позволяет ему преодолевать все трудности и препятствия на его пути.

Отчётливо выступает в цитированном письме и другая особенность нашего читателя. Это концентрация его внимания преимущественно на тех явлениях действительности, которые ему особенно близки и представляют для него прямой, жизненно-важный интерес. Когда читатель наш говорит о правде в искусстве, он чаще

всего имеет в виду не только то ощущение достоверности, которое охватывает нас при чтении любого подлинно реалистического произведения, хотя бы в нём изображалась совсем незнакомая нам жизнь. Внимание читателя привлекает в первую очередь правда о той жизни, какой живёт он сам, его близкие, его друзья, его соотечественники. Он, с одной стороны, поверяет литературу жизнью, а с другой — хочет, чтобы литература раскрывала перед ним, по известному выражению В. М. Молотова, «идейный смысл событий и работы людей советской эпохи».¹

Как мы уже видели, своё особое тяготение к «Спутникам» В. А. Германов объясняет тем, что сам он врач. В то же время в другом письме к Вере Пановой, от Н. И. Полтавцевой (г. Полтава), мы читаем: «Нравится мне Ваша «Кружилиха», а «Спутники» не так. Если бы я была врач, может быть я предпочла бы «Спутники». Но я инженер, у которого производство вошло в быт, стало неотъемлемой частью, и поэтому я «Кружилихой» очарована».

Сопоставление литературы и жизни, или правильной, пожалуй, будет сказать, понимание литературы, как отражения и осмысления той жизни, которой живут сами читатели, — проходит красной нитью почти через все читательские высказывания, через подавляющее большинство читательских писем к писателям. Оттого-то, передавая свои впечатления от прочитанного, читатели ссылаются так часто на свой собственный жизненный опыт, на то, что им самим довелось видеть и испытать. Это относится и к книгам о Великой Отечественной войне, и к книгам о послевоенном времени.

Так, например, с большой теплотой отзываясь о романе Эм. Казакевича «Весна на Одере» полковник Чернышёв (г. Выборг). И характерно, что удареие (в письме к автору) он делает прежде всего на том, что всё в романе «Весна на Одере» — правда: «Все образы в Вашей книге исключительно жизненны. Нет ничего надуманного. Всё именно так и было, как Вы описываете. Нам, испытавшим всё

¹ В. М. Молотов. 31-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Госполитиздат, М. 1948, стр. 19.

то, о чём Вы пишете, сталкивавшимся на фронте с людьми, похожими на Ваших героев, они особенно близки и дороги, эти труженники войны, патриоты своей Родины. Лубенцов, Чохов, Мещерский, генерал Серeda, член Военного Совета, Таня и другие понятны и дороги нам. Так же правдиво изображены и наши противники. Вся их гнусность, низость, подлые их методы вызывают омерзение и заставляют насорожиться — ведь часть их уцелела и находится под «крылышком» наших бывших союзников».

Другой пример. Прочитав ленинградский дневник Веры Инбер «Почти три года», инженер-экономист Э. М. Полонская обращается к писательнице с пространным письмом, в котором уверяет её: «Напрасно Вы себя мучили сомнениями, дойдёт ли Ваша книга до читателя, поймут ли её все или только ленинградцы, донесли ли Вы до читателя грозный облик блокированного Ленинграда. Всё это — напрасные сомнения». Ведь у скольких людей в прошедшую войну были сходные переживания. «Я сама жительница не Ленинграда, а Одессы, и испытала всё, о чём Вы пишете в своей книге, — всё, кроме голода». И дальше идёт взволнованный рассказ о жизни и работе автора письма в осаждённом городе и об эвакуации морем в незабываемые августовские дни 1941 года. «Мне, — признаётся читательница, — очень хотелось записать всё пережитое в то время хотя бы в форме дневника, но не было времени и, вероятно, таланта, а сейчас это и не нужно. Вы это сделали много лучше, чем сделала бы я».

Последняя фраза особенно знаменательна. Читатель находит в художественном произведении отклик на самые сокровенные свои раздумья и чувствования; перед ним вновь встаёт то, что было им пережито в один из наиболее трудных, наиболее ответственных моментов его биографии, — но встаёт в обогащённом и прояснённом виде, в художественно конкретной и, одновременно, обобщённой картине. И читатель не просто восстанавливает в памяти какие-то детали своего прошлого; он глубже проникает в окружающую его действительность, он лучше осознёт, чему он был свидетелем и участником, — и ещё выше становится его патриотическая

гордость за нашу социалистическую страну, за её людей, его товарищей по труду и борьбе.

Жизненность, правдивость художественных образов, помогающих понять и осмыслить нашу советскую современность, отмечают читатели «Счастья» П. Павленко, «Белой берёзы» М. Бубениова, «Алтарь уходит в горы» Т. Сёмушкина, «От всего сердца» Е. Мальцева, «В одном населённом пункте» Б. Галина, «Весны в Сакене» Г. Гулла, «Бури» В. Лациса, «Зари» Ю. Лаптева, «Земли Кузнецкой» А. Волошина и других. В прошлом году Каменская районная библиотека (Ростовская область) организовала читательскую конференцию, посвящённую роману С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». И в выступлениях колхозников на этой конференции слышатся, в сущности, те же нотки, что и в приведённых выше письмах; снова разговор заходит у читателей о близости художественного произведения к реальной действительности. «Я, — говорил на конференции в Каменке бригадир строительной бригады колхоза «Северный Донец» З. С. Богданов, — прочёл книгу «Кавалер Золотой Звезды» с большим интересом. Мне казалось, что Семён Бабаевский написал про наши станичные дела». Такое же отношение к «Кавалеру Золотой Звезды» и у председателя колхоза «Красноармеец» П. М. Фетисова: «Читаешь роман, и невольно вспоминаются наши каменские мастера высоких урожаев». Не удивительно поэтому, что разбор книги у каменцев слился с обсуждением насущных практических задач района.

Однако неправильно было бы сделать из сказанного вывод, будто читателям нашим свойствен какой-то голо-утилитарный подход к литературе, неправильно было бы выискивать в их высказываниях слишком узкое — «цеховое», так сказать, — её восприятие. Интересы советского читателя широки и многосторонни; в круг его интересов входит всё (или, во всяком случае, очень многое из того), что делается на нашей земле и во всём мире. Начало профессиональное, как мы могли убедиться, имеет для читателей своё значение — и подчас немаловажное, но на первое место следует поставить безусловно общественно-политическое, социальное начало, то, что роднит всех настоящих советских лю-

дей, в каких бы условиях они ни находились.

Показателен отзыв о том же «Кавалере Золотой Звезды» молодого рабочего московского завода «Красный Пролетарий», ремонтного слесаря В. Селивёрстова. На него произвёл глубокое впечатление образ главного героя романа — Сергея Тутаринова. «Хоть он и в деревне работает,— говорит В. Селивёрстов,— и на большую должность попал, но не в этом дело. Не то решает, где человек работает и на большом или малом деле. Главное — к чему человек стремится». И затем читатель добавляет, что многие стремления Сергея ему знакомы: «В нём я увидел то, что чувствую в себе самом».

С требованием правды, правды о нашей жизни неразрывно связано ещё одно качество советского литературного творчества, которое тоже нашло своё отражение в письме В. А. Германова. Полюбившаяся читателю книга не просто рассказывает ему о чём-то очень существенном и нужном — она становится для него «школой», она учит его, как жить, с её героев и героинь он берёт пример, на них он равняется.

Ленин писал в 1918 году: «Сила примера, которая не могла проявить себя в обществе капиталистическом, получит громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на землю и на фабрики...»¹ «После перехода политической власти в руки пролетариата,— указывал Ленин,— после экспроприации экспроприаторов... сила примера впервые получает возможность оказать своё массовое действие»².

Сила примера — примера положительного героя — в советской литературе играет огромную роль.

В характере положительного героя литературного произведения, в поведении этого героя, во всём его интеллектуальном и моральном облике читатели — и в первую очередь молодые читатели — находят слитыми воедино такие черты, которые способствуют их собственному формированию и росту. Герой художественного произведения даёт молодёжи ответ на вопрос, какой она должна быть, как она должна

жить и работать. Эстетика в литературе социалистического реализма сочетается таким образом с этикой.

Конечно, эта важнейшая особенность нашей литературы лишь постепенно приняла ощутимые формы и стала осознаваться как писателями, так и читателями. Вполне отчётливо она выявлена уже в ряде произведений двадцатых годов — в поэзии Маяковского, в «Чапаеве» и «Мятеже» Д. Фурманова, в «Железном потоке» А. Серафимовича, в «Разгроме» А. Фадеева. Но окончательно, пожалуй, она выкристаллизовалась в сознании широчайших читательских масс с появлением романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Николай Островский получал от читателей тысячи писем, смысл которых вкратце может быть выражен словами: «Мы хотим быть такими, как Павел Корчагин!» Опыт Великой Отечественной войны воочию показал исключительную действенность образа Корчагина и всего творчества Н. Островского.

Если мы обратимся к книгам последних лет, то мы убедимся в том, что самыми любимыми, самыми влиятельными литературными героями современности стали те из них, которые могут послужить для читателей примером, образцом для подражания. «Мы хотим быть такими, как герои-краснодонцы, мы хотим быть такими, как «настоящий человек» — Мересьев, мы хотим работать так, как Сергей Тутаринов и Стефан Рагулин, мы хотим следовать полковнику Воропаеву, следовать Батманову, Залкинду, Беридзе и Ковшову», — эти признания в различных вариациях повторяются нашими читателями, ими пронизан поток читательских писем к писателям.

«Мой любимый герой,— говорит школьница-восьмиклассница Э. Елишева (г. Москва),— Ульяна Громова. Это была девушка с чистой и сильной душой... До чтения «Молодой гвардии» я часто рисовала себе идеал современной советской девушки, но только прочитав «Молодую гвардию», я нашла именно тот идеал девушки, которому я хотела бы подражать. Мне кажется, вряд ли кто из наших советских девушек не захочет быть такой, какой была Ульяна Громова».

«Читая роман «Молодая гвардия»,— пишет другая школьница, девятиклассница Л. Шкилева (г. Майкоп),— я ставила себя

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXII, стр. 414—415

² Там же, стр. 456.

на место его героев и задавала себе вопрос: «А могла ли бы ты выдержать?» Откровенно говоря, на некоторые вопросы, к великому моему стыду, мне приходилось отвечать: «Не знаю...» Роман заставил меня просмотреть со вниманием свою небольшую семнадцатилетнюю жизнь, из которой я два с половиной года в комсомоле. Нет слов, чтобы выразить на бумаге то необъяснимое, но очень хорошее чувство, которое осталось у меня после прочтения. Хочется стать лучше, чем была до этого».

«Товарищи!— обращается к своим сверстникам комсомолка Соснина (г. Москва) на читательской конференции, посвящённой «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого.— Мы с вами люди маленькие, мы живём и делаем каждый в своей области незаметное дело. Но мы своей жизнью хотим следовать тому, о чём говорит нам повесть Бориса Николаевича Полевого».

О воздействии, производимом романом П. Павленко «Счастье», сообщает автору руководитель агитколлектива Б. К. Губарев (ст. Панютино, Лозовский ж.-д. узел): «В нашем посёлке после немецкой оккупации многое напоминало то, с чем столкнулся Воропаев, приехав в Крым. Поэтому так горячо обсуждается здесь роман... Надо признаться, что у некоторых демобилизованных офицеров-инвалидов были настроения «по-настоящему» отдохнуть, построить домик, создать сад, пасеку и т. д., а государству и тем более общественной работе отдать только небольшую часть времени. Теперь же эти люди не могут без стыда вспомнить о своём стремлении к покою и, надо сказать, работают самоотверженно, горячо, не жалея сил. Одной из причин такого замечательного явления можно смело назвать увлечение романом «Счастье». После Вашего романа уже невозможно работать так, как вчера, или работать без души и «дерзкой» мысли».

«В образе Воропаева,— читаем мы в письме к П. Павленко военнослужащего С. И. Игнатенко (г. Иваново),— Вы создали человека неукротимой деятельности, благородной души, высокого чувства долга и ответственности. Воропаева, как члена нашей советской семьи, можно противопоставить любому члену капиталистического общества, ибо все они живут сегодняшним днём и с дрожью малярийного

больного жлут завтрашнего... Я счастлив от Вашего «Счастья». Мне хочется, чтоб наши люди были все такими, как Воропаев. Мне этого хочется ещё потому, что я сам хочу быть таким же, и буду делать всё для этого».

«С большим интересом,— пишет учащаяся средней школы М. Давыдова (г. Ступино),— прочитала я книгу В. Игишева «Мастера идут в лаву» («Шахтёры»). Из неё я узнала, что в шахтах совсем не страшно работать, что там, как и на земле, спорится труд. Когда я кончу школу, я обязательно поеду в Донбасс, буду шахтёром. Мне очень понравилась жизнь шахтёров. Мне хочется, чтобы все шахтёры были такими, как Иван Матвеевич Саенко, Ковтун. Навсегда запомнилась мне шахтёрка Даша, которая по силе не уступала мужчинам. Я обязательно поеду в Донбасс».

«Замечательный у Вас Батманов!— восклицает в письме к автору романа «Далеко от Москвы» В. Ажаеву студентка М. Пименова (г. Ленинград).— Какой организатор! Как это важно в работе, когда её возглавляет хороший организатор. Мне это очень близко, я кончаю институт и скоро сама буду инженером, руководителем производства. Ваша книга — прекрасный подарок и настоящий учебник для молодых (и немолодых) инженеров. Горько признаться, но именно после того, как я прочитала Ваш роман «Далеко от Москвы», мне стало стыдно, что я часто уклонялась от общественной работы. Сейчас мне хочется лучше защитить диплом и потом много-много работать».

«Одиннадцать лет,— пишет В. Ажаеву гвардии майор И. Н. Рыскин (г. Осиповичи),— я служу в рядах Советской Армии, из них десять лет на политработе; за это время я много раз был на учёбе и на всевозможных семинарах, где меня терпеливо обучали воспитывать людей. Но скажу Вам прямо и честно — Ваш роман принёс мне не меньше пользы, чем семинары; спасибо Вам за учёбу. То, что я прочёл в Вашем романе, не пройдёт для меня даром, я буду подражать в своей работе по воспитанию людей методом Батманова и Залкинда... Для меня это вторая «Педагогическая поэма» Макаренки».

Приведём отрывок ещё из одного письма, посвящённого роману «Далеко от Мо-

сквы». Воспитательница детдома Б. Б. Гершон (г. Наманган) пишет:

«Как в работе, так и в личной жизни хочется быть такими, как эти люди, которые встанут перед тобой в этой замечательной книге. У меня есть восемнадцатилетний сын, и я хочу, чтобы он был таким же замечательным работником, таким же замечательным человеком, каким является Алексей. Хочу, чтобы девушку, которую он встретит, он так же полюбил, как любит свою Зину Алексей».

Как бы суммирует всю эту серию читательских высказываний в своём интересном и содержательном письме гвардии старший лейтенант Г. С. Белевицкий (г. Москва):

«Первым признаком того, что в литературного героя веришь, является то, что хочется жить и работать, как этот герой. Это не юношеские мечты о героях Купера или Майн-Рида, а это внутренняя потребность молодого человека Советской страны, прошедшего Отечественную войну, члена партии, быть похожим в своей повседневной деятельности на таких, как Залкинд, Батманов, Беридзе и Ковшов. И если кто-нибудь и скажет о них, что они слишком хорошие, то нужно ответить, что в этом-то их сила, в этом сила писателя, который не отрывает своих героев от жизни, не идеализирует их, но вместе с тем делает их такими, что они зовут вперёд, у них можно учиться».

Первым признаком того, что в литературного героя веришь, является то, что хочется жить и работать, как этот герой... Эта формула, так непосредственно и непринуждённо вылившаяся из-под пера молодого офицера, превосходно проясняет историческую новизну и нашей литературы и отношения к ней нашего современного читателя.

Итак, если спросить, какие книги наиболее любимы советским читателем, встречают с его стороны наибольшее внимание и оказывают на него наибольшее воздействие, то это будут прежде всего те произведения, в которых литературный герой является в полном смысле слова героем, человеком Сталинской эпохи, несгибаемым большевиком, воспитанным, как Павел Корчагин, в искусстве сопротивления и, как Павел Корчагин, имеющим право заявить, что и к нему относятся слова вождя:

«Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Желание видеть именно такого героя в центре художественного произведения, посвящённого советской действительности, у многих, хотя и не у всех наших читателей превращается в основной критерий при оценке современной советской литературы.

Отсюда, между прочим, те критические замечания, которые делают некоторые читатели относительно «Бури» И. Эренбурга. Отмечая высокие художественные качества этого романа, его исключительную масштабность, красочный показ в нём людей и событий и в СССР, и во Франции, и в Германии, ряд читателей вместе с тем сожалеет, что в Сергее Влакове не дан герой, который мог бы встать в ряд с такими героями, как Павел Корчагин, Алексей Мересьев, молодогвардейцы и другие.

Советская художественная литература, литература социалистического реализма, это самая передовая, самая идейная литература в мире. В этом основа её огромной действенной силы, которая на практике находит самые различные проявления.

Насколько велика эта сила, видно, в частности, из того, что у нас есть тимуровцы и есть воропаевцы, существуют целые общественные движения, возникшие под прямым влиянием литературных произведений и названные по именам литературных героев.

Немало фактов свидетельствует о том, что книги советских писателей помогли многим людям, травмированным войной, особенно инвалидам войны, «обрести себя», вернуть себе вновь потерянную было веру в свои силы и возможности. Ограничусь одним волнующим примером, которым поделилась с собравшимися на читательской конференции в Звонарёво-Кутской МТС (Омская область) учительница товарищ Горобец. Она, по словам газеты «Омская правда», «рассказала о своём брате, у которого ампутировали обе ноги. Сначала он пал духом, но прочитав книгу «Повесть о настоящем человеке», просмотрев фильм, начал учиться ходить и сейчас уже самостоятельно передвигается, опираясь на тросточку».

Очень сильное влияние производят на читателей романы С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землёй». Эти произведения наглядно показы-

вают, как надо в современных условиях строить колхозное хозяйство, они помогают осуществлять электрификацию деревни.

Выше уже говорилось о читательской конференции в Каменске (Ростовская область), где разбор «Кавалера Золотой Звезды» слился с обсуждением насущных практических задач района. Интересно проследить, как образы, созданные писателем, дела людей, обрисованных им, заставляют читателей-колхозников обращаться к собственной своей работе, передумывать её наново.

Вот отрывок из речи колхозника сельхозартели имени Володарского К. М. Ковалёва:

«Наш колхоз имени Володарского,— говорит он,— один из передовых в районе. Переходящее знамя, вы знаете, у нас находится. Но роман С. Бабаевского показывает, что мы можем ещё быстрее в гору идти... Читал я не только в книге «Кавалер Золотой Звезды», но и в газетах о том, что у нас сотни и тысячи колхозов электрифицированы. Лампочки Ильича повсюду горят. Вот и нам в своём Божковском сельсовете надо об этом серьёзно подумать, и не только подумать, а крепко взяться за это дело и довести его до конца. Мы уже прикидывали, размышляли, и получилось, что сможем электростанцию построить, если все дружно за это возьмёмся. Не беда, что леса в районе маловато, найдём выход из положения. Не такие вопросы решали. Были у нас задачи и потруднее».

Не менее показательно и другое выступление — директора Калитвенской МТС В. П. Лобикова:

«Мне приходилось беседовать со многими колхозниками. Они правильно считают, что электрификация — это не только свет в хатах. Люди думают теперь о кинотеатре, о радиоузле, а главное — об использовании электричества на сельскохозяйственных работах. Вот почему сооружением станции не заканчивается, а только начинается электрификация станицы, и перед нами теперь — непочатый край работы. Клуб у нас тоже строится, и надо полагать, что скоро калитвенские колхозники в новом, просторном зале будут смотреть кинофильмы. И всё же обязательства выполняются у нас медленно, и объясняется это тем, что мы не сделали

того, с чего начали работу герои романа «Кавалер Золотой Звезды». У нас в станице есть и мечтательный Савва Остроухов, и неутомимый Семён Гончаренко, но организаторская работа в массах отстаёт от новых требований. Громадное значение принятых обязательств мы не разъяснили колхозникам, и поэтому борьба за культуру в станице, за её благоустройство не стала ещё общим делом. Поэтому из романа С. Бабаевского мы должны извлечь для себя практические уроки».

Товарищ Лобиков говорит в связи с романом и о приусадебных участках колхозников:

«Писатель ярко показывает в своём романе, к чему приводят раздутые размеры этих участков. Такие явления, к сожалению, есть и в нашем районе. Ясно, что при таком положении нельзя рассчитывать на быстрый подъём общественного хозяйства... Председатели колхозов типа Артамашова, о котором пишет Бабаевский, мешают нашему движению вперёд. Пусть об этом,— добавляет оратор,— подумает председатель сельхозартели имени Молотова товарищ Писменский, который равнодушно смотрит, как за счёт общественных земель растут приусадебные участки отдельных колхозников».

Если из романа С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» строители колхозной деревни извлекают практические уроки, то столь же ценные уроки черпают для себя работники партийного аппарата из очерковой повести Б. Галина «В одном населённом пункте».

Вскоре после опубликования этой повести партработники г. Сталино решили обсудить её. И в данном случае разговор о литературном произведении также повлёк за собой разговор о жизни — о наилучших формах и методах партийной работы, носителями которых в повести являются Егоров и Пантелеев. Материалы обсуждения свидетельствуют о том, что книга Б. Галина побудила читателей, взволнованных острой и прямой постановкой вопросов, данной писателем, более требовательно и самокритично взглянуть на собственную деятельность.

Интересным было выступление товарища Захарченко из Будённовского райкома КП(б)У.

«Сплошь и рядом,— говорится в этом выступлении,— секретари райкома несколь-

ко раз на день звонят секретарю шахтной парторганизации: «Как у тебя с планом, какая добыча угля?» Но почти никогда не спрашивают: «Как у тебя политшкола, как прошёл доклад, о чём спрашивали лектора, пропагандиста?». Галин рассказывает о вечерах в райкоме партии, когда Егоров задушевно беседует с работниками аппарата, которые побывали на местах, многое видели и узнали. Кто бы из нас не хотел, чтобы секретарь райкома дружески расспросил тебя о том, с чем ты встретился в первичной партийной организации, как идёт работа, что тебя волнует... У нас созываются время от времени аппаратные совещания, и они, разумеется, нужны, но не менее необходимы и неофициальные беседы секретаря с работниками райкома».

«Вспомним Легостаева,— говорится далее в этом выступлении,— этого молчаливого и угрюмого на вид шахтёра. А ведь Пантелеев смог добиться того, что Легостаев стал запевалой социалистического соревнования. Терпеливая работа пропагандиста с небольшими группами шахтёров, а если нужно, даже и с одним человеком,— какой это прекрасный пример для всех нас!»

Мысль товарища Захарченко словно подхватывает товарищ Закатов, заведующая парткабинетом Куйбышевского райкома КП(б)У: «Читая страницы очерка, посвящённые работе с Легостаевым, яснее видишь свои недостатки». Говоря о них, анализируя ошибки и промахи в работе пропагандистов своего района и ссылаясь на пример Пантелеева, она делает справедливый вывод: «Надо понять, что успехи, достижения стахановцев — это не просто «выигранный» материал для очередного выступления пропагандиста, а большое, серьёзное дело, которое он призван популяризировать изо дня в день, мобилизуя всех рабочих на овладение опытом передовиков».

Приведённые факты,— а количество их нетрудно было бы увеличить во много раз,— ярчайший показатель того, что в сталинскую эпоху навсегда покончено с «принципом»: «писатель пописывает, читатель почитывает». Советский писатель, действительно достойный этого имени, не «пописывает» — он участвует художественным словом в социалистическом строительстве, в коммунистическом просвещении масс. И советский читатель не «почитывает» — если он отыщет в книге писателя

доброкачественную художественную пищу, он не отнесётся к ней, к этой книге, как к предмету развлечения (или, тем более, отвлечения от действительности); нет, для него характерно активное восприятие художественного произведения, активно входящего в его жизнь и деятельность.

Это не значит, понятно, что мерилом ценности книги является обязательно (или главным образом) тот непосредственный практический эффект, который произведение писателя способно дать. Советские писатели, по классическому сталинскому определению, это «инженеры человеческих душ». Следовательно, о ценности книги надо судить прежде всего по тому воспитательному действию, какое она оказывает на человеческую душу. И тут часто не в тех или иных внешних проявлениях дело. Процесс общения читателя с книгой — это, по сути своей, процесс глубоко интимный, протекающий, так сказать, «с глазу на глаз». Далеко не всегда читатель в состоянии точно и ясно о нём рассказать. Однако именно это, сплошь и рядом незамечаемое со стороны, воздействие и является особенно важным и значительным. Постепенные, «молекулярные» изменения, которые производят в человеческой душе не одна и не несколько книг, а вся совокупность образов и идей советской литературы, в большей или меньшей своей части становящаяся достоянием читателя,— играют первостепенную роль в формировании советского человека, в его росте и развитии, в выработке его мироощущения и мирозерцания.

Критика наша, за редкими исключениями, мало внимательна к тому, как изображается в советской литературе личная жизнь героев. Но, как справедливо подчёркивает читательница Б. Б. Гершон, письмо которой уже цитировалось, «не секрет, что каждый читатель очень интересуется моментами любви в произведении». В воспитании молодёжи в духе коммунистической нравственности эти моменты имеют, бесспорно, громадное значение.

Образы краснодонцев в «Молодой гвардии» А. Фадеева замечательны не только тем, что они являются воплощением отваги, стойкости и беззаветной преданности Родине молодого поколения страны Советов; в них пленяют чистота и сила персей

любви этих юных героев и героинь, у которых всё подкупающе прекрасно, всё привлекательно, всё заслуживает подражания. И надо отметить, что эта сторона романа А. Фадеева превосходно доходит до молодых читателей.

Вот, к примеру, выступление на читательской конференции десятиклассника Финникова (г. Москва):

«Мне бы хотелось сказать о любви в «Молодой гвардии». Ведь в «Молодой гвардии» изображена жизнь молодогвардейцев такой, какой она была на самом деле, вернее почти таковой. А люди, которым было по шестнадцати — восемнадцати лет, не могли не любить. Это любовь такая же светлая, такая же чистая, как и сами герои-краснодонцы. И то, что в романе «Молодая гвардия» так много уделено внимания личным взаимоотношениям героев, это тоже очень хорошо, потому что от этого они становятся как бы ещё более чистыми, ещё более светлыми. Вспомните, как любят Земнухов и Клава, Кошевой и Нина и другие молодогвардейцы. Самое замечательное то, что любовь здесь счастливая. И замечательно то, что никто не любит Стаховича.

Последнее наблюдение десятиклассника, к слову сказать, по своей тонкости и точности сделало бы честь любому критику-профессионалу. Но не этим примечательна речь товарища Финникова, а тем общим своим тоном, тем общим своим настроением, которое верно и правдиво передаёт настроения и запросы, отличающие наших молодых читателей.

Ответы на волнующие их личные вопросы ищут в советской художественной книге и люди постарше, с большим жизненным опытом. Они горячо благодарны писателю, когда находят у него на эти свои вопросы недвусмысленный, искренний, настоящий ответ!

В моём распоряжении имеется одно письмо к В. Ажаеву, которое может быть названо письмом-исповедью. По причинам, которые незначем объяснять, я не вправе раскрыть имени его автора; скажу лишь, что оно написано женщиной, вузовским работником. Но я позволю себе привести из этого письма наиболее важные места.

«Мне нравится,— пишет читательница,— Ваш показ отношений между мужчинами и женщинами, это всегда так трудно показать, здесь автору легко «свихнуться».

Вот возьмите отношения Жени и Алексея (для меня это очень близкая «тема»). Как хорошо у Вас получается! Кажется, вот-вот Алексей полюбит Женю, она такая милая девушка, так искренне, глубоко, по-настоящему любит Алексея, но... это «но» у Вас во-время приходит. Вы даёте целостную натуру Алексея, верного своему тоже большому чувству любви к Зине — и разве можно это чувство бросить, не смотря на сердечное отношение другой женщины? Здесь должна быть большая выдержка мужчины, здесь должен сказаться настоящий советский мужчина, мужчина, каким он должен быть в наше время...

...У нас подчас бывает уж очень легко: женятся, разводятся, снова женятся. Так ведь нельзя, где же наша советская этика? А писатели — «инженеры человеческих душ», они-то и должны показывать, раскрывать душу советского человека, его переживания, его трудные, «психологические заболевания» и даже дать «рецепт» вылечивания. Такой рецепт я нашла у Вас. Знаете, Вы меня спасли, у меня была такая же «болезнь», как и у Жени, сердилась, дулась, радовалась, искала встреч, но ведь надо подумать — человек женат, и куда же спрятать своё чувство, это так трудно!

Ваш Алексей направил меня на путь истинный, я отошла от своего «Алексея», конечно с большими переживаниями, с трудом, убедила себя, мой «Алексей» такой же, как Ваш,— и разве можно было расстаться, но всё же рассталась! В таких случаях должна быть этическая выдержка: мало ли кто нравиться, нельзя же, в конце концов, «бросаться на шею» каждому, кто нравится, надо отдать отчёт в своих чувствах (обыкновенно никто и никогда отчёта в своих чувствах не даёт),— вот и надо бороться за нашу советскую этику, писатели и должны делать это. Вы в должной степени разрешили этот вопрос!

Заканчивается письмо благодарностью писателю — «за показ больших дед и чувств, за показ подлинного советского человека, за Алексея Ковшова, который спас меня во-время!»

Не к чему подробно комментировать это письмо, не к чему исправлять отдельные неточности, которые в нём содержатся (вроде утверждения: «обыкновенно никто и никогда отчёта в своих чувствах не

даёт»), — в конце концов, не это важно. Письмо это говорит само за себя — и оно отлично характеризует и писателя, и читателя, характеризует их, как советских людей, стремящихся с позиций коммунистической морали разрешить все встающие перед ними проблемы.

«Писатель, — говорил А. А. Жданов осенью 1946 года, — не может плестись в хвосте событий, он обязан идти в передовых рядах народа, указывая народу путь его развития. Руководствуясь методом социалистического реализма, добросовестно и внимательно изучая нашу действительность, стараясь глубже проникнуть в сущность процессов нашего развития, писатель должен воспитывать народ и вооружать его идейно»¹.

Присматриваясь к тому, как читательские массы реагируют на произведения наших писателей, следя за тем, какие отклики рождают эти произведения у простых, рядовых советских людей, можно смело сказать, что литература наша — в лице лучших своих представителей — с успехом работает над выполнением тех задач, которые поставила перед нею партия. Лучшие книги советских писателей взяты народом на вооружение, стали неотъемлемой частью того изобилия духовной культуры, которое создаёт в нашей стране советский народ под водительством партии Ленина—Сталина.

4

В своё время М. Е. Салтыков-Щедрин с горечью писал о стене, воздвигнутой между писателем и читателем в царской России: «Когда окрест царит глубокая ночь — та ночь, которую никакой свет не в силах объять, тогда не может быть места для торжества живого слова».

В наши дни, когда глубокая ночь самодержавия давно позади, когда советская земля залита яркими лучами солнца социализма, наступило время для невиданного торжества живого писательского слова. Каждая новая удачная книга советского писателя с живейшим интересом встречается миллионами читателей: в библиотеках за нею сразу вырастают оче-

реди; почта приносит писателю сотни, а то и тысячи читательских писем; в самых отдалённых уголках страны проводятся многочисленные читательские конференции. Та атмосфера неподдельного внимания и дружеского участия, которой окружают наши читатели авторов полюбившихся им книг, является для писателя не только величайшей радостью, — вместе с тем это и мощный стимул для дальнейшей его творческой деятельности, стимул, значение которого вряд ли можно переоценить.

Однако советскому писателю, именно потому, что слово его получает громадный резонанс, необходимо всё время помнить, какая возложена на него громадная ответственность. Он обязан всё время помнить о всё возрастающих требованиях и запросах советских читателей. И похвалы читательские (в иных случаях облекающиеся в неумеренно-восторженные формы) не должны заслонять от него читательскую критику, которую он должен учитывать самым тщательным образом. Пусть порой не всё в ней будет верно, пусть кое в чём она покажется, быть может, наивной — в целом читательская критика, без всякого сомнения, окажется для писателя чрезвычайно полезной и поучительной.

Нельзя не согласиться с В. Полевым, писавшим не так давно в «Литературной газете»: «Читательские письма помогают писателю держать свою руку на пульсе нашей советской жизни, идти в ногу с современностью, вдохновляют, подбадривают, зовут к новым достижениям, подстёгивают писателя, не дают ему обрести жиром самодовольства и самоуспокоенности. И те литераторы, которые смотрят свысока на читательскую критику, которые свысока смотрят на советы читателя, обречены на постоянные творческие неудачи».

Советы читателя касаются обычно всех сторон писательской работы, начиная с тех неточностей, шероховатостей, оговорок и опусок, за которыми подчас не уследит ни сам автор, ни самый строгий и придирчивый редактор. В «шлифовке» произведения, в окончательном редактировании его текста помощь читателя может оказаться (и оказывается нередко) весьма ощутимой.

Б. Полевой рассказывает о том, что при издании «Повести о настоящем человеке»

¹ «Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, М., 1946, стр. 36.

отдельной книгой, он внёс в неё по читательским письмам 82 поправки. Не стану воспроизводить здесь приводимые им замечания читателей. Отмечу, однако, что к читательским отзывам, о которых Б. Полевой говорит, можно прибавить такого же типа отзывы на его повесть «Вернулся». В частности, профессор Л. С. Длугач (г. Ленинград), отдавая должное художественным достоинствам этого произведения, в то же время обращает внимание на «ряд досадных ошибок», вкравшихся в повесть:

«1. На стр. 57 и 58 трижды напечатано «пиромометр» вместо «пирометр».

2. На стр. 57 сказано, что сталевар «замерял температуру пирометром (sic!), висевшим у него через плечо на ремешке в новельском кожаном футляре».

Это неверно, так как температуру ни мастер, ни сталевар не замеряет, это делает специальный пирометрист, работник лаборатории. Кроме того, вряд ли пирометр висит на ремешке.

3. На стр. 65 говорится, что Шумилов осмотрел излом стали, нащупав пальцем заусенец, оставленный кувалдой, и, подумав, назвал цифру. Но ведь анализ даёт не одну цифру, а несколько. На глаз... с точностью химического анализа сталевар может определить разве только содержание углерода, и то в стали, не содержащей легирующих (специальных) элементов».

Аналогичные недостатки и промахи читатели обнаруживают и в произведениях некоторых других писателей.

Так, инженер тов. А. Кор (г. Таганрог) поправляет А. Пантшелева, автора повести «Первая неделя», написавшего о станке Т-4: «В подшипниках задней бабки была, видимо, слабина». Не о задней, а передней бабке должна идти речь, указывает читатель.

Инженер Л. Гидон (г. Москва) удивлён тем, что в романе С. Бабаевского «Свет над землёй» Рагулин, говоря об электро-молотбе и сомневаясь в её надёжности, собирается на всякий случай ставить на ток... локомотив. Несомненно, замечает Л. Гидон, здесь имеется в виду локомотив.

Неточность в романе «Далеко от Москвы» отмечает читатель Удалов из села Исаклы (Куйбышевская область). Его воз-

ражения вызывает то место в письме Анны Ивановны к мужу В. М. Батманову, где Анна Ивановна пишет: «Вы зовёте меня к себе... Могу ли я сейчас приехать? На мне погоны, и я считаю себя воином, как и все».

Читатель законно недоумевает: «Строительство происходило, как пишет автор, в 1941—1942 гг., письмом это писано или в конце 41 года, или в начале 42 года. Простите меня, уважаемый товарищ редактор, но ведь погоны введены в Советской Армии, мне кажется, гораздо позже, тогда как же Анна Ивановна в 1941 году носила погоны?»

Какую огромную заботу проявляют о нашей литературе рядовые советские люди, как горячо они хотят, чтобы никаких погрешностей, никаких лягусов, никаких раздражающих «мелочей» не было в книгах наших писателей! Но симптоматично для современного советского читателя, что он не допускает, чтобы «мелочи» закрывали от него главное, основное, чтобы «мелочи» играли решающую роль в оценке им художественного произведения.

Образно выразил эту мысль на одной читательской конференции библиотечный работник А. Б. Ерусалимский (г. Москва):

«Роман, в сущности, это то же самое, что и стройка. После каждой стройки остаются недоделки, которые впоследствии будут устранены. Я уверен, что и в романе, который выйдет отдельной книгой, целый ряд недостатков, замеченных нами в журнале, обязательно будет учтён и убран».

От поправок фактического порядка, от недосмотров и оговорок, указываемых читателями, перейдём к читательским замечаниям, имеющим более существенный и более принципиальный характер. Смысл их, коротко говоря, можно определить следующим образом: читатели требуют от писателей,— и требуют вполне справедливо,— последовательности в развитии человеческих характеров, безусловной достоверности, строгой мотивированности всех поступков и помыслов действующих лиц. Если такой последовательности и такой достоверности хотя бы в отдельных эпизодах книги читатели не улавливают, то это сейчас же вызывает у них чувство протеста.

Возьмём, к примеру, образ Горевой в романе П. Павленко «Счастье». Многие

читатели считают, что Горева ниже Воропаева, что она ему «не пара». С другой стороны, некоторым читателям кажется, что и в отношениях Воропаева к Горевой, как они даны писателем, не всё до конца ясно, не всё в книге верно обрисовано.

Об этих мыслях читателей пишет директор Курганской областной библиотеки О. Ф. Хузе: «Как могло случиться, что уминица Воропаев мог так плохо думать о любимой женщине, что скрывался от неё, зная о её большой любви к нему?.. Мало дан внутренний мир Воропаева, мир его интимных переживаний, мало чувствуется отношение Павленко к таким поступкам Воропаева, как это вот бегство его от Горевой. Да, это у Воропаева «пережиток» во взгляде на семью, на любовь,— но автор должен был бы дать оценку этого уязвимого места в психологии своего героя».

Высоко оценивая роман А. Волошина «Земля Кузнецкая», студент Новосибирского педагогического института товарищ Файбушевич вместе с тем недоволен «не совсем чёткой разработкой сюжетных линий» в этом произведении: «Например, когда происходит долгожданное объяснение между Роговым и Валей, читателю совершенно ясно, что отныне-то они будут вместе. И вдруг они всё-таки опять расстаются. Почему? Это неизвестно ни Рогову, ни читателям, ни, вероятно, самому А. Волошину. Во всяком случае, он не объясняет этого».

По мнению работника Сталинского горкома КП(б)У товарища Белоколоса, элементы схематизма и недостаточная разработанность вредят интересному образу Егорова в книге Б. Галина «В одном населённом пункте»: «Мы встречаемся с Егоровым преимущественно на заседаниях райкома. Егоров раскрывается перед нами в разговорах с Пантелеевым, репликах, суждениях, замечаниях. Автор несколько сузил среду и обстановку, в которой действует первый секретарь райкома. Только в постоянном и непосредственном общении с народом секретарь райкома может глубоко познать жизнь, учить людей и учиться у них, правильно решать задачи, выдвигаемые новыми условиями. Нельзя быть руководителем, не используя в полной мере опыт руководимых. Эта сторона деятельности Егорова в очерке показана слабее».

Когда рядовой читатель по-настоящему увлечён книгой, его внимание, естественно, устремлено прежде всего на содержание читаемого. Образы героев, обстановка, в которой они действуют, развёртывание сюжета — вот что в первую голову его волнует. Но это не означает, разумеется, что его не занимают вопросы художественной формы в узком смысле слова, стиль, язык наших писателей. Он ставит все эти вопросы, связывая их обычно с содержанием литературного произведения.

Домохозяйка Н. И. Дубровина (г. Курган) так именно и поступает, когда она говорит о романе К. Федина «Необыкновенное лето». Известен ряд положительных отзывов читателей об этом романе. Читательнице Дубровиной тоже нравится язык К. Федина, выпуклость его описаний. Но она не согласна с тем темпом, в котором писатель написал свой роман. Если в «Первых радостях», изображающих дореволюционную жизнь, замедленность рассказа ещё оправдана, то в «Необыкновенном лете», где повествуется о бурно развивающихся событиях 1919 года, темп необходим уже другой. Необязательными кажутся читательнице и публицистически-хроникальные отступления о ходе гражданской войны. Товарищ Дубровина ставит интересный, хотя и спорный вопрос: нет ли здесь подражания «Войне и миру» Л. Н. Толстого?

Вообще надо сказать, что, в отличие от некоторых критиков, широкий читатель обычно без всякого восторга встречает публицистические места в художественной книге. С точки зрения многих читателей публицистические отступления не нужны. Писатель должен средствами искусства, языком образов передавать свои мысли, идеи, настроения, своё знание и понимание действительности. Неправильно понимаемая «публицистичность» (которую, разумеется, нельзя отождествлять ни с социалистической идейностью художественного произведения, ни с показом в нём интеллектуального облика героев), как правило, в глазах читателей лишь вредит впечатлению, оставляемому книгой, воспринимается, как какой-то неоправданный придаток.

Показательно и письмо инженера Е. Минкина (г. Москва) писателю В. Лацусу. Здесь идёт речь уже не о публицистических отступлениях, а о другом — о ри-

торике. «Ваш роман «Буря», — пишет Е. Минкин, — был по справедливости высоко оценён читателями и критикой». Но всё же читатель находит в «Буре» один существенный недостаток, на котором он считает нужным остановиться: «В романе есть излишние риторические места, диалоги и рассуждения декламационного характера. Ваша книга сама образно показывает правду жизни, и нет никакой нужды в искусственной патетике».

Вот чего читатели требуют от художественной литературы — образности, картинности изображения, а не отвлечённых рассуждений; они ждут от неё раскрытия правды жизни в живых, конкретных, полнокровных образах. Всякая же риторика, всякая вычурность, как и всякие формалистические выдумки, идут вразрез с эстетическими вкусами наших читателей, претят им.

Очень интересно, в частности, проследить за отношением читателей к повести А. Митрофанова «Под старым вязом». Отношение это — неровное: одни подходят к этой книге в основном сочувственно, другие — весьма критически. Но почти во всех читательских отзывах, с которыми мне пришлось познакомиться, одна сторона повести «Под старым вязом» вызывает возражения. Это — её композиция, тот надуманный композиционный «ход», посредством которого А. Митрофанов связывает советскую современность с дореволюционным прошлым России (заключается он в том, что автор переносится из настоящего в прошлое на «машине времени», являющейся, как потом выясняется, материализованным воспоминанием).

Вот один из читательских отзывов, в котором критикуется композиционное строение повести А. Митрофанова. Он принадлежит врачу Б. М. Малкину из г. Люблино (Московская область):

«Простые по существу события оплетены автором сложной сетью излишних событий, явлений, персонажей, которые делают книгу малопонятной читателю, громоздкой, а подчас и бессмысленной».

Книга начинается литературно-художественным «трюком» (прошу извинить за резкость суждения), претендующим на то, чтобы заинтриговать читателя, — я имею в виду «машину», на которой автор отправляется в своё «путешествие».

Трудно представить читателю «ма-

шину», которая называется автором «воображением» (именно так, а не воспоминанием!), когда речь идёт о якобы реальном прошлом, пережитом автором, а не о полёте на Луну.

Трудно представить себе, даже будучи заядлым фантастом, что «машина-воображение» издаёт комаринный писк.

Почему пережитое автором в прошлом «воображение», которое положено в основу книги, приходит в его памяти не трезво и реально, а словно в «парах» гашиша, галлюцинаторно, — «в дрожащей полумгле», в «зыблющемся» мире, где «намёки на предметы» и «какие-то неуклюже движущиеся массы»?

Эта история с машиной и путешествием ни в какой мере не вносит в повествование даже искры здоровой, завлекающей, «реалистической фантазии» (если можно так выразиться), — заключает читатель и приходит к выводу, что хотя в книге А. Митрофанова и имеются некоторые положительные моменты, она «в большой степени является идейно порочной».

Среди всех тех элементов художественной формы, о которых говорится в читательских отзывах, первое место, несомненно, следует отнести языку.

Смысловая точность слова, верность его предмету, о котором идёт речь, умение сильно и впечатляюще передать идейный замысел писателя — таковы те качества литературного языка, которые встречают горячее одобрение читателей. Любопытно, между прочим, что и в метафорических оборотах речи читатели нередко ищут реалистической основы, и с этой точки зрения их оценивают. Например, учитель И. Ермолов (г. Кронштадт) пишет о том, что его не удовлетворяет заголовок повести В. Пановой «Ясный берег», так как, по его мнению, он не отвечает содержанию книги: «Название повести — символическое — считаю неудачным. К берегу обычно плывут, а герои Пановой сознательно идут к коммунизму».

Сплошь и рядом читатели возражают против употребления непонятных слов в произведениях наших писателей, против увлечения местными наречиями, «областными» словечками, против наблюдающегося в иных книгах обилия специальной технической терминологии. Но больше всего возмущает читателей искажение, порча русского языка, «влеченье — род недуга не-

которых литераторов к провинциализмам и вульгаризмам. В ряде читательских писем подчёркивается, что подобные вульгаризмы, приписываемые литературным персонажам и уснащающие авторскую речь, на деле приводят к принижению и оглушению советских людей, к показу их в окарикатуренном виде.

Иногда даже отдельное грубое словцо, проскользнувшее в хорошей книге, вызывает протесты читателей. Выше приводилось выступление комсомолки Сосниной на читательской конференции, посвящённой «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого. Товарищ Соснина с восхищением говорит и о содержании, и о форме этой повести. Но она же продолжает: «Несколько обидно, что в таком чудесном произведении попадаются неправильные выражения: автор описывает девушек, которые встречаются Мересьеву в Москве, и он называет их «румяные девахы», «девахы в щеголеватых гимнастёрках». «Девахы» — это не то, что мы хотели бы слышать, когда говорят о советской девушке. Меня это, по правде сказать, покорило».

Старый партизанин А. И. Голунов (г. Новосибирск), так же как и его земляк — студент Файбушевич, чей отзыв уже цитировался выше, очень высоко оценивает «Землю Кузнецкую» А. Волошина. Он отмечает, что «Волошин сумел захватить внимание читателя тем величайшим пафосом социалистического строительства, которое происходит в Кузбассе,—борьбой за уголь..

Но, — в то же время говорит он, — есть у А. Волошина немало и такого, против чего требуется возразить. Один из шахтёров у него говорит: «Пока скважины пробьёшь, время пикнет».

«Время пикнет»... Из какого это жаргона? Такие слова только засоряют язык.

Встречается большое количество технических терминов, которым не дано объяснений. В отдельных случаях это затрудняет понимание текста.

Если так нетерпимо читатель подходит к отдельным неудачным выражениям в хороших книгах, выражениям, которые никак эти книги в целом не характеризуют, то что же говорить о произведениях, где русский язык уродуется, где натуралистически воспроизводится всевозможный словесный шлак! Такие произведения отвергаются нашими читателями, как антихудожественные,

чуждые принципам социалистического реализма.

Чувство беспокойства вызвала у ряда читателей повесть М. Никулина «Жизнь впереди», выпущенная в прошлом году Детгизом. Тема, отмечают читатели, выбрана автором благодарная, однако разрешена она неудачно, причём неудачнее всего в книге как раз её вульгарный язык.

Библиотекарь Е. Журина (г. Горький) пишет по поводу этой повести: «Автор боится, чтобы книга не показалась скучной, и всё время ищет «занимательности». Реализм он видит в том, что все герои говорят на каком-то своём «народном» языке. Отсутствие художественной простоты в изображении делает всех действующих лиц нереальными и зачастую нарочито карикатурными».

Сходные мысли о книге М. Никулина развивают также М. Гусева, преподавательница Московского библиотечного техникума, И. Резникова, редактор Дома детской книги, и другие.

Ещё с большей резкостью отзываются читатели о романе А. Черкасова «День начинается на Востоке». Читательница В. А. Гуляева из местечка Беяконя (Гродненская область), приславшая в редакцию «Литературной газеты» подробный разбор этого произведения, находит, например, что «День начинается на Востоке» в его настоящем виде не может и не должен быть рекомендован для чтения».

Образы интеллигентов в романе представляются ей неправдоподобными. «Инженер Григорий, — пишет она, — так же как и все геологи романа, говорит языком не образованного человека. Так, он произносит слово «устряпался». Не характерно также для инженера выражение: «гудит башка». Или: «Ты что, очумела?» — его обращение к тётке».

В. А. Гуляева переходит затем к образу поэта Фёдора: «Вот его характеристика Юлии: «Голова у ней, видать, не дура». Приводя ряд словечек этого персонажа романа, читательница продолжает: «Особенно поражает странность его выражения, когда он говорит о своей любви: «И хочу любви! Твоей любви, большелобая!» Какая же девушка нашего времени будет реагировать положительно на подобные признания?! Учтите при этом замечание автора, что до объяснения в любви Фёдор «не спускал с Юлии своих лупоглазых глаз».

«Жизнь, — замечает товарищ Гуляева, — быстрыми темпами движется вперёд, рождая в языке людей массу новых слов, обогащающих и украшающих его, — и непонятна тенденция автора к употреблению неправильных слов и выражений».

Читательница А. Смирнова (г. Москва) указывает на «страшную засорённость языка» в романе «День начинается на Востоке». Из 21-й главы она выписывает слова Трофима Кузьмича, вернувшегося с обхода геологических участков, в котором он сопровождал Григория: «Жив я али нет?.. Упарил меня, упарил Григорий Митрофаньч!.. Интернационально по всем исходящим упарил!.. То ль дело бывать в поездиках с вами, Матвей Пантелеймонович! Тут тебе и постелька. Отдых и роздых. И чаёк заморский крепче дунькиной слезы. Вы человек премного углубительный и, стало быть, это самое определённое имеете, как и в видимость, так и в невидимость. А Муравьёв, ох-хо-хо!»

«Правда, — добавляет читательница, — страницей раньше автор оговаривает, что Трофим Кузьмич любит выражения пространные и малопонятные.

Ну, допустим, это Трофим говорит, а вот это — выражение уже не Трофима, а самого Алексея Черкасова:

«Ишь, как! — обиделась Дарья и, повернувшись широким задом к Трофиму, ушла, не дав ответа, высоко поднимая босые ноги, как гусыня».

Меня интересует, почему надо повернуться непременно задом, да ещё широким, а не спиной.

Я в Сибири никогда не была, но думаю, что местные выражения и наречия ничего общего не имеют со словесной чепухой Трофима Кузьмича, да и ряда других героев».

Читательница Н. А. Виноградова (г. Ленинград) цитирует из книги А. Черкасова: «Павел Фомич, как наиболее про бо й н ы й и умный мужик» и т. д. и спрашивает: «Можно ли такой эпитет применить по отношению к человеку (а не инструменту)?»

Далее она задаёт вопрос: «Считаете ли вы правильной следующую фразу из того же романа: «Ничего подобного она не ожидала встретить в далёком сибирском городе, о котором она имела только географическое понятие?»».

Издательский работник Н. М. Фёдорова (г. Москва) пишет, что роман А. Черкасо-

ва поразил её «своей неряшливой обработкой, а местами и неправдоподобием»:

«Начну с языка. «Зацепившаяся за платье брошь сорвалась и с визгом проскакала по полу»; «Бьёт гром. Удары рвут деревья на куски»; «Вправо огромнейшим чёрным пятном на земле лежат сдвоенные пары»; «сухостойная музыкантша» и т. д.». Все эти действительно бесподобные «красоты стиля» вызывают иронические комментарии читательницы.

«Герои романа, — продолжает она, — говорят надуманным языком. Дарья, в лексиконе которой слова «жисть», «ишшо», «хошь» и проч., — начинает вдруг по воле автора изъясняться литературно».

Не выдерживает критики и обрисовка характеров действующих лиц:

«У Юлии так и не поймёшь, кого она любит, — Фёдора или Григория, или обоих. Какой-то сумбур, где не разберёшь, шалость это или любовь. Фёдор — поэт, патриот, человек с горячим сердцем, но чувствуется в нём какая-то грубость, примитивность. Он оставляет читателя холодным. Умный дед Терентий во время катастрофы при переправе в бурю через реку, рискуя утонуть и утопить и внучку, и помогающую им плыть Катерину, не соглашается бросить двухведёрный самовар. Во-первых, как же он плыл с самоваром в руках? Во-вторых, самовар, конечно, потянул бы его на дно. Ведь двухведёрный — не простой, маленький!.. Нельзя также поверить, что чуждый советскому строю Одуванчин — сознательный вредитель, законсервировавший 25 богатейших месторождений, после разоблачения оставлен был на работе «распутывать свои узлы». Такая концовка оставляет у читателя недоумение. «Распутывать узлы» должны были уже следственные органы».

Общее мнение читателей о романе «День начинается на Востоке» можно подытожить словами из письма С. Шелковникова (г. Вильнюс): «Люди нашей действительности много лучше, чем автор показывает их в книге». Вряд ли кто-либо сумеет это мнение оспорить.

Алексей Черкасов — писатель молодой и не лишённый способностей; однако работает он крайне небрежно, а художественный вкус его развит явно недостаточно. Относительно своего романа ему пришлось прочесть немало суровых, но справедливых слов в партийной печати. Пусть же он гни-

мательно прислушается и к критике рядовых читателей!

Нет необходимости умножать примеры. Ясно, что требование художественности является одним из тех непеременимых требований, которые читатели предъявляют к советской литературе. У наших читателей вполне определённые художественные вкусы — они хотят реализма в искусстве, реализма социалистического, изображения живого человека, действующего и думающего, без натуралистического копания в подробностях физиологического порядка и без зауми, формалистических фокусов, «орнаментализма». Они хотят, чтобы о советском человеке говорилось на языке, его достойном. Известные слова А. А. Жданова: «Не всё доступное гениально, но всё подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа»¹, — точно выражают и читательское мнение о качестве литературы, о требованиях, которые должны быть к ней предъявляемы.

Говоря об отношении массового читателя к литературе, хочется остановиться ещё на одном моменте.

Любой библиотекарь скажет вам, что читатели по большей части любят толстые книги, фундаментальные произведения. Является ли это правилом, не допускающим исключений? Нет, понятно. Тот успех, которым пользуются рассказы В. Овечкина, небольшие по объёму повести Г. Гулия «Весна в Сакене» и «Добрый город», повесть Эм. Казакевича «Звезда», показывает, что не жанр и не объём определяют «репутацию» книги. Но фундаментальные произведения всё же особенно любимы многими читателями. Отчасти это объясняется тем, что наибольшие достижения у нашей советской прозы имеются как раз в жанре романа; отчасти — тем, что читателю обычно жаль расставаться с героями увлечённой его книги: он хочет узнать о них как можно больше и остаться в их кругу как можно дольше, а такую возможность доставляет ему лишь толстая книга. По поводу «Кружилихи» мне случайно довелось услышать (в библиотеке имени Перовской, Москва) любопытную жалобу читателя: «Только вошёл в интерес, а она

уже кончилась». Это весьма типичная жалоба.

Литературные персонажи из лучших книг советских писателей воспринимаются массовым читателем, как живые люди, в судьбе которых он кровно заинтересован. Оттого-то читатель нередко испытывает чувство неудовлетворённости, когда к концу книги он вынужден проститься с героями, полными сил и энергии, стоящими на пороге новых трудов и новых подвигов. Оттого-то в читательских письмах то и дело повторяются просьбы к писателям — сообщить, как сложилась дальнейшая жизнь их героев, и, если можно, продолжить своё повествование.

Несколько примеров.

Курсанты товарищи Диденко, Сыщ и другие пишут о романе В. Попова «Сталь и шлак»: «Мы с большим вниманием следили за действиями героев романа Крайнева, Сердюка, Вали Тепловой и всего героического коллектива завода. От всей души благодарим писателя Владимира Попова за созданный им роман о героизме и мужестве наших людей. Но нас интересует дальнейшая судьба героев романа, особенно Крайнева, который ушёл из города, и подпольщиков, оставшихся в городе. Роман «Сталь и шлак» прочитало большое количество военнослужащих нашей части, которые так же, как и мы, интересуются дальнейшей судьбой героев этого замечательного романа, а поэтому мы просим сообщить нам дальнейшие действия и судьбу подпольщиков, оставшихся в городе, Крайнева, ушедшего из города на восток, завода, перебазировавшегося на восток».

О том же, «по просьбе группы товарищей военнослужащих», спрашивает работник библиотеки Н. П. Морозов (г. Мурманск), который интересуется, почему у романа В. Попова «очень короткий конец, «оборванный», не показана до конца деятельность как подпольной группы, так и людей трудового фронта, которые находились в глубоком тылу на Урале». «Прошу Вас сообщить, — пишет Н. П. Морозов, — работает ли товарищ Попов над продолжением этого романа или, возможно, это конец».

Читатель Н. И. Шапиро (г. Павлоград, Днепропетровской области), прочитав «Спутники» В. Пановой, просит ответить на ряд вопросов: «Меня интересует жизнь, семейные обстоятельства, где работает сейчас бывший замполит санпоезда т. Данилов, где

¹ «Советские деятели советской музыки в ЦК ВКП(б)». Издательство «Правда», М., 1948, стр. 143.

работает, как живёт доктор Белов. В каком положении сейчас находится бывшая учительница Фаина, как живёт, кто ей помогает, живёт ли её ребёнок» и т. д. и т. п. В конце письма читатель выражает пожелание, «чтобы книга была продолжена».

Гвардии сержант А. М. Перепёлкин, который пишет от имени «небольшого коллектива» воинов, находящихся за рубежом родной страны, находит, что «Далеко от Москвы» также «полностью не окончено». По его мнению, было бы лучше, если бы автор показал, как закончили стройку нефтепровода, и изобразил радость людей, которые его строят.

Эти читательские высказывания чрезвычайно интересны — и не только тем, что они показывают, какой огромной убедительностью обладают образы ведущих произведений советской литературы. Интересно содержащееся в этих высказываниях требование полноты в художественном произведении. Мне кажется, в основе своей требование это является вполне оправданным, ибо смысл его — в стремлении к ясности и законченности в описании действующих лиц и их судеб. Но читатели (та группа читателей, которую мы имеем сейчас в виду) зачастую не замечают, что в таких книгах, как, например, «Далеко от Москвы» В. Ажаева, в сущности дан ответ на все их вопросы и вместе с тем дано и нечто более существенное.

Немалый интерес в этой связи представляет отзыв читательницы Е. Г. Мнацакановой (г. Ташкент).

«Как я, так и многие из прочитавших этот роман, — пишет тов. Мнацаканова, — сожалеют, что Ажаев не дописал того, чего бы нам хотелось, а именно:

1. Приём правительственной комиссией нефтепровода.

2. Возвращение Ковшова из Москвы с жёнами: своей и Батманова.

3. Женитьбу Беридзе и многое другое.

Отчасти, — добавляет она, однако, — это хорошо, потому что дальше уже Ажаев заставляет нас помнить об этой книге и думать глубоко о дальнейшей судьбе героев романа».

Как видим, читательница проникает (правда, не сразу) в композиционный замысел автора и признаёт его закономерность и целесообразность.

Блестящую характеристику финала «Далеко от Москвы» даёт в письме к писателю композитор Ф. Е. Козицкий (г. Киев):

«...И построение конца романа очень хорошее. Можно было бы рассказать об окончании стройки, это было бы естественным, но тогда бы действие завершилось, люди отошли бы и дальнейшие судьбы их перестали волновать. А у Вас получилось иначе: читатель знает, чем закончится стройка, знает, как разрешатся узлы личных отношений и переживаний, но у него остаётся ощущение, что жизнь, трудовой подвиг не остановились, а продолжают... И это так хорошо, так соответствует нашей непрекращающейся, но всё с большим напряжением развивающейся гигантской социалистической стройке! Эту динамику конца (но не оконченого, а продолжающегося) я как музыкант весьма ярко ощущаю».

Из сказанного напрашивается вывод. Если в ряде читательских писем, в большинстве их, мы находим такие критические замечания, которые представляют незаурядную ценность для писателя, то одновременно мы находим в этих письмах такие высказывания, которые представляют исключительный интерес для литературной критики. Они подсказывают, к каким вопросам — как содержания, так и формы — должна обратиться критика, если она хочет действительно влиять на формирование мнений и оценок читателей, на формирование их эстетических вкусов, если она стремится вместе со всей нашей литературой активно участвовать в коммунистическом воспитании народа.

О том, что критика до сих пор является отстающим участком в советской литературе, говорилось и писалось уже немало. Изучение читательских интересов и запросов, к сожалению, подтверждает этот печальный факт. Даже о лучших наших профессиональных критиках нельзя ещё сказать, что они нашли дорогу к сознанию и сердцу действительно широких (а в наших условиях это значит — миллионных) масс читателей.

«Знают ли читатели критиков, — пишет директор Курганской областной библиотеки О. Ф. Хузе, — отличают ли они критиков «по почерку»? По-моему, нет». И затем товарищ Хузе отмечает: «Часто слышатся сетования: «Нам бы современного Белинского».

Весьма резко о состоянии современной критики отзывался другой библиотечный работник — М. В. Тихонова (г. Кронштадт): «С интересом следя за развитием литературной критической мысли и стараясь привить этот интерес моим читателям, я мечтаю о том времени, когда мы будем зачитываться статьями советских критиков так же, как сейчас зачитываемся романами советских писателей. Но это ещё в будущем! А пока у нас нет ни одного любимого имени среди критиков, ни одной статьи, которая бы могла стать настольной».

Кто же всё-таки является потребителем критической литературы? Это прежде всего учащаяся молодёжь, которая широко использует критику при прохождении курса советской литературы в школе и в вузах, это читатели, подготавливающие свои выступления на читательских конференциях; это педагоги, пропагандисты и вообще работники культурного фронта.

Однако, судя по всем данным, таких читателей, которые систематически следили бы за критической литературой и следили бы за нею, так сказать, «для себя», а не только ради выполнения своих профессиональных или общественных обязанностей, у нас пока сравнительно мало. К числу их (из тех читателей, что уже названы в этой статье) принадлежит товарищ Гершон, которая пишет о своём отношении к критике: «Что я ищу для себя в критических статьях? Во-первых, мне очень интересно, насколько мои впечатления и переживания в связи с тем или иным произведением подтверждаются или не подтверждаются. Во-вторых, каждая статья закрепляет в памяти содержание, характер героев, углубляет впечатления от книги, вызывает ещё целый ряд вопросов, подытоживает, помогает собрать воедино сложившиеся мысли. В общем, когда привыкаешь читать критику, то без неё кажется невозможным обойтись. Пока не найдёшь и не прочтёшь её, считаешь, что не совсем закончила чтение данной книги».

После разоблачения и разгрома партии группки критиков-космополитов с их гнилыми, чуждыми советскому народу воззрениями и вкусами созданы все условия для быстрого подъёма и развития нашей литературной критики. Наша критика, вооружённая учением марксизма-ленинизма, твёрдо стоящая на позициях социалистического реализма, может и должна стать подлинно массовой, подлинно народной

Пора окончательно порвать с традициями «камерности», которая приличествует всяким эстетствующим обывателям, но не к лицу критикам-марксистам. А для этого необходимо тщательное, повседневное изучение интересов, требований, запросов самых широких слоёв читателей, вопросов, которые их волнуют, недоумений, которые у них порой возникают. Критика, фигурально выражаясь, должна повернуться лицом к читателю. Тогда и читатель — массовый, многомиллионный читатель — повернётся лицом к нашим критикам-профессионалам.

5

В этой статье говорится преимущественно об отношении наших читателей к современной, послевоенной советской литературе и о фактах, выявляющих их несомненный — и быстрый — культурный и политический рост. Но рост этот сказывается, без сомнения, на всём круге чтения советских читателей, на самых различных проявлениях читательского восприятия литературы.

Интересно проследить этот процесс на отношении читателей к творчеству Горького.

Как известно, с первых же своих шагов, с конца девяностых годов прошлого столетия, Горький стал любимейшим писателем широчайших масс русских читателей. Уже в первое пооктябрьское десятилетие (1917—1927 гг.), по свидетельству библиотечной статистики, он прочно занял в читательском спросе первое, ведущее место среди всех писателей мира (на втором месте был тогда Л. Толстой). Это внимание советских читателей к Горькому не ослабевает и по сей день.

Но есть у Горького одно произведение, которое при жизни Алексея Максимовича, в отличие от всех других его произведений, плохо «доходило» до массового читателя. Я говорю о повести «Жизнь Клима Самгина». Это обстоятельство было известно и самому Горькому. По некоторым мемуарным сведениям, Алексей Максимович предполагал даже написать более общедоступный, сокращённый вариант «Самгина». Однако это намерение Алексея Максимовича не было осуществлено, и, как показывает изучение современного читателя, в этом не было, пожалуй, и надобности.

Сейчас, по единодушным отзывам библиотечных работников, «Жизнь Клима Самгина» стала такой же любимой книгой миллионов читателей, как и все книги Горького. От былой «неодоходчивости» «Клима Самгина», от известного недоверия, которое вызывала к себе эта «трудная» повесть, не осталось и следа, хотя трудности освоения её богатого и разностороннего содержания, требующего определённой подготовки, определённых знаний, остаются, понятно, в силе и для сегодняшнего читателя.

Библиотека имени Горького (г. Москва) летом прошлого, 1949 года провела среди своих читателей анкету, специально посвящённую творчеству великого основоположника литературы социалистического реализма. Было собрано свыше тысячи анкет, из которых 466 были обработаны статистическим способом. Данные, полученные библиотекой, представляют, безусловно, большую ценность.

Из 466 человек, ответивших на вопросы библиотеки, рабочих насчитывается 124, служащих — 114, учащихся средней школы и техникумов — 134, студентов — 60, домохозяйек — 22, прочих — 12. Законченное высшее образование в этой группе имеют лишь 40 человек. Перед нами, стало быть, не высококвалифицированные, а рядовые читатели.

И все они великолепно знают и горячо любят замечательные произведения Горького. Кратко и выразительно написал об этом в своей анкете сорокатрёхлетний шофёр И. М. Котов. На вопрос: «Почему творчество Горького особенно дорого советскому читателю?», он ответил в нескольких словах: «Потому что книги Горького раскрывают перед читателем сухую правду».

Но обратимся к языку цифр. Из 466 читателей «Мать» прочитали 451 человек, «Детство» — 441, «В людях» — 439, «Дело Артамоновых» — 390, «Мои университеты» — 368, «На дне» — 354, «Фому Гордеева» — 297 человек. Что касается «Жизни Клима Самгина», то эту повесть прочли 239 человек, больше половины участников анкеты.

Однако эти красноречивые цифры сами по себе ещё недостаточны. Обратимся дополнително к ответам читателей на вопрос: «Какие произведения Горького Вы хотели бы прочесть?». Оказывается, что на первом месте в этом ряду стоит «Жизнь Кли

ма Самгина»: с нею хотят познакомиться 103 читателя. Затем идут «Враги» (64 ответа), «Фома Гордеев» (55 ответов), «Мещане» (53 ответа), «На дне» (48 ответов) и т. д. Таким образом, все основные произведения Горького (правильнее сказать, быть может, проще — все произведения Горького) подавляющим большинством участников анкеты либо уже прочитаны, либо будут прочитаны в ближайшее время. Некоторые горьковские вещи эти читатели просто не успели прочесть, хотя бы из-за своей молодости (более пятидесяти процентов заполнивших анкету не достигли ещё 23-летнего возраста). И «Жизнь Клина Самгина», — возвращаемся к этому гениальному творению великого русского писателя, — не выделяется больше читателями из всего творчества Горького, не противопоставляется ими другим его произведениям.

Вот несколько выдержек из читательских анкет.

Счётчица полиграфкомбината М. А. Князева пишет: «Исключительные вещи — «Мать», «Жизнь Клина Самгина», «В людях».

С нею переключается учащаяся техникума Токарева: «Мне очень понравились Горького «Мать», «Фома Гордеев», «Песня о Буревестнике», «Жизнь Клина Самгина».

Студент Пономарёв подчёркивает: «Наиболее из всех произведений (Горького. — Г. Л.) мне понравилась «Жизнь Клина Самгина».

В ряде случаев читатели указывают, что хотели бы перечитать «Жизнь Клина Самгина». Об этом пишут слесарь Д. В. Ильюшин, педагог Д. В. Манкевич, домохозяйка Т. Н. Баевская, медсестра Купер, счетовод Адамов, аспирантка Лоркина и другие.

В данном случае мы имеем освоение читателями такой идейной проблематики, такой области человеческих взаимоотношений, которые раньше в центре художественного изображения и в центре читательского восприятия не стояли. Одна из самых примечательных особенностей «Жизни Клина Самгина» заключается в том, что в ней с небывалой до того широтой и масштабностью художественно исследована идеологическая борьба, которая происходила в России в предреволюционные «сорок лет» её истории, художественно освещены те трудные и подчас путанные пути, которыми во всё усложнявшейся исторической

обстановке шло формирование идеологических установок различных социальных групп и классов старой России, показаны приёмы и способы маскировки врагов большевизма, врагов марксизма—ленинизма, проникавших в русское освободительное движение. Когда в конце двадцатых и начале тридцатых годов стали появляться первые тома грандиозной горьковской эпопеи, такая проблематика её показалась очень многим читателям непривычной, слишком уж «умственной», малодоступной, а главное, не соответствующей тому, чего следует ожидать от художественного произведения.

То, что в настоящее время подобный подход к «Жизни Клина Самгина» уже преодолен, преодолен самой жизнью,—бесспорный показатель того, что иным стал в массе своей наш читатель, что расширился его кругозор, что углубилось его историческое мышление, что образовалась у него настоятельная потребность исторически осмысливать прошлое и настоящее. Настойчивая, самостоятельная работа миллионов советских людей над изучением истории партии, влияние сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)», не могли не сказаться на изменившемся отношении читателей к такому произведению, как «Жизнь Клина Самгина».

Так рост политический, рост идейный стимулирует рост эстетический.

★ ★
★

Тема «Советский читатель и художественная литература» не может быть исчерпана в одной статье. Не может она, по самому существу своему, быть исчерпана и в десятке статей или книг; вообще нельзя представить себе, чтобы наступил момент, когда бы можно было сказать, что разработка этой темы доведена до конца. Над ней надо работать постоянно, потому что ни советская литература, ни советские читатели не стоят на месте, — как и всё на свете, они находятся в процессе движения, они меняются и развиваются, приобретают новые качества. Для того чтобы литературное развитие наше шло вперёд, в направлении, предначертанном указаниями партии, нам необходимо знать свои сильные и слабые стороны. А одним из непременных условий этого является конкретное и целеустремлённое изучение читателя. Это дело имеет чрезвычайно важное практическое значение.

Союзу советских писателей, Главлитиздату и культпросветучреждениям следует вплотную заняться изучением интересов современного советского читателя. И хочется верить, что этому суждено осуществиться, что голос нашего замечательного читателя зазвучит в полную свою силу.



М. СОЛОВЬЕВ

★

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЛИТЕРАТУР

1

Отличительной чертой современной реакционной буржуазной идеологии, проповедуемой, в первую очередь, империалистами США, является её резко агрессивный характер и разнообразие форм проявления, призванных замаскировать её классовую империалистическую сущность. Так, идеология империализма выступает, например, в форме объективизма или в форме всякого рода теорий «единых потоков» (культурных, экономических и пр.), в которых, как в грязной пене, тонут и классовые противоречия, и национальные особенности исторического развития народов. Часто эта идеология рядится в тогу буржуазного национализма, ярким примером чего в недавнем прошлом был национал-социализм в Германии, а ныне стал неофашизм империалистических кругов США.

Обратной стороной буржуазного национализма является космополитизм, который наряду с атомной бомбой взят на вооружение вдохновителями новой войны.

Именно с помощью всякого рода космополитических концепций неофашисты США пытаются расстрять, «маршаллизировать» сознание и мысль демократической интеллигенции всего мира, чтобы, идейно обезоружив её, заставить, в конечном счёте, служить классовым интересам буржуазии.

Нет нужды подчёркивать положение о том, насколько важно в этих условиях подлинно научное познание важнейших проблем пробуждающегося и уже пробудившегося зарубежного Востока, познание на основе марксистско-ленинского метода. Установление народно-демократической власти в Китае, освободительное движение в Индонезии и Вьетнаме свидетельствуют о тя-

чайшем кризисе колониальной системы империализма, но из этого вовсе не следует, что теперь уже нет необходимости разоблачать такие, например, реакционные теории, как «пантюркизм», «паниранизм», «панисланизм», прикрывающие буржуазным националистическим туманом агрессивные устремления агентов англо-американского империализма на Востоке. Наоборот, это разоблачение должно стать сейчас одной из главных задач советских востоковедов всех специальностей — историков, экономистов, литературоведов. Востоковеды должны хорошо помнить слова товарища И. В. Сталина, сказанные им в статье «Не забывайте Востока»:

«Империалисты всегда смотрели на Восток, как на основу своего благополучия. Несметные естественные богатства стран Востока (хлопок, нефть, золото, уголь, руда), — разве не они послужили «яблоком раздора» для империалистов всех стран. Этим, собственно, и объясняется, что, воюя в Европе и болтая о Западе, империалисты никогда не переставали думать о Китае, Индии, Персии, Египте, Марокко, ибо речь шла, собственно говоря, всё время о Востоке.

...нужно раз навсегда усвоить ту истину, — заканчивает свою статью товарищ Сталин, — что, кто хочет торжества социализма, тот не может забыть о Востоке»¹.

Вместе с тем советские востоковеды обязаны всесторонне и глубоко показать успехи — хозяйственные, политические, культурные — наших советских восточных республик, особенно республик Средней Азии. Ещё в 1923 году товарищ И. В. Сталин указывал на чрезвычайную важность имен-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 171—172, 173.

но этой задачи. На четвёртом совещании ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей товарищ Сталин говорил:

«...из всех советских республик — Туркестан¹ представляет наиболее важную республику с точки зрения революционирования Востока, не только потому, что Туркестан представляет комбинацию наиболее связанных с Востоком национальностей, но и потому, что по своему географическому положению он врывается в самое сердце того Востока, который наиболее эксплуатируется, и который накопил у себя наиболее пороку для борьбы с империализмом... Задача состоит в том, чтобы превратить Туркестан в образцовую республику, в передовой пост революционирования Востока»².

К сожалению, наши востоковеды нередко эту задачу игнорируют. Всем памятен выступления печати в конце 1948 и в начале 1949 года о развитии востоковедческой науки и об извращениях в этой области. Вопрос этот был поднят не по инициативе научных и учебных заведений по востоковедению, а газетами «Правда» и «Культура и жизнь». Только после этого началась борьба с буржуазными извращениями в области востоковедения в научных и учебных заведениях столицы (Институт востоковедения Академии наук СССР, Московский институт востоковедения, Московский университет и др.).

Основательной критике подверглись труды академиков В. А. Гордлевского, И. Ю. Крачковского, В. В. Алексеева, члена-корреспондента Академии наук СССР Е. Э. Бертельса, профессора А. Ф. Миллера и других.

С тех пор прошло немало времени. Кажется бы, эти учёные и другие востоковеды имели уже возможность выступить на страницах печати с критикой своих ошибок. Однако этого, к сожалению, не произошло. Хранит упорное молчание по этому поводу и журнал Института востоковедения Академии наук СССР «Советское востоковедение», который в соответствии со своим назначением уже давно должен был бы

подвергнуть большевистской критике те ошибки и прямые извращения в востоковедческой науке, которые имеются в трудах некоторых востоковедов.

Учёные, о которых мы говорили выше, сделали немало в деле накопления фактического материала по изучению стран советского и зарубежного Востока. В этом их большая заслуга. Но беда в том, что правильно обобщить накопленный материал они, в большинстве случаев, не сумели. Главная причина этого заключается в том, что эти учёные ещё недостаточно овладели марксистско-ленинской методологией, а потому не сумели критически пересмотреть наследие старого, дореволюционного, как русского, так и европейского востоковедения. Как правило, эти учёные оказались не в состоянии теоретически обосновать и качественное отличие советской востоковедческой науки от старого буржуазного востоковедения. Наоборот, их стараниями значительная доля буржуазного востоковедного наследия как бы мирно «вросла» в советскую науку, а сама востоковедческая наука в их трудах часто выглядит как прямое продолжение дореволюционной буржуазной науки.

К чему приводит подобное забвение метода материалистического исследования проблем Востока, нам хотелось бы кратко показать на примере работ члена-корреспондента Академии наук СССР Е. Э. Бертельса, видного учёного в области изучения языка и литературы народов Средней Азии и Ирана.

Исходя из объективистско-формалистических принципов в области исследования литературных памятников, Е. Э. Бертельс не сумел вскрыть конкретные нити, связывающие литературу народов Средней Азии и народов зарубежного Востока с реальной обстановкой их исторического развития. Вследствие этого он в своих трудах допускает и ошибки космополитического характера.

Оговоримся с самого начала, что в данной статье мы ссылаемся не только на новые, но и на некоторые старые работы Е. Э. Бертельса, опубликованные ещё в 1928 году, так как до сих пор, насколько нам известно, он не отказался от изложенных в них взглядов.

¹ В те годы Туркестан объединял в своём составе нынешние ССР — Туркменскую, Узбекскую, Таджикскую, Киргизскую и часть Казахской. (Примеч. ред.).

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 329.

2

Марксистско-ленинская наука требует от каждого учёного, изучающего духовную жизнь народов, в том числе, конечно, и литературу, руководствоваться тем, что «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»¹, что «экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества всякой исторической эпохи образуют основу её политической истории и истории её умственного развития...»², что «...духовная жизнь общества является отражением условий его материальной жизни»³, и что, наконец, в классовом обществе всегда «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре»⁴.

Духовную жизнь каждого народа необходимо, следовательно, изучать в диалектическом соответствии с теми условиями и особенностями экономического и умственного развития, в которых жил или живёт сейчас этот народ в конкретный отрезок исторического времени.

Е. Э. Бертельс не только не руководствуется этими основными законами марксизма-ленинизма, а, наоборот, утверждает нечто совершенно противоположное.

Обратимся к фактам.

В своей статье, опубликованной в 1948 году под названием «Литература на персидском языке в Средней Азии»⁵, носящей в известной мере обобщающий характер, Е. Э. Бертельс как бы подводит итог своим многолетним исследованиям и излагает те принципы, которыми он руководствуется в своей деятельности. Из этой статьи видно, что Е. Э. Бертельс кое-что пересмотрел из своего прежнего научного наследия, однако главное — его методология осталась всё та же, старая. Отдель-

¹ К. Маркс. Избранные произведения в двух томах, т. I, стр. 322.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 158.

³ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 111

⁴ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 16.

⁵ «Советское востоковедение», т. V, 1948 год. Изд. АН СССР, стр. 199—288. Статья называется «Литература на персидском языке в Средней Азии», а в постраничных заголовках написано: «Персидская литература в Средней Азии». Как видно, редакции и недомыслие, что эти два названия не только не совпадают, а являются в известной мере противоположными.

ные методологические ошибки этой статьи подверглись уже справедливой критике на страницах «Литературной газеты».

Е. Э. Бертельс считает невозможным изучать литературу какого-либо народа «в отдельности», особенно в Средней Азии, имея в виду ту тесную историческую связь, которая существовала в прошлом между народами Средней и Передней Азии. Искусственно преувеличивая значение этих взаимных связей и делая их по существу фундаментом своих исследований, он, тем самым, попадает во власть тех «абстрактных концепций», против которых он на словах выступает. В своей статье Е. Э. Бертельс пишет: «Всякая попытка изучать литературу какой-нибудь изолированной территории отдельно совершенно неизбежно приводит к невозможности правильного понимания, вызывает создание абстрактных концепций, не отражающих истинного хода развития»¹. (Разрядка моя. — М. С.).

Именно здесь-то и кроется главная методологическая его ошибка. Е. Э. Бертельс не понимает, что взаимодействие народов между собою, — которое, несомненно, всегда существует, — само по себе не имеет и не может иметь решающего значения в деле формирования основ общественного самосознания каждого данного народа. Решающим фактором, определяющим содержание, направление и степень подъёма духовной жизни народа являются не его взаимосвязи с соседними народами, а характер его общественно-производственной деятельности, конкретная историческая обстановка, в которой он живёт и развивается.

Из ошибочной историко-философской позиции Е. Э. Бертельса вытекает и его главная методологическая ошибка в области изучения собственно литературных памятников восточных народов, заключающаяся в том, что он относит восточных авторов и их произведения к той или другой литературе исключительно по признаку языка, совершенно игнорируя и этническую принадлежность авторов, и те географические пункты, где эти авторы творили. В той же своей статье он пишет:

«Под «персидской» литературой мы будем в дальнейшем разумеать все литературные произведения, написан-

¹ «Советское востоковедение», т. V, 1948 год. Изд. АН СССР, стр. 202.

ные на так называемом «новоперсидском языке», независимо от этнической принадлежности их авторов и того географического пункта, где эти произведения возникли»¹. (Разрядка моя.— М. С.).

Руководствуясь этой абстрактной, насквозь формалистической концепцией, Е. Э. Бертельс делает такой вывод:

«Литература Средней Азии и Ирана на отрезке времени с X по XV в., хотя и имеет специфические черты, но связана настолько тесно, что различия эти обычно второстепенного характера»².

«Методология» Е. Э. Бертельса начисто исключает всякую необходимость при изучении литературы того или другого народа исходить из конкретной исторической обстановки, в которой живёт этот народ. Таким образом Е. Э. Бертельс отвергает важнейший принцип марксистско-ленинской науки — тщательно изучать материальные условия жизни каждого данного народа, памятуя, что литература есть одна из форм их отражения.

В работе «Персидская поэзия в Бухаре» (1935 г.), которую критиковал А. А. Фадеев в своём выступлении на XII пленуме Правления ССП³, Е. Э. Бертельс идёт ещё дальше и к персидской литературе «присоединяет» ещё и арабскую литературу. Он пишет: «Персидскую поэзию саманидского периода нельзя рассматривать отдельно от арабской поэзии той же эпохи — это одна литература, пользующаяся двумя разными языками»⁴.

Если иногда Е. Э. Бертельс и роняет такие выражения, как «литература не может быть оторвана от жизни, она стоит в тесной зависимости от развития всей страны»⁵... то это носит чисто декларативный характер.

3

В самом деле, в чём состоит сущность метода, применяемого Е. Э. Бертельсом?

Внешне всё обстоит как будто благопо-

¹ «Советское востоковедение», т. V, 1948 год. Изд. АН СССР, стр. 200.

² Там же, стр. 202.

³ См. «Литературную газету» от 22 декабря 1948 года.

⁴ Е. Э. Бертельс. Персидская поэзия в Бухаре. X век. Изд. АН СССР, М.-Л. 1935, стр. 55.

⁵ Е. Э. Бертельс. Очерк истории персидской литературы. Изд. Ленинградского восточного института, 1928, стр. 172.

лучно. Исследователь подвергает изучению язык, тематику, жанр и форму изложения. Но главный и принципиальный порок его заключается не в том, что он изучает, а в том, как он изучает.

Как мы уже говорили выше, он не занимается глубоким изучением конкретных исторических условий жизни и работы того или другого поэта, не ищет в творчестве поэта, в его тематике, языке и других сторонах его художественной формы отражения материальной и духовной жизни той социальной среды, в которой сложилась творческая биография поэта. Поверхностные факты политической, точнее династической истории, которые приводит Е. Э. Бертельс в своих работах, мало помогают делу.

Всякое произведение на так называемом «новоперсидском языке» он относит к персидской литературе, а автора, независимо от того, жил он в Герате, Бухаре или Дели, немедленно причисляет к «славной плеяде» персидских поэтов.

Рассматривая произведения поэтов различных народов Средней Азии и Ирана в отрыве от реальной жизни, Е. Э. Бертельс даёт нам, собственно, не историю литературы в научном её понимании, а, в лучшем случае, историю литературных жанров и форм. И «Очерк истории персидской литературы», и «Персидская поэзия в Бухаре», и другие его работы выдержаны именно в этом стиле.

Определения Е. Э. Бертельса носят произвольный, импрессионистический характер:

«Абу Шукур и Ма Руфи — оба родом из Балха, пленяют наивной свежестью и простотой стихов, выгодно отличающихся от напыщенного стиля позднейших эпох».

«...Кульминационной точки развития персидская поэзия этого периода достигает только с Абу-Абдаллахом Рудаки, придворным поэтом Саманида Насра II (914—943), стихи которого при всём блеске и техническом совершенстве, довольно холодные и мало трогающие современного читателя»¹.

Вот и всё об этом «Адаме поэтов», как его называют историки литературы, написавшем, по преданию, свыше «миллиона стихов». Рудаки был крупнейшим поэтом Бухарского (Саманидского) государства в

¹ Е. Э. Бертельс. Очерк истории персидской литературы. Изд. Ленинградского восточного института, 1928, стр. 27, 28

X веке (умер он в 954 году). Будучи придворным поэтом, Рудаки, конечно, вынужден был писать хвалебные, действительно «холодные» оды в честь тогдашнего саманидского повелителя Насра II, но он же переложил на стихи старинные народные песни и сказания под названием «Калила и Димна», и эта эпическая поэма никак не может быть отнесена к разряду «холодных и мало трогающих». Наоборот, даже в тех немногих её стихах, которые дошли до нас, слышен горячий пульс жизни народа той эпохи. Великий поэт таджикского народа Рудаки нередко обращался к рубаи — литературной форме древнего народного стихосложения; многие его произведения были исполнены неподдельного, живого и горячего чувства.

Знаменитую оду старости Рудаки Е. Э. Бертельс рассматривает узко биографически, как стихотворную жалобу одряхлевшего человека.

Теперь времена другие, видишь, и я другой.
Дай же суму и посох, по миру пойду
с сумой...

говорил Рудаки, и это звучало насмешкой над ослабевшим феодальным режимом Бухарского царства Саманидов. Эта ода по праву может считаться зашифрованной сатирой на придворную феодальную челядь и самого Насра II, свергнутого с престола в 943 году своим собственным сыном Нухом. Именно в период царствования Саманида Насра II и начала проявляться та политическая «старость» режима бухарских владык, которая к концу X века привела к распаду Бухарского (Саманидского) государства и завоеванию его соседями-кочевниками.

Грозные события второй половины X века, главным из которых было нашествие кочевников, заставили обратиться к теме герсического прошлого своего народа крупного поэта той эпохи — Дакики, написавшего тысячу двустиший, отражающих историю древнейшего периода истории Средней Азии. Эти двустишия впоследствии использовал великий Фердоуси в своей поэме «Шах-Намэ».

Именно эти реальные исторические события, угрожавшие самому существованию народа, сыном которого был Дакики, заставили его, а затем и Фердоуси, взяться за повесть в стихах о героях древних сказаний, распространённых среди народов Средней Азии. Однако Е. Э. Бертельс

говорит о Дакики, что только «его пристрастие к родной старине побудило его взяться за выполнение огромной и трудной задачи — изложения в стихах всей истории Ирана...»¹, то есть объясняет те или иные произведения Дакики личными вкусами и пристрастиями поэта.

История даёт нам немало примеров того, как высоко поднимается патриотическая волна в духовной жизни народов в грозные дни исторических испытаний. Подъём такого рода отразил в своих стихах и Дакики. Всё это, к сожалению, оказалось за пределами исследования Е. Э. Бертельса.

Знаменитый врач и философ Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна), по мнению Е. Э. Бертельса, не имеет «прямого отношения к истории персидской литературы», потому что «все научные его труды, в том числе и знаменитый «Канон» (руководство по медицине), написаны по-арабски»². На этом основании исследователь проходит мимо творчества этого учёного.

Абу-Али Ибн-Сина действительно не имеет прямого отношения к «персидской литературе», но к Средней Азии, к Бухаре, а затем к Хорезму, где он жил и творил, он имеет отношение самое непосредственное. И потому исследователю, занимающемуся историей среднеазиатских народов, необходимо самым тщательным образом изучить труды этого учёного.

Можно было бы умножить примеры и проследить по тому же «Очерку» Е. Э. Бертельса, как он характеризует последующие, более поздние периоды развития литературы и таких корифеев поэзии, как Асади, Омар Хайям, Саади, Гафиз, — картина будет всё та же: анализа того, как отразилась в творчестве поэтов жизнь среднеазиатских народов, мы нигде не найдём.

Да и сами поэты изображены у Е. Э. Бертельса крайне неприглядно. Если верить ему, то это все какие-то придворные прихлебатели и «юные гуляки», готовые вцепиться друг другу в горло из-за кости со стола повелителя.

«Поэт всегда между двумя крайностями — или распутство, расточительность, или нищета, аскетизм, мистика». Идеалом поэтов была «блестящая праздная жизнь

¹ Е. Э. Бертельс. Очерк истории персидской литературы. Изд. Ленинградского восточного института, 1928, стр. 30.

² Там же, стр. 31.

вельможи», какой-то «исступлённый гедонизм».¹

Возможно, конечно, что многие из разбираемых поэтов действительно были придворными в самом худшем смысле этого слова. Но все ли? Известно, например, что поэт Шахид Балхский, живший в X веке, резко осуждал феодальные порядки, за что его и преследовала придворная знать. Вот что он писал:

Если бы у горя дым, как у огня, был, —
Мир бы дымом был наполнен вечно,
Обойди его — от края и до края,
Нет в нём мудреца, чтоб жил беспечно.

Или:

Ум у кого — того не любит богатство,
Кто же богат — ума у того не бывает.²

Живший несколько позже поэт Масуде Сад-е Сельман за свои смелые обличительные выступления был на двадцать лет посажен в тюрьму. Общеизвестно, что учёный Авиценна подвергался преследованиям со стороны газневидского правителя Махмуда; он вынужден был перебраться из Бухары в Хорезм, а затем и совсем бежать из пределов Средней Азии. Поэт и философ XI века Насер-е-Хосров в течение семи лет ездил по Средней Азии и везде видел только насилие и угнетение пародных масс; горестную жизнь народа он изобразил со всей силой в своей «Сефер-Намэ» («Книга путешествий»). В другой своей книге «Сэядэт-Намэ» («Книга счастья») поэт воспел тружеников из среды народных масс города и деревни, сравнивая их с ангелами, которые своим трудом кормят все живые существа. Эти книги тоже пришлось не по вкусу феодальной знати, и поэт подвергался преследованиям. Наконец, известна судьба и великого Фердоуси, также вынужденного на старости лет бежать из Средней Азии от преследований того же Махмуда. Вывод из всего сказанного может быть только один: лучшая, наиболее передовая часть среднеазиатских поэтов понимала свой общественный долг и ярко отражала в своём творчестве общенародные интересы, направленные против правящей верхушки...

Нам скажут: но если Е. Э. Бертельс не

сумел вскрыть социальную сущность творчества среднеазиатских поэтов, то может быть в области формально литературной он многое изучил и объяснил?

В том-то и дело, что ошибочные приёмы исследования привели Е. Э. Бертельса к однобокому и неверному пониманию даже тех литературных жанров и форм, которыми он так долго занимался. Восточная ода — касыда, по Е. Э. Бертельсу, всегда носит только восхвалительный характер по отношению к повелителям. Между тем известно, что в древней восточной поэзии были оды, воспевающие разум, вольность и равенство среди людей. Ещё более странно Е. Э. Бертельс интерпретирует сатиру, заявляя, что она отражала «свирепую борьбу поэтов, их состязание между собой»¹. Выходит, что сатира совсем не являлась в те времена литературной формой выражения общественного самосознания и орудием политической борьбы. Это была, оказывается, просто форма своеобразной перебранки поэтов между собою. Нужно ли доказывать, что это совершенно не соответствует действительности!

К этому надо прибавить, что Е. Э. Бертельс более или менее подробно, хотя и своеобразно, исследует только касыду, газель и отчасти сатиру, но, например, рубаи — короткому, меткому стихотворному афоризму, распространённому среди народных масс, он почти совсем не уделяет внимания.

Таким образом, ошибочный антинаучный метод исследования Е. Э. Бертельса не дал ему возможности правильно понять даже литературные формы и приёмы среднеазиатских поэтов. Ещё в меньшей степени смог он правильно установить истоки творчества поэтов древности. Даже такого гиганта, как Абу-л-Касим Фердоуси, он не понял и потому неправильно прочёл и истолковал его знаменитую поэму «Шах-Намэ» («Книга царей»).

4

В заключительной части своей работы, посвящённой творчеству Фердоуси, Е. Э. Бертельс пишет:

«В чём же причина такого глубокого влияния творчества Фердоуси? Я думаю, мы не ошибёмся, признав основной причиной этого влияния то обстоятельство, что

¹ Е. Э. Бертельс. Персидская поэзия в Бухаре. X век. Изд. АН СССР, 1935, стр. 21 — 22—23.

² М. Дьяконов Фердоуси. Жизнь и творчество. Изд. АН СССР, М.—Л. 1910, стр. 16, 17.

¹ Е. Э. Бертельс. Персидская поэзия в Бухаре. X век. Изд. АН СССР, 1935, стр. 23.

«Шах-Намэ» является одним из наиболее полных и ярких выразителей идеологии феодальной аристократии¹. (Разрядка моя. — М. С.).

Подобное определение значения «Шах-Намэ» и её содержания у Е. Э. Бертельса не единственное. Во многих работах учёного, где он касается творчества Фердоуси, поэма «Шах-Намэ» рассматривается как произведение, насквозь пронизанное феодально-аристократическими идеями теократического легитимизма. Но такое определение совершенно неверно. Сказать так — значит крайне обеднить поэму и принизить её до уровня обыкновенного рыцарского романа.

Конечно, Фердоуси, являясь выходцем из среды мелких землевладельцев, сделал героями своего произведения, главным образом (хотя и не исключительно), людей «благородного» происхождения. Об этом говорит и само название поэмы — «Книга царей». Возможно, даже одним из субъективных желаний автора поэмы и было, как уверяет Е. Э. Бертельс, нарисовать образ «идеального персидского рыцаря»², по которому следовало равняться рыцарям саманидской эпохи. В поэме действительно нашли своё отражение интересы феодальной аристократии, её идеалы и каноны. Всё это так. Но это только часть истины и притом далеко не главная. Если бы Фердоуси ограничил идею своего произведения узкими рамками классовых интересов феодалов, его поэма, конечно, не имела бы того значения, которое она имеет в действительности. В том-то и дело, что Фердоуси был не только великим художником, но и пламенным патриотом. Показывая царей и полководцев, он придал им черты общенародных героев, нарисовал их, как людей, которые преследуют не узко классовые цели касты аристократов, а являются борцами за общее благо, за народ и его независимость.

Народность — вот главная черта «Шах-Намэ», которая делает её произведением величайшей исторической значимости. Именно в этом её руководящая идея, её содержание и её подлинный смысл.

Е. Э. Бертельс не уделяет никакого вни-

¹ Е. Э. Бертельс. Абу-л-Касим Фердоуси и его творчество. Изд. АН СССР, Л.—М, 1935, стр. 68.

² Там же, стр. 60.

мания вопросу о народном характере «Шах-Намэ». Определяя, например, общественно-политическое значение «Шах-Намэ» для эпохи, когда она была создана, он говорит: Фердоуси «зовёт своих современников, представителей той земельной феодальной аристократии, к которой принадлежал и он сам, он зовёт их к единению, к прекращению внутренних раздоров, дабы выступить единым фронтом против тюркских завоевателей, угрожавших их замкам»¹.

Здесь снова Е. Э. Бертельс выдвигает на первый план феодалов и их кастовые интересы. Народа здесь опять нет. А между тем главное значение «Шах-Намэ» для современников — и в этом, несомненно, сказывается её народный характер — состояло именно в том, что в ней были отражены самые коренные устремления народных масс, которым тогда (в X веке) угрожало — в который раз! — опустошительное нашествие. Перед лицом грозной опасности Фердоуси — чуткий и умный сын своей страны — создал поэму, звавшую народ к единению.

Коренное население бухарского государства не могло оставаться глухим к борьбе с внешним врагом. Ведь это государство отстояло свою независимость от арабов и было независимым в течение почти ста пятидесяти лет. Народ, освобождённый от иноземного порабощения, хранил свою старину, свои предания, хотя он и жестоко эксплуатировался феодальной саманидской знатью, которая пришла к власти только после кровавого разгрома религиозно-демократического движения самих народных масс. На базе всеобщего обновления и подъёма духовной жизни народа после уничтожения арабского ига пышно расцвела литература саманидского периода и сложился, как его часто называют, «новоперсидский» литературный язык (язык «дари»). Во второй половине X века, когда в связи с обострением классовой борьбы в Бухарском государстве и усилением на этой основе внутренних феодальных войн, вновь нависла угроза иноземного вторжения в Среднюю Азию, среди народа начала подниматься новая патриотическая волна.

Могли ли в этих условиях передовые писатели и поэты Бухары, Самарканда, Туса, Хорезма, Мерва не воспеть героическое

¹ Е. Э. Бертельс. Фердоуси и его творчество. См. сборник статей «Фердоуси». Изд. АН СССР, Л. 1934, стр. 105.

прошлое своего народа, которое воодушевляло на борьбу с новыми завоевателями? Именно таково и было в то время высокое общественное назначение поэмы «Шах-Намэ».

Однако народный характер «Шах-Намэ» состоит не только в этом. Он проявляется во всём её содержании.

Е. Э. Бертельс, следуя своей концепции о сугубо феодально-аристократическом характере поэмы, заявляет: «Большая часть поэмы посвящена борьбе Ирана и Турана, то есть персидской и турецкой феодальной аристократии»¹. Подобное утверждение не отвечает действительности. Разве можно всё богатейшее содержание «Шах-Намэ» свести к простому описанию междоусобиц различных групп феодальной знати? Идея «Шах-Намэ» гораздо шире, мощнее, грандиознее. В основе её сюжета лежит изложение хода решающих исторических событий в Средней Азии, начиная с древнейших полумифических времён и кончая распадом Сасанидского государства (VII в. н. э.). Это подлинно народная эпопея, в которой в ярких художественных образах отражена многовековая борьба коренных оседлых народов Средней Азии за свою свободу и независимость против кочевых племён. И не случайно наиболее излюбленными и живучими в народе оказались как раз те эпизоды, которые изложены в первой мифологической и во второй, так называемой дружинной, частях поэмы. А те стихи, которые составляют последнюю историческую часть «Шах-Намэ», рассказы-вающую о сасанидских царях, за исключением, быть может, рассказов о Бахраме V (Гуре), почти совершенно забыты, хотя эта часть посвящена временам гораздо более близким². Причина этого явления заключается в том, что историческая часть «Шах-Намэ» приближается по форме к придворной хронике сасанидских владык, живших к тому же в столице Ктесифоне на реке Тигр, удалённой от Средней Азии на значительное расстояние. В силу этого, в ней гораздо ярче выступают феодально-аристократические черты, менее интересные для народа. Именно поэтому она и была забыта.

¹ Е. Э. Бертельс. Абу-л-Касим Фердоуси и его творчество. Изд. АН СССР, Л.—М., 1935, стр. 18.

² И. Орбели. Шах-Намэ. См. сборник статей «Фердоуси». Изд. АН СССР, Л., 1934, стр. 3.

Следует отметить и ещё один факт, подчёркивающий народный характер «Шах-Намэ». Поэма воспроизводит главным образом те события, которые имели прямое и непосредственное отношение к истории народов Средней Азии, а не всего Ирана. В интересах этих народов и действовали герои, показанные в поэме.

Народный характер «Шах-Намэ» обнаруживается и в образах многих её действующих лиц. Достаточно известен образ кузнеца Кавэ, борца против деспотизма и угнетения. В поэме он изображён как подлинный народный герой, поднявший восстание против иноземного завоевателя Зохака. Кавэ является к Зохаку и заявляет ему:

Придётся тебе учинить мне отчёт,
Такой, что весь мир в изумленья придёт.

Кавэ отказался подписать грамоту, в которой излагались добрые дела царя Зохака.

Охваченный дрожью, он крикнул и встал,
И грамоту их, разорвав, истоптал...

Взял кожаный фартук, которым перёд
Кузнец прикрывает, как молотом бьёт,
К вершине копья прикрепил его сам...

Он шёл всё вперёд посреди удальцов,
Немало собралось их с разных концов.¹

Сочувственно обрисовал Фердоуси и Маздака, вождя народно-демократического движения VI века. В противовес официальной литературе, которая называла Маздака «гнусным», «проклятым», «нечистой собакой», у Фердоуси мы находим такие строки:

Жил муж, и Маздаком он был наречён.
Речист и разумен, советом силён,
Премудрым и доблестным мужем он был.²

Фердоуси был, пожалуй, единственным поэтом, кто в тех условиях дерзнул сказать правду о действительном содержании учения Маздака, требовавшего уничтожения класса богатых:

Приходит к нему (к Маздаку. — М. С.) всяк,
кто беден и мал,

Кто хлеб свой тяжёлым трудом добывал.
И вера Маздака весь мир обогнала,
И дерзкий не смел причинить ему зла.
Расстался богач с достоянием своим,
Всё бедному отдал, сравнившись с ним.

¹ «Книга царей «Шах-Намэ». Избранные места. Перевод М. Лозинского. Изд. «Академия», 1934, стр. 53—54—55.

² «Литература Ирана X—XV вв». Сборник 2-й. Изд. «Академия», М.—Л., 1935, стр. 149.

В поэме много строк, обнаруживающих явную симпатию автора к трудящимся массам. Фердоуси вкладывает в уста Маздака следующие слова:

... Кто богат и силён,
Не выше бедняги, что нищим рождён.
На роскошь, богатство положен зарок,
Основа — бедняк, а богатый — уток.¹

В главе поэмы о мифическом царе Джемшиде дана такая характеристика крестьян и ремесленников:

А третий разряд «насуди» назовём —
Людей, пред другими не бьющих челом.
Запахнут, посеют, сберут свой посев,
Не слышат упрёка, за трапезу сев.
.....

Не знают раздоров, ни тяжб, ни клевет,
Их крепки тела, крепок ими весь свет.
.....

Разряд же четвёртый — «хутужш» их зовут —
То — люди ремёсел, непокорный то люд.
Всегда занят промыслом этот народ,
Поэтому полны их души забот.²

Показательным является и эпизод с юношей-сапожником, укротившим льва. С точки зрения придворной знати, этот юноша, не будучи знатного происхождения, не мог стать героем. Но Фердоуси опоэтизировал его подвиг в своём произведении и тем самым сделал его героем.

Самым решительным образом следует возразить против утверждения Е. Э. Бертельса о том, что источниками при написании «Шах-Намэ» являлись для Фердоуси только письменные документы и что «устного творчества, так называемого (?! — М. С.) фольклора, он не использовал вовсе»³. Это совершенно бездоказательно и никак не вяжется ни с объёмом, ни с содержанием великой поэмы. Сам Фердоуси во многих местах своего произведения указывает (например, во вступлении к главе «Бижан и Менижэ») на то, что рассказ его построен на предании, на сообщениях дехканина, написан со слов друга и т. д. Да и само изложение учения Маздака не могло быть почерпнуто Фердоуси из письменных источников, ибо таковых просто не существовало.

¹ «Литература Ирана X—XV в.» Сборник 2-й. Изд. «Академия», М.—Л. 1935, стр. 152.

² Там же, стр. 77.

³ Е. Э. Бертельс. Абу-л-Касим Фердоуси и его творчество. Изд. АН СССР, Л.—М. 1935, стр. 37.

Всё это — чрезвычайно важные с точки зрения правильной оценки «Шах-Намэ» моменты, которые Е. Э. Бертельс почти не затронул в своих работах, тем самым не раскрыв и причины того, почему этой поэмой так дорожат на протяжении многих веков народы Средней Азии и прежде всего таджикский народ.

Е. Э. Бертельс не вскрыл того, что эта поэма, при всей своей феодально-аристократической окраске, была вместе с тем мастерским и всеобъемлющим выражением самых лучших, самых сокровенных чаяний и надежд народных низов. Для народов Средней Азии «Шах-Намэ» то же, что для грузин — «Витязь в тигровой шкуре», для армян — «Давид Сасунский», для русских — «Слово о полку Игореве». Это также свидетельствует о подлинной народности «Шах-Намэ», её исторической значимости и ценности.

Как можно идею всенародного единства и могучего отпора угнетателям и чужеземным захватчикам, так мощно и ярко выражённую в поэме, подменять тщедушной идеей «теократического легитимизма»? Делая так, Е. Э. Бертельс принижает классическое наследие народов Советского Востока.

Так обстоит дело у Е. Э. Бертельса с оценкой поэмы «Шах-Намэ».

Не лучше выглядит у него и сам Фердоуси.

«Перед нами встаёт величаяя фигура, — пишет Е. Э. Бертельс, — представителя умирающего класса (какого? — М. С.), хранителя старых идеалов и заветов, пытающегося восстать против хода истории... Факты показывают... Фердоуси как борца за идеи своего класса, как идеалиста, мечтающего о возвращении безвозвратно утраченного прошлого. Крушение «Шах-Намэ» есть в то же время крушение всех его идеалов»¹.

Здесь вызывает большие возражения характеристика Фердоуси как правоверного феодала.

В действительности великий поэт никогда таковым не был. Факты говорят, что будучи мелким, да к тому же ещё и разорившимся землевладельцем, он по своему социальному положению был гораздо ближе к крестьянам, чем к феодалам, окружавшим бухарских или газневидских властелинов.

¹ Е. Э. Бертельс. Абу-л-Касим Фердоуси и его творчество. Изд. АН СССР, Л.—М. 1935, стр. 26—27.

К «придворным» поэтам Фердоуси также отнести нельзя. По выражению действительно придворного поэта в Газне, Унсури, Фердоуси никогда «к царскому двору не искал путей»¹. И это было правдой.

Точно так же неправильно изображает Е. Э. Бертельс Фердоуси, как некоего рыцаря отшельника: «Целых тридцать лет он провёл в своём маленьком поместьи... За это время он почти не выезжал ко двору»².

В год 995-й, когда Фердоуси уже в основном заканчивал своё грандиозное произведение, у ворот родного его города Туса произошла жестокая битва, решившая судьбу династии Саманидов. Во вступлении к своей поэме, которое было написано уже после окончательного завершения всей поэмы, то есть не ранее 999 года, поэт говорил:

В стране назревала в те годы война,
Сулила невзгоды разумным она.³

Да и всё содержание и направленность его труда говорит о том, что он хорошо чувствовал пульс современной ему жизни и тяжело переживал разорение страны, вызванное нашествием врагов.

Когда Фердоуси закончил свою поэму, в Бухаре уже хозяйничали завоеватели Караханиды. Народ теперь был угнетён ещё больше, чем при Саманидах. Завоеватели жадно торопились поживиться за счёт родного добра.

В одной из заключительных глав поэт написал:

Померкла луна, собрались облака,
Снежинки несутся белей молока,
И реку и степи окутала мгла,
Вороньего в небе не видно крыла.⁴

Е. Э. Бертельс объясняет эту грусть чисто личными мотивами: у престарелого поэта не было денег, он был почти нищим и потому сетовал на жизнь. Такие же личные, по мнению Е. Э. Бертельса, мотивы заставили Фердоуси написать злую сатиру на газневидского повелителя Махмуда, который плохо вознаграждал поэта за его труд. Возможно, что в какой-то мере тут играла роль и личная обида. Но едва ли

¹ М. Дьяконов. Фердоуси. Жизнь и творчество. Изд. АН СССР, 1940, стр. 49.

² Е. Э. Бертельс. Фердоуси и его творчество. См. сборник статей «Фердоуси». Изд. АН СССР, Л., 1934, стр. 105.

³ М. Дьяконов. Фердоуси. Жизнь и творчество. Изд. АН СССР, 1940, стр. 26.

⁴ Там же, стр. 49.

всё можно свести только к этому. Сатира на Махмуда, несомненно, была написана Фердоуси, главным образом, из политических побуждений. Недаром же поэту пришлось после этого бежать в Багдад, откуда он возвратился в родной Тус только к концу своей жизни. Когда же Фердоуси скончался, то новая феодальная знать из числа газневидских завоевателей даже не хотела хоронить его на мусульманском кладбище по мусульманскому обряду. Так мстили аристократы народному поэту.

Поэтическое наследие Фердоуси было куда сильнее ревнителей мусульманских обычаев. С полным правом заявил Фердоуси в конце своей поэмы:

Нет, я не умру, вечно буду живой,
Я слов семени разбросал над землёй,
.....

Я замок высокий воздвиг из стихов,
И он не боится дождей и ветров.
.....

Над этою книгою годы пройдут,
И светлый умом прочитает мой труд.¹

Всего этого Е. Э. Бертельс не сумел раскрыть.

Так обстоит дело с исследованиями Е. Э. Бертельса в области собственно литературной.

5

Несколько замечаний необходимо сделать и о так называемом «единстве персидской литературы», проповедуемом Е. Э. Бертельсом.

В. И. Ленин в одной из своих статей по национальному вопросу указывает:

«Безусловным требованием марксистской теории при разборе какого бы то ни было социального вопроса является постановка его в определенные исторические рамки... учет конкретных особенностей, отличающих эту страну от других в пределах одной и той же исторической эпохи»².

Е. Э. Бертельс поступает как раз обратно этому ленинскому указанию. Он попросту игнорирует какие бы то ни было «конкретные особенности», и всю литературу, написанную на новоперсидском языке в любом пункте Азии, рассматривает как единое целое.

¹ М. Дьяконов. Фердоуси. Жизнь и творчество. Изд. АН СССР, 1940, стр. 129, 137.

² В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 373.

Какие же признаки, с точки зрения Е. Э. Бертельса, определяют единство всей «персидской литературы»?

Выше мы уже привели его высказывание о том, что в «персидскую литературу» он включает все литературные произведения, «написанные на так называемом «новоперсидском языке», независимо от этнической принадлежности их авторов и того географического пункта, где эти произведения возникли». В другом месте этой же статьи он ещё раз подчёркивает, что персидская литература «несмотря на своё многообразие, представляет собой всё-таки единое целое»¹.

Таким образом, главнейшим признаком единства персидской литературы, по мнению Е. Э. Бертельса, является язык. Вторым признаком он считает тематику, точнее «тематическую переключку» поэтов разных стран и разных эпох.

Коснёмся первого, главного признака.

Конечно, язык, на котором написано литературное произведение, является важным фактором, определяющим принадлежность этого произведения к той или другой литературе. В наши дни, когда нации, по крайней мере в своём громадном большинстве, уже окончательно сложились, этот фактор является решающим, хотя и не единственным. Однако можно ли для Средней Азии в период до XV—XVI вв. считать персидский литературный язык таким решающим фактором? Нет, нельзя. Ведь никому не придёт в голову произведения, написанные в XI—XV вв. на латинском языке во Франции, Германии, Испании или Польше, отнести к латинской литературе или, скажем, причислить к латинянам русского князя Андрея Курбского, который, эмигрировав в Польшу, стал писать на старости лет полатыни. В силу определённых исторических условий, о которых мы не имеем возможности говорить здесь подробно, персидский язык имел в период до XV века такое же широкое распространение среди народов Среднего Востока, как латинский язык в средневековой Европе². Значит ли это, однако, что литература среднеазиатских народов растворилась в персидской литературе

только потому, что поэты Бухары, Самарканды, Хорезма в саманидский период пользовались персидским языком? Может ли язык в данном случае служить признаком единства литературы? Конечно, нет. Ведь сам же Е. Э. Бертельс говорит: «не следует делать вывод, что таджикский народ до XVI века литературы не имел. Он, конечно, её имел и имел с глубочайшей древности»¹. Именно поэтому необходимо со всей решительностью заявить, что так называемая единая персидская литература — есть миф, выгодный для реакционных паниранистов

Среднеазиатские поэты, пользуясь персидской письменностью, конечно, оставались сыновьями своих народов, были, как правило, их лучшими и передовыми представителями. Излагая свои письменные работы на персидском языке, часто даже стилизуя их под определённые каноны, угодные саманидским и прочим владыкам, они в большинстве своём прямо или косвенно, в большей или меньшей мере, выражали сокровенные чувства и чаяния того народа, из недр которого они сами вышли.

Нельзя верить, чтобы народы Хорезма, Согдианы, Ферганы, северной части Хорасана и отчасти Мавераннахра, имевшие с древнейших времён сравнительно высокую материальную и духовную культуру², никак не повлияли на творчество своих писателей, особенно таких, как Рудаки, Дакики, Насер-е-Хосров и Фердоуси.

персидский язык» (язык «дари») является по своему происхождению языком согдийским или старотаджикским, получившим в саманидскую эпоху и позже значение общеперсидского. В некоторых трудах, написанных в последнее время, этот вопрос решается уже положительно. Например, в вышедшей в конце 1949 года книге В. Г. Гафурова («История таджикского народа», Госполитиздат, 1949, т. I) язык дари достаточно обоснованно называется уже прямо языком таджикским.

Широкое распространение и влияние на культуру соседних народов древнейших языков Средней Азии — согдийского и хорезмийского отмечал в своё время и русский ориенталист академик В. В. Бартольд (см. его «Иран», исторический обзор, Ташкент, 1926, стр. 11—13 и далее).

¹ Е. Э. Бертельс. Литература на персидском языке в Средней Азии. «Советское востоковедение», т. V, 1948, Изд. АН СССР, стр. 228.

² См. П. Лященко. История народного хозяйства СССР, М. 1939, т. 1, стр. 48—50, 113—116. См. также С. П. Толстов, Древний Хорезм, Изд. МГУ, М. 1948.

¹ Е. Э. Бертельс. Литература на персидском языке в Средней Азии «Советское востоковедение», т. V, 1948, Изд. АН СССР, стр. 200.

² Мы оставляем в стороне, как имеющий самостоятельное и очень важное значение, вопрос о том, что так называемый «ново-

И сам Е. Э. Бертельс высказывает мысль о том, что литература Средней Азии «имеет специфические черты», но верный своей концепции, он тут же оговаривается, заявляя, будто она настолько тесно связана с литературой Ирана, что «различия эти обычно второстепенного характера»¹. А как раз в этих-то «различиях второстепенного характера» и гвоздь всего дела, их-то и надо было подвергнуть самому тщательному научному анализу. Однако порочная методология исследования и на этот раз помешала Е. Э. Бертельсу придать этим различиям то значение, которого они заслуживают.

Так обстоит дело с первым признаком — языком. Ещё в меньшей степени может определять единство персидской литературы второй признак — «тематическая переключка поэтов», то есть создание произведений на одну и ту же тему.

«Мы имеем своего рода переключку на протяжении четырёх столетий, — пишет Е. Э. Бертельс, — причём в неё вовлечены Ширван, Индия (Делли), Средняя Азия (Герат) и Ирак (Багдад)»².

Е. Э. Бертельс приводит примеры этой «переключки».

Азербайджанский поэт XII века Хакани написал касыду, начинающуюся словами: «Сердце моё — старец-наставник». В XIV веке индийский поэт Амир Хосров пишет на эту касыду стихотворный ответ. В XV веке ответ пишет (почему ответ? — М. С.) поэт Герата Абдуррахман Джамии — и так далее в этом же роде.

Но разве подобная или всякая другая «переключка» может определить единство литературы? Ведь известно, например, что тема «лишнего человека» разрабатывалась Байроном, Пушкиным, Лермонтовым и многими другими поэтами. Точно такое же положение было с темой «Дон Жуан», а между тем никто не говорит о единстве русской и английской, или русской и французской литератур. Чувствуя шаткость и условность этой своей установки, Е. Э. Бертельс всё же силится доказать, что эта «переключка» определяла единство персидской литературы.

Он пишет: «Конечно, каждый из этих поэтов вносил свои местные особенности,

но тематически все эти произведения связаны, они проникнуты налётами на стихи предшественников, частично сохраняют их обороты, придавая им новую окраску и иное освещение»¹. Вот и надо было, оставив в стороне «налёты» и «обороты», поглубже заняться «новой окраской» и «иным освещением» фактов и самой тематики, исходя из изучения и анализа тех конкретных исторических условий, в которых жил и творил тот или другой поэт.

Этого Е. Э. Бертельс, к сожалению, не сделал.

Так обстоит дело со вторым признаком.

Нам скажут (и Е. Э. Бертельс об этом говорит): мало ещё изучена история народов Средней Азии, очень немного дошло до нас исторических документов, всё больше отрывки и т. д. Это, конечно, верно. Затем: коренное население Средней Азии претерпело в течение веков такое большое число этнических наслоений, что по отношению к древним периодам трудно установить, что и какому народу принадлежит. И это тоже верно. Но кто же в науке идёт проторёнными путями? Конечно, трудности велики и многообразны, но тем решительнее нужно эти трудности преодолевать, тем крепче вооружиться марксизмом-ленинизмом, отбросив в сторону формалистические, компаративистские и всякие другие измышления буржуазного востоковедения.

Выступая на XII съезде партии по национальному вопросу, товарищ И. В. Сталин говорил:

«Мы стоим перед перспективой мощного движения на Востоке и должны нашу работу направлять прежде всего по линии пробуждения Востока и не предпринимать ничего такого, что могло бы, хотя бы отдалённо, хотя бы косвенно, умалить значение каждой отдельной, самой маленькой народности на восточных окраинах»².

Эти указания товарища Сталина советские востоковеды должны положить в основу всей своей работы, не только изучая культурное наследие народов наших восточных советских республик, но и отстаивая его от покушений космополитствующей псевдонауки.

¹ Е. Э. Бертельс. Литература на персидском языке в Средней Азии. «Советское востоковедение», т. V, 1948. Изд. АН СССР, стр. 202.

² Там же, стр. 201.

¹ Е. Э. Бертельс. Литература на персидском языке в Средней Азии. «Советское Востоковедение», т. V, 1948, Изд. АН СССР, стр. 201.

² И. В. Сталин Сочинения, т. 5, стр. 278.

* *
*

Какой же практический вывод напрашивается после всего вышесказанного?

Очевидно при изучении литературы народов Средней Азии надо отказаться от вредного ненаучного термина «персидская литература». Придётся, видимо, для периода до XV века говорить или прямо о таджикской или о старотаджикской литературе, понимая её как совершенно самостоятельную ветвь, хотя и близкую к персидской, или в крайнем случае — о литературе Средней Азии на персидском языке¹. Правда, в последнее время появились попытки ввести новый термин — «персидско-таджикская литература». Однако это, на наш взгляд, не более как мало удачный паллиатив, свидетельствующий о нежелании окончательно расстаться со старыми воззрениями.

Но дело, конечно, не в терминах. Многим нашим востоковедам надо в корне изменить систему своей исследовательской работы и стать, наконец, прочно, целиком и полностью на позиции марксизма-ленинизма.

Немаловажной является задача подготовки новых кадров советских ориенталистов. Наши маститые востоковеды, за немногим исключением, крайне беззаботно, а в отдельных случаях и высокомерно, пренебре-

¹ Заметим, кстати, что сами народы Средней Азии периода Саманидов называли свой литературный язык не «новоперсидским», а языком «дари». Термин «новоперсидский» выдуман неразборчивыми исследователями в гораздо более позднее время.

жительно относятся к этой проблеме. В силу этого утвердилось такое нелепое и крайне вредное положение, при котором появились своеобразные монополисты по отдельным отраслям востоковедческой науки, монополисты без учеников, без смены. А та незначительная часть молодых востоковедов, которая всё же была подготовлена, воспитывалась частенько в духе узкого практицизма, в стороне от большой теоретической проблематики Востока.

Конечно, востоковеды старшего поколения, в том числе и Е. Э. Бертельс, сделали немалый вклад в развитие советского востоковедения. За годы советской власти их стараниями накоплен значительный фактический материал. В этом их заслуга, которая всегда будет признаваться и цениться. Но именно поэтому сейчас особенно заметны их серьёзные промахи и ошибки методологического характера.

XII съезд партии указывал, что высшая школа, «вырабатывая специалиста в той или иной отрасли строительства, в то же время должна готовить в его лице общественно-политического работника, вооружённого теорией марксизма»¹.

Критика Е. Э. Бертельса и других наших видных востоковедов направлена на то, чтобы помочь им поскорее сбросить «старый груз» и твёрдо, обеими ногами стать на позиции марксистско-ленинской методологии при изучении многообразных и сложных проблем советской востоковедческой науки.

¹ «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Госполитиздат, 1940, часть I, стр. 507.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Н. Грибачёв. С высокой трибуны. — **Е. Сурков.** Образ Богдана Хмельницкого. — **И. Афанасьев.** Всепобеждающая новь. — **Е. Книпович.** Путь народного поэта. — **Е. Усиевич.** Книга об Исаковском. — **Я. Фрид.** Мишель Ронде и Этьен Лантье. — **В. Панков.** Без чувства нового. — **С. Марголис.** Две повести молодых писателей.

ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Академик Е. Тарле. Могучий голос борцов за мир. — **В. Минаев.** Америка без прикрас. — **Н. Габинский.** Факты из истории Мексики.

ПРАВО

Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. Против поджигателей и преступников войны.

ТЕХНИКА

А. Иглицкий. Сталь во имя мира. — **А. Морозов.** Голос моря.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

И. и Л. Крупениковы. Труды виднейшего русского агронома.

ХИМИЯ

А. Буянов. Крупное достижение советской химии.

АРХЕОЛОГИЯ

Кандидат исторических наук М. Левин. Открытие советских археологов и антропологов.

Литература и искусство

С высокой трибуны

Большинство стихов сборника Алексея Суркова «Миру—мир!» известно читателям по периодической печати, но, как это часто случается, собранные воедино, они производят более сильное впечатление и представляют собой новый шаг поэта вперёд. Более широким стал его кругозор, пытливей мысль, богаче и в то же время строже изобразительные средства.

Новый сборник поэта открывается циклом «Большевики», посвящённым великой исторической роли партии и её вождей Ленина и Сталина в революции, в построении социализма в нашей стране, во всемирной борьбе за новое будущее человечества, которое так же неизбежно, как смена ночи днём.

Алексей Сурков, «Миру—мир!». Редактор А. Кудрейко. Издательство «Правда», М. 1950.

Два гения столетие назад
Сквозь время, как мерцанье дальней цели,
Над заревом парижских баррикад
Виденье коммунизма разглядели.

Тот век был бессердечен и жесток.
Лежала над Европой мгла седая,
Два гения смотрели на восток,
Рассветного сиянья ожидал.

То, что из дальней дали разглядели
К. Маркс и Ф. Энгельс как очертания
грядущего, сделали зримым, превратили в прекрасную реальность два других гения—
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Они не только творчески развили и дополнили марксизм в новых условиях — они осуществили идеи социализма в такой полноте и в таких масштабах, которые фактически уже обрекли капитализм на полный крах. Над миром сегодня главенствует идея коммунизма.

Мы Сталину всей силой сердца верим,
Как в дни сражений верили ему.

...Он с Лениным шёл четверть века рядом.
Своим вождём его назвал народ.
Судьбу племён земных орлиным взглядом
Он видит на столетия вперёд.

И если он сказал, что мы построим
Мир коммунизма, — значит, быть тому!

...Всё ближе, ближе видим впереди мы
Зажжённые на кручах маяки.
Мы в сталинском строю непобедимы,
Мы — совесть мира. Мы — большевики.

Поэт не увлекается парадностью этого великого шествия народов к коммунизму, хотя зрелище это само по себе прекраснее и величественнее всего, известного истории; он видит трудности борьбы, он видит человека и не боится с законной грустью отметить, что:

И старость уж совсем не за горами,
День ото дня густеет седина.
Походными солдатскими кострами
Дорога в коммунизм освещена.

Мы не намерены кокетничать сединами и боевыми биографиями, но мы не вправе игнорировать законные человеческие чувства, а главное — мы должны в новом поколении молодых советских людей воспитывать уважение к людям, отдавшим всю жизнь борьбе. И прав поэт, когда напоминает:

На нашу долю вовсе не досталось
Спокойных лет и безмятежных дней.

Но нас не гложет горечь укоризны.
Свою судьбу солдатскую любя,
Мечтой о лёгкой и спокойной жизни
Мы никогда не тешили себя.

Когда б сама давалась в руки слава,
Сама сходила с неба благодать,
История бы нас лишила права
Труд нашей жизни подвигом назвать.

Цикл «Большевики» — искреннее высказывание политически зрелого поэта и гражданина о партии, вождях, о народе и о себе. Простые, точные стихи этого цикла, без формальных завитушек и звона пустых фраз — свидетельство той поэтической зрелости, при которой поэт единым взглядом обнимает большое и малое, приобретает право говорить от имени своего времени и своего народа.

Подлинным трибуном становится поэт, когда он поднимает голос в защиту мира во всём мире.

Гнев огненным комом стоит у горла
И требует:

— Говори!

Приспело время, гневной и горькой,
Взять правде свои права.
В Париже,

в Лондоне,

в Нью-Йорке

Пусть слышат эти слова.

Наши читатели знают, что поэт Сурков не только в переносном, а и в прямом смысле выступал на международных трибунах в защиту мира, что он — один из активных деятелей этого движения, что он хорошо знает то, о чём пишет.

Алексей Сурков то разговаривает с большой аудиторией, настроения и чаяния которой хорошо знает («Возвысьте голос, честные люди!»), то гневно клеймит врага («Чикагскому фабриканту»), то даёт простую жизненную сценку — малое и частное, в котором отразилось большое и общее («Янки в Копенгагене», «Датская сказка» и др.). Он раскрывает паразитическую сущность американского фабриканта, показывает, как осквернила и опозорила американская солдатня старинные города Европы, унизила и опошшила их культуру, он показывает, к чему всё это ведёт в конечном счёте и восклицает:

Пока не взрехали глотки орудий
И стены не пали ниц,
Возвысьте голос, честные люди,
Сорвите маски с убилиц!

Сам поэт своими стихами и делает это боевое нужное дело — срывает маски с поджигателей войны и борется за мир. Мы знаем, что в грандиозное движение за мир вливаются всё новые и новые сотни тысяч людей на всём земном шаре. И можно только приветствовать работу поэта, сделавшего предметом своих новых стихов самое насущное и дорогое для всех простых и честных людей всех государств и народов.

Поэтическая речь А. Суркова в этих стихах приобретает весомость и зримость, она проста и выразительна. Он говорит об американских солдатах в Копенгагене:

На чёрных рынках Мюнхена они
Ковры скупали у немецких вдов.
И в Данию на отпускные дни
Приплыли поразвлечься от трудов...

И янки, как хозяева, с утра
Гвоздят асфальт ударами подков.
Стандартны их ухмылки, и пестра
Наплечная геральдика полков.

Они — хозяева улиц и кафе, перед ними пресмыкаются торгаши и чиновники, в честь «заатлантических друзей» захлёбываются восторгом продажные газеты. Но совсем другое дело, когда эта разнузданная американская солдатня появляется в кварталах докеров:

Там не юлят перед толпой гуляк.
Там честь и совесть доллара святей.
Там вечером увесистый кулак
Считает рёбра «дорогих гостей».

И там не жди триумфов и побед,
Развязный, туполобый краснобай!
Беги и слушай, как несётся вслед
Насмешливое, едкое «гуд бай».

Сборник заключается стихами об Иране. В этих стихах повествование несколько замедленное, природа выписана старательнее и мягче:

Позолотой покрыв минареты,
Солнце медленно падает вниз.
В этом городе жили поэты
Саади, Кермани и Хафиз.

На первый взгляд кажется, что вот сейчас и пойдёт та традиционная лирика, которая, как кисея, скрадывает очертания реальных предметов, туманит глаза, ввергает в мечтательную расслабленность. Сколько поэтов ещё сбивается на эту проторённую тропинку! Но А. Сурков — реалист, он видит правду:

Как среди этой прозы жестокой
Нежность речи певучей сберечь,
Если бархатный говор Востока
Заглушает английская речь;

Если нищий народ бессловесен,
А в богатых домах напоказ
Вместо старых, задумчивых песен
Ржёт, скрежещет, мяукает джаз;

Если рыжим заморским банкирам
Льва и Солнце стащили в заклад;
Если нынешним Ксерксам и Кирам
Шит в Нью-Йорке ливрейный наряд...

Поэт не затуманивает противоречий жизни, он воочию показывает, что лакействующие правители превратили Иран в англоамериканскую колонию. Романтика восточной жизни, романтика природы — не существенны, а существенно то, что богатства иранской земли уйдут в жадные лапы банкиров, страна обречена на запустение, голод, нищету. И трагическим свидетель-

ством очевидца завершается этот короткий поэтический рассказ:

От недоброго, жадного глаза
Осыпаются роз лепестки.
И к могилам поэтов Ширази
Из пустынь подступают пески.

В последнее время наши поэты всё чаще выступают со стихами на темы зарубежной жизни, очевидцами которой они становятся. Широко известна книга К. Симонова «Друзья и враги». Появились стихи об Англии М. Бажана. Стихи о Пакистане написал Н. Тихонов. Цикл стихотворений А. Суркова «Из иранского дневника» — ещё одна большая удача нашей поэзии в этой области.

Иранские стихи А. Суркова свидетельствуют не только о политически верном подходе поэта к действительности, но и о возможности дальнейшего расширения его поэтических изобразительных средств. Ни для кого не секрет, что в прошлом поэт страдал иногда склонностью к некоторому шаблону, довольствуясь весомостью мысли, не всегда искал для неё наиболее яркое выражение. Отдельные рецидивы такого небрежного отношения к форме можно встретить и в сборнике «Миру — мир!», например:

Нас в пути осеняет
Октябрьское красное знамя.
Миллионы встают
И идут за отважными вслед.
Вот он, мир коммунизма,
Открытый для радости нами,
Мир свершённых надежд,
Молодая эпоха побед.

В этих стихах нет ни одной мысли и выражения, которые уже не были бы широко известны, не были бы использованы большим количеством авторов. Однако в новом сборнике А. Суркова такие общие места — исключение из правила. В основном поэт развивает в новых стихах те плодотворные качества, которые были заложены в таких произведениях, как «Песня смелых».

Заканчивая разговор о книге Алексея Суркова «Миру — мир!», хочется сказать: хорошая, честная, страстная книга, в которой мы видим автора как солдата, поэта и литника одновременно.

Н. ГРИБАЧЕВ.

Образ Богдана Хмельницкого

В течение прошлого года на Украине появилось два новых произведения о Богдане Хмельницком — пьеса Л. Дмитерко «Навеки вместе» и роман Н. Рыбака «Переяславская рада». Правда, непосредственное воспроизведение образа Хмельницкого является задачей только второго из них: в пьесе Л. Дмитерко сам гетман не появляется, так как действие пьесы охватывает период, наступивший сразу же после смерти «мужа избранного», как называл Богдана Григорий Сковорода. Но и «Навеки вместе» утверждает незыблемую справедливость главных политических идей, лежавших в основе жизни и борьбы замечательного государственного деятеля Украины, утверждает, так сказать, ретроспективно, показывая, какими губительными последствиями оказалась чревата попытка изменника Выговского совлечь Украину с пути, указанного Хмельницким.

Как известно, таких идей у Хмельницкого было две: цель своей жизни он видел в освобождении Украины от чужеземного владычества и в слиянии Украины с Россией в одном нерасторжимом государстве. Собственно, это была одна идея: бороться за воссоединение с Россией — это и значило бороться за свободное развитие украинского народа, точно так же как не было никакого другого способа избавиться от терзавших родную землю врагов, кроме принятия братского покровительства Москвы.

Роман Н. Рыбака и раскрывает широкую картину борьбы Хмельницкого за осуществление его прозорливых замыслов через последовательное, всестороннее обнажение международных и внутривнутриполитических противоречий, под знаком которых складывалась история Украины в XVII веке.

Богдан предстаёт в романе Н. Рыбака таким, каким его сохранила народная память. «Муж поистине имени гетманского достоинства, много дерзновен в бедствия входити, множае советен в самих бедствиях бьаше, в нем же ни тело конми либо труди изнуренно, ни благодушество противними навет побежденно быти можаше... первый на брань, последний по уставшей брани

исхождаше»¹, — эти слова старинной летописи, полные любви, уважения, как бы определяют внутреннюю атмосферу романа. Перед нами действительно достойный сын талантливого и вольнолюбивого украинского народа, крепко связанный с его коренными национальными интересами.

«Переяславская рада» — это прежде всего роман о политическом гении Хмельницкого. Конечно, Н. Рыбак пишет и о ратных делах гетмана, но анализ его полководческих подвигов занимает писателя несравненно меньше. История дипломатии Хмельницкого, история его государственных замыслов, анализ его внутривнутриполитической программы — вот что стоит в центре романа. И именно в мастерстве анализа главная привлекательная сторона произведения Н. Рыбака. Сложнейшие политические отношения, хитроумные дипломатические ходы, напряжённые социальные конфликты он умеет изложить с убедительной наглядностью, захватывая в орбиту своего внимания неповторимое переплетение исторических противоречий и антагонистических классовых и политических сил, принимавших участие в борьбе. Течение истории становится видимым нам во всей сложности: в живом и естественном взаимодействии широких народных масс, выдающихся государственных деятелей, частных лиц, в органическом единстве больших политических событий и отдельных личных судеб, при всём своём интимном характере сохраняющих, однако, для нас то значение, что и в них — в этих горестях и печалях никому не ведомых людей — слышится отзвук могучих исторических потрясений.

На страницах «Переяславской рады» шумит, волнуется, кипит жизнь целого народа, отражённая в своих наиболее характерных и существенных проявлениях. Горят подожжённые татарами сёла, нескончаемым потоком бредут по дорогам спасающиеся от панов хлопцы, безудержный произвол торжествует в захваченных шляхтой сёлах, изнемогают в непосильном труде стеклодувы предприимчивого Гармаша, невыплаканные слёзы стоят в глазах измученных жён, матерей, невест. Горе,

Н а т а н Р ы б а к. «Переяславская рада». Роман. Авторизованный перевод с украинского Б. Турганова. Редактор Е. Рамм. «Советский писатель», М. 1950.

¹ См. летопись Григория Грядянки: «Действия презельной и от начала поляков кровавой небывалой брани Богдана Хмельницкого с поляки». Киев, 1854, стр. 153.

великое, безысходное горе, как чёрная туча, собралось над Украиной, придавило, пригнуло к земле вольнолюбивый украинский народ. Но не сдался он, не смирился. Всё новые и новые полки собираются под знамёна Хмельницкого — и не столько оружием, сколько справедливой народной яростью могучи они. В титаническом напряжении борьбы мужает, крепнет Украина. Даже истерзанная врагом, она всё же полна неисчислимых богатств, сил. Недаром венецианский посол Вимина удивляется той высоте культурного развития, которую он встретил в этой «варварской», как ему твердили в Европе, стране. Нет, не варварской, а передовой страной, опирающейся на крепкую дружескую руку Москвы, предстаёт перед читателями Украина. И то чувство сыновней любви и гордости, с которым автор романа пишет о прошлом своей Родины, уже в далёком XVII столетии сумевшей показать миру высокие образцы патриотизма и культуры, невольно передаётся читателям.

Роман охватывает самый важный период в жизни Хмельницкого — от торжественного въезда в Киев после победы под Замостьем до Переяславской рады. Это были годы, когда окончательно созрела и выкристаллизовалась гениальная идея Богдана о вступлении Украины под покровительство Москвы, годы, когда эта идея была проведена им через бесчисленные препятствия и победоносно осуществлена после напряжённой и опасной борьбы с заклятыми врагами украинского народа — польскими паннами и крымскими татарами.

Эта идея не была личным достоянием одного Хмельницкого. Он только глубже и яснее, чем кто-либо другой, понял то, чего хотел народ, то, что составляло коренную и безусловную потребность украинской национальной жизни. Величие гетмана было именно в том, что он уловил главное направление исторического развития своей отчизны и сосредоточил всю свою мощную волю, весь свой выдающийся ум государственного деятеля на том, чтобы помочь народу осуществить этот важнейший шаг на пути своего исторического прогресса.

Борьба за национальную самостоятельность против засилья польских панов, неуклонно толкавшая Украину к сближению с Москвой, была неотделима в сознании народных масс, замученных крепостной ка-

балой, от их борьбы за свою социальную свободу, за уничтожение феодальной эксплуатации и произвола. Борьба за национальное освобождение сливалась в мечтах народа с борьбой за освобождение социальное. Но как раз эта важнейшая сторона освободительной борьбы тех лет настойчиво замазывалась реакционной националистической историографией.

Роман Н. Рыбака, наносящий удар по реакционным фальсификаторам украинской истории, раскрывает картину бесчеловечных насилий, эксплуатации, полного отчуждения от крестьян их естественных человеческих прав — всё это принесли с собой на Украину польские паны, и, поднимаясь против их владычества, хлопы закономерно поднимали не только знамя освободительной войны, но и войны классово-И Рыбак, последовательно проводящий такую трактовку через всю свою книгу, ни в чём не грешит против истины, когда заставляет наиболее дальновидных политических врагов Хмельницкого понимать, что «чёрнь, попирая все незыблемые, извечные законы, боролась за вольности, за уничтожение власти пана над «низшей тварью» — хлопом». Это понимает, в частности, папский нунций Иоганн Торрес, сознающий, что «сила Хмельницкого... состояла именно в том, что казацкий предводитель сумел понять стремления этой черни и призвал её своими универсалами на битву за вольности и веру», — недаром почтенный прелат с такой ненавистью старается организовать все политические элементы, враждебные украинскому гетману.

Но как ни прав в этих своих рассуждениях иезуит, всё же его правота — неполная. Автор «Переяславской рады», справедливо видящий в украинском крестьянстве главную движущую силу национально-освободительного движения Хмельницкого и неизменно связывающий все победы своего героя с его умением глубоко постичь народную тоску об освобождении, не менее ясно видит и другое. Он видит, что Хмельницкий, вынужденный действовать в определённых исторических условиях, был бы силен дать широким народным массам, вынесшим на своих плечах всю непомерную тяжесть борьбы, то, чего они хотели и что они по справедливости должны были бы получить, — не может дать им освобождение от феодального гнёта. Именно в

этом и состоит основная трудность положения гетмана. Именно в этом источник его непрерывных тягостных раздумий и тревог. Превосходко умеющий не только наступать, но, в случае необходимости, и отступать, дальновидный и тонкий дипломат, гетман неизменно находит выход из самых запутанных международных конфликтов. Конечно, и в этой сфере перед ним возникали различные непредвиденные осложнения, но даже самые тяжёлые из них не были так страшны, как страшно Богдану Хмельницкому сознание, что он сможет только вполнину оправдать народные ожидания. Больше того: чтобы осуществить свои политические замыслы, ему не раз приходится поступаться кровными интересами широких крестьянских масс, приходится зачастую вопреки своим собственным чаяниям и желаниям. И эта непреодолимая сложность положения Хмельницкого прослежена Н. Рыбаком умно, точно, наглядно.

Разумеется, Хмельницкий решил главную из тех задач, которые стояли в те годы перед Украиной, — он повернул Украину на путь единства с Россией, снял с отчизны кандалы чужеземного ига. Именно поэтому ему и удалось собрать вокруг себя весь народ. Большого же сделать тогда было нельзя. И всё же, когда Силуян Мужилловский, один из умнейших сподвижников гетмана, открыто говорит ему о невозможности пренебречь исторической необходимостью, он выслушивает своего соратника мрачно, с неудовольствием. Мужилловский говорит: «Всем волю дать — на такое, Богдан, дерзать не можем, — ты должен это знать. Будь доволен тем, что вся старшина теперь за тобой, и её пользу твёрдо оберегай. Разве надо тебе рассказывать, как старшина умеет предавать гетманов? Лучше меня знаешь. В Московском царстве чернь в великой покорности у бояр и государя, они, надо думать, с опаской на нас поглядывают: не взяла бы их чернь недостойный пример с наших посолитых. Подумай и об этом, Богдан... О народе заботишься? Народ, Богдан, больше хочет, чем ты дать ему можешь... Веру от унии защитишь — и то дело великое. Не всё сразу».

Эти суровые, беспощадные слова имеют первостепенное значение для понимания романа. Вульгарные социологи ещё недавно, констатируя невозможность для Хмель-

ницкого вырваться за пределы исторической и социальной необходимости, объявляли гетмана защитником интересов казачьей старшины, пытались свести смысл всей его деятельности к борьбе за корыстные интересы разбогатевшей казачьей верхушки. Такие «концепции» имели в своё время хождение очень широкое (см. хотя бы статью о Богдане Хмельницком в первом издании Большой Советской Энциклопедии). После того как партия указала то подлинное место, которое принадлежит Хмельницкому в истории нашего государства, эти «концепции» были отброшены. Однако на место вульгарных социологов выдвинулись вульгаризаторы другого толка. Правильную мысль об общенародном значении деятельности Хмельницкого они стали толковать с прямолинейностью столь же элементарной, сколь и бесосновательной. Под их пером Хмельницкий превращался в вожака запорожской вольницы, почти в украинского Пугачёва. Роман Н. Рыбака одинаково направлен как против первой, так и против второй «трактовки». В «Переяславской раде» раскрывается и общенародное значение борьбы гетмана, и та классовая ограниченность его внутренней политики, которая была predeterminedена всей логикой общественных отношений на Украине XVII века.

Автору «Переяславской рады» неизменно удаётся при этом выделить то, что является основным, ведущим в этом противоречивом итоге. При всём том, что Хмельницкий не удовлетворил и не мог удовлетворить классовые требования посолитых, его деятельность отвечала коренным общенациональным интересам, в том числе и интересам самих обездоленных масс. Его помыслы принадлежали отчизне. Его усилия были направлены на то, чтобы дать Родине свободу, двинуть её вперёд по пути исторического прогресса. Соединив Украину в одном государстве с Россией, он выполнил задачу, поистине обеспечившую ему бессмертную славу. И Н. Рыбак очень правильно делает, что показывает, как закономерно, в конце концов, возвращаются к Богдану и Мартын Терновыи, и Гуляй-День, и Нечипор Галайда, возвращаются после всех разочарований, возвращаются потому, что дело объединения с Москвой — дело Богдана

Хмельницкого — есть в то же время и их дело, дело всего народа, всей Украины.

Таков основной идейный итог романа.

Роман «Переяславская рада» — результат большой и тщательной работы. Художник как бы совместился в Н. Рыбаке с учёным: получив для своей работы верную опору в том истолковании деятельности Хмельницкого, которую дала партия, писатель должен был проявить много инициативы и исторического чутья, чтобы воссоздать большой период в жизни Богдана во всей его конкретности и полноте. Для этого ему зачастую приходилось итти по целине фактов и летописных свидетельств, ещё не переосмысленных советскими историками. Роман о Переяславской раде предвосхитил появление научной монографии о Переяславской раде — мы подчёркиваем это не только затем, чтобы похвалить Рыбака или упрекнуть историков, а для того, чтобы лишний раз показать, как прочно укоренился подлинно научный метод исследования в советском историческом романе. В лучших достижениях советской литературы в этом жанре искусство совпадает с наукой: ни одна литература мира никогда не могла возвыситься до такого полного и истинного постижения самой сущности исторического процесса, какого достигли в своих произведениях советские романисты, руководимые марксистско-ленинским историческим методом. «Переяславская рада» — новое звено в цепи этих достижений.

Автор правильно понимает роль широких народных масс в осуществлении планов гетмана. Писатель следовал в этом лучшим традициям советского исторического романа, мастера которого неизменно руководились в своей работе замечательными словами И. В. Сталина, указывавшего, что «...историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев, к действиям «завоевателей» и «покорителей» государств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов»¹.

В «Переяславской раде» народ и выступает как основная сила истории. Именно в

освободительных устремлениях масс черпает свою силу Хмельницкий. Н. Рыбак сумел выразительно и полно охватить общую перспективу национального развития Украины в XVII веке. «Переяславская рада» по своему характеру — роман политический; главное, что интересует автора, — это политический смысл воспроизводимых событий.

Однако пластическая сторона изображения у Н. Рыбака не всегда на одинаковой высоте. Дар вещного изображения, при котором историческая картина становится не только доступной нам в своём внутреннем содержании, но и видимой, осязаемой, подчас изменяет писателю. Он иной раз рассказывает, не показывая, передаёт смысл происходящего, не заботясь о том, чтобы воплотить описываемое во всей его особенной конкретности. Слабыми, неотчётливыми получились у него некоторые индивидуальные характеристики, отдельные портреты. По-настоящему писателю удался портрет самого гетмана. Здесь он одержал победу большого художественного значения. Верное понимание существа деятельности Хмельницкого сочеталось у Рыбака с верным видением индивидуальных свойств героя. Богдан живёт в романе во всей полноте своих чувств, мятежных и глубоких, во всей пламенной активности своих мыслей, живёт жизнью трудной, напряжённой, полной внутреннего драматизма, скрытого от сторонних наблюдателей. И вся его могучая, цельная и страстная натура так полно охвачена и так верно понята писателем, что образ гетмана как бы приобретает подлинную материальность. Он остаётся в нашей памяти именно таким, каким ещё сто лет тому назад его охарактеризовал Белинский: «Богдан Хмельницкий был герой и великий человек в полном смысле этого слова... он был великий воин и великий политик»¹. После величавого и романтически приподнятого образа Хмельницкого, который дал несколько лет тому назад А. Корнейчук, Хмельницкий Н. Рыбака — новый значительный шаг вперёд в смысле постижения характера замечательного деятеля украинской истории.

Однако, продолжая в этом пункте лирично, начатую А. Корнейчуком, Н. Рыбак отстаёт от него в другом. У А. Корней-

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 552.

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений, т. XII, стр. 412.

чука гетман окружён мощными народными характерами, полными жизни, своеобразия, юмора, свободолюбия, неукротимой энергии. Стоит только произнести имена Богуна, Варвары, Тура, дякона Гаврилы, Кривоноса — как перед вами возникают образы, в каждом из которых воплотилась какая-то существенная частичка украинского национального характера. В «Переяславской раде», кроме самого Богдана, мы находим ещё несколько законченных, отчётливо вылепленных фигур: Выговского, хана Ислам-Гирея, Крайза, некоторых других, в большинстве своём отрицательных персонажей. Из положительных — выразительны, ярки образы Лаврина Капусты и Гуляй-Дня. Некоторые же другие (Богун, Галайда, Катря) очерчены слишком общо. И дело не только в том, что, читая роман, мы лишь о немногих персонажах можем составить ясное внешнее представление, — это было бы ещё вполне в порядке, если бы внутренняя жизнь таких людей из народа, как Мартын, Катря, Нечипор, была прослежена более глубоко и проникновенно. Автор же только в общих чертах знакомит нас с тем, что делают, иногда — что думают и чувствуют его персонажи, знакомит, недостаточно индивидуализируя свои характеристики. Подобный же недостаток изобразительности чувствуется и в иных описаниях — пейзажей, сцен исторического быта, некоторых эпизодов батальной и дипломатической хроники Богдана Хмельницкого. Писатель словно бы не удосужился воплотить все возникающие по ходу романа картины во всей их колоритности, красочности, неповторимости. Он иной раз просто излагает содержание того или иного события, лишь несколькими мазками расцвечивая схематический контур, набросанный подчас также слишком уж беглыми штрихами.

К числу художественно мало разработанных мотивов романа принадлежит повесть о несчастной любви Мартына к Катре, осложнённая пленением Катри, попадающей в гарем крымского хана. Здесь Н. Рыбак менее всего самостоятелен, как писатель, менее всего способен раскрыть читателю нечто новое, ранее не использованное в литературе. Страницы, посвящённые Катре и Мартыну, написаны холодно, шаблонно, читая их, трудно отделаться от ощущения, что ты встречал уже где-то прежде нечто похожее.

Лишними кажутся страницы, на которых с бесконечными подробностями излагаются перипетии путешествия Вальтера Функе, — вплоть до его прелюбодеяния в придорожном шинке, описанного с поистине удручающей обстоятельностью!..

Всё это до некоторой степени ослабляет художественную выразительность романа. Как ни увлекательно развёртывает Н. Рыбак общую картину эпохи, как ни много даёт он для понимания движущих сил исторического развития, как ни властно овладевает нашим воображением могучий образ Хмельницкого, всё же эти недостатки мешают полностью художественного впечатления.

Это существенные недостатки, но всё же, разумеется, они вполне исправимы. Мы не сомневаемся, что Н. Рыбак, проделавший такую большую и вдумчивую работу над романом, ещё не раз вернётся к нему. Зная прошлые произведения автора «Переяславской рады», мы ясно видим, как сильно вырос он в процессе работы над книгой. Читатель законно будет ждать поэтому от Н. Рыбака новых значительных работ, продолжающих начатое в «Переяславской раде».

Е. СУРКОВ.

★

Всепобеждающая новь

Всё новых и новых действующих лиц вводит С. Бабаевский в своё повествование о колхозной Кубани. Имена, которые фигурировали в «Кавалере Золотой Звезды», встречаются и в романе «Свет над землёй». Даже третьестепенные пер-

Семён Бабаевский. «Свет над землёй». Роман. Книга первая. Редактор Б. Соловьёв. «Советский писатель», М. 1950.

сонажи первой книги перекочевали в новое произведение. Писателю как будто жалко расстаться со своими героями, — и снова возвращаются на страницы романа и болтливый кооператор Рубцов-Емницкий, и отрешённый от должности колхозного вожака и переселившийся в исправительный дом Евсей Нарыжный...

Люди трёх поколений, люди разных профессий изображаются С. Бабаевским. Как много лиц проходит перед нами, как много имён мелькает! Как поступит писатель со всеми этими второстепенными и третьестепенными персонажами? Не слишком ли расширил он круг действующих лиц? Может быть, следовало бы ему быть менее щедрым?

Перед нами — первая книга романа «Свет над землёй». Должна быть, следовательно, вторая, — а может, будет и третья книга? Но и первая книга рассеивает опасения относительно расширения круга действующих лиц. Писательское искусство С. Бабаевского выражается в том, что у него нет героев лишних, героев, появление которых не было бы в той или иной мере оправдано. Казалось, мы уже простились с Хохлаковым. Полагали мы, что его роль до конца сыграна в первом произведении, что ему надлежало уйти за кулисы. Но фигура Хохлакова возникает в новом романе, и в появлении её есть своя закономерность. Писатель отступил бы от жизненной правды, если бы оставил вне сферы своего зрения человека, который ни по своей внутренней сущности, ни по своему бывшему положению не мог остаться в «нетях», уйти на покой, позволить другим начисто забыть о своём существовании... Хохлаков — ведь это характер! На наш взгляд, неправ Н. Гаврилов, автор критической статьи о романе, опубликованной в газете «Социалистическое земледелие», когда он упрекает писателя за то, что им снова выведен на сцену бывший председатель Рошенского райисполкома («...автору вряд ли стоило так подробно показывать «мышиную возню» недовольных — Хохлакова и его компанию»). Дело не только в узвлённом самолюбии снятого с руководящего поста и имевшего в прошлом заслуги человека; в лице Хохлакова мы имеем дело с человеком, полагающим, что новое, вводимое в жизнь Тутариновым и ему подобными, находится в противоречии с судьбами земледельческой Кубани. Хохлаков намеревается обращаться в центр, в Москву, с жалобой на действия Тутаринова, обвиняемого им в забвении «хлеборобства». Очевидно, предстоит столкновение двух точек зрения, двух линий, и мы с интересом будем ждать продолжения рассказа

о борьбе нового со старым. Очевидно, нашему любимому герою, зодчему социалистического села, суждено ещё ломать не одну преграду...

Впрочем, преград становится меньше и меньше. В первом романе отец Тутаринова не всегда одобрял большевистский размах сына, а теперь старик уже сам побуждает молодых к дерзанию и творчеству. Энтузиастами стройки нового рисуются в романе «Свет над землёй» женщины-казачки. Интересен в этом смысле разговор в колхозе «Дружба земледельца». Когда секретарь райкома партии Кондратьев упрекает председателя колхоза в отставании от соседей, на помощь партийному работнику в его споре с консервативно настроенным человеком приходит жена председателя.

Идеальных людей, людей стопроцентных в жизни нет — это понимает секретарь райкома партии, и его работа с людьми подкупает нас многими хорошими качествами. Николаю Кондратьеву свойственна широта взгляда на мир, на человека. Не присущи ему ни резонёрство, ни начётничество, ни догматизм. Он внимателен и терпелив, у него нет ни громкого, звенящего металлом голоса, ни резких, рассчитанных на внешний эффект жестов. Его образ — большая творческая удача писателя. Если в «Кавалере Золотой Звезды» образ Кондратьева ещё не был дорисован художником, то в новом романе мы видим секретаря райкома во весь рост. Его мысль, его практическая деятельность показаны писателем ярко и выпукло. Кондратьев во-время приходит на помощь Сергею Тутаринову, увлечшемуся по молодости лет первыми успехами в деле электрификации родной округи и упустившего из поля своего зрения весьма существенные моменты. Секретарь райкома находит и привлекает к руководящей работе новых людей.

Хороши страницы, посвящённые беседе Кондратьева с колхозным агрономом Татьяной Нецветовой — человеком новой формации, сельской интеллигенткой сороковых годов нашего века. Татьяна Нецветова — новое и весьма интересное лицо в большой галлее образов, созданных талантливым пером С. Бабаевского. Её духовный мир сложен и богат. Она многое уме-

ет и многое знает. Её учёба продолжается и за стенами института.

Красной нитью проходит по страницам романа мысль о просвещении в широком смысле слова, о культуре, то есть о тех силах, без которых невозможно победное движение деревни к коммунизму. Коммунистическое просвещение, коммунистическая культура призваны облагородить деревню, облагородить душевный мир её обитателей. Эти цели и ставят перед собой такие коммунисты — новаторы в деревне, как Тутаринов и Нецветова. В полном соответствии с жизненной правдой писатель рисует успехи, которых достигли и достигают станичные интеллигенты. Их моральное превосходство вынуждены признать те люди, которые считали себя непререкаемыми авторитетами в станице и кичились своей ролью в её общественной жизни.

Таков, например, председатель колхоза «Красный кавалерист» Игнат Хворостянкин — тоже новое лицо в повествовании С. Бабаевского. Он обуян комчанством и гордыней, на всех перекрёстках кричит о своей «идейности», командует и администрирует, — он и электричество ухитрился поставить прежде всего на службу своему непомерному честолюбию. Мы не согласны с замечаниями критиков о том, что Игнат Хворостянкин — фигура, надуманная автором; такие псевдоруководители, упоённые своей властью над людьми, не терпящие критики и лишённые чувства самокритики, разумеется, не вывелись и в деревне, и в городе. Писатель поступил совершенно правильно, показав, что парторг колхоза Татьяна Нецветова сумеет побороть плохое в этом колхозном вожаке. Ведь вот наш старый знакомый по «Кавалеру Золотой Звезды» — Артамашов, под воздействием общественной критики стал постепенно выправляться, приобретает положительные черты...

В первом романе перед читателем развёртывалась картина строительства электростанции. В новом произведении С. Бабаевского читатель видит электрическую энергию в действии, видит новое «рукодельное» солнце, зажжённое большевиками над полевыми просторами Кубани. Электростанция — это не только материальная сила в станице. Это и опора просвещения станичников. Новые интересы, запросы и требования появляются у колхоз-

ников и колхозниц. Жизнь стала лучше, радостней, веселей. Жизнь будет ещё лучше, радостней и веселей, — и вот уже генеральный план реконструкции старых кубанских станиц выдвигается Сергеем Тутариновым и его друзьями и помощниками. Приступ к осуществлению этого плана отражён в первой книге романа «Свет над землёй».

С большим интересом читаем мы эту книгу, радуемся растущему мастерству литератора, ждём его дальнейшего рассказа. Нам хотелось бы пожелать С. Бабаевскому учесть и критические замечания в его адрес. Иван Арамилев в «Комсомольской правде» справедливо упрекал автора в том, что он без нужды засоряет свои страницы ветхозаветными и исковерканными словами. С. Бабаевский может возразить: так говорят люди, так говорят старики... Но ведь засоряя литературу словесным мусором, мы замедляем ход нашей борьбы за культуру языка, за культуру речи.

С. Бабаевскому надо больше индивидуализировать речь своих героев. Иногда трудно разобраться, кто говорит — Сергей Тутаринов или Семён Бабаевский? Исчезает грань, разница между собственно авторской речью и речью его героя. Этот недостаток был присущ «Кавалеру Золотой Звезды», он остаётся и в новом произведении. Кажется нам однотонными описания природы. Гоголевские интонации, разумеется, имеют право на существование у нашего современника, осваивающего классическое наследие, но и эти интонации хороши тогда, когда они даны в меру.

Как и Н. Гаврилова, нас огорчает снижение, обеднение образа Ирины. В первом романе Ирина была ярким, интересным человеком, а в новом произведении её личность стала тускнеть и растворяться в личности её мужа — Сергея Тутаринова. Жаль! Хотелось бы, чтобы красивый и сильный образ Ирины обогащался новыми чертами. Нам представляется так же не особенно убедительной та «философия» домашнего очага и уюта, которую излагает перед Ириной Наталья Павловна Кондратьева. С такой «философией» можно уйти от бурной стремительной реки нашей жизни в ту тихую заводь, которую справедливо порицает секретарь райкома

партии Кондратьев, и вместо света над землёй ограничиться светом в своём жилище...

Новое произведение С. Бабаевского свидетельствует о продолжающемся его росте — идейном и художественном. Читатель полюбил автора. Читатель видит в авторе человека, глубоко знающего и понимающего жизнь, находящего в ней новые

качества и явления, рисующего образ советского человека, приближающего своим трудом и творчеством приход коммунизма.

Тем более велика ответственность писателя, который должен неустанно заботиться о повышении художественного качества своих произведений.

И. АФАНАСЬЕВ.

★

Путь народного поэта

Правильный замысел исследования и правильный чертёж, положенный в его основу, — это первый залог удачи критика.

Так, удачу Е. Мозолькова, автора монографии о Янке Купале, определило прежде всего само построение книги. Конечно, в центре её стоит творчество великого народного поэта Белоруссии. Но оно дано в книге, как глава из истории белорусской национальной литературы. Автор умеет показать, что это творчество тысячу нитей связано с лучшими традициями прошлого, что оно активно «взаимодействует» со всеми участниками борьбы за создание новой белорусской литературы.

Но кроме этих двух планов, в книге есть и третий — история белорусского народа, его борьбы за волю и счастье, которая на протяжении столетий оставалась источником, питающим демократическую литературу.

Историзм в понимании и изображении литературного процесса дал автору возможность нарисовать целостный образ Янки Купалы, показать, как один из основоположников «подлинно национальной, в глубоком смысле этого слова, белорусской литературы» стал летописцем и строителем социалистической Белоруссии.

Янка Купала входит в книгу, прежде всего, в окружении своих предшественников.

Здесь и безымянный автор сатирической поэмы «Тарас на Парнасе», написанной ещё в 30 годах XIX века. Здесь крепостной поэт Павлюк Бахрыма, здесь «гуторки» и прокламации в стихах К. Қаллиновского — вожака крестьянского восстания 1863 года. Здесь, наконец, стихотворцы

конца XIX века: Янка Лучина и замечательный, ещё далеко не достаточно известный русскому читателю поэт-демократ Ф. Богушевич.

Рассказывая об истоках национальной демократической литературы Белоруссии, Е. Мозольков выделяет основные её особенности: тесную связь — идейную, а нередко и практическую — с революционным движением, горячую, воинствующую любовь к родному языку. Не менее характерно для этой литературы её родство с устным творчеством родного народа и, наконец, неразрывная связь с традициями великой русской классической литературы.

От предшественников Янки Купалы Е. Мозольков переходит к его современникам, к возникновению того широкого литературного движения, которое связано с именами Алоизы Пашкевич (А. Тётки), Максима Богдановича, Якуба Коласа, Змитрока Бядули и самого Янки Купалы.

Верный своему основному замыслу, Е. Мозольков и в этой главе рисует прежде всего новые черты исторической действительности: мощный взлёт революционной активности белорусского крестьянства в 1905 году, перелом в его сознании.

Массовое, организованное движение белорусского крестьянства, как правильно показывает Е. Мозольков, стало той почвой, на которой выросла поэзия Якуба Коласа и Янки Купалы. Им, признанным знаменосцам новой белорусской литературы, выпала на долю великая честь показать, как народ, бывший «слепым и глухим» от «векового ярма», встаёт за своё право «людьми зваться».

Рассказать биографию художника в книге, посвящённой его творчеству, не так просто. Одни исследователи выносят биографию за скобки, ограничиваясь вступи-

Евг. Мозольков. «Янка Купала». Редактор Е. Рамм. «Советский писатель», М. 1949.

тельной главой, дающей общую, сухую схему жизненного пути. Иногда, напротив, авторы монографий увлекаются многословным описанием жизненного пути, не раскрывая смысла и значения отдельных этапов и эпизодов биографии для творчества художника.

Биография Янки Купалы, особенно дореволюционных лет, построена в книге на живом и ярком материале и целиком подчинена формированию творческого облика поэта.

Автор показывает, что путь Янки Купалы, при всём его своеобразии, типичен для «писателя из народа» в царской России. Здесь и тяжёлый труд, и скитания, и невозможность систематически учиться и ранняя дружба с книгой. При лучине или у костра в ночном мальчик читает «книжки, которые говорят о тяжёлой доле бедного люда», — Некрасова, Кольцова, Марии Конопницкой.

Круг чтения становится всё шире. Из библиотеки либерального польского помещика Чеховича Янка Купала получает книги Пушкина, Лермонтова, Глеба Успенского, Щедрина, Шевченко, Мицкевича. Наконец, приходит знакомство с книгами Горького, с «потаённой» белорусской литературой. Е. Мозольков неоднократно напоминает читателю о том, что до революции 1905 года вся демократическая литература Белоруссии была, в сущности, потаённой. Творческое наследие Павлюка Бахрымы было почти целиком уничтожено царскими жандармами. Естественно, что ни прокламации, ни прощальное слово Кастуся Калиновского перед казнью тоже не видели света до революции. Даже Францишек Богушевич, классик демократической литературы Белоруссии, смог появиться в легальной печати лишь через пять лет после своей смерти — в 1905 году.

Дата вступления Янки Купалы в литературу знаменательна. Первое его стихотворение «Мужик» было напечатано в газете «Северо-западный край» 15 мая 1905 года. Раннее творчество Янки Купалы неотделимо от революции 1905 года, от всех тех огромных сдвигов в народном сознании, которые с ней связаны.

Не менее знаменательна также и та горячая поддержка, которую оказал подлинно народному и подлинно революционному творчеству Якуба Коласа и Янки Купалы

Максим Горький. Этому вопросу Е. Мозольков уделяет большое внимание, как важнейшему свидетельству кровной связи передовой культуры Белоруссии с передовой русской культурой.

Идейное содержание дореволюционного творчества Янки Купалы раскрыто в книге правильно и широко. Автор верно определяет самый характер преемственности, использования демократических традиций прошлого в творчестве Янки Купалы. Старые мотивы демократической поэзии получают здесь новое смысловое наполнение, другое звучание; это убедительно, на многих примерах показывает Е. Мозольков.

Внутреннее единство с лучшими чаяниями и стремлениями народа, чуткое ощущение того нового, что принесла с собой революция 1905 года, а затем подъём рабочего движения в 1912—1914 гг., позволили Янке Купале как бы заглянуть вперёд, увидеть будущую судьбу пробуждающейся от сна, встающей на борьбу за своё человеческое и национальное достоинство Белоруссии.

Правильно показывая эволюцию, переход в новое качество революционных мотивов фольклора в творчестве Янки Купалы, автор, однако, даёт поверхностное, несколько даже наивное описание того, как поэт использует изобразительные средства и приёмы фольклора. Так, например, простое перечисление «эпитетов, выраженных именем существительным» в творчестве Янки Купалы, взятое само по себе, оторванное от смысла, содержания, ничего не может объяснить читателю. Таким образом, автор как бы оставляет в стороне одно из существенных обоснований и доказательств своего правильного положения, что творчество Янки Купалы между 1905 годом и Октябрем, так же как и творчество Якуба Коласа, принадлежало к демократическим и социалистическим элементам белорусской национальной культуры.

В главах, посвящённых послеоктябрьскому творчеству Янки Купалы, автор даёт широкую картину новой, счастливой жизни белорусского народа, его труда и борьбы. И здесь биография Янки Купалы, тесно связанная с жизнью народа и края, помогает читателю глубже и всесторонней познать творчество поэта.

Если в первой части автор не замалчивал тех идейных срывов, которые возни-

кли в творчестве Янки Купалы в годы столыпинской реакции, то и в главах о послеоктябрьском творчестве поэта Е. Мозольков указывает на отдельные ошибки националистического характера, свойственные некоторым произведениям Янки Купалы, написанным в первые годы после Социалистической революции. Е. Мозольков правильно говорит и о том, что ошибки эти не были ни органичными, ни закономерными. И они не помешали поэту вести последовательную, непримиримую борьбу с буржуазными националистами. В этих главах творчество Янки Купалы рассмотрено на фоне жизни, движения всей советской литературы Белоруссии. И здесь автор широко и правильно раскрывает идейное содержание творчества поэта, его верность жизненной правде, его активную роль в деле социалистического переустройства родного края. От «Орлят», написанных в 1923 году, до последних стихов, обращённых к белорусским партизанам, Янка Купала прошёл прямой и прекрасный путь советского патриота и строителя социализма, неустанно помогая росту и формированию всего нового и лучшего в жизни родной Белоруссии.

Убедительно анализирует Е. Мозольков и стихи Янки Купалы, посвящённые Красной Армии, и цикл «На западно-белорусские мотивы», связанный с освобождением Западной Белоруссии.

И вместе с тем, чувство, которое можно определить словами «очень хорошо, но недостаточно», начинает постепенно возникать при чтении этих глав, особенно при чтении страниц, посвящённых поэме Янки Купалы «Над рекой Орессой» (1933).

Мысли, определения Е. Мозолькова правильны. Действительно, поэма эта говорит о том, «как в глухие дебри шёл социализм». Сюжет, смысл, идейное направление поэмы раскрыты верно и поэтично. Но читателю хочется знать ещё многое: например, какое место занимает она, а также и стихи Янки Купалы о новых людях колхозной деревни (особенно, написанные после года великого перелома), во всей белорусской поэзии, посвящённой теме социалистического труда. Ведь легко увидеть, например, что ранняя поэма Аркадия Кулешова «Жар цвет» написана под непосредственным влиянием поэмы Янки Купалы. Вообще, тема взаимодействия творче-

ства Янки Купалы с творчеством близких ему белорусских и русских поэтов в книге разработана слабо. А она очень существенна, так же как и тема новых взаимоотношений творчества Янки Купалы с народным творчеством, которой Е. Мозольков в своей книге не касается совсем. Он лишь упоминает о том, что некоторые стихотворения Купалы, например «Я — колхозница молодая», стали народными песнями.

Воздействие «письменной литературы» на устное творчество народа, в частности даже на форму народной песни, отмечал ещё Чернышевский. Сейчас, когда произведения советской письменной поэзии становятся достоянием миллионов людей, этот процесс усилился во много раз. Но не только песня учится у книги — и книга учится у новой народной песни. Это одна из причин изменившегося отношения «письменной поэзии» к старым образцам народного творчества. Если в дореволюционные годы для демократической поэзии Белоруссии был характерен лишь отбор тех мотивов устного творчества, в которых полнее всего отразились «стремления и чаяния народные», то сейчас и в устной и в письменной литературе идёт не только отбор лучшего, но и прямая полемика с враждебными сознанию советского человека мотивами и образами старого фольклора.

Это можно проследить и в творчестве Янки Купалы. Так, в поэме «Над рекой Орессой», например, содержится прямая полемика со старым образом Горя, которое одновременно есть и Доля, необоримая, сопутствующая человеку от рождения до смерти судьба. Этот мотив, хорошо известный русской, украинской, белорусской песне и сказке, с большой силой использовал Ф. Богушевич в стихотворении «Горе».

В творчестве Янки Купалы и других белорусских советских поэтов Горе перестало быть Долей, отделилось от человека, ставшего хозяином своей судьбы. Люди изгоняют его коллективным трудом, отрезают ему пути возврата. Герои поэмы «Над рекой Орессой» «знают хорошо — горе не вернётся».

И вскоре после того как была написана поэма Янки Купалы «Над рекой Орессой», белорусский народ сложил песню о том, как люди своим трудом закрыли все подступы для горя.

Интереснейший вопрос о новом содружестве стихов и песен, к сожалению, не поставлен в книге Е. Мозолькова, хотя для творчества Янки Купалы он и очень существен.

Е. Мозольков написал интересную и цен-

ную книгу. Жаль, что большой материал, которым владеет автор, нередко дан лишь в виде отдельных замечаний, намёков, заявок. Будем надеяться, что материал этот будет развернут в новых монографиях.

Е. КНИПОВИЧ.

★

Книга об Исаковском

В многомиллионном населении нашей страны, пожалуй, не найти человека, который не знал бы стихов и песен Михаила Исаковского, не любил и не понимал бы их. Каждое его стихотворение, каждая песня немедленно становятся достоянием самых широких масс.

Это большое счастье для поэта, которому не требуются ни популяризаторы, ни комментаторы. И это огромная трудность для критика, задача которого заключается в том, чтобы, не ограничиваясь непосредственным восприятием, разъяснить достоинства поэзии Исаковского, её своеобразие и её роль в общем развитии советской литературы.

Вот с этой-то трудной задачей и удалось справиться В. Александрову. Его книга читается с интересом именно потому, что автор, показывая, как мальчик из бедной крестьянской семьи вырастал в большого поэта, раскрывает шаг за шагом те особые, индивидуальные черты, которые развивались в его творчестве.

Во все времена существовало много писателей, прозаиков и поэтов, вышедших из народа, писавших о горе и страданиях народа, о его стремлениях и чаяниях. Но Михаил Исаковский, приобретая знания, культуру, самое передовое мировоззрение, никогда не «выходил из народа», он стал представителем народа в поэзии, не порвав ни одной нити, связывавшей его с народом, не став ни на волос дальше от него, чем был.

Это одна из основных черт М. Исаковского.

М. Исаковский обнаружил недюжинный талант ещё в школе, задолго до революции. Передовые люди из местной интеллигенции занялись им, пытались помочь ему «пробриться в люди».

В. Александров. «Михаил Исаковский». Критико-биографический очерк. Редактор Е. Рамм. «Советский писатель», М. 1950.

«Но эти старания, — пишет В. Александров, — не могли изменить тех общих условий, в которых приходилось работать и жить Михаилу Исаковскому, и множеству других одарённых людей из народа. Даже если бы нашёлся (фантастическое предположение) некий меценат, готовый предоставить материальные средства, в которых нуждался молодой деревенский поэт, — Исаковский всё-таки не смог бы стать тем Исаковским, которого мы знаем и любим. Его поэзия неотделима от великого культурного и политического подъёма народных масс. Судьба такого поэта, как Исаковский, не могла быть «устроена» в порядке какой-нибудь единоличной — хотя бы и самой заботливой и доброжелательной — помощи. Для того чтобы его дарование могло развернуться во всё своё своеобразие, должна была открыться широчайшая общественная и творческая дорога — не только для самого поэта, но и для всех трудящихся нашей страны».

И это вторая основная черта, которую отмечает В. Александров в творчестве М. Исаковского.

Талант Михаила Исаковского развернулся в полную силу в условиях мощного движения народных масс, нужду и горе которых поэт знал по собственному опыту жизни и путь которых он умел предугадывать с зоркостью подлинного большевика.

Поэт-большевик — вот какую сторону вопроса убедительно раскрывает В. Александров, анализируя произведения М. Исаковского. Могут сказать: «В чём же тут заслуга критика? Это не новость, не открытие». Всё зависит от того, насколько глубоко понимается определение «поэт-большевик».

Не секрет, что многие литераторы зачисляли (и иногда продолжают зачислять) М. Исаковского в «крестьянские поэты».

Часть литераторов приходит к этому, в корне неверному, мнению чисто механически, основываясь на том, что творчество М. Исаковского посвящено преимущественно жизни крестьян; другая же часть более или менее замаскированно или открыто намекает на какую-то, якобы свойственную М. Исаковскому, «крестьянскую ограниченность» (достаточно напомнить, что в дискуссии о творчестве Маяковского, неудачно проведённой «Литературной газетой» в 1949 году, поэт С. Кирсанов, скромно выводя собственную поэтическую родословную от Пушкина, снисходительно допускал существование Исаковского в качестве эпитгона крестьянского поэта Никитина).

Термин «крестьянский поэт» означал в дореволюционное время и в первые годы революции вовсе не то, что писатель писал о крестьянах (он мог писать и о рабочих); существенно здесь было то, что он в своих произведениях отражал крестьянскую точку зрения на действительность, особое крестьянское мировоззрение, отличное от мировоззрения других классов. Известные черты отсталости, по сравнению с идеологией социалистического пролетариата, в этом понятии заключались всегда. В нашу эпоху, когда коммунистическая партия объединила под своим руководством весь народ, когда колхозное крестьянство плечом к плечу с рабочими и интеллигенцией строит коммунизм, когда интересы всего советского общества едины, какое-то особое «крестьянское мировоззрение» уже не может выражать ничего иного, кроме политической отсталости. Таким образом, независимо от намерений критиков, пускающих сейчас в ход понятие «крестьянский поэт», оно не может не означать отсталости, узости, ограниченности. Термин «крестьянский поэт» противостоит термину «народный поэт», «поэт-большевик». Вот почему мы считаем анализ В. Александрова весьма ценным и устранивающим путаницу в этом чрезвычайно важном вопросе, имеющем отношение не к одному М. Исаковскому.

«В соответствии с биографическим опытом и определёнными историческими задачами, — пишет В. Александров, — в произведениях советских писателей может преобладать то городская, то деревенская тема, но эти темы не противостоят друг

другу. Мировоззрение передового советского человека, рабочего, колхозника или интеллигента, как Исаковский, одно и то же: мировоззрение научного коммунизма. В советской литературе нет и не может быть каких-нибудь особых (по идеологии) «городских» и «деревенских» прозаиков и поэтов».

Приводя ряд чудесных лирических произведений М. Исаковского двадцатых годов, В. Александров показывает, с какой силой поэт ощущал и выражал уже в то время бессмысленность существования крестьянина на своём клочке земли, бесплодность его усилий, его разобщённость и испытываемое им одиночество:

В каждой хате — свои сновидения длинные,
И своя тишина, и свои над рекой соловьи;
В каждом поле — своя «пограничная линия»,
И дороги, и тропы свои...

и с какой силой выражал поэт пробуждающееся общественное начало, которое не может мириться с прежним разладом, с прежней единоличной разрозненностью. Как далеко это от того, что принято называть «крестьянскими настроениями» в литературе, и как ясно встаёт перед нами образ народного поэта, непримиримого ко всяческой отсталости внутри самого крестьянства, полного проникновенной и умной любви к народу, вступившему на путь строительства коммунизма.

Особая глава в книге В. Александрова посвящена стихам и песням М. Исаковского о Родине, о Советской Армии, о труде и борьбе советского народа, о его героизме, стойкости и человечности, о братском отношении советских людей к людям других национальностей. Горячий патриотизм произведений Исаковского понятен всякому. Поэтому ценно то, что В. Александров не ограничился изложением самоочевидной истины о патриотизме поэта, а на конкретных примерах показал, насколько его творчество социалистично по содержанию, национально по форме, и насколько чужд национальной ограниченности патриотизм Исаковского. Поэзия М. Исаковского для выражения своего национального характера не нуждается в сарафанах и кокошниках, прибегать к старинным и устаревшим оборотам речи. В. Александров пишет:

«Национальный характер поэзии Исаковского — и в её преемственной связи с цен-

ностями классической русской культуры, и в живой, кровной связи поэта с жизнью Советской России и всего Советского Союза—той стремительной жизнью, в которой «Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня»¹.

Органически национальная поэзия Исаковского, именно вследствие её связи с жизнью советского народа, советской страны, вместе с тем настолько интернациональна, что её любят и понимают все народы, что русскую «Катюшу» поют борющиеся за свои права негры в Оклахоме.

В стихотворении «Родина» поэт «как первую любовь» вспоминает слышанную в детстве песню:

Я пел свой гнев, свою печаль
Словами песни той,
Я повторял: — Трансвааль, Трансвааль! —
Но думал о другой...
.....

О той, о русской, о родной,
Где понял в первый раз:
Ни бог, ни царь и ни герой
Свободы нам не даст...

В. Александров, приводя эти строфы, правильно указывает на глубоко национальный характер не только самих стихов, но и чувства в них выраженного: только в русском народе могла сложиться и стать своей, народной песня о борьбе другого, далёкого народа.

Это очень важно для того, чтобы был понятен характер выраженного в творчестве Исаковского патриотизма революционного русского народа. Свободолюбивые традиции многовековой борьбы против иноземных и классовых поработителей сообщали русским людям душевное сочувствие к другим народам, доброжелательность к ним и понимание их освободительных стремлений. Эти чувства выразились, в частности, и в созданной народом песне «Трансвааль», которая недаром утвердилась не в годы борьбы буров за их независимость, а позднее, в те годы, когда русский народ поднимался на борьбу с самодержавием и помещичье-капиталистическим строем.

Интересна в книге В. Александрова глава, где автор внимательно прослеживает, как искал М. Исаковский органическую форму для своей поэзии. В. Алек-

сандров показывает, как, опираясь на реалистические традиции классической русской поэзии и на народное творчество, поэт выходил на правильный путь, отбрасывая всё чуждое, что в первые годы революции вносилось в молодую советскую поэзию «левыми» формалистами, декадентами пролеткультовского толка — с одной стороны, и всяческими эпигонами натурализма с их мелкой «бытовщиной» — с другой.

Может показаться парадоксальным, что, говоря об этом пути развития Исаковского, В. Александров упоминает о Маяковском, на которого Исаковский столь явно непохож. Однако это далеко не произвольная аналогия. В. Александров приводит слова В. И. Ленина: «Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе»¹. Констатируя, что с этими ленинскими указаниями уже в первый период развития советской литературы было связано всё лучшее, всё самое передовое в ней, В. Александров утверждает, что именно Маяковский был первым из наших поэтов, понявшим решающее значение для социалистического искусства непосредственной связи между литературой и жизнью народа, и что в этом отношении М. Исаковский стоял на одних с ним позициях уже в двадцатых годах, когда социалистический реализм далеко ещё не стал господствующим направлением. Принцип, гласящий, что поэт должен знать, для чего он пишет каждое из своих произведений, и должен писать так, чтобы его личная творческая задача всегда была близка народу — общественно-политическим, моральным, бытовым задачам, которые решает народ, — был общим принципом обоих поэтов. Эта мысль, содержащаяся в книге В. Александрова, правильна и плодотворна.

В. Александрову удалось показать М. Исаковского, как народного поэта конкретной исторической эпохи, как поэта русского народа, вместе с другими народами СССР построившего социалистическое общество.

Размеры рецензии не позволяют подроб-

¹ «Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, М. 1946, стр. 36.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXIII, стр. 214.

нее остановиться ещё на одном, важном для нашей литературы вопросе, поставленном В. Александровым: на вопросе о том, как изменилось взаимоотношение между устным народным творчеством и творчеством литературным в нашу эпоху, когда огромные народные массы овладевают недоступной им прежде культурой, когда в стране не осталось людей безграмотных. Во всяком случае, вывод, который делает автор относительно поэзии М. Исаковского, кажется нам правильным:

«Тот, кто, изучая эту поэзию (М. Исаковского.—Е. У.), будет выяснять, какие её мотивы «позаимствованы из фольклора», кое-что, конечно, найдёт — и немало. Но наиболее интересное и принципиально новое здесь — не факты таких позаимствований, а то, что они для поэта не обязательны: он сам может найти и выразить то, что в современных условиях должен был бы найти и выразить мастер устного народного творчества».

Книга Александрова предназначена для широкого читателя. Она помогает осмысленнее, с большим пониманием любить поэзию М. Исаковского. После прочтения книги хочется перечитывать стихи Исаковского, найти в них многое, раньше незамеченное. Такова и была её задача. Собственно критическая сторона в ней развита слабее: В. Александров упоминает о некоторых менее сильных, менее характерных для Исаковского стихах. Но важнее, что автор точно указывает, от каких недостатков освобождался Исаковский-поэт в процессе своего развития. А это помогает читателю самому разобраться в том, почему некоторые стихи М. Исаковского нравятся ему меньше, чем другие, помогает выработать более точный вкус.

Написана книга хорошим, ясным языком, без попыток упростить ради популярности сущность разбираемых проблем, с уважением к читателю и доверием к нему.

Е. УСИЕВИЧ.

★

Мишель Ронде и Этьен Лантье

Книга прогрессивного французского писателя Андре Филиппа «Мишель Ронде» свидетельствует о том, что верность правде жизни, правде исторической всё более становится девизом прогрессивной французской литературы, которая стремится овладеть искусством реалистического изображения жизни в её развитии.

А. Филипп в 1937 году написал документально-художественную книгу «Сталь» — о металлургической промышленности бассейна Луары, об условиях труда и жизни рабочих.

Героическое сопротивление французских шахтёров гитлеровским захватчикам в годы войны, превосходная выдержка шахтёров во время забастовки 1948 года побудили писателя напомнить о том, как в прошлом боролись за свои права французские горняки. А. Филипп обратился к историческому прошлому Луарского угольного бассейна, к 60—80 годам XIX века.

André Philippe. „Michel Rondet“. Roman historique. Editions „Hier et Aujourd' hui“, Paris, 1949. (А н д р е Ф и л и п п. «Мишель Ронде». Исторический роман. Изд-во «Вчера и сегодня». Париж, 1949).

«Новый мир», № 6.

В 1869 году Кентенский рудник в Рикамари был центром стачечного движения, охватившего весь Луарский бассейн и памятного в истории рабочего движения Франции стойкостью забастовщиков, которых не устрасили и стрелявшие в них солдаты.

Исторические события, описанные в книге А. Филиппа, в своё время использовал Э. Золя в качестве материала для своего романа «Жерминаль» (хотя он и перенёс действие в северный угольный район Франции и «резюмировал», как он писал, данные и о других стачках углекопов в 1869 году).

Андре Филипп вырос в шахтёрском городке Рикамари; хорошо зная современную жизнь горняков, собрав и изучив архивный материал, воспоминания и письма участников забастовки 1869 года, он убедился в необходимости вступить в полемику с «Жерминалем» Золя.

«Жерминаль» — первое во французской литературе значительное произведение, честно показывающее тяжесть жизни рабочих при капитализме и говорящее о неизбежности борьбы рабочих за свои права.

Но верный своему натуралистическому методу изучения и изображения действительности, Золя собирал материал для «Жерминаля», ненадолго выезжая в угольный район. П. Лафарг писал: «Работа Золя и его наблюдения сводятся в конце концов к работе газетного репортёра», «Золя глазом художника схватывает налету внешнюю сторону вещи» и удовлетворяется этим, уверенный в силе своего дарования и своего знания эпохи в целом. Писателю нехватало близкого знакомства с жизнью горняков. При этом, как отмечает А. Филипп, Золя обращался «только к официозным данным» и к газетным статьям. Так, Золя сделал ошибку, отнесясь с доверием к донесению офицера, виновного в зверском расстреле забастовщиков в Рикамари, — «документу, весьма пристрастному», оправдывавшему расстрел жестокою сэмик рабочих. В соответствии с этим донесением Золя ввёл в роман мотив «невинных жертв».

В изображении рабочего Этьена Лантье, как и в обрисовке всей пролетарской массы, отчасти проявился биологизм Золя-натуралиста. Золя ошибался, считая, что чуждые пролетариату настроения, идеи, убеждения, развиваемые Лантье, были характерны для такого подъёма рабочего движения, какой имел место в 60-х годах XIX века в Луарском угольном бассейне.

Книга А. Филиппа свидетельствует о том, что реальный руководитель забастовки в Рикамари Мишель Ронде потому и стал в дальнейшем видным деятелем рабочего движения Франции, что не имел ничего общего с образом, который Золя поместил в центре своего романа.

Мишель Ронде (1841—1903), в отличие от героя Золя, меньше всего думал о собственном возвышении. Смелый и настойчивый Ронде никогда не думал о своей карьере; он остался до конца преданным сыном рабочего класса. Этот молодой бородач мечтал об «обществе-братстве», «обществе-товариществе», в котором «всеми сокровищами будут управлять те, чьим трудом они создаются». Он отдал свою жизнь объединению шахтёров и настойчиво, шаг за шагом, начав с борьбы за создание «братской» кассы взаимопомощи, привёл горняков Франции к объединению в Федерацию шахтёров (1883). Мишель Ронде, организовавший в 1871 году в Сент-

Этьене «партию Коммуны», — «быть может единственный рабочий Франции, память о котором увековечена статуей, сооружённой в сердце угольного бассейна».

Образ Мишеля Ронде в книге А. Филиппа основан на точных биографических фактах. Когда Мишель Ронде впервые читает призыв «Пролетарии всех стран, соединитесь!» — он принимает его как свою собственную, годами вынашиваемую программу действий. Но он не знает, что это призыв «Манифеста Коммунистической партии». В отличие от Лантье он не может похвастать знакомством с идеями Дарвина; но он также не читал ещё и Маркса. Образ Мишеля Ронде встаёт со страниц книги А. Филиппа как воплощение рабочего движения Франции той поры, когда оно ещё не было вооружено революционной теорией научного социализма и опиралось только на опыт, мужество, стойкость пролетариата, которые росли в его неутраченной тяжёлой борьбе с эксплуататорами. Жизнь многому научила Мишеля Ронде, он прошёл немалый путь до того времени, когда начал поддерживать марксиста Геда. Когда Мишель Ронде ещё доверял буржуазным республиканцам, он говорил своим товарищам: ни один буржуазный либерал «не даст нам того, чего мы добиваемся, мы завоюем то, что нам нужно, только нашей силой — нашим единством». И он всегда уверенно глядел в будущее, потому что видел: «чем более ожесточался противник, чем более сильные удары наносил он, тем больший героизм проявляли рабочие — героизм, возвышающий людей...»

Из далёкого прошлого Мишель Ронде обращается в книге А. Филиппа к нашим современникам, призывая неисчислимых сторонников мира к ещё большему единству действий, к ещё большей активности и уверенности в своих силах. Книга А. Филиппа говорит читателю: если Мишель Ронде и его товарищи, утверждая: наша сила — в нашем единстве, доказывали свою правоту, то поистине неодолимой силой может и должно быть единство трудящихся и всех честных людей земного шара, противостоящее преступному заговору поджигателей новой войны. Как пишет в своём предисловии к «Мишелю Ронде» депутат Национального собрания Франции от департамента Луары Ма-

риус Патино, «напоминание о борьбе этого сурового и гордого шахтёра» помогает нам ещё лучше охватить взором путь, пройденный рабочим движением Франции со второй половины XIX века, когда рабочие были политически неграмотны, неопытны, ощупью искали дорогу, — до наших дней, когда «все пути ведут к коммунизму». Мечта Мишеля Ронде о счастливой жизни «в 1917 году стала действительностью на шестой части земного шара», и ныне Советский Союз «своим могуществом, непрестанно возрастающим, озаряет путь прогресса, столь точно указываемый твёрдой рукой того — самого родного человечеству, — чьё имя — символ мира — с любовью и благодарностью произносят сотни миллионов людей, — Сталина», — заключает М. Патино.

Наиболее удачны в книге А. Филиппа страницы, посвящённые обрисовке своеобразного характера шахтёрского района. Суровы мужественные лица людей, работающих в каторжных условиях, но гордящихся тем, что они не привыкли отступать перед опасностью, упорно продвигаясь вперёд в недрах земли, подобно «подземным морякам». Годами зреет в забоях уверенность рабочих в их правах на жизнь, достойную их труда. С 1848 года полиция и администрация предприятий с тревогой отмечали «распространение коммунистических настроений в среде рабочих Луарского бассейна».

К сожалению, А. Филипп несколько упрощённо понял свою задачу. Стремясь прежде всего к исторической точности, писатель больше всего заботится о добросовестном хроникальном описании фактов, но при этом нередко удовлетворяется их чисто внешней последовательностью. Часто писатель, рассказывая о событиях 60-х годов XIX века, старается при этом видеть их глазами человека того времени, глазами своего героя — ещё политически незрелого рабочего. Поэтому писатель нередко приходит к внешне бесстрастному объективизму, якобы лишь «регистрирующему» факты, а в действительности оправдывающему их.

Например, рассказывая о собрании шахтёров, на котором выступили Мишель Ронде, Жюль Фавр и буржуазный республиканец Дориан, писатель так «фотографирует» мысли Мишеля Ронде: «Ронде был

представителем рабочего класса, Фавр представлял собой закон, Дориан — политику. И Ронде казалось, что эти три силы должны были бы, соединившись, покончить с Империей, клерикалами, угольными компаниями».

Ронде не мог знать, что Карл Маркс впоследствии разоблачит «представителя закона» Фавра, как одного из главных виновников беззаконных репрессий против парижских рабочих после революции 1848 года, как заклятого врага Парижской Коммуны, авантюриста и вора. Но А. Филипп погрешил и против исторической правды и против правды художественной, объективистски регистрируя мысли политически незрелого Мишеля Ронде, подменяя ими реальную расстановку сил, участвовавших в классовой борьбе, и упрощая картину, лишая её глубины. В дальнейшем А. Филипп сообщает о разочаровании своего героя в буржуазных республиканцах: после 1871 года Ронде убедился, что и буржуазной республикой продолжали управлять всё те же «лакеи Наполеона III». Но писатель и здесь и в других местах ограничивается сообщением о росте сознания Ронде, процесс этого роста не показан.

Элементы объективизма отрицательно развилась и на форме книги: взволнованный рассказ о жизни и борьбе шахтёров то и дело уступает место сухой, бесстрастной, а часто и беспорядочной информации. Конец книги представляет собой наспех составленную сводку необработанных данных. Даже образ Мишеля Ронде не может быть признан завершённым. А ведь этому образу писатель уделил несравненно больше внимания, нежели другим.

Книга А. Филиппа, убедительно полемизирующая с «Жерминалем» Золя, свидетельствует о благотворном для прогрессивной французской литературы стремлении передовых писателей отражать правду жизни, истории. Недостатки этой книги свидетельствуют о трудностях роста прогрессивной французской литературы.

Книга А. Филиппа, в сущности, является первым вариантом исторического романа из жизни французских шахтёров, — и хорошо было бы, если бы писатель, основательно переработав этот вариант, создал завершённое реалистическое художественное произведение.

Я. ФРИД,

★

Без чувства нового

Если бы на книжке И. Горюнова не стояла дата—1950 год, почти невозможно было бы определить, к какому времени относятся его рассказы. Речь идёт не только о внешних приметах времени. Раз писатель взялся рассказать о типичных людях сороковых годов, он должен был бы создать психологически верные их портреты, запечатлеть наиболее характерные их черты. Писатель вправе сделать героем своего произведения любого человека, но при одном непременном условии: герой должен быть типичным, должен нести в себе обобщённые черты людей, подобных ему в жизни. Писатель не может эмпирически следовать за частным явлением и фактом. Сила художественного произведения — в обобщении, в живом раскрытии характеров людей современной эпохи.

У каждого времени есть свои приметы, особенные, только ему свойственные черты. И эти характерные приметы времени полнее и ярче всего выражаются в складе мыслей, сознании и поступках людей, в их взаимоотношениях с коллективом, окружающей средой, в их языке.

И. Горюнов хотел, очевидно, рассказать о людях наших дней, а нарисовал портреты сермяжных мужиков, наивных мастеровых, чудаковатых старичков. Серая бытовщина в рассказах заслоняет всё истинно новое, передовое, советское.

В рассказе «Тяга» автор, вероятно, стремился передать чувство гордости мастерством, радостное ощущение жизни, которое испытывает «художник в печном деле» Лялякин. Но как это сделано? Печник Лялякин, по словам автора, уважаемый человек, мастер своего дела, показан не в труде, не во взаимоотношениях с коллективом, а в пустой, претенциозной болтовне и похвальбе.

Сюжет рассказа построен на случайных происшествиях. Печник Силантий, возвращаясь после работы домой, по дороге рассуждает о собственных достоинствах, о том, какой он хороший. У Лялякина два радостных события: он получил премию, и у него день рождения. Человек радуется — и это прекрасно. Но какие поступки

Иван Горюнов. «Золотинка». Рассказы. Редактор Е. Белянова. Куйбышевское обл. гос. издательство, 1950.

и мысли приписал своему герою автор? Встретился Силантию милиционер, идущий на пост. Лялякин «с глубокомыслием одобрил»: «Правильно делаешь, очень правильно... Всякому человеку в жизни свой пост отведён». «С дерзкой смелостью» опустился на дорогу воробей — и это явление философически осмысляет печник. «Архаровец! Оголец! Такая пичужка и поди ты — озорует ведь! — сказал Силантий с ласковой угрозой и залился неудержимым, почти беззвучным смехом» (?)

Не вызывает симпатий к Силантию и его портрет: «Щёки, заросшие чёрными волосами до самых глаз, не придавали его виду обычной суровости» (?)

Внутренний мир печника убог и беден. Его душевные переживания сведены к «мучительному вопросу»: следует или не следует «подтопить» маленько душу, чтобы она от сухости не дала трещины», то есть выпить кружку пива. Добродетельный Силантий решает не пить. Так он шествует по горду. Его размышления прерваны внезапным падением: он поскользнулся, и это событие подробно описывает невзыскательный автор. Затем следует заключительная сцена: директор школы бранит Силантия за плохо сложенную печь. Печник доказывает, что это не его работа, и от обиды, наконец, выпивает кружку пива. Вот и весь сюжет.

До крайности примитивны мысли Лялякина о новом в жизни. «По мнению Силантия, люди стали куда требовательнее...» В чём же проявляются новые качества советских людей, их рост, их требовательность? Всё новое в жизни сведено к... капризам хозяек: «То им в зеркале печи устрой заломчик для сушки варежек и чулок, то сделай устье у печи узкое и низкое...» А одна хозяйка даже поставила перед ним «задачу прямо неразрешимую» — сложить «непременно малюсенький подтопчек с лежаночкой...» и т. п.

В этом бессодержательном рассказе нет даже внешних примет нашего времени, а образ простого советского человека окарикатурен.

Фальшиво представил автор роль критики и самокритики в жизни советского общества в рассказе «Душа болит». И здесь вместо изображения важных жизненных

явлений — натуралистическое описательство.

В колхозе «Рассвет» критиком плохого правления артели из всех колхозников оказывается только один подводчик Захар Зубцов, да и то случайно. Однажды он «разоткровенничался» с попутчиком, «говорил гневно о неполадках в своём колхозе, называл виновников». Незнакомец оказался корреспондентом областной газеты. Он «пробыл в Лозовке немного больше суток» и написал «обширную статью, в которой Захар упоминался как рассказчик».

«Откровенная критика наделала в Лозовке много шума», — бегло замечает далее автор. Какого же? «Особенно сильно обиделся бригадир Филимошкин. С Захаром он и по сей день не разговаривает...» Миновал год, дела в колхозе идут попрежнему плохо. Захар послал жалобу в Москву и ждёт ответа на своё письмо.

Через некоторое время Захар снова везёт двух седоков. Впоследствии оказывается — и на этом построен сюжет рассказа, — что он вёз представителей обкома партии, которым поручено расследовать жалобу Захара. Автор пространно описал «случайную встречу», а жизнь колхоза даже и не попытался показать. Попутчики разговаривают о разных пустяках, например о том, пахнут или не пахнут карасы тинной. Захар довольно невразумительно рассказывает о непорядках в колхозе, причём его критика сводится главным образом к грубым ругательствам по адресу председателя Батуркина: «Мечется, ровно таракан в ковше, а дела в колхозе буксуют». «Он бы, Батуркин-то, нагнул им (колхозникам. — В. П.) слобных на патоке кренделей-баранок. Они б с ним, небось, запели «козлятушки — малы детушки».

Таков этот критик. Вместо передового человека автор изобразил какого-то тёмного ямщика и неумного болтуна. Захар говорит «раскидчиво» (?!) «трекляты», «чудынька», «жеребёнчишка», — подобные словечки так и сыплются из его уст.

По замыслу автора, очевидно центральным в сборнике является рассказ «Золотинка». От него и взято название всей книжки. И. Горюнов описывает в рассказе бахчевода-мичуринца Игната Куприяновича Лукашева. Этот бахчевод называет золотинкой «очень крупный, круглый, как футбольный мяч, светлозелёный арбуз с тём-

ными широкими расплывчатыми фестончатыми полосами».

Вы ждёте рассказа о бывшем матросе, теперь мичуринце-новаторе, о большой любви человека к своему делу. Но хорошая идея замешана на воде. Одно за другим следуют неинтересные, ничего не раскрывающие описания того, когда и как встретился автор с Игнатом Лукашевым, как он выглядел в 1938, потом в 1941 году. Немногие изменения сумел подметить автор: «За это время матрос заметно изменился. Его розовая лысина, блестящая на солнце, стала много больше и приняла овальную форму. Походка утратила былую живость».

Почти все герои рассказов И. Горюнова: Силантий, Захар, Игнат и другие — стоят в стороне от коллектива, в них больше всего подчёркиваются старые «мужицкие» черты.

Автор оглуляет почти всех своих персонажей. Они не трудятся, ничем не проявляют себя в действии, зато косноязычно «калякают» о том, откуда «корень всей жизни произрастает», в чём «главный компас её, жизни-то» и т. д. и т. п.

И. Горюнов по своему произволу безжалостно коверкает живую русскую речь, сочиняет псевдонародную отсебятину. По всей книжке рассеяны вычурные, безграмотные рацеи: «Он, человек-то, не шутка — высота... Его архитектура тонкая во всех смыслах. Дыхнул на него несправедливо, и нет человека — погаснет, завянет, как цветок фиалка» («Тяга»). «Без искры, сами посудите, какой в современности человек? Просто гвоздь поржавелый без шляпки!» («Душа болит»).

Некоторые рассказы просто анекдотичны. Верх пошлости — рассказ «Как женили Голиафа»: глупая история о свадебном «злосключении», о том, как друзья «выручали товарища» — по приказу отделённого ходили свататься, объяснялись в любви девушке за повара Охроменко, брили его большую рыжую бороду ножом, сделанным из кося, потом на свадьбе произносили за жениха речи. Мораль сей басни... Но какая может быть мораль?

Низкопробные рассказы сочинил И. Горюнов. Он не видит, не чувствует новой жизни, не стремится изобразить настоящих героев нашего времени. Он любит косность, грубость. Его рассказы идут не

от живой жизни, а от захудалой литературной ветоши.

Отказаться от литературщины, от мнимо занимательных формалистических сюжетов, внимательно изучать в жизни всё новое, прогрессивное, вникать в существо происходящих процессов, показывать духовный рост советских людей — вот правильный путь развития писателя. Об этом свидетельствует и один из очерков самого И. Горюнова — «Знатный чабан», опубликованный в пятой книжке альманаха «Волга» (Куйбышев, 1949 год). В нём рассказывается о работе животновода, лауреата Сталинской премии Н. Н. Ежова. Очерк написан просто, без литературщины, передаёт опыт работы колхозного чабана. Насколько же интересней и значительней материал подлинной жизни по сравнению с надуманными рассказами сборника «Золотинка!» В очерке мы видим честных,

преданных делу колхозников, содружество их с людьми передовой науки, жизнь артели. Этот очерк отражает хотя и отдельные, но типичные явления действительности. Очерк неполон, автор сосредоточил всё внимание на изображении только одного лица, остальных людей обрисовал бегло, но эти недостатки не заслоняют главного — жизненной правды.

Появление же книжек, подобных «Золотинке», ещё раз заставляет напомнить о том, что литература — не частное дело того или иного потребителя бумаги и чернил. Советский писатель не может слепо копировать случайные, несущественные явления. «Нельзя жарить курицу вместе с перьями, — говорил А. М. Горький. — ...Нужно научиться выщипывать несущественное оперение факта, нужно уметь извлекать из факта смысл».

В. ПАНКОВ.

★

Две повести молодых писателей

Почти в каждом номере журнала «Октябрь» читатель находит рассказ, повесть или роман неизвестного прежде автора. И он благодарен журналу, который умеет открыть перед новым талантом путь в литературу. Однако, стремясь опубликовать как можно больше произведений начинающих литераторов, редакция забывает подчас об интересах и требованиях читателя — печатает и недоработанные и совершенно сырые вещи.

В восьмой книге журнала за 1949 год напечатана повесть В. Ревунова «Новые берега». Повесть заслуживала того, чтоб не пожалеть на её доработку времени и сил, помочь молодому автору решить взятую им значительную и сложную тему на высоком идейно-художественном уровне. Данные для этого у В. Ревунова несомненно есть. О них говорит и сам выбор им темы, и умение живо и образно вести повествование, и ряд поэтично написанных страниц (взять хотя бы сцену приезда на стройку Кати с малышом).

И всё же, обладая рядом положительных качеств, молодой писатель не сумел вос-

создать на своём полотне подлинную жизнь.

Повесть посвящена изображению народной стройки. Бригада молодых колхозников деревни Камышки, возглавляемая Степаном Палахиным, отправляется на строительство. Собравшись со всей области, колхозники воздвигают на берегах древнего озера мощные дамбы. Они хотят использовать полезную энергию миллиардов кубометров воды.

«Народная, иначе и не назовёшь, — говорит о стройке её парторг Пахомов. — Есть где русской силушке разгуляться! На многих простых стройках был. Та же самая, кажется, работа, но вот здесь дышится легче. Раздолье какое-то во всём! Гордость, силу новую в себе чувствуешь. Ведь на триста квадратных километров размахнулись!..»

К сожалению, эти слова не подкреплены живым, художественным показом.

Автор не задавался, видимо, целью нарисовать в небольшой повести жизнь всей стройки. Он ограничил себя показом одного из её участков. Но не ощутив целого, трудно правильно и глубоко понять и часть его. Главная же беда в том, что и на облюбованном Ревуновым небольшом участке строительства самое основное и

В. Ревунов. «Новые берега». Повесть. «Октябрь» № 8, 1949. А. Ливнев. «Первооткрыватели». Повесть. «Октябрь» № 2, 1950. Глазный редактор Ф. Панфёров.

существенное — труд строителей — почти не виден за множеством второстепенных сцен и эпизодов. Случилось то, о чём Л. Н. Толстой говорил, как о пренебрежении значительным и увлечении незначительным — недостаток, свойственный многим начинающим писателям.

Автор подробно рассказывает, как собираются парни в дорогу, как провожают их девушки, как едут они в поезде, с кем из других едущих на стройку людей знакомятся по дороге. Немало места отведено показу быта строителей.

Совершенно незаслуженное внимание уделил автор пустяковому «конфликту» между юным строителем Савкой и стариком Куприянычем. Увлечение подобными курьёзами сильно помешало Ревунову в решении основной темы. Они заняли в повести чересчур много места. В то же время главному — соревнованию за досрочное окончание стройки — из тридцати двух страниц произведения посвящено лишь четыре.

Причина такого пренебрежения к показу самого существенного кроется, видимо, не только в недостатке у автора изобразительных средств, но и в том, что производственная сторона дела, рабочая жизнь стройки недостаточно хорошо им изучена. Это видно не только из того факта, что основное оказалось на втором плане, но и из того, как показано это основное.

Молодые камышковцы едут на стройку с большим энтузиазмом. Они предвкушают соревнование со своими старинными «соперниками» — ручьёвцами, но последние, по непонятным читателю причинам (секрет, видимо, в том, что автору это нужно для создания конфликта) появляются на стройке лишь через месяц после камышковцев. В бригаде Степана волнение: ручьёвский колхоз, воспользовавшись тем, что часть рабочей силы у камышковцев выбыла на строительство, начинает побеждать в соревновании за урожай. Приходит телеграмма: обком партии отобрал Красное знамя у камышковского колхоза, оно будет передано ручьёвцам.

Как же реагирует на это известие бригада Степана Палахина, по словам автора, одна из передовых на стройке?

«— Домой ехать решили, — сказал наконец Гриша, — до одного! Пусть в обкоме подумают: правильно это или нет —

брать у нас знамя, когда колхоз и на стройке работает? Почему ручьёвцев нет? Мы тоже имели право не ехать.

— Про это бросьте болтать, — проговорил Степан и, морщась, потёр виски. — Ох, и клянут там (в колхозе. — С. М.) меня! Что будем делать, говорите?

— Надо ехать домой — весь разговор!

Степан возражает. Но как? Он пугает Гришу и других парней, что их разлюбят девушки.

То ли испугавшись этой перспективы, то ли из чувства неловкости перед Савкой, хорошо работающим на экскаваторе, парни вдруг решают: «остаёмся!» — и снова берутся за лопаты.

После оказалось, что знамя оставлено пока в обкоме и по просьбе парторга будет прислано на стройку.

Вскоре и сами ручьёвцы — «двадцать высоких широкоплечих парней» — появляются на строительстве. После этого и начинается по существу соревнование, но... кончается повесть.

Разберёмся коротко в изложенных выше событиях.

Трудно поверить, чтоб обком партии, присуждая Красное знамя, не учитывал, что один из соревнующихся колхозов — передовик народной стройки, а другой совершенно в ней не участвует (опять-таки непонятно, как это могло произойти?).

Невозможно поверить и тому, как молодёжь реагирует на эту будто бы случившуюся несправедливость. Могла ли прийти в голову передовым людям стройки мысль покинуть её? Разве она не такое же кровное и родное для них дело, как и труд в колхозе?

Придумав эту «занимательную» ситуацию, автор идейно обеднил своих героев, ушёл от жизненной правды.

Но как же показано, наконец, само соревнование — долгожданная схватка камышковцев с ручьёвцами?

Говоря о соревновании, В. Ревунов чересчур увлекается описанием огромного физического напряжения людей. О том же, как был организован их труд, какими методами добивались они высокой производительности, — ни слова.

Только отчаявшись добиться от своего колхоза новой помощи людьми, Степан придумал вдруг самый естественный и правильный выход: он предложил механизиро-

вать труд. Руководители стройки поражены — как же они раньше до этого не додумались? Работая по-новому, бригада Степана первая на стройке насыпает дамбу до контрольной черты. Обо всём этом рассказывается лишь в самом конце повести, скороговоркой. А уже через несколько строк мы узнаём, что стройка закончилась, и присутствуем на торжественном празднике «открытия нового моря».

И хотя праздник описан ярко, с хорошим, светлым волнением, всё же трудно избавиться от чувства неудовлетворённости. Хочется спросить у автора, когда же и как успели люди сделать эту гигантскую работу, ведь настоящие-то дела в повести только начинались?

Несоразмерность пропорций в показе главного и второстепенного сказалась и в обрисовке отдельных образов. Мы многое узнаём, например, об инженерере Алексее Крушинине: какая у него внешность, костюм, сапоги, откуда он родом, кем был его дед и пр. и пр. Это не изъян. Но вот как работает на стройке инженер Крушинин, автор совершенно не показал. Мы должны верить ему на слово, что Алексеев работает «день и ночь».

Пренебрежение существенным, погоня за внешней занимательностью ещё в большей степени свойственны повести А. Ливнева «Первооткрыватели». Если «Новые берега» мы воспринимаем, как произведение во многом недоработанное, то «Первооткрыватели» даже по сравнению с этой повестью — совершенное ещё сырьё, к тому же не совсем доброкачественное.

...На Севере, в Медвеьем углу работают советские геологи, первооткрыватели богатств, тающихся в недрах земли. Ведутся розыски новых местонахождений железных руд. Во главе с начальником комплексной экспедиции Васильевым трудится небольшой коллектив: молодой геолог, сестра начальника — Марина, старый таёжный житель геолог Битюгов, пилоты Шолох и Орлянкин, штурман Гостев, техник Кирилл, сторож Калганч. Неожиданно в Медвежий угол приезжает инженер-геофизик Аркадий Горин. Он сразу же становится в центре повествования.

Оказывается, что в Москве Аркадий дружил с Мариной. Уезжая работать на Север, девушка звала его с собой. Но Горин не захотел тогда разлучаться с мос-

ковским комфортом. Впоследствии обстоятельства сложились так, что поездка оказалась необходимой. Аркадий не поладил со своим профессором. К тому же в Медвеьем углу он мог собрать ценный материал для своей диссертации. Ну, и встреча с Мариной...

Горин включается в работу, в жизнь коллектива, но занимает его больше всего на свете собственная персона.

Аркадий — явный карьерист и себялюб. Но, как это ни странно, автор относится к нему с явной симпатией. Главное внимание в повести уделено Аркадию: его мыслям, чувствам, переживаниям. Он — в центре основного конфликта. Сущность этого конфликта в том, что Марину полюбил геолог Дмитрий Битюгов, и она потянулась было к нему. Марина не в состоянии решить, кого же ей избрать: Аркадия или Дмитрия? По воле автора вопрос решается в пользу Горина. Он окончательно покорила Марину и вернул её любовь к себе тем, что когда явилась необходимость поговорить по делу с Битюговым, он сумел преодолеть в себе чувство неприязни к сопернику. Это привело Марину в восторг:

«Аркадий пришёл к Дмитрию!»

Под дождём, разбрызгивая лужи, Марина мчится к Горину.

«Она схватила его за борта куртки и притянула к себе, повторяя:

— Аркаша, Аркашенка, Аркаша...»

В пользу Горина решаются и производственные, и сердечные его дела. Впрочем, о производстве, о деле А. Ливнев говорит весьма скупо. Таёжные картины, описание работы геологов — всё это лишь своеобразное обрамление коллизии, в центре которой, как уже было сказано, помещён Аркадий Горин и его роман с Мариной.

Геологу-теоретику Горину, «блестящему» жителю столицы, противопоставлен таёжный житель, геолог-практик Дмитрий Битюгов. Создавая этот образ, автор шёл не от жизни, а от отживших литературных представлений. Битюгов много лет работает в тайге, «оброс (по словам автора) мускулатурой и бородой», он этаким дикарь-одиночка, сторонящийся людей.

Конфликт Горин — Битюгов по существу выходит за рамки мужского соперничества. Речь идёт о большем, о каком-то существующем, по А. Ливневу, противоречии

между сторонником теории и человеком практики. В свете этого конфликта — город противопоставляется тайге, причём в пользу последней.

Противоречия и противопоставления, придуманные автором, идейно ложны. В конце повести автор механически снимает их: Горин остаётся в тайге, то есть становится практиком, а Битюгов едет в город — доучиваться. Оба эти поступка героев обоснованы поверхностно, даны не в развитии характеров, а лишь потому, что так нужно автору; искусственный конфликт и разрешается искусственно.

Вместо того, чтобы воссоздать в повести подлинную жизнь первооткрывателей земных богатств, их мужественную борьбу с природой, автор заполняет её страницы надуманными коллизиями, увядшими от подлинной жизни.

Повесть рыхла композиционно, а язык её вызывает порою крайнее недоумение:

«Опасения за жизнь людей, среди которых была и сестра, пригнули его высокую фигуру».

«Тайга стояла тёмная и глухая. Самые сильные ветры могли выворотить её с корнем, но не могли нарушить её молчания».

«Холод выходил из него мурашками, и он, впитывая тепло, как наслаждение, говорил...»

Старый мастер-производственный, обучающий будущего мастера, не похвалит его за недоработанное, грубо отделанное изделие. Он подскажет молодому товарищу, где, что и как должно поправить, а к наиболее ответственной и сложной операции, может быть, и свою опытную руку приложит. Но он не допустит, чтобы неотработанное изделие вышло из заводских ворот.

Этой славной традиции пора прочно утвердиться и среди работников «литературного цеха».

С. МАРГОЛИС.

★

История. Международные отношения

Могучий голос борцов за мир

Первые номера выходящего на нескольких языках журнала «Сторонники мира» дают яркую картину мощного повсеместного движения за мир, принявшего такие колоссальные размеры и такие действенные формы за последние полтора-два года. Митинги, конференции, многотысячные демонстрации, решительный отказ рабочих выгружать оружие, присылаемое американскими империалистами своим европейским сателлитам, — всё это характеризует размах всемирной борьбы против поджигателей новой войны.

Журнал и листовки, издаваемые Постоянным комитетом сторонников мира, клеймят разнузданную, бешеную кампанию, которую ведут наёмники нью-йоркской биржи, открыто готовые свою агрессию против СССР и стран народной демократии. С каждым днём растут и сплачиваются силы сторонников мира, ведущих благородную борьбу за спасение человечества от гнусных происков англо-американских монопо-

листов. Печать сторонников мира не только разоблачает империалистические провокации, но и весьма убедительно внушает врагам мира и прогресса, что их ждёт не победа, а гибельное, страшное поражение.

Периодические издания Постоянного комитета сторонников мира производят сильное впечатление своей уверенностью в конечной победе над поджигателями войны. После событий конца 1949 и начала 1950 года эта уверенность не нуждается в слишком сложных и хитросплетённых объяснениях: лагерь держав, твёрдо решивших противиться империалистической агрессии, усилился до такой степени, что даже на Уолл-стрите и в государственном департаменте США сочли целесообразным несколько поумерить недавний «львиный рык». В самом деле, напомним хотя бы кратко об огорчениях, которые пришлось пережить господам Трумэну, Ачесону, Ванденбергу, Гарриману и их друзьям.

Первым огорчением было окончательное и бесповоротное крушение веры в американскую атомную монополию. Даже «Нью-Йорк Геральд Трибюн» с горечью признала, что в монополию атомной бомбы верили целых четыре года, а в монополию ещё

Журнал «Сторонники мира» («Les partisans de la Paix») №№ 1—9, 1949—1950. Редактор-издатель Жан Лаффит. Главный редактор Клод Морган. Издание Постоянного комитета сторонников мира.

пока только изготавливаемой водородной бомбы «не верили даже и четырёх дней».

Огорчением вторым явилось образование Германской демократической республики. Это положило предел всем мечтаньям об использовании Германии как плацдарма для непосредственного нападения на Польшу и Чехословакию, даже если бы удалась попытка создать в западных зонах страны колониальную армию американских наёмников.

Третьим огорчением для поджигателей войны была победа китайского народа и провозглашение Китайской демократической республики, немедленно вступившей в союз и тесную дружбу с советской державой. На громадной территории, занимающей две трети Азии, начался бурный социальный, политический и идеологический прогресс. Демократическая Китайская республика отныне грозно противостоит империалистическим покушениям.

Мудрено ли, что враги мира несколько растерялись и прибегают для поддержания своего падающего престижа к довольно авантюристическим и лишённым большого смысла выходкам, так сказать, к кустарным провокациям? То они продолжают признавать Чан Кай-ши державным властителем Китая и этим парализуют деятельность Организации Объединённых наций, не допуская туда законных китайских делегатов; то мастерят новый очередной заговор в Восточной Европе; то посылают «летающую крепость» на чужую территорию...

Печать борцов за мир во главе с прекрасно редактируемым журналом «Сторонники мира» не без юмора отмечает фиаско, следовательно постигающее организаторов всех этих и им подобных ухищрений.

Отчётливее всего рост сил антиимпериалистического лагеря отражается на политике нейтральных держав. В наше время «нейтральными» называются, по существу дела, такие капиталистические державы, правительства которых ещё не решились вполне определённо стать под чёрное знамя американских поджигателей войны и пока что колеблются. В остроумной статье «Неудачные манёвры Пандита Неру», напечатанной в четвёртой книжке журнала «Сторонники мира», английский журналист Джордж Фредерик живописует зигзаги политики премьера Индии. Неру и хочется прикнудить к числу сателлитов государственного департамента США, и вместе с

тем он боится поспешить и жестоко ошибиться, «поставить ставку на плохую лошадь» и проиграть. В самом деле, пока он собирался в путь-дорогу на поклон к Ачесону и пока добирался к нему по морям-океанам, азиатские дела американцев ухудшались с каждым днём—и на юге Китая, и во Вьетнаме, и на Малайском полуострове и—что неприятнее всего для Неру—в Бирме. Оказавшись в Вашингтоне, Неру, вместо прямого согласия на союз, чего от него ждали, вдруг, к полному разочарованию «любезных хозяев», забормотал нечто невразумительное. Поспешно вернувшись домой, он заверил правительство Мао Цзедуна в своих непоколебимо «добрососедских» отношениях и прогрессивных стремлениях...

Огромный интерес представляют помещаемые в журнале строго документированные отчёты о том, что творится в оккупированной империалистическими державами Западной Германии. Ведь в последние два—три года, когда поощряемый американскими империалистами немецкий фашизм осмелел окончательно, его вдохновители ставят перед ним задачи, о которых ещё в 1945—1946 годах он не смел и думать.

В Западной Германии ведётся пропаганда в целях реабилитации именно гитлеровской, специфической формы фашистского духовного растления. Когда гитлеровец Гедлер, депутат боннского «бундестага», недавно выступил с речью, в которой с похвалой отзывался о гитлеровском способе истреплять евреев в газовых печах («die Juden vergasen»), и когда его с триумфом оправдал суд, а почитатели поднесли ему лавровый венок, то это было лишь одним из ярких проявлений наглости, какой достигла нынешняя пропаганда принципов «третьей империи».

В номере шестом журнала «Сторонники мира» мы находим точный список двадцати пяти книг, вышедших за последний год и посвящённых восхвалениям Гитлера и его соратника—«чёрного мага» Генриха Гиммлера, Геббельса и др. Гитлера сравнивают с... Гёте! Гитлер—эта грязная безграмотная тварь, этот трусливый мерзавец, свергший немецкий народ в тяжелейшие бедствия, величается «военным вождём». В Баварии, где широчайше практикуются восстановленные в 1946 году телесные наказания, школьников наказывают розгами за непочтительные отзывы о Гитлере.

Восхваляется и проповедуется на все лады не только фашизм в общем значении этого слова, но именно гитлеризм, завоевательная экспансионистская форма и наиболее мерзостное проявление фашистской реакции.

Приводимые в журнале обильные иллюстрации к этим фактам являются ценнейшим материалом в борьбе за мир, материалом, совершенно неизвестным читателям западногерманских газет, содержащихся на американские деньги. Американские оккупационные власти приказали раз навсегда замалчивать эту систематическую, ими же самими поощряемую кампанию. Конечно, неловко публично признаваться, что наилучшими воспитателями должного «духа» этой будущей армии являются те же гимmlеры и геббельсы!

Андрэ де Жувенель в статье «Вашингтон и война посредством микробов» («Странники мира» № 6) останавливается на ничем не прикрытом покровительстве гнусным японским организаторам бактериологической войны со стороны господ Трумэна и Ачесона. Генерал Иссии не только не предачу суду и не понёс заслуженного наказания, но используется американским военным ведомством как опытный мастер воспитания чумных вшей и крыс.

Макартур уже сейчас берёт на учёт бактериологическую войну, готовясь к будущему нападению на Китай и СССР. Господин Трумэн и генерал Брэдли, нашедшие в себе должные «моральные» качества, чтобы уничтожить десятки тысяч женщин и детей в совершенно беззащитной Хиросиме, и обозлённые позорным провалом своей политики в Китае, без колебаний прибегнут к любым злодеяниям, если будут уверены в безнаказанности. Но можно не сомневаться, что крепнущие день ото дня силы мира сумеют воспрепятствовать гнусным замыслам этих господ, совершенно разрешившим себя от каких бы то ни было уз стыда.

Странники мира и не рассчитывают на то, чтобы злоден, истребляющие беззащитное население, могли бы чего-либо устыдиться. Поэтому журнал правильно уделяет пристальное внимание вопросу о том, насколько реальны наглые угрозы американских империалистов и их европейских лакеев.

В седьмой книжке журнала помещена редакционная статья «Шантаж при помощи

водородной бомбы», а в восьмой книжке— другая статья, составляющая как бы продолжение первой и носящая название: «Борьба народов против атомного оружия. Крах шантажа с водородной бомбой».

Нет ничего удивительного в том, что вопрос о водородной бомбе занимает такое видное место в борьбе за мир. Когда 1 февраля 1950 года Трумэн демонстративно оповестил, что он «приказал продолжить исследования в области водородной бомбы», то это было понято буквально всеми, как явственная и неуклюжая попытка снова воскресить некую «монополию», без которой г.г. Трумэн, Ачесон и их соратники уже не считают возможным вести «успешную политику». Однако уже очень скоро учёные (не только европейские, но и американские) разъяснили, что, во-первых, раньше довольно продолжительного периода времени нельзя и думать о создании этой водородной бомбы и, во-вторых, что— увы!—уже и сейчас Америка— не единственная страна, где эти опыты и приготовления производятся. Таким образом, шантаж с водородной бомбой лопнул с необычайной быстротой.

Препятствием на пути разжигания новой войны являются и серьёзные противоречия между крупными империалистическими державами. В февральской книжке журнала за 1950 год тогдашний член британского парламента Джон Плэттс-Миллс посвятил целую статью теме, сформулированной им вполне точно в самом названии: «Ось Нью-Йорк — Бонн. У Англии имеются все основания для опасений...» Прежде всего Англия должна бояться нынешних проектов Ачесона и «канцлера» Западной Германии Аденауэра — проектов «дружеского» слияния крупной промышленности Франции и Германии под верховным, отечески благожелательным руководством и контролем нью-йоркской биржи и её исполнительного органа — государственного департамента. Эта комбинация сведёт к нулю как экономическую, так и политическую роль Англии на континенте. Заветную цель Трумэна, Ачесона и новоявленного «советника» государственного департамента Джона Фостера Даллеса — вооружить Западную Германию—очень тяжело принять Англии, так как Англия боится, что она рано или поздно будет вытеснена с континента германо-американскими силами.

Автор цитируемой статьи имел полное

право несколько дополнить свой ответ на поставленный им самим вопрос — чего должна бояться Англия. Больше всего она должна бояться войны, от которой она в связи со своим географическим положением неминуемо пострадает очень жестоко.

Прекрасно понимая не весьма, впрочем, сложную «психологию» империалистов, сторонники мира ещё в манифесте Всемирного конгресса в Париже от 25 апреля 1949 года писали, что хотя заповали «холодной войны» перешли уже от простого шантажа к открытой подготовке к войне, но народы перестали быть пассивными и желают играть активную и конструктивную роль в истории.

Теперь соотношение сил решительно изменилось в пользу лагеря борцов за мир — и провокационные выходы, направленные против СССР и стран народной демократии, наталкиваются на спокойный, но очень твёрдый, иной раз крайне чувствительный (и вполне заслуженный) отпор.

И статьи рассматриваемого журнала, и хроника текущих событий напоминают господам ачесонам и барухам, трумэнам и гарриманам, что в конечном счёте они сами пострадают от войны гораздо сильнее, чем те, на кого они так нагло натравливают обманываемых ими людей; что жертвами их

преступных замыслов будет не только мирное население стран, составляющих объект их агрессии, но и их собственный континент: он не останется вне затеваемой ими кровавой игры. Сумасшествие и самоубийство одного из самых зловредных поджигателей войны — министра вооружённых сил США Форрестала были символичны.

Но народы не так легко сходят с ума, как те, кто пытается внушить им безумные мысли. В народных массах Америки, не говоря уже об Англии, за последний год обозначается всё более и более отчётливо глубокий сдвиг в сторону решительной борьбы против преступного заговора империалистических хищников, которые или совершенно открыто, как Дьюн, Гувер, Гарриман, или с лицемерными оговорками, как Трумэн, Ачесон, а в Англии — Уинстон Черчилль, толкают к обострению конфликтов и к разжиганию воинственных страстей.

И в прямом и в переносном значении слова поджигатели войны вскоре явятся «генералами без армии». Тому порукой всё новые и новые успехи движения за мир. Народы мира, в том числе и народы капиталистических стран, не хотят войны и сумеют обуздать поджигателей новой кровавой бойни.

Академик Е. ТАРЛЕ.

★

Америка без прикрас

Автор рецензируемой книги имел возможность в течение трёх лет наблюдать жизнь в Соединённых Штатах Америки и воочию убедиться в том, чем же в действительности является пресловутый, столь шумно рекламируемый «американский образ жизни». Он пишет: «Я ездил поездом, на машине, летал на самолёте, наблюдая и изучая не только то, что намеренно выдвигалось на первый план и восхвалялось на все лады, но также и то, что столь же намеренно отодвигалось в тень и заботливо маскировалось. Из всех этих поездок я вынес убеждение в том, что Америка живёт ещё вчерашним днём человечества».

Многочисленные и яркие факты, приводимые в книге, убедительно иллюстрируют этот вывод Н. Васильева.

Н. Васильев. «Америка с чёрного хода». Очерки и зарисовки. Редактор Л. Левин. «Советский писатель», М. 1949.

Убог духовный мир «среднего американца», узок круг его умственных интересов. Наивность, переходящая в дикость и суеверие, поражает на каждом шагу. Можно ли, например, было думать, что в США — стране, претендующей на звание «самой цивилизованной и самой передовой державы мира», ещё существуют... ведьмы? Оказывается, «ведьмы» не только водятся в США, но даже дают интервью корреспондентам газет, выходящим не в каком-нибудь захолустье, а в самом Вашингтоне. В США процветают самые грубые, самые нелепые формы религиозного суеверия, вроде культа поклонения ядовитым змеям, знахарства и т. п. Господствующие классы США не проявляют никакого интереса к борьбе с невежеством, к распространению среди народа знаний и культуры. Наоборот, невежество и бескультура, порождающие суеверие и являющиеся питатель-

ной средой для шарлатанов и жуликов,— одна из сторон «американского образа жизни».

В Америке любят цифры. Убедить американского обывателя в чём-либо легче всего с помощью цифр. Зная это свойство характера американского обывателя, правительственная статистика США широко оперирует всякими цифровыми показателями, должествующими демонстрировать «превосходство» над другими странами. Автор правильно отмечает, что американская гигантомания является одним из тех массовых психозов, которые столь распространены в Соединённых Штатах.

Цифры, которыми пестрят всякие американские справочники и путеводители, имеют своей целью «показать товар лицом», подавить воображение представлением о «самом грандиозном», «самом колоссальном».

Н. Васильев убедительно демонстрирует, что скрывается за этими подчас астрономическими показателями. К примеру, американская статистика автотранспорта выглядит потому столь внушительной, что она заносит в число действующих автомашин всякое отжившее свой век старьё. Однако многие цифры, действительно говорящие о «самом грандиозном», тщательно умалчиваются официальной статистикой. Так, по количеству гангстеров и распространению бандитизма США бесспорно принадлежит первое место в мире. К числу показателей, доказывающих действительно количественное превосходство, следовало бы добавить гигантские цифры бедняков, безработных, бездомных и больных в США.

По данным одной сенатской комиссии, в среднем одна из каждых пяти семей горожан живёт в трущобах, не менее шести миллионов городских домов необходимо снести, как непригодные для жилья. Из доклада руководителя Федерального бюро социального обеспечения Оскара Юнга известно, что более 25 миллионов человек, то есть свыше одной шестой части всего населения страны, страдают теми или иными хроническими болезнями.

Колоссальное распространение получил в Соединённых Штатах алкоголизм: четыре миллиона американцев официально зарегистрированы как хронические алкоголики, восемь миллионов страдают от различных душевных болезней или нервного расстройства на почве алкоголизма. Алкоголь бесспорно оказывает воздействие и на мозго-

вую деятельность американских законодателей. По заявлению доктора Майкла Миллера, врача государственной психиатрической больницы в Вашингтоне, многие конгрессмены являются ярко выраженными алкоголиками. «Алкоголизм,— заявил доктор Миллер,— превратился в серьёзный фактор в Конгрессе и производит вреднейший эффект на законодательство, ибо он является той психологической средой, в которой осуществляется много законодательных мероприятий».

«Американский образ жизни» оказывает самое губительное влияние на молодёжь. За последние годы в США наблюдается огромный рост венерических заболеваний среди юношей и девушек. По данным, опубликованным доктором Дейч в журнале «Нейшл», количество заболеваний сифилисом среди подростков обоего пола в возрасте от 15 до 19 лет возросло в два раза по сравнению с довоенным временем. Во время минувшей войны пять миллионов молодых американцев не могли быть зачислены в ряды армии по причинам умственной или физической непригодности.

Таково красноречивое опровержение одного из мифов, изобретённых пропагандистами «американского образа жизни», мифа о «самой здоровой в мире нации».

А вот официальные сведения о преступности в «самой нравственной стране». В США каждую 21 секунду совершается какое-нибудь серьёзное преступление. Каждые 100 секунд происходит кража со взломом, каждые 3 минуты — похищение автомашины, каждые 9 минут — ограбление и каждые 44 минуты — преднамеренное убийство.

Американская пресса ежедневно пестрит сообщениями о всевозможных преступлениях. Гангстеризм стал существенной стороной «американского образа жизни». Ряды огромной армии уголовников непрерывно пополняются. В американских городах орудует множество банд, состоящих из подростков школьного возраста. Некоторые из них насчитывают в своём составе до 200 человек. Это — организации, осуществляющие преступные дела подчас крупного масштаба. «Малолетние гангстеры, подрастающие в Америке,— пишет Н. Васильев,— чужды какой бы то ни было человеческой морали. Все дела они вершат с помощью оружия и грубой физической си-

лы. Во всех поступках они руководствуются волчьим законом джунглей...»

В статье «Рабочим Магнитостроя и др.» М. Горький указывал, что названия «бандитской вотчины» заслуживают все более или менее крупные города США. Американская плутократия превратила гангстеризм в опору своего господства над трудящимися, в грандиозное «деловое предприятие», бизнес. В нём сочетаются барыш и политика, демагогия и расизм. Бандитские вожаки оказались способными учениками Уолл-стрита, по указанию которого они создали в США систему «организованной преступности», действующей на строгих коммерческих основах. Ныне американский гангстеризм, весь синдицированный и трестированный, стал составной частью монополистического капитала США.

Безраздельное господство империалистических монополий и стало самым характерным для современной Америки. «Засилье монополий, — говорит Н. Васильев, — характеризует все проявления политической жизни США. «Двухпартийная система», то есть существование двух конкурирующих между собою политических партий — демократической и республиканской, является, в сущности, лишь бутафорией, прикрывающей неограниченное господство крупного капитала во всех сферах политической и общественной деятельности».

Для осуществления своего влияния на правительство и государственный аппарат монополии создали специальную категорию своих представителей в Вашингтоне — так называемых лоббистов. В столице США об-

ретаются свыше тысячи контор этих доверенных лиц «большого бизнеса». Их единственным занятием является воздействие на «избранных народа» и правительственных чиновников в интересах представляемых ими фирм. Автор правильно подчёркивает, что лобби — это важнейшее звено до конца фальшивой «американской демократии».

Радио, печать, литература, искусство в США — верные слуги капиталистических монополий. Изо дня в день они без устали пропагандируют «американский образ жизни», изошряются в гнусной клевете на Советский Союз и страны народной демократии, ведут подготовку общественного мнения к новой войне за мировое господство США.

Рецензируемая книга может быть отнесена к жанру литературного дневника. Автор остановился на впечатлениях осени 1947 года, когда он покинул США. Именно поэтому в книге и не нашли отражения материалы, относящиеся к последующему времени. Н. Васильев с политической остротой и известной долей юмора раскрывает закулисную сторону «американского образа жизни». Множество явлений, с которыми автор сталкивался повседневно, описаны в живой и занимательной форме. Зарисовки американской действительности, сделанные Н. Васильевым по преимуществу в области быта и культуры, отличаются разносторонностью и основательностью суждений. Книга читается легко, с интересом и заслуживает широкого распространения.

В. МИНАЕВ.

★

Факты из истории Мексики

История каждой из двадцати одной республики Латинской Америки полна бесчисленных кровавых страниц. Тысячи, десятки тысяч замученных и уничтоженных людей — целых племён и народностей — таков путь этой истории.

Почти три века страны Центральной и Южной Америки были колониями Испании, которая с циничной жестокостью хищнически истребляла население и природные

богатства этих земель. В первой четверти XIX века, после получения формальной независимости, слабые в экономическом и политическом отношении республики Латинской Америки быстро подпали под фактическую власть сильных и алчных капиталистических государств — Англии, Франции, а со второй половины XIX века и США. В настоящее время всем хорошо известна та роль, которую играют новые претенденты на мировое господство — капиталисты Уолл-стрита — в закабалении латиноамериканских республик, в превра-

Г. Паркс. «История Мексики». Редактор Н. М. Соболева. Издательство иностранной литературы, М., 1949.

шении их в поставщиков пушечного мяса и сырья дляготавливаемой новой мировой войны.

Рецензируемая книга американского исследователя Г. Паркса посвящена истории Мексики, начиная от далёкого прошлого (до эпохи её завоевания Испанией) до наших дней.

Мексика имеет богатые традиции классовой и национальной борьбы. Её народ был первой жертвой молодого империалистического хищника — США. В результате прямого военного разбоя, носившего звучное название «Мексикано-американская война 1846—48 годов», страна потеряла почти половину своей территории (США захватили Техас и ряд других районов). В 1853 году империалисты США, продолжая свою грабительскую политику, за пустяковую цену приобрели ещё один значительный кусок мексиканской земли.

Уже в XX веке — в 1916 году — в эпоху правления идеализируемого всеми буржуазными историками президента-«миротворца» Вудро Вильсона, американцы попытались было с оружием в руках навязать мексиканскому народу свои порядки. Однако испуганные размахом революционной борьбы, вспыхнувшей в Мексике, они не рискнули осуществить против неё военную интервенцию. Всё же американским монополистам удалось подкупить некоторых неустойчивых руководителей восстания и сохранить часть своих экономических позиций.

Мексиканский народ страстно ненавидит своего вероломного и кровожадного соседа; презрительная кличка «грингос», которой наградили он американцев, является синонимом всего самого отвратительного и корыстного, что сопутствует деятельности этих носителей бредовой идеи мирового господства.

Мексиканский народ первый из народов латиноамериканских стран попытался осуществить социальную революцию и разрушить колониально-полуфеодалные отношения, которые целые тридцать пять лет насаждал англо-американский ставленник президент-диктатор Порфирио Диас.

Эпоха мексиканской Народной революции 1912—17 годов, возглавленной такими вождями, как знаменитые Сапата и Панчо Вилья, произвела радикальную перестройку земельных отношений в стране

(конфискация помещичьей земли), содействовала значительному упрочению национальных экономических позиций (конфискация нефтяных источников и разработок иных полезных ископаемых, принадлежавших американскому капиталу). Размаху и остроте этой революции способствовали события на другом конце земного шара: Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновляла мексиканский народ на борьбу против эксплуататоров.

Известно высказывание Сапата о революционных событиях в России. В своём письме от 14 февраля 1918 года он писал одному из руководителей мексиканской революции: «Мы много выиграли бы и много выиграло бы дело человеческой справедливости, если бы народы нашей Америки и все нации старой Европы поняли, что дело революционной Мексики и дело свободолюбивой России представляет дело всего человечества, высшие цели всех угнетённых народов мира. Здесь и там имеются крупные помещики, алчные, свирепые и бесчеловечные, в течение ряда поколений эксплуатировавшие широкие крестьянские массы, подвергавшие их неслыханным пыткам. Здесь, как и там, закрепощённые люди, люди с ещё не проснувшимся сознанием начинают пробуждаться, приходят в движение, выступают в качестве мстителей...»

Известен большой интерес Сапата к Ленину, стремление познакомиться с его работами. Но подобных документов мы не найдём в рецензируемой книге.

Паркс приводит множество интересных фактов и деталей, но тщательно избегает всего, что носило бы следы социально-классового анализа. Как типичный буржуазный историк, он старается приуменьшить и опорочить народные выступления.

Работа Паркса обрывается на событиях 1937—38 годов. За время, протёкшее с момента написания книги, произошло немало драматических эпизодов в истории мексиканского народа, боровшегося за свою национальную и экономическую независимость.

Мексика является одним из немногих латиноамериканских государств, которые пытаются противостоять империалистической экспансии США. Ведь не случайно, что именно в столице Мексики в сентябре 1949 года происходил Американский конти-

ментальный конгресс в защиту мира, объединивший под своим знаменем все передовые силы Центральной и Южной Америки.

Один из популярнейших людей Мексики — Ломбардо Толедано — председатель Конфедерации трудящихся Латинской Америки, выступая на конгрессе, выразил общее мнение делегатов, когда заявил, что латиноамериканские страны не могут дальше жить так, как они живут сейчас, превращаясь в колонию Уолл-стрита.

Ещё в 1938 году правительство прогрессивного президента Мексики Карденаса в осуществление конституции Народной революции 1912—17 годов национализировало собственность семнадцати американских нефтяных трестов и английских железнодорожных компаний. С тех пор до настоящего времени этот день отмечается в стране, как народный праздник.

Американские нефтяные монополии продолжают оказывать давление на государственный департамент, требуя проведения репрессивной политики по отношению к мексиканскому правительству. Летом 1949 года вся мировая печать писала о разрыве переговоров о займе в 100 миллионов долларов, который пыталось получить в США мексиканское правительство. В качестве одного из условий предоставления займа Вашингтон требовал возвращения в Мексику американских нефтяных компаний.

Официальные мексиканские представители, комментируя отказ от заключения займа на подобных условиях, весьма красноречиво заявили, что если бы правительство получило заём, то президент Алеман был бы свергнут в результате революции. Подобное же боевое настроение народных масс Мексики заставило правительство в

начале 1949 года отказаться от заключения с США двустороннего военного соглашения.

Американский государственный департамент, расценив подобный отказ, как «признак недружественного отношения к США», решил путём жестокого экономического нажима добиться своих целей. Так, по сообщению газет, администратору по осуществлению «плана Маршалла» Гофману тогда же было поручено разработать мероприятия по сокращению мексиканского экспорта в страны Европы и США.

Книга Паркса, несмотря на серьёзные недостатки, поможет советскому читателю ознакомиться с жизнью мексиканского народа. Это тем более важно, что на русском языке не имеется систематических работ по истории Мексики. А отдельные популярные брошюры уже давно устарели. Предисловие Б. Руденко, отмечая недостатки работы Паркса, помогает получить правильное представление о борьбе мексиканского народа за суверенитет и независимость своей страны.

Свободолюбивый мексиканский народ связывает свои надежды и устремления с могучим поборником мира — Советским Союзом. Мексиканский поэт Мигель Бустиос Сероседо выразил чувства своего народа к гениальному вождю советской страны товарищу Сталину в следующих проникновенных строках:

Искало человечество героя,
Борясь в веках, и вот он перед нами
Теперь стоит во весь гигантский рост.
Он пламенный, как солнце, он могучий,
Как океан, земли непобедимой
Великий вождь... Мечта свершилась мира.
Мы Сталиным героя называем,
Мы человека Сталиным зовём.

Н. ГАБИНСКИЙ.

★

П р а в о

Против поджигателей и преступников войны

Человечество жаждет мира. Стокгольмский конгресс явился мощным свидетельством несокрушимой воли народов к миру. Конгресс не только призвал все

М. Ю. Рагинский и С. Я. Розенблит. «Международный процесс главных японских военных преступников». Ответственный редактор С. А. Голунский. Издательство Академии наук СССР, М.-Л. 1950.

народы к борьбе за мир, не только организовал «референдум» мира, призвав всех честных людей подписать воззвание мира, — Стокгольмский конгресс объявил запретным использование атомной энергии в военных целях и провозгласил уголовную ответственность правительств, повинных в нарушении этого запрета. Это грозное предло-

стережение показало, что уголовному закону принадлежит не последняя роль в борьбе с поджигателями и преступниками войны. В этих условиях содержательная и интересная книга М. Ю. Рагинского и С. Я. Розенблита приобретает особое значение.

Авторы хорошо знакомы с обоими процессами над главными военными преступниками—нюрнбергским и токийским. Характеризуя общую политическую атмосферу процессов, авторы справедливо отмечают: «Это была не обычная борьба между прокурором и адвокатом, не обычные споры юристов, это была напряжённая борьба между сторонниками мира и защитниками преступной агрессии, между сторонниками демократии и защитниками фашизма».

Нюрнбергский процесс начался вслед за окончанием второй мировой войны в ноябре 1945 года и закончился в октябре 1946 года. Международному Военному Трибуналу потребовалось много месяцев, чтобы решить судьбу Геринга, Риббентропа и их сообщников.

Процесс в Токио, начавшийся в апреле 1946 года, развивался ещё более медленными темпами—представители США и Англии всячески тормозили его ход. Систематически освобождая военных преступников и подбирая среди них кадры для подготовляемой агрессии против СССР, империалисты США и Англии не торопились с окончанием токийского процесса главных военных преступников: он тянулся более двух с половиной лет. Всё было сделано американскими военными властями для затягивания процесса и ослабления вины японских поджигателей войны.

В Нюрнберге каждый из подсудимых имел одного защитника, в Токио—по три, четыре. Набралось этих защитников на токийском процессе более 90. В Нюрнберге немцев защищали только немцы. В Токио среди защитников было и много американцев.

Американские адвокаты получали содержание из штаба Макартура, как военнослужащие американской армии, и получали, надо прямо сказать, не даром: они всемерно мешали раскрыть злодеяния подсудимых и нагло развясняли Трибуналу «современную политику» США. Так, американский адвокат Кенингэм в ответ на отказ Трибунала принять не относящиеся к делу документы заявил, что Трибунал «не желает

придерживаться... современной политической линии США». В другом случае, обеляя главных военных преступников, тот же Кенингэм цинично призывал Трибунал учесть «сложившуюся в настоящее время международную обстановку».

Дабы подчинить правосудие этой новой, созданной американскими империалистами международной обстановке, Трибунал был обеспечен и надлежащими свидетелями—высшими офицерами американской армии генералом Дином, полковником Блейком и бывшим государственным секретарём США Маршаллом. Наконец, к услугам главных японских военных преступников и их американских защитников были любезно предоставлены дипломатические документы из архивов английского министерства иностранных дел и американского государственного департамента.

Режиссёры процесса заготовили щедрой рукой всё—защитников, свидетелей, документы. Нехватало лишь подсудимых: далеко не все главные и даже главнейшие японские военные преступники были посажены на скамью подсудимых в Токио. Ещё в период подготовки процесса советский обвинитель предложил предать суду не только Тодзио, Мацуока и других, но также магната японской авиационной промышленности Накадзима, владельца крупнейших военных заводов в Маньчжурии—Аюкава, министра вооружений в кабинете Тодзио—Фудзивара и других. Главный американский обвинитель Кинан отклонил это предложение. А Макартур приказом от 30 августа 1947 года освободил 23 японских военных преступников, в том числе Аюкава и Накадзима.

Но особенно ошутительно было отсутствие на скамье подсудимых главы империалистической Японии и всей её преступной клики—императора Хирохито. На токийском процессе преступная роль Хирохито была выяснена в полной мере. Правительство по японской конституции ответственно не перед парламентом, а перед императором. Ни одно военное или политическое решение не могло быть принято без санкции императора; более того—на токийском процессе было установлено, что Хирохито лично принимал участие в организации нападения на СССР в районе озера Хасан и лично участвовал в принятии решения 2 июля 1941 года о том, что Япония должна продолжать усиленно воору-

жаться против СССР под прикрытием пакта о ненападении. Самый приговор Трибунала установил, что в течение десятилетий Япония вела агрессивную политику против СССР. За все эти тяжёлые преступления понесли наказание министры и генералы, а главный вожак и виновник — император Хирохито оказался в стороне.

Впоследствии хабаровский процесс раскрыл перед всем миром и другое тягчайшее злодеяние японского милитаризма — усиленную подготовку Японией бактериологической войны и ту исключительную роль, которую играл в этой подготовке император Японии, биолог по образованию, Хирохито. Нота советского правительства от 1 февраля 1950 года, адресованная правительствам США, Китая и Англии о выдаче Хирохито, как главного военного преступника, явилась необходимым политическим и юридическим выводом из этих неоспоримых фактов, установленных токийским и хабаровским процессами.

Советский обвинитель в своей вступительной речи на токийском процессе отметил органическую связь террора внутри страны и подготовки агрессии, связь, которая ранее характеризовала Германию Гитлера, затем Японию Хирохито, а ныне США Трумэна. «Этот террор, — говорил обвинитель, — является не случайностью, а необходимой предпосылкой для подготовки к агрессивным войнам, так как без него нельзя было подавить протеста против агрессии внутри самих агрессивных стран, нельзя было создать прочного тыла».

В заключительной речи советского обвинителя А. Н. Васильева был подведён итог двухгодичному судебному разбирательству, дан тщательный анализ доказательств и

опровергнуты попытки защиты изобразить главных японских военных преступников кроткими агнцами.

4 ноября 1948 года, после шестимесячного совещания, Трибунал вынес приговор. Сила народного гнева и требования народной совести были так велики, что политикам и потенциальным агрессорам не удалось спасти подсудимых: 7 главных военных преступников были повешены, 16 приговорены к пожизненному заключению, один — к двадцати годам и один — к семи годам тюремного заключения.

Закончились процессы нюрнбергский, токийский и хабаровский. Прах многих военных преступников развеян по ветру. Но мир ещё не обеспечен. На огромных пространствах земного шара развернулась борьба народов, жаждущих мира, с преступными кликами правительствующих милитаристов, готовящих новую войну.

Токийский процесс сыграет немаловажную роль в исходе этой борьбы. Напрасно американский адвокат Блэки, адвокат агрессоров, предательски напавших на его родину, пытался умалить значение токийского суда. «Каковым бы ни был приговор суда, — уверял Блэки, — Трибунал не делает истории. Он просто судит свыше 20 человек по конкретным обвинениям». Лгал американский адвокат: токийский Трибунал делал историю, показав всему миру конечную судьбу поджигателей и преступников войны.

Раскрывая грозный исторический смысл токийского процесса, книга М. Ю. Рагинского и С. Я. Розенблита служит делу мира. Её следует рекомендовать самым широким кругам советских читателей.

Член-корреспондент Академии наук СССР
А. ТРАЙНИН.

★

Техника

Сталь во имя мира

„Пусть воля и единство сторонников мира будут так же нерушимы и крепки, как прославленная уральская сталь».

Эти слова, прозвучавшие с трибуны Всемирного конгресса сторонников мира в

В. Амосов. «Мы — советские сталевары». Литературная запись И. Пешкина. Редактор Е. Б. Свет. Челябинское областное государственное издательство, 1950.

Праге, были сказаны сталеваром Златоустовского металлургического завода имени Сталина Василием Матвеевичем Амосовым.

Знатный сталевар советской страны заклеил поджигателей войны в своём взволнованном и решительном выступлении. «Мы, советские люди, — сказал он, — не хотим войны! Мы не хотим новых

человеческих жертв и народных бедствий ради кучки разжиревших на войне англо-американских империалистов и их наймитов... Я призываю металлургов всего мира отказаться плавить металл для войны. Ни одного килограмма металла не должно быть употреблено на строительство орудий па-силля и истребления людей. Железо и сталь, если их выплавляет честный человек, любящий свою родину, свободу и независи-мость, являются надёжной опорой сторон-ников мира».

Соединение в одном лице общественного деятеля, выступающего от имени своего на-рода, и рабочего, отдающего все свои силы и умение родному народу,— факт, не мы-слимый в странах капитала с их насквозь лживой «демократией».

Претворяя свои слова в жизнь, В. Амо-сов неустанно варит сталь, чтобы ещё вы-ше поднять мощь своей могучей и миролю-бивой родины. Десятки тысяч тонн сверх-плановой стали выдал он со своей бригадой за двадцать с лишним лет. И сейчас, как на боевом посту, стоит талантливый мастер у пульта управления мартеновской печи.

Книжка В. Амосова автобиографиячна. В ней рассказывается простая советская быль, которая несколько десятков лет на-зад в России или в настоящее время в США казалась бы сказкой, сказкой о том, как батрак стал знатным человеком стра-ны. С марта 1950 года В. Амосов — депу-тат Верховного Совета СССР.

Главное достоинство книжки—в её воспи-тательном значении. Молодым советским сталеварам есть чему поучиться у В. Амо-сова. А именно этим желанием — передать свои знания, свой большой производствен-ный опыт молодёжи — и пронизано всё со-держание книжки.

Скромная работа В. Амосова, конечно, не претендует на то, чтобы быть учебником по металлургии, но она может явиться непло-хим к нему дополнением. Ни один даже самый лучший учебник не может заменить живого опыта, предусмотреть все отклоне-ния от нормального технологического про-цесса, которые на практике нередко имеют место. В главе «Скоростная плавка» В. Амосов даёт ряд полезных техниче-ских советов своим читателям. Для пере-дового советского сталевара характерны высокая культура труда, требовательность к себе и другим. Металлургия перестала

быть только искусством, она стала наукой. Рассказывая об одной из скорост-ных плавок, В. Амосов пишет: «Связь с лабораторией поддерживается непрерывно. Это, кажется, двенадцатая проба».

В. Амосов вспоминает, что в 1924 году, когда он впервые пришёл на завод, работа сталевара была окружена тайной. Чуть ли не каждый сталевар имел свой «секрет», который передавался только по наслед-ству — от отца к сыну. Каким далёким всё это кажется! Как гигантски духовно выро-сли советские люди, как изменилось их от-ношение к труду!

Этому коммунистическому отношению к труду учит книжка В. Амосова. Приведём один пример.

Напряжённая работа бригады, обслужи-вающей мартеновскую печь, подходит к концу. «Выпускное отверстие пробито, сталь низвергается в ковш, точно огненный водо-пад... Мне бы хотелось посмотреть мою сталь... Но я не вправе отлучиться от свое-го рабочего места, надо сдать Панкову (сменщик В. Амосова.—А. И.) печь в та-ком виде, чтобы и он мог выдать скорост-ную плавку».

Эта дружеская взаимопомощь, это нико-гда не покидающее советского сталевара чувство высокой ответственности за дове-ренное ему оборудование — отличительная черта наших передовых рабочих, воспитан-ных коммунистической партией.

В. Амосов приводит много примеров то-го, как в трудную минуту партия приходи-ла ему на помощь, как он сам — комму-нист, член Златоустовского городского и Челябинского областного партийных коми-тетов — помогал своим товарищам по ра-боте.

Раздвигая рамки рецензии, укажем на явление, характерное для сегодняшнего дня советской металлургии и ярко отра-жающее тесную связь науки с производ-ством.

Передовые советские сталевары часто выступают с лекциями перед студентами. Например, сталевар мартеновского цеха № 2 завода имени Дзержинского товарищ Кочетков — член учёного совета Днепро-петровского металлургического института имени Сталина — преподаёт студентам тео-рию и практику мартеновского производ-ства. Лекции студентам этого же институ-та читают сталевар товарищ Гребенников, мастер доменной печи № 4 завода имени

Петровского товарищ Егоров и другие. В мае этого года в Москве состоялась вызвавшая большой интерес публичная лекция лауреата Сталинской премии сталевара завода «Серп и молот» Виталия Михайлова на тему: «Как мы варим сталь в мартеновских печах». Это стирание грани между умственным и физическим трудом — одна из зримых черт коммунизма.

Интересна своеобразная «перекличка» между советскими сталеварами, научившимися варить специальные стали самых высококачественных марок, и старыми русскими уральскими мастерами. Когда фашисты захватили Донбасс, где В. Амосов проработал восемнадцать лет, он эвакуировался на Урал. Как раз в Златоусте в первой половине прошлого столетия работал выдающийся русский металлург, автор ряда классических трудов, Павел Петрович Амосов, раскрывший тайну изготовления древних булатов, отличавшихся вязкостью, упругостью и предельной твёрдостью лезвия. Спустя сто лет уральские сталевары сумели выковать для героической Советской Армии сталь такого качества, что перед ней оказались беспомощными разрекламированные фашистами «тигры» и «пантеры».

Изо дня в день, из месяца в месяц наращивала темпы и повышала качество продукции советская металлургия. С гордостью вспоминает В. Амосов случай, когда советские металлургические заводы забраковали, как негодную, сталь, присланную из США.

С интересом читаются страницы книги, где автор рассказывает о прославленном донецком сталеваре Макаре Мазая. Мазай был смелым новатором, ищущим лучших и более совершенных методов труда. Невольное восхищение вызвала у сталеваров артистическая, исполненная большевистской страстности работа Мазая.

Мазай охотно делился своим опытом с товарищами и не упускал случая в свою

очередь учиться у них. В этом был залог его невиданных для того времени рекордов, которые он называл «разведкой в завтрашний день» (к сожалению, автор ни словом не упомянул о трагической судьбе сталевара-патриота Мазая, замученного гитлеровцами за отказ работать на них).

После победоносного завершения войны В. Амосов с прежней энергией и настойчивостью продолжал отдаваться любимому делу. В 1949 году в центральных газетах было опубликовано его обращение ко всем металлургам страны об организации соревнования в честь X съезда профсоюзов.

В этом же году В. Амосов удостоился великой чести — он вошёл в Комитет, образованный в связи с 70-летием товарища Сталина. С радостным волнением рассказывает он о любимом вожде советского народа — вдохновителе и организаторе всех наших побед в дни мира и дни войны.

Уже после выхода в свет рецензируемой книжки в «Правде» появилось сообщение о том, что В. Амосов поддержал патристическое начинание магнитогорских сталеваров и взял обязательство выплавить сверх годового задания три тысячи тонн стали, в том числе тысячу тонн за счёт экономии сырья, топлива и других материалов.

Чем больше у нас будет стали, пишет В. Амосов, тем прочнее будет дело мира. Ведь мир защищается не только на международных конференциях, но и у доменных и мартеновских печей, у прокатных станов, в цехах машиностроительных заводов, на полях нашей могучей Родины.

Очерк «Мы — советские сталевары» был напечатан в альманахе «Год тридцать третий». Теперь эта полезная книжка, написанная простым, доходчивым языком, вышла отдельным изданием. Она несомненно заслуживала лучшего оформления. Тираж её (5 000 экземпляров) явно недостаточен.

А. ИГЛИЦКИЙ.

★

Голос моря

Первый прибор для измерения больших глубин моря сконструировал и собственноручно изготовил Пётр I. Он носит название лота Брука, хотя Брук «изобрёл»

этот прибор спустя почти сто пятьдесят лет после Петра I. Первый курсограф и первый механический лаг — необходимые приборы для дальнего плавания — были сконструированы великим русским учёным М. Ломоносовым. Его труд «Рассуждение о большей точности морского пути» на мно-

В. В. Шулейкин. «Очерки по физике моря». Редактор Г. А. Аристов. Издательство Академии наук СССР, М. 1949.

го десятилетия опередил науку иностранных мореведов.

Огромное количество морских научно-исследовательских приборов впервые стало применяться в русском военном флоте: ботометр для добывания проб морской воды с больших глубин, специальные лебёдки для спуска и подъёма самых разнообразных научных аппаратов, помогавших исследованию пучин океана, и т. д. Первые гидрооптические приборы были созданы отважными русскими моряками на кораблях, многие годы странствовавших в дальних океанах. На «Рюрик» впервые были осуществлены сериальные измерения температур в океане на очень больших глубинах. На корабле «Сенявин» русские мореплаватели положили начало измерению элементов земного магнетизма и напряжения силы тяжести по всему Тихому океану. Труд адмирала С. Макарова «Витязь и Тихий океан» является классической работой, не потерявшей своего значения и теперь — и для физики моря, и для мореходной науки.

Но в царское время расцвету науки о море мешали «сухопутные» настроения чиновников и бюрократов, а также прямых врагов России, засевших в различных учреждениях. Ещё два столетия назад Ломоносов мечтал о создании научно-исследовательских учреждений, которые «о том единственно старались, чтобы новыми полезными изобретениями безопасность мореплавания умножить». Он же писал: «Могущество и обширность морей, Российскую империю окружающих, требуют такого рачения и знания».

Но мечты Ломоносова о развитии русской науки о море по-настоящему могли осуществиться только при Советской власти, давшей широкий выход всем творческим силам нашего народа. В Советской стране создана целая сеть научно-исследовательских организаций, занимающихся изучением жизни моря. В цепи этих институтов и лабораторий большой интерес представляет работа Морского гидрофизического института Академии наук СССР.

Двадцать лет назад В. Шулейкин (ныне академик) основал на берегу Чёрного моря в Качивели Черноморскую гидрофизическую станцию. Там-то и родилась новая наука — физика моря. Эта наука, занимающаяся исследованиями явлений, протекающих в море, необходима и для ис-

следователя-гидрофизика, и для инженера-гидролога, и для кораблестроителя, и для всех тех, кто в своей повседневной научной или практической работе связан с морем.

За свой капитальный труд «Физика моря» В. Шулейкин в 1942 году был удостоен Сталинской премии. Теперь им написана популярная книга «Очерки по физике моря». Много страниц в ней посвящено описанию Черноморской гидрофизической станции и работ, произведённых на ней.

Все движения, возникающие в океане и атмосфере, кроме тех, которые вызываются приливами и землетрясениями, обязаны своей энергией солнцу. Разные части земного шара по-разному поглощают эту энергию, образуя как бы гигантскую систему тепловых машин. Коллектив Черноморской гидрофизической станции подошёл к анализу работы этих тепловых машин с очень строгими требованиями: результат должен быть выражен с небывалой до того точностью!

Возникла проблема большой трудности. Исследователь обычных тепловых машин по своей воле может управлять явлениями, связанными с работой установки. Но что делать, когда в процессе участвуют такие «детали», как солнце, море, атмосфера? Надо было измерять всё — температуру, скорость течения воздуха, его количества, протекающие над берегом. И вот в Качивели появляются приборы и аппараты, созданные В. Шулейкиным и его сотрудниками. Воздух и море как бы пронизываются длинными «щупальцами», сходящимися в единый пункт — центральный пост самопишущих приборов.

Кропотливейшие самоотверженные исследования, наблюдения и вычисления позволили работникам станции определить, как протекают приход и расход тепла в море, как влияет океан на климат материков, какие колебательные движения происходят в системе океан—атмосфера—материк и многое другое.

Расчёты исследователя, шедшие вразрез с установившимися взглядами учёных, воздвигавших между океаном и атмосферой непреступную стену, целиком оправдались. В. Шулейкин вместе с его учениками и сотрудниками впервые в мире добился решения многих стоявших перед мореведами важнейших задач. Задачи эти решены пол-

ностью, до конкретных чисел, необходимых исследователю при изучении волн и приливов, ураганов и штормов, цвета морской воды и «неслышимых звуков» на море, гибельной качки корабля и стремительных движений рыб. Открытия В. Шулейкина позволяют уже не только наблюдать явления, происходящие в морях и океанах, но и помогают предсказывать, как они должны развиваться, пользоваться ими, бороться с опасностями, которыми грозят разбушевавшиеся стихии.

Вычислив количество тепла, несущегося над каждым сантиметром береговой полосы у Черноморской гидрофизической станции, В. Шулейкин смог установить, какие штормы должны возникать при определённых условиях у мыса Горна, полуострова Флориды, Индонезийского архипелага — мест, которые издавна пользуются мрачной славой морских могил. Открытие причин появления на земном шаре этих «очагов бурь» — одно из удивительнейших в истории науки о море.

Изучение воды даже в лаборатории — очень трудное дело. Можно представить себе, насколько возрастет трудность изучения морской воды для исследователей в Кацивели, когда она принимает образ штормовой волны.

Каждый, хотя бы раз видевший шторм на море, знает, что среди волн бывают валы, выделяющиеся своей величиной. Когда-то моряки, терпевшие бедствие, с ужасом ожидали страшного удара легендарного «девятого» вала, сокрушающего корабль, топящего его обломки вместе с людьми. В. Шулейкин и его сотрудники доказали, что нет на свете ни девятого, ни какого-либо другого особого вала, связанного с определённым числом. Волны, отличающиеся исключительной силой, образуются случайно, при наложении одной волны на другую, когда их размахи совпадают. Это может быть и четвёртая, и шестая волна — всё зависит от рельефа морского дна, от изменений ветра.

Глубины морей и океанов часто называют безмолвными. Многим кажется, что в толще воды царствует вечная тишина. Глава

в книге В. Шулейкина «Звуковые, ультразвуковые и инфразвуковые волны в морской воде и над морем» разрушает такое представление. В действительности пучины моря наполнены неумолкаемым шумом и звоном, создаваемыми их неугомонным населением. Мелкие рачки и рыба квакуц, например, вызывают шум, не уступающий звукам большого клепального цеха. Эти звуки моря впервые были уловлены с помощью сложных аппаратов.

Особый интерес представляет рассказ В. Шулейкина о том, как в Кацивели был открыт «голос моря» — неслышимые колебания воздуха, предупреждающие о приближении шторма. На Черноморской гидрофизической станции создали приборы, улавливающие этот «голос моря» и позволяющие его исследовать. Местный ветер, к сожалению, мешает приёму дальних сигналов «голоса моря». Но сейчас в Кацивели ведутся интересные работы по усовершенствованию приёмников этого неслышимого для человеческого уха штормового природного сигнала. Есть все основания надеяться, что в недалёком будущем появятся автоматические аппараты, улавливающие далёкий «голос моря» и преобразующие его в звуковые и световые сигналы, предупреждающие людей, что морю сейчас нельзя доверять, несмотря на его спокойный и ласковый вид.

«Голос моря» несётся над поверхностью волн с того времени, как существуют океаны. Но человеком он уловлен лишь совсем недавно. Для этого, очевидно, было недостаточно одних приборов и знаний, нужна была ещё способность «понимать» море, любить его.

Есть книги, прочитав которые, человек чувствует себя так, будто он совершил путешествие в неведомую страну. «Очерки по физике моря» относятся именно к таким книгам. Прочитав их, другими глазами смотришь на море, на берег, на волны и проникаешься особым уважением к людям советской науки — смелым мороведам, открывателям тайн природы.

А. МОРОЗОВ.

Сельское хозяйство

Труды виднейшего русского агронома

Создание самой передовой в мире системы земледелия — травопольной системы — связано с именами трёх выдающихся русских учёных: В. Докучаева, П. Костычева и В. Вильямса. Нередко эту систему земледелия называют, по имени её творцов, комплексом Докучаева — Костычева — Вильямса. Работы названных учёных изучают миллионы тружеников социалистического сельского хозяйства, развернувших, по призыву большевистской партии, борьбу за преобразование природы. Труды В. Докучаева и В. Вильямса издавались у нас в последнее время достаточно широко, но произведения П. Костычева почти отсутствовали на книжном рынке. Поэтому переиздание основных его работ следует признать вполне своевременным.

П. Костычев является виднейшим русским агрономом, одним из основоположников современного научного земледелия. Велики также заслуги П. Костычева в разработке передовой русской науки о почве. Ученик В. Докучаева, известный русский почвовед профессор Н. Сибирцев заслуженно называл П. Костычева «вторым сооснователем русского почвоведения», который «отдал почвенным исследованиям длинный ряд лет неустанного, плодотворного и талантливого труда».

Павел Андреевич Костычев родился в 1845 году в Шацком уезде Тамбовской губернии, в семье крепостного крестьянина. Помещица, которой «принадлежали» Костычевы, обратила своё благосклонное внимание на способного мальчика и отправила его учиться в Москву, в земледельческую школу. Помещица желала иметь своего собственного, дешёвого и послушного «учёного управителя».

Реформа 1861 года изменила положение П. Костычева. Преодолевая большие труд-

П. А. Костычев. «Почвы чернозёмной области России. Их происхождение, состав и свойства». Редактор П. К. Кавун. Сельхозгиз, М. 1949.

В. В. Докучаев, П. А. Костычев, К. А. Тимирязев, В. Р. Вильямс. Избранные сочинения. (Статья П. А. Костычева «О борьбе с засухами в чернозёмной области посредством обработки полей и накопления на них снега»). Редактор Т. И. Серсбракובה. Учпедгиз, М. 1949.

ности, он сдал экзамен на аттестат зрелости и поступил в Петербургский Земледельческий (впоследствии Лесной) институт. Здесь Костычев становится учеником и сотрудником талантливого профессора — химика и агронома А. Энгельгардта, примыкавшего к левому революционному крылу народничества. Статьи А. Энгельгардта, печатавшиеся в журнале «Отечественные записки» и разоблачавшие порядки пореформенной русской деревни, были положительно оценены В. И. Лениным.

А. Энгельгардт оказал большое влияние на формирование не только научных, но и общественных взглядов П. Костычева. И учитель и ученик за революционную деятельность в конце шестидесятых годов были арестованы царской охранкой, которая в конце концов выслала А. Энгельгардта из Петербурга. «Политически неблагонадёжного» П. Костычева долго не допускали к научной деятельности, и он в течение ряда лет работал химиком в Пробирной палате. В 1872 году П. Костычев возвращается в Петербургский Земледельческий институт, который уже не оставляет, работая сначала преподавателем, а затем профессором.

Учёный, вышедший из самых недр народа, интересовался наиболее жгучими и большими вопросами русской агрономической науки. Он занимается исследованием русских чернозёмов, изучает их плодородие, производит многочисленные химические анализы русских почв разных районов страны. В 1885 году П. Костычев выпускает свою известную книгу «Почвы чернозёмной области России», ныне переизданную.

П. Костычев считал, что чернозёмы и вообще растительно-наземные почвы — результат определённого сочетания биологических процессов — образования органического вещества высшими растениями и разложения этого вещества бактериями и грибами. В предисловии к своей книге он указывал:

«Геология, как полагал Рупрехт и что подтверждено потом исследованиями г. Докучаева, имеет второстепенное значение в вопросе о чернозёме, потому что накопление органических веществ происходит

в верхних слоях земли, геологически разнообразных, и чернозём является вопросом географии и физиологии высших растений и вопросом физиологии растений низших, производящих разложение органических веществ».

Такой подход к явлениям почвообразования позволяет считать П. Костычева основоположником биологического направления в почвоведении. Это направление в советское время значительно полнее было развито в выдающихся трудах академика В. Вильямса и стало в наши дни одной из основ передовой советской агробиологии.

Всегда настаивая на необходимости тесной связи между почвоведением и повседневной земледельческой практикой, П. Костычев создал учение о правильной обработке почв и научно обосновал положение о первостепенном значении почвенной структуры для водного режима почвы и создания высокого урожая растений.

В 1891 году 29 губерний европейской России охватила жестокая засуха, породившая небывалые по своим размерам неурожай и голод. Передовые представители русской науки: В. Докучаев, К. Тимирязев, А. Воейков, А. Измаильский, П. Бараков—энергично взялись за разработку и широкую популяризацию научных методов борьбы с засухой. Не остался в стороне от этого патриотического движения русских учёных и П. Костычев. Он читает публичные лекции о борьбе с засухой, а в 1893 году выпускает свою превосходную работу «О борьбе с засухами в чернозёмной области», выдержавшую ряд изданий и ныне вновь переизданную.

В этом труде учёный говорил об огромном значении правильной обработки почвы в целях предотвращения засухи, настаивал на необходимости внедрения зяблевой (осенней) вспашки под посев яровых для большего накопления в почве влаги, подчёркивал большое значение снегозадержания. Здесь же он выдвинул и обосновал мысль о необходимости самого широкого развития травосеяния в наших степных районах для улучшения физических свойств почвы и придания ей комковатой структуры. Он говорил: «Только многолетние кормовые травы дают нам средство и поддержать плодородие почвы на известной высоте и вместе с тем достигнуть большего постоянства урожая».

Настаивая на развитии травосеяния, П. Костычев выражал сожаление, что в России в те времена сеяли очень мало трав, ибо считали травосеяние делом рискованным, а иногда и малополезным. Объясняя причины неудач, которые постигали травосеяние в наших чернозёмных степях, учёный указывал:

«Мы потеряли много потерь вследствие того, что обрабатывали наши поля по западноевропейским образцам; точно так же, по моему мнению, и в травосеянии мы терпим неудачи, потому что производим посевы трав почти исключительно по способам, указанным Западной Европой... но эти способы для нас, очевидно, мало пригодны».

Так передовой русский учёный предостерегал против слепого некритического подражания западноевропейской агрономии.

В ряде своих работ П. Костычев предлагает методы выращивания различных кормовых трав, устанавливает их сравнительные достоинства и намечает сорта трав для разных районов. Он подчёркивал, что травы хорошо переносят засуху. Глубоко интересовала учёного проблема насаждения лесов в степях. Подобно В. Докучаеву, он резко выставлял против того необоснованного мнения, высказывавшегося рядом иностранных и русских учёных, что леса в наших степях расти не могут из-за недостатка влаги. Во время засухи 1885 года П. Костычев посетил знаменитое Великоанадольское лесничество, где в засушливых условиях побережья Азовского моря велись успешные опыты по степному лесоразведению. Он пришёл к выводу, что «древесная растительность может переносить сильные и продолжительные засухи несравненно лучше травянистой растительности».

Передовые научные идеи П. Костычева не нашли сколько-нибудь широкого признания и применения в сельском хозяйстве царской России; они, как и замыслы его выдающегося современника В. Докучаева, начали претворяться в жизнь только в нашем социалистическом земледелии.

Неутомимый труженик и разносторонний исследователь, П. Костычев посвятил много сил проблеме удобрения почв, разработке методов химического и физического почвенного анализа.

В последние годы своей жизни (учёный умер в 1895 году) П. Костычев уделил большое внимание исследованию почв лучших виноградо-винодельческих районов страны: Южного берега Крыма, Черноморского побережья Северного Кавказа, Грузии, Дагестана. Он обосновал необходимость широкого развития виноградарства и плодоводства на песках степной полосы России. Эти предложения учёного также начали осуществляться только в наши дни.

Работы Павла Андреевича Костычева имеют исключительно большое значение для повседневной сельскохозяйственной

практики. Они помогают советским людям в борьбе за выполнение грандиозного Сталинского плана преобразования природы степей и лесостепей Советского Союза. Статьи учёного, разбросанные по страницам специальных журналов прошлого века, представляющих в наши дни библиографическую редкость, содержат множество ценных наблюдений и исследований, касающихся важнейших вопросов сельского хозяйства. Сельхозгизу необходимо собрать все эти разрозненные работы и издать собрание сочинений выдающегося русского агронома и почвоведа.

И. и Л. КРУПЕНИКОВЫ.

★

Х и м и я

Крупное достижение советской химии

Труден путь учёного, ищущего новые методы в решении химической проблемы. Но богатейшие перспективы открываются при использовании этих методов в промышленности. В лаборатории можно укоротить процесс на одну—две химических реакции. На заводе за этим последует упрощение процесса производства и выключение из него целых цехов с десятками машин и аппаратов. В масштабе же целой страны, в условиях планового народного хозяйства, экономия достигает десятков и сотен миллионов рублей. Вот почему Советское правительство так высоко оценило научные исследования профессора А. Титова по нитрованию углеводов, удостоив эту работу Сталинской премии первой степени.

Само название «углеводороды» говорит о том, что они представляют собой химическое соединение углерода и водорода. Однако в углеводородах, кроме водорода, могут быть кислород, азот и другие атомы химических элементов.

Многие углеводороды начиная от газообразного — метан — и кончая твёрдыми — вазелин, парафин, горный воск и другие — числились химически неактивными. Количество таких органических веществ в природе необычайно велико, но поскольку они не вступают в химические соединения с

другими веществами, их использовали раньше в лучшем случае как топливо.

Химики давно видели в неактивных парафиновых углеводородах, получаемых из нефти, те «кирпичики», из которых природа строит разнообразнейшие продукты, включая красители и ароматические вещества. Однако попытки «расшевелить» эти надежные вещества долго не удавались.

Впервые «воскресить» этих химических «мертвецов» удалось русскому химику М. Коновалову. В качестве «живой воды» им была использована азотная кислота. Он, между прочим, знал, что в газах при переработке нефти содержится до 45—75 процентов парафиновых углеводородов, которые не являлись продуктами промышленного производства, а были никому не нужным «отбросом». И вот в 1889 году М. Коновалов установил, что азотная кислота при нагревании превращает их в так называемые нитропарафины, обладающие значительной химической активностью (процесс обработки азотной кислотой называется нитрованием). Так были получены новые ценные химические продукты, используемые теперь для синтеза многочисленных веществ. Значение открытой русским учёным реакции было столь велико, что она названа была именем Коновалова и так вошла в историю науки.

Через нитрование так называемых аро-

«Доклады Академии наук СССР» и «Журнал общей химии». М. 1946—1949.

матических углеводородов удаётся получить продукты, лежащие в основе многих отраслей химической промышленности. Так, например, бензол сам по себе ещё не представляет большой ценности. Однако достаточно путём нитрования превратить его в нитробензол, как из последнего легко получается ценнейший продукт — анилин, являющийся основным сырьём анилинокрасочной промышленности.

Из дешёвого продукта, каким является фенол, можно в результате нитрования получить тринитрофенол, который служит либо жёлтым красителем для шёлка и шерсти, либо лекарством при ожогах (это хорошее бактерицидное средство).

Тысячи разнообразнейших ароматических углеводородов после нитрования приобретают новые ценные свойства. В наши дни химические заводы всего мира используют эти продукты для выработки красителей, лекарственных, ароматических и взрывчатых веществ.

Плеяда выдающихся советских химиков, в том числе профессор А. Титов, глубоко раскрыла механизм самого процесса нитрования. Разработанные ими методы нитрования парафиновых углеводородов легли в основу промышленных методов получения многочисленных продуктов, являющихся сырьём и полуфабрикатами для промышленности пластмасс, синтетического волокна,

взрывчатых веществ, лекарственных веществ, растворителей и ядовитых веществ, употребляемых в борьбе против сельскохозяйственных вредителей. Ряд синтетических продуктов — уксусная кислота, уксусный ангидрид, ацетон, винный спирт, ускорители для вулканизации, синтетическое топливо, синтетическая олифа, смазочные масла, мыло, не требующее жира, но обладающее способностью мылиться в морской воде, и многие другие ценнейшие продукты также требуют в качестве сырья или промежуточного продукта нитропарафинов.

Продолжая свои научные исследования, А. Титов установил, что при нитровании углеводородов азотной кислотой в качестве основного нитрующего агента является не сама азотная кислота, а окислы азота, находящиеся в сфере реакции. Это важнейшее открытие позволяет теперь использовать для нитрования не азотную кислоту, а лишь промежуточный продукт при её получении — окислы азота. Новый процесс нитрования не только удешевляет, но и необычайно упрощает производство нитроуглеводородов.

В результате работ профессора А. Титова открыт новый, более простой и дешёвый путь получения ценных продуктов для ряда крупных производств.

А. БУЯНОВ.

★

Археология

Открытие советских археологов и антропологов

Одной из наиболее сложных проблем учения о происхождении человека является проблема соотношения человека современного типа с ископаемым человеком неандертальского типа.

Где и в силу каких условий первоначально развивался человек современного типа? Являются ли неандертальцы его прямыми предками? Каковы границы расселения человечества на разных этапах его ранней истории?

В разрешении этих вопросов всё более резко определяется разграничительная линия, отделяющая прогрессивных учёных,

стоящих на материалистических позициях, от реакционеров в науке, поставивших антропологию на службу расистским теориям. Большая роль в разоблачении этих «теорий» принадлежит советским антропологам.

Сталинской премии в этом году удостоены А. П. Окладников, М. А. Гремяцкий и Н. А. Синельников за научный труд о палеолитическом человеке. В этой специальной монографии публикуются результаты крупного открытия советских антропологов и археологов, значение которого выходит далеко за рамки антропологической и археологической дисциплин.

Советские антропологи, развивая идеи основоположников марксизма о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека, подробно разработали теорию о неандертальской стадии в эволюции человека,

«Тешик-Таш. (Палеолитический человек)». Труды Научно-исследовательского института антропологии под редакцией проф. М. А. Гремяцкого, доцента М. Ф. Нестурха. Издательство Московского государственного университета, М. 1940.

как хронологически, так и генетически предшествовавшей появлению типа единого по своему происхождению современного человечества. Такая позиция не оставляет места идеалистическим теориям.

Напротив, в зарубежной, особенно в англо-американской антропологии, всё настойчивее пропагандируется мысль о глубочайшей древности человека современного типа, о его якобы независимой от неандертальца эволюции. И в специальной, и в общей литературе в Англии и Америке за последние годы широко рекламировались различные находки ископаемого человека, которые должны были «доказать» это положение и укрепить идеалистические позиции в антропологии, открыть простор мистике, «обосновать» эволюцию «путём творения». Реакционная антропология поставляет нелепые «теории» о различном происхождении современных человеческих рас; одних — «низших» непосредственно от неандертальца, других — «высших», развивавшихся независимо, своим особым путём.

С развёртыванием археологических и антропологических исследований, с обнаружением остатков неандертальского человека всё на новых и новых территориях, суживается плацдарм реакционной антропологии, всё меньше остаётся гипотетических очагов формирования современного человека. Один из таких очагов, по мнению реакционных антропологов, до недавних лет можно было искать в Средней Азии, где отсутствовали находки неандертальского человека и его культуры и откуда так «удобно» было вести древнего *Homo sapiens*. Открытия советских учёных лишили реакционную теорию и этого прибежища.

В 1938 году советский археолог А. П. Окладников открыл в гроте Тешик-Таш в Гиссарском хребте (Южный Узбекистан) стоянку и остатки скелета древнего человека. Геологические и палеонтологические данные позволили установить древность погребения. Каменные орудия, найденные в пещере, не оставляли сомнения в том, что стоянка должна быть датирована мустьерским временем. Изучение черепа и костей скелета, принадлежащих ребёнку 8—9 лет, обнаружило все характерные особенности неандертальского человека. Эта антропологическая диагностика была очень облегчена благодаря блестящей реставрации черепа, проведённой М. М. Герасимовым. Череп

был обнаружен раздробленным и доставлен в виде многочисленных фрагментов (число их доходило до 150), и потребовались огромный опыт и высокое искусство, чтобы правильно восстановить все детали его строения. Теперь стало совершенно бесспорным, что и в Средней Азии неандертальский человек предшествовал современному.

Открытие советских учёных — не счастливая находка, не случайная удача. Это результат научного предвидения, высокого мастерства археологических исследований, тонкого и тщательного антропологического анализа. Исходя из общих теоретических положений советской археологической и антропологической науки, и решено было предпринять обследование в Южном Узбекистане. Огромный опыт и новые методы раскопок, применяемые советскими археологами, позволили ясно установить геологическую датировку скелета и по инвентарю памятника ярко реконструировать тип хозяйства, образ жизни и даже многие черты идеологии мустьерских обитателей грота Тешик-Таш. Эти проблемы освещены в обширной статье А. П. Окладникова, открывающей сборник. Широта построений, новизна в постановке вопросов, смелость в их разрешении характеризуют эту работу.

Содержащиеся в ней некоторые спорные положения (в трактовке погребального обряда, солярного культа и других моментов идеологии мустьерского человека) говорят о том, что назрела потребность развернуть вокруг этих вопросов научную дискуссию.

Фауне грота Тешик-Таш посвящены небольшие статьи В. И. Громовой и П. В. Сусловой. Статья Д. Г. Рохлина знакомит с результатами рентгенологического исследования костей скелета ребёнка-неандертальца.

Коллективная статья лауреатов М. А. Гремяцкого и Н. А. Синеельникова даёт морфологическую характеристику сохранившихся костей скелета.

Статья М. А. Гремяцкого посвящена морфологическому изучению черепа. Применив ряд новых приёмов исследования и оригинальных методов описания деталей строения, автор даёт исчерпывающую характеристику этого важнейшего объекта. В полном соответствии с данными археологии, палеонтологии, стратиграфии автор чётко фор-

мулирует вывод о принадлежности тешикташского человека к группе неандертальцев.

Тешик-ташская находка относится ещё к 1938 году. Ей посвящён в советской антропологической и археологической литературе ряд предварительных публикаций (Г. Ф. Дебеца, А. П. Окладникова), но рецензируе-

мая монография значительно превосходит их по полноте и охвату материала. Она бесспорно представляет собою крупнейший вклад в науку о древнем человеке и важный этап в развитии советской антропологии.

Кандидат исторических наук
М. ЛЕВИН.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Апрель—май 1950 года

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Ф. Энгельс. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 20 стр. Цена 25 к.

В. И. Ленин. Карл Маркс. 40 стр. Цена 50 к.

В. И. Ленин. Три источника и три составных части марксизма. 16 стр. Цена 15 к.

В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? 216 стр. Цена 3 р.

И. В. Сталин. Национальный вопрос и ленинизм. 20 стр. Цена 25 к.

И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 208 стр. Цена 2 р. 50 к.

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. 352 стр. Цена 5 р.

Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. 244 стр. Цена 5 р.

А. А. Аракелян. Использование основных средств промышленности СССР. 88 стр. Цена 1 р.

Всесоюзная конференция сторонников мира. 160 стр. Цена 2 р.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б). О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 18 апреля 1949 года «Трёхлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 г.г.)». 30 стр. Цена 20 к.

Материалы судебного процесса по делу бывших военнопленных японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. 538 стр. Цена 8 р. 65 к.

Общая программа народного политического консультативного совета Китая. 24 стр. Цена 20 к.

Плакаты наглядных пособий по политической экономии. 1 раздел, «Капитализм». 20 плакатов. Цена 58 р.

Построение социалистического общества в СССР. 44 стр. Цена 30 к.

Ф. И. Хасхакич. О познаваемости мира. (Серия «В помощь изучающим марксизм-ленинизм»). 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Гитович. Стихи о Корее. 74 стр. Цена 2 р. 25 к.

За мир, за демократию. Пьесы Константина Симонова, Н. Вирты, Ильи Эренбурга, Б. Билль-Белоцерковского, братьев Тур, Л. Шейнина, Сергея Михалкова. 510 стр. Цена 13 р. 50 к.

В. Козаченко. Повести. Авторизованный перевод с украинского. 226 стр. Цена 7 р. 50 к.

И. Крафт. Колония Росс. Роман. 318 стр. Цена 9 р. 50 к.

Б. Леонидов. Третья палата. Повесть. 192 стр. Цена 4 р. 50 к.

Г. Пенежко. Записки советского офицера. 538 стр. Цена 15 р.

К. Симонов. Пьесы. 506 стр. Цена 12 р.

Л. Стекольников. Крутая тропа. Стихи. 92 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Шолохов-Синяевский. Волгины. Роман. 560 стр. Цена 15 р.

ГОСПОЛИТИЗДАТ

П. Г. Антокольский. Стихи и поэмы. 296 стр. Цена 9 р.

Оноре Бальзак. Утраченные иллюзии. Перевод с французского. 600 стр. Цена 11 р.

Иоганн-Вольфганг Гёте. Избранные произведения. Составление, предисловие и комментарии Н. Н. Вильмонта. 764 стр. Цена 38 р.

Н. В. Гоголь. Старосветские помещики. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 72 стр. Цена 1 р.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 3. Рассказы. 1896—1899. 536 стр. Цена 12 р.

Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод Л. Лозинского. 580 стр. Цена 20 р.

А. Жаров. Избранное. 256 стр. Цена 7 р.

Франсиско де Кеведо-и-Вильегас. История жизни пройдохи по имени дон Пабло, пример бродяг и зеркало мошенников. Перевод с испанского. 172 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Корнейчук. Пьесы. Авторизованный перевод с украинского. 452 стр. Цена 9 р.

В. Г. Короленко. В дурном обществе. 64 стр. Цена 1 р.

И. А. Крылов. Басни. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

Вилис Лацис. Буря. Роман в трёх частях. Часть вторая. 616 стр. Цена 12 р.

Н. Н. Ляшко. Избранное. 544 стр. Цена 10 р.

Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем. Том IV. 668 стр. Цена 16 р.

Афанасий Никитин. Хождение за три моря. 184 стр. Цена 6 р.

А. С. Новиков-Прибой. Сочинения в пяти томах. Том III. Цусима. Книга I. 376 стр. Цена 9 р.

А. С. Серафимович. Избранные сочинения в двух томах. Том I. Рассказы, очерки, статьи. 652 стр. Цена 14 р. 50 к.

Марк Твен. Избранное. Перевод с английского. Том I. 404 стр. Цена 12 р. Том II. 536 стр. Цена 12 р.

А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том XIV. 432 стр. Цена 18 р.

И. С. Тургенев. Рассказы. (Из «Записок охотника»). 158 стр. Цена 2 р. 25 к.

И. С. Тургенев. Рассказы. 64 стр. Цена 75 к.

Г. С. Фиш. Каменный Бор. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 50 к.

Французская новелла XIX века. Перевод с французского. 808 стр. Цена 16 р.

П. Цвирка. Избранное. Перевод с литовского. 420 стр. Цена 8 р. 50 к.

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. Том XV. 988 стр. Цена 18 р.

А. П. Чехов. Избранные произведения в трёх томах. Том I. 612 стр. Цена 10 р. Том II. 624 стр. Цена 10 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Зеленский. Хозяин тайги. Повесть. 246 стр. Цена 4 р. 50 к.

Б. Изюмский. Алые погоны. Часть II. 224 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Казанцев. Против ветра. Рассказы о полярниках. 100 стр. Цена 3 р.

С. Кирсанов. Время — наше! (Стихи). 148 стр. Цена 6 р.

Вл. Маяковский. Владимир Ильич Ленин. Поэма. 80 стр. Цена 2 р.

Н. Н. Михайлов. Твоя Родина. 216 стр. Цена 11 р.

Молодая гвардия. Альманах молодых писателей. 200 стр. Цена 7 р.

Л. Ошанин. Песни молодёжи. (Стихи). 144 стр. Цена 5 р. 50 к.

В. Сафонов. Колокол Говерлы. 144 стр. Цена 5 р. 50 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

А. Буилов. Слово сдержали. 54 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Гурев. Системы мира. 394 стр. Цена 17 р. 50 к.

За честь фабричной марки. Сборник статей. 98 стр. Цена 1 р. 50 к.

Люди и станки. Сборник. 338 стр. Цена 12 р.

Ф. Муравина. Николай Иванович Пиров. 102 стр. Цена 1 р. 75 к.

Г. С. Пухов. Вопросы методики проведения занятий в кружках по изучению истории ВКП(б). 62 стр. Цена 1 р. 25 к.

И. Снягинин, А. Иванькина. Сахарная свёкла — ценная кормовая культура. 32 стр. Цена 85 к.

Г. Шитарев. Роль и значение партийных собраний. 50 стр. Цена 1 р.

ПРОФИЗДАТ

Семён Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды. Роман в двух книгах. 548 стр. Цена 12 р.

Александр Волошин. Земля Кузнецкая. Роман. 304 стр. Цена 9 р.

Каталог книг. 1948—1949 годы. 52 стр. Бесплатно.

Б. Кулагин. Продлим срок службы станков. 64 стр. Цена 1 р. 20 к.

Александр Поповский. Восстановим правду. Заметки писателя о русской науке. 304 стр. Цена 11 р.

ДЕТГИЗ

В. Арсеньев. Встречи в тайге. Рассказы. Собрал и обработал для детей И. Халтурин. 192 стр. Цена 3 р.

Е. Благинина. Огонёк. Стихи. 12 стр. Цена 1 р. 75 к.

Г. Борян. Мой конь. Стихи. Перевод с армянского. 48 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Гайдар. Горячий камень. Рассказы. 32 стр. Цена 30 к.

О. Гукасян. Маленькие мстители. (Рассказ Гасана). Перевод с армянского А. Бархударяна. 96 стр. Цена 4 р.

Н. Иванченко. Как сделать аквариум и террариум. 24 стр. Цена 65 к.

Ф. Канонидис. Рассказы о греческом мальчике. 46 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Ковалёв. Андрейка. Повесть. Перевод с белорусского Л. Раковского. 48 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Лугзин. Здешний ветер. Рассказы. 110 стр. Цена 3 р. 80 к.

В. Любимова. Снежок. Пьеса. 78 стр. Цена 3 р.

И. Максимихин. Как сделать модель парусной яхты. 20 стр. Цена 60 к.

М. Марьенков. Знак дружбы. Повесть. 128 стр. Цена 3 р. 80 к.

В. Маяковский. Детям. 88 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. Маяковский. Кем быть? 32 стр. Цена 1 р.

С. Михалков. В Музее В. И. Ленина. Стихи. 32 стр. Цена 2 р.

С. Мстиславский. Грач — птица весны. Повесть о жизни и борьбе Н. Э. Баумана. 334 стр. Цена 7 р.

Н. Носов. Весёлая семейка. Рассказ. 104 стр. Цена 2 р.

А. Н. Островский. Пьесы. 450 стр. Цена 3 р.

О. Рогова. Как научиться вязать. 24 стр. Цена 70 к.

В. Скобельцын. Как построить летающую модель самолёта с бензиновым моторчиком. 20 стр. Цена 60 к.

Н. Тихонов. Храбрый партизан. Рассказы. 32 стр. Цена 1 р.

Украинские народные сказки. Под редакцией М. Рыльского. 128 стр. Цена 2 р. 40 к.

К. Д. Ушинский. Домашние животные, птицы и звери. 22 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. Якубович и Г. Смирнова. Записки географического клуба. 334 стр. Цена 12 р. 50 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Александр Васильевич Суворов. Краткий биографический очерк. 46 стр. Цена 75 к.

Волки и их истребление. Сборник статей. Редактор-составитель Ю. Милёнушкин. 112 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. В. Максай и Н. Полянский. Теория авиационных двигателей. 400 стр. Цена 12 р. 70 к.

А. И. Мамлеев, Л. Р. Шутый. Автомобиль ЗИС-150. 216 стр. Цена 7 р. 25 к.

Наши охотничьи богатства. Сборник статей и очерков. 116 стр. Цена 2 р.

В. Г. Романюк. Заметки парашютиста-испытателя. Литературная запись Алексея Голикова. 94 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Ф. Рудаков. Автомобиль ГАЗ-51. 256 стр. Цена 8 р. 75 к.

К. Симонов. Суворов. Поэма. 48 стр. Цена 75 к.

А. В. Суворов. Наука побеждать. 54 стр. Цена 1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. В. Винтер. Итоги и перспективы развития современной советской энергетики. 36 стр. Цена 1 р.

А. Н. Заварицкий. Введение в петрохимию извержённых горных пород. 400 стр. Цена 28 р.

В. Л. Комаров. Избранные сочинения. Т. V. Флора Маньчжурии. 766 стр. Цена 48 р.

Ф. П. Саваренский. Избранные сочинения. 412 стр. Цена 30 р.

Труды Института русского языка, том II. 228 стр. Цена 17 р.

ГЕОГРАФИЗ

Н. А. Гвоздецкий. Карст. 188 стр. Цена 6 р. 50 к.

Эд. Мурзаев. Непроторёнными путями. (Записки географа). Издание второе. 300 стр. Цена 6 р. 75 к.

Антонио Пигафетта. Путешествие Магеллана. Перевод с итальянского и примечания В. С. Узина. 180 стр. Цена 5 р. 25 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

Л. Беспалова. Васнецов А. М. 38 стр. Цена 1 р. 75 к.

М. Горький. Враги. 116 стр. Цена 3 р.

М. Горький. Егор Булычёв и др. 78 стр. Цена 2 р.

Ш. Дадияни. Пьесы. 136 стр. Цена 7 р. 50 к.

Ш. Квасхадзе. Тоидзе М. И. 24 стр. Цена 1 р. 25 к.

К. Кравченко. Тоидзе И. М. 32 стр. Цена 1 р. 50 к.

Б. Лавренёв. Голос Америки. (Пьеса). 128 стр. Цена 2 р. 75 к.

П. Мусиенко. Трохименко К. Д. 30 стр. Цена 1 р. 25 к.

Репертуарный сборник «Эстрада». 72 стр. Цена 7 р.

Г. Смирнов. Воробьёв М. Н. 30 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Сувор. Земляк президента. (Пьеса). 128 стр. Цена 2 р. 75 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Архитектор В. П. Стасов. Мастера русской архитектуры. 88 стр. Цена 14 р.

Г. З. Бобылёв. Геодезия (краткий курс). 244 стр. Цена 11 р. 50 к.

С. А. Дадашев и М. А. Усейнов. Архитектура советского Азербайджана. 20 стр. текста, 163 иллюстрации. Цена 33 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

Гипертоническая болезнь. Под редакцией А. Л. Мясникова. 216 стр. Цена 14 р. 60 к.

Детские инфекции. Выпуск I. Под редакцией П. В. Смирнова. 124 стр. Цена 8 р. 90 к.

Ультрафиолетовое излучение и гигиена. 156 стр. Цена 8 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Т. П. Андреева. Роль театрального кружка в воспитании советского школьника. 24 стр. Цена 50 к.

Л. П. Бушик. Вопросы преподавания истории СССР. 212 стр. Цена 4 р. 90 к.

Н. М. Верзилин. Как преподавать ботанику. 236 стр. Цена 8 р. 75 к.

Е. В. Голикова. Развитие детского творчества в школьном хореографическом кружке. 28 стр. Цена 60 к.

Идейно-политическое воспитание учащихся в процессе преподавания истории. Под редакцией В. Ф. Шарাপова. 204 стр. Цена 4 р. 40 к.

А. С. Макаренко. Методика организации воспитательного процесса. 108 стр. Цена 2 р.

П. И. Осокин. Музыкальная работа в педагогическом училище. 32 стр. Цена 70 к.

Участие школы в лесонасаждении. Под редакцией А. А. Шибанова. 196 стр. Цена 3 р. 50 к.

ГОСПЛАНИЗДАТ

Агрессивная идеология и политика американского империализма (сборник). 484 стр. Цена 14 р.

А. Е. Галицкий. Планирование социального транспорта. 192 стр. Цена 6 р.

В. Е. Жирнов. Советская социалистическая культура — самая передовая культура в мире. 56 стр. Цена 70 к.

И. П. Коношенков. Оперативно-статистический учёт и отчётность в строительстве. 64 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. К. Татур. Хозяйственный расчёт на предприятии. 40 стр. Цена 1 р.

Г. В. Теплов. Пути сокращения производственного цикла. 40 стр. Цена 1 р.

ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

С. Батраков, лауреат Сталинской премии, токарь Липецкого тракторного завода. Мой опыт скоростного резания металла. 28 стр. Цена 60 к.

М. Булавин. Боевой девятнадцатый. Роман. 336 стр. Цена 10 р.

Г. Гришин. Воронеж. Экономико-географический очерк. 152 стр. Цена 7 р.

В. Жучкова. Природа Воронежской области. 120 стр. Цена 3 р. 50 к.

«Литературный Воронеж». № 3(22) 1949 г. Альманах Воронежского отделения Союза советских писателей. 276 стр. Цена 7 р. 40 к.

«Литературный Воронеж». № 1 (23) 1950 г. Альманах Воронежского отделения Союза советских писателей. 242 стр. Цена 7 р. 40 к.

Константин Локотков. Верность. Роман. 264 стр. Цена 10 р.

Орошаемое земледелие в Воронежской области. Сборник статей. 264 стр. Цена 6 р.

В. Петров. На просторе. Повесть. 92 стр. Цена 3 р.

В. Петров. А. С. Серафимович. (Воспоминания). 40 стр. Цена 1 р.

М. Подобедов. Рассказы. 120 стр. Цена 2 р.

С. Н. Тюнин. Воронежцы восстанавливают родной город. 42 стр. Цена 1 р. 10 к.

Фольклор Воронежской области. Сборник народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Вступительная статья и комментарии В. Тонкова. 300 стр. Цена 11 р. 50 к.

Ал. Шубин. Рассказы. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. С. Бякин, А. П. Могилёв, А. С. Хомкалов, Е. И. Шлиголь. Пути электрификации сельского хозяйства Иркутской области. 124 стр. Цена 2 р. 45 к.

П. Г. Маляревский. Не твоё, не моё, а наше. Русская сказка. 70 стр. Цена 1 р. 45 к.

А. С. Ольхон. Якутские волшебные сказки. 96 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. В. Тимофеев. Звери нашей области. 96 стр. Цена 2 р.

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Б. Клепацкий. Просо в Костромской области. 48 стр. Цена 90 к.

А. Часовников и А. Никитин. Лесной конвейер. 40 стр. Цена 1 р. 05 к.

Я. Шейнин. Поточный метод лесозаготовок при поперечно-ленточной обработке лесосеки. 56 стр. Цена 1 р. 45 к.

СТАЛИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Е. М. Деларю. Санитарное благоустройство колхозных сёл. 88 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Г. Золотарёв, Ф. И. Белохвостов. Передовые сельсоветы. 40 стр. Цена 1 р.

В. И. Костин. Утро моего города. Стихи. 56 стр. Цена 1 р. 40 к.

Н. И. Ткачёв. Саша Филиппов. (Поэма о сталинградском разведчике). 28 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ф. И. Травень. Опыт разведения дуба на каштановых почвах Сталинградской области. 100 стр. Цена 2 р. 85 к.

Главный редактор **А. Т. Гвардовский.**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов.

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 16/V-50 г.
А 02362

Объём 18 печ. л.

Тираж 104.000

Подписано к печати 3/VI-50 г.
Заказ № 1183.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.